Иностранная литература

1964

1

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

РОМАНЫ

КРИСТА ВОЛЬФ — Расколотое небо . . . 8

РАССКАЗЫ

АЛЬБЕРТО МОРАВИА — Автомат. Фетиш. Трельяж 122

ФРАНЦ КАФКА — В исправительной колонии. Превращение и др. 134

СТИХИ

ПОЭТЫ ИСПАНИИ — КУБЕ. Хосе Анхель Валенте, Антонио Перес Перес, Анхела Фигера Аймерич, Хайме Хиль де Бьедма, Анхель Креспо, Габриэль Селайя . . . 3

ФАИЗ АХМАД ФАИЗ — Две любви 118

КРИТИКА

ЛИДИЯ СИМОНЯН — Люди и книги (Проза ГДР о молодом современнике) 182

ВЛАДИМИР ДОСТАЛ — Плоды, не успевшие созреть (О неоконченных работах Ю. Фучика) 188

Е. КНИПОВИЧ — Франц Кафка 195

ЧТО ЧИТАЮТ СЕГОДНЯ

ЛУИС ЭНРИКЕ ДЭЛАНО — Споры в кафе имени Лопеса Веларде (Письмо из Сантьяго-де-Чили) 205

ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ

АЛАН СИЛЛИТОУ — Что говорит писатель 208

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Обозрение зарубежной прессы 213

1

ЯНВАРЬ

1964

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ»

Москва

ДНЕВНИКИ, ВОСПОМИНАНИЯ

Альберт Рис Вильямс—Уроки марксизма (К 40-летию со дня смерти В. И. Ленина) 223

КНИГИ, ЗАМЫСЛЫ, ТЕМЫ

Международная анкета 228

КАЛЕНДАРЬ «ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»

Т. ПОПОВА — Великий реформатор (К 100-летию со дня смерти Вука Стефановича Караджича) 245

Д. САМОЙЛОВ — Любивший мир поэт (К 40-летию со дня смерти Иржи Волькера) 246

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

ВИТАЛИЙ ГОРЯЕВ — Художник солнечного острова 248

ПИСЬМА ИЗ-ЗА РУБЕЖА

ФИЛЛИП БОНОСКИ — Ради чего идет борьба 251

ОЧЕРКИ

ЭРНЕСТО ГОНСАЛЕС БЕРМЕХО — Колючая проволока между двумя мирами . . . 255

НАШИ ГОСТИ

Снова в Москве (Чарльз П. Сноу и Памела Джонсон) 260

СРЕДИ КНИГ

ИЗДАНО В СССР

Юрий Суровцев — Капитан Скотт принимает решение. ◇ В. Кутейщикова — Два сборника кубинских рассказов . . . 263

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

Л. Зонина — Когда человек осознает свою ответственность. ◇ А. Павленко — Повести и рассказы Соброна Айдита 269

НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ 273

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

Хроника 274

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ 287

На обложке рисунок датского художника Херлуфа Бидструпа. Прислав в редакцию рисунок, художник сопроводил его следующим обращением к читателям нашего журнала:

Раздвигается занавес, возвещая начало очередного захватывающего акта всемирной истории, и я желаю читателям «Иностранной литературы» большой радости и удач и как зрителям, и как участникам грандиозного мирового действа. Я надеюсь, что акт тысяча девятьсот шестьдесят четвертый будет радостным, а не трагичным и что он поведает нам об укреплении дружбы между людьми разных рас и национальностей.

ХЕРЛУФ БИДСТРУП

ПОЭТЫ ИСПАНИИ — КУБЕ

После трагического окончания гражданской войны в Испании вот уже на протяжении четверти века до нас редко доносятся голоса испанских поэтов. И каждый раз, когда мы слышим эти голоса, мы убеждаемся, что во франкистском государстве, несмотря на террор и преследование свободной мысли, существует поэзия, сохранившая дух независимости и глубокое чувство человеческого достоинства.

В 1962 году в Париже вышла удивительная книга. Она называется «Испания поет Кубе». В ней собраны стихи испанских поэтов разных поколений, посвященные борьбе кубинского народа. Поэты, хорошо известные в Испании, как Габриэль Селайя или Анхель Креспо, соседствуют в этой книге с теми, кто только начал свой литературный путь. Их объединяет единая тема и единое отношение к теме: они воспевают свободный народ, свергнувший режим диктатора.

В этой книге ярко выражается гражданственный дух испанской поэзии, в ней видны источники энергии, питающие испанскую литературу, одну из самых замечательных литератур нашего времени.

Такие книги, как «Испания поет Кубе», как недавно вышедшая на русском языке книга «Заря над Кубой», где собраны стихи поэтов Латинской Америки, говорят об огромном значении борьбы кубинского народа для всех стран испанского языка, о той моральной поддержке, которую оказывают кубинцам большинство представителей литературы Иберийского полуострова и Латиноамериканского континента.

ХОСЕ АНХЕЛЬ ВАЛЕНТЕ

Куба, плывущий остров

Народы спят, мучительно забывшись
сиротским сном под отголоски волчьи
в глухой ночи поруганного хлеба,
медовой лжи и сахара из желчи.
Нужды и слез неласковые дети,
они больны привычкою бесцветной
ложиться обворованными в землю
спиной к полузадушенному свету.

Народы спят, глухие к зову гнева.

И реки моей родины уносят
протяжный плач к тоскующему морю
и умирают там, обезголосев...

Народ мой...
Отсвет крови на погостах.

голодной смерти маска восковая
и пепел злобы, вытеснивший воздух...

Но будет день —
останки слов казненных,
колебля горы, яростно и гордо,
за слогом слог, восстанут и сольются
и хлынут в человеческое горло.

И горе торжествующим кумирам,
и глине их болотной,
и тени их, раскинутой над миром!

Я начеку. Зажглось в тумане сердце.
Я слушаю. В теряющемся зове
из тьмы на языке одноплеменном
звучат слова моей земли и крови.

Я начеку. Мне каждый звук понятен.
Отчалил остров,
вспенивая пламя.

Дорогу!
Он идет свободным морем
и бурю развевает вымпелами.

Перевод АНАТОЛИЯ ГЕЛЕСКУЛА

АНТОНИО ПЕРЕС ПЕРЕС

Николасу Гильену

Николас,
певец кубинский,
ну-ка за руки
и в круг:
ведь сегодня ронда — наша,
пусть ее оплатят, друг!

Шлялись пьяницы свободно
там, по Кубе
несвободной.

Эти пьяные ублюдки,
сквернословы,
затыкали тебе рот.
Но сегодня ронда — наша,
пусть послушает народ!

Богачи, дурные люди,
пусть оплатят нашу ронду,
хватит им чужое брать!
Эту ронду, нашу ронду,
Больше им не замарать!

Пусть вина они попросят
у других дверей.
А вино свободной Кубы
лишь кубинцы будут пить.

Кто при ет за виноградом,
пусть узнает, что хозяин
по-кубински лишь умеет говорить.

Николас,
певец кубинский,
руку дай!..

— Сбегай, мальчик,
расскажи мне,
как в порту идут дела?
— Мама, там корабль груженый
из Гаваны...
— Тише, мальчик,
Поняла.

И да будет так!

Перевод Д. САМОЙЛОВА

АНХЕЛА ФИГЕРА АЙМЕРИЧ

Отец мой был кубинцем

Романс о смешанной крови

Уплывал на Кубу дед мой,
сын оливок и пшеницы;
возвратился с дальней Кубы
мой отец бронзоволицый.
И в Испании с рожденья
я в крови своей носила
привкус кофе и колосьев,
тростника и апельсина.
Два зрачка моих, горящих
в ожидании восхода,—
светлячок карибской ночи
и свеча у эшафота.
И губам моим спаленным
петь и плакать неустанно
о земле, где я скитаюсь,
и о той, обетованной.
Потому что там, на Кубе,
перед пулями не дрогнув,
люди грудью пробивают
долгожданную дорогу.
Потому что в новых ранах
грудь испанского народа,
и опять он рвет поводья,
обескровлен и запродан...

В сердце — тернии и крылья,
свет и сумрак в нем клубится:
я испанка по рожденью,
но по крови — дочь кубинца.

Перевод АНАТОЛИЯ ГЕЛЕСКУЛА

ХАЙМЕ ХИЛЬ ДЕ БЬЕДМА

18 апреля (во время вторжения)

Солнце в стаканах. Газеты на столиках.
Входят, выходят. Все многолюдней.
Завтрак в одной из мадридских закусочных
в один из будней.

А в этот час в рассветающей Сьенаге
воздух гудит, сотрясенный боями.
Ищу в строках хоть немного надежды,
идущей не из Майями.

Куба в объятиях утренней свежести,
когда не жгуча лучей позолога,—
пускай рожает земля твоя танки,
пусть скроют небо твои самолеты.

Куба, с тобою — народ из закусочных
и из трамваев, с твоими сынами,
каждый, кто ищет немного надежды,
идущей не из Майями.

Перевод М. САМАЕВА

АНХЕЛЬ КРЕСПО

Куба, извлеченная изнутри

Что ни день, я выдумываю тебя,
соединяя вместе
увечные новости,
обрывки последних известий, изъеденных страхом,
газетные строки,
уроки
истории и географии, где даже имя Марти
держали от нас взаперти.

Составляю
твое смуглое тело
из случайной страницы,
из того да из этого,
из были и небылицы,
из пожелтелой открытки —
в шкатулке дедовой
с прошлого века она хранится
с полулирой залива и лицами
босых гуахиро.

Тебя собираю из кинокадров,
подобранных мною в соседнем кино;
среди поцелуев, еще и опять поцелуев,
и подержанных модных красоток,
само собой,
и янки — холеных и бойких боев,—
я выбрал, я выкрал твои королевские пальмы,
твои закатные краски
и людей с твоею судьбой —
они колыхались в пляске,
как тростник на ветру, как прибой.

Когда же выйду на воздух, и омоюсь вечерним теплом,
и стряхну с себя пыль непременных любовных историй,
ты вдруг померещишься мне кораблем
заякоренным среди моря,—
он тяжел от плодов, и его залила
ветра синяя паточная смола.
И вошло у меня в обычай:
чуть припомню тебя — замурлычу
песенку дядюшки Аполинара
(он в горах стережет кролей
с тех незапамятных дней,
как вернулся с кубинской войны).
Научил меня старый
этой песне в тени пышнолистого дуба —
о тебе, о тебе она, Куба.

. . . . . .

Запою и почудится — стоит на цыпочки встать,
до твоих берегов можно с берега взглядом достать
и услышать, прислушавшись, за океаном, в Гаване,

океан человеческого ликованья,
Да и разве почудится? Пусть далека ты —
я ведь тоже среди твоих
на стенах расклеиваю плакаты,
срубаю тростник, кирпичи таскаю...
Я к тебе на удачу по морю пускаю
этот мой стих.

Пусть же чайки, меч-рыбы,
альбатросы, лососи
принесут к берегам твоим полноголосье
строк свободных,
покинувших голос среди
затхлой грязи, камней и стесненья в груди.

Перевод М. САМАЕВА

ГАБРИЭЛЬ СЕЛАЙЯ

Спасибо, кубинцы

Когда корабли Шестого флота
позорят порты моей страны —
о Кубе думаю.

Когда реакторы янки взрываются
и отравляют наш воздух —
О Кубе думаю.

Когда захватчик, топча нашу землю,
красными нас величает —
о Кубе думаю.

Но
кубинский народ дает
дыханье надежде — поэтому
верю в Испанию.

Но
мечта Фиделя вперед
на века залетает — поэтому
верю в Испанию.

Но
возможно все, если сердце
цепи страха порвет — поэтому
верю в Испанию.

Спасибо, кубинцы.
Товарищи, братья —
мы с вами.

Перевод М. САМАЕВА

КРИСТА ВОЛЬФ

РАСКОЛОТОЕ НЕБО

РОМАН

Перевод с немецкого
И. КАРИНЦЕВОЙ и Н. КАСАТКИНОЙ

Лето в тот год было прохладное и дождливое, а теперь, на пороге осени, город утопал в знойном мареве и дышал как-то особенно бурно. Дыхание густыми клубами вырывалось у него из сотни заводских труб и, обессилев, повисало в чистом небе. Люди, давно привыкшие к задымленному небу, вдруг стали его ощущать как нечто непривычное и тягостное, да и вообще старались поначалу свалить свою внезапную тревогу на самые отвлеченные предметы. Воздух давил их, вода — эта проклятая вода, испокон веку вонявшая химией,— казалась горькой на вкус. Только земля еще носила их и будет носить до последнего часа.

Итак, мы вернулись к повседневной работе, которую ненадолго прервали, чтобы прислушаться к спокойному голосу громкоговорителя или, скорее, к беззвучным голосам надвинувшихся угроз, ибо каждая из них несет смерть в такие времена. На этот раз угрозы удалось отвратить. На город упала было тень, теперь же он снова отогрелся и ожил, снова рождал и хоронил, дарил жизнь и поглощал жизни изо дня в день.

Итак, возобновим прерванные разговоры о свадьбе, о том, справлять ли ее на рождество или отложить до весны, о новых зимних пальтишках для ребят, о болезни жены и о том, что на заводе новый директор. Кто бы подумал, что все это может быть так важно?

Мы опять приучаемся спать спокойно. Мы живем полной жизнью, как будто ее, этой удивительной жизненной силы, у нас избыток, как будто конца ей быть не может.

I

В эти последние августовские дни 1961 года в тесной больничной палате на окраине города приходит в себя юная девушка, Рита Зейдель. Она не спала, она была в обмороке. Открыв глаза, она видит, что уже вечер и что чистая белая стена, куда прежде всего падает ее взгляд, стала почти совсем серой. Хотя Рита здесь впервые, она сразу же вспоминает, что́ с ней было и сегодня и перед этим. Она была очень далеко. У нее еще сохранилось смутное ощущение каких-то далей и глубин. Но вот она вынырнула из беспросветного мрака и снова перед ней ограниченный скупыми пределами свет. Да, город. Еще у́же: завод, сборочный цех. Та точка на рельсах, где я упала. Значит, кто-то успел остановить

оба вагона, ведь они справа и слева катили на меня, прямо на меня. Больше я не помню ничего.

К постели подходит медицинская сестра, она заметила, что девушка очнулась и обводит палату на удивление безразличным взглядом. Сестра окликает ее негромко и ласково.

— Вот вы и поправились,— веселым тоном говорит она.

Рита молча поворачивается к стене и начинает плакать; плачет, не переставая, всю ночь напролет, и, когда утром к ней входит врач, она не в состоянии произнести ни слова.

Но врач и не собирается ее о чем-то спрашивать, он и так может все прочитать в истории болезни. Пострадавшая Рита Зейдель — студентка, во время каникул работает на заводе. Она ко многому не привыкла — например, к духоте в вагонах, только что вышедших из сушилки. Вообще-то запрещается работать в сильно нагретых вагонах, но что будешь делать, когда работа не ждет. И ящик с инструментом весит килограммов тридцать пять, а она тащила эту тяжесть до самых путей, где как раз маневрировали вагоны, и тут упала прямо на рельсы. Ничего удивительного — такая тростинка. А теперь вот ревет, это тоже вполне понятно.

— Шоковая реакция,— говорит врач и прописывает успокаивающие уколы. Но дни идут, а Рита все так же не выносит, когда с ней заговаривают, и врач начинает теряться. Ему очень хочется расправиться с молодчиком, который довел эту хорошенькую и легко ранимую девушку до такого состояния. Он не сомневается, что только любовь могла так потрясти юное существо.

Из деревни вызвали мать Риты, но она беспомощна перед непонятным ей горем дочери и ничего не может объяснить.

— Это все от учения,— говорит она,— я знала: оно ей не под силу. Мужчина? Навряд ли, прежний — ученый-химик — полгода как уехал.

— Уехал? — переспрашивает врач.

— Ну да, в общем, понимаете... удрал.

Девушка получает цветы: астры, георгины, гладиолусы — красочные пятна на бледном больничном фоне. К ней никого не пускают, но однажды вечером приходит мужчина с букетом роз и не желает уходить. Врач уступает. Быть может, одно покаянное посещение разом исцелит всю скорбь. Коротенький разговор в его присутствии. Но на любовь и на прощение ни намека, это сразу заметишь хотя бы по взглядам. Речь идет о каких-то вагонах — на кой черт они сейчас! — а через пять минут гость вежливо прощается. Врач узнает, что это был новый директор вагоностроительного завода, и обзывает себя болваном. Но он не может отделаться от ощущения, что этот молодой человек больше знает о больной Рите Зейдель, чем родная мать, чем он сам, лечащий врач, чем все остальные посетители, которые повалили теперь гурьбой.

Она никому не признается, что ей страшно закрыть глаза. Ей сразу же представляются оба вагона — зеленые, черные, огромные. Если их толкнуть, дальше они сами катятся по рельсам — таков закон и так это задумано. Они выполняют свое назначение. А где они встретятся, там лежит она. Там лежу я.

И она опять начинает плакать. В санаторий! — говорит врач. Она ничего не желает рассказывать. Пускай выплачется, пускай успокоится окончательно, пускай забудет обо всем. Она достаточно окрепла, чтобы доехать поездом, но завод присылает за ней машину. Перед отъездом она благодарит врача и сестер. Все к ней расположены, а если она ничего не желает рассказывать — это ее дело. Всего хорошего.

Пережитое ею банально, а кое в чем и постыдно, думает она. Впрочем, это уже в прошлом. Остается преодолеть одно навязчивое ощущение. они катят прямо на меня.

2

Он сразу заинтересовал меня, когда приехал к нам в село два года назад. Манфред Герфурт. Поселился он у своей родственницы, у которой ни от кого не было тайн. Так и я вместе со всеми прочими очень скоро узнала, что молодой человек—ученый-химик—приехал сюда отдохнуть. Перед диссертацией, которая потом заслужила оценку «С отличием». Я сама видела.

Но не будем забегать вперед.

Рита с матерью и теткой жила в крохотном домике на опушке леса и как-то утром, ведя велосипед в гору к шоссе, увидела, что молодой химик, голый по пояс, поливает себе грудь и спину из насоса во дворе своей двоюродной сестрицы. Рита посмотрела на синее небо, как бы проверяя, способно ли оно дать отдохновение переутомленной голове.

Ей нравилось родное село: расположенные кучками красноверхие домики, а вокруг лес, луг и поле в такой правильной пропорции, какую не придумаешь нарочно. Вечером прямая, как стрела, дорога вела из темной конторы районного городка в самую середку заходящего огненного шара, и по обе стороны были разбросаны поселки. Как раз там, откуда шла тропинка к ее родному селу, у единственной на всю округу растрепанной ветлы стоял этот самый химик, подставляя вечернему ветерку свои короткие вихры. Одна и та же сила гнала ее домой в село, а его к этому шоссе, которое выводит на автостраду и, если угодно, на все дороги мира.

Завидев ее, он снимал очки и принимался тщательно протирать их краем рубахи. А затем она видела, как он направляется к синеющему вдали лесу,— высокий, худощавый, с непомерно длинными руками и узкой, строго очерченной юношеской головой. Заманчиво было бы сбить с него спесь! Заманчиво посмотреть, каков он на самом деле! От одной этой мысли мурашки пробегали у нее по телу. Уж очень это было заманчиво.

Однако в воскресенье вечером на танцах в ресторанчике он показался ей старше и строже, и она оробела. Весь вечер он наблюдал, как она кружится с местными парнями. Начался последний танец, в зале уже пооткрывали окна, и от струй свежего воздуха раздалась дымовая завеса над головами трезвых и подвыпивших. Тут только он подошел к ней и вывел ее на середину зала. Он танцевал хорошо, но без увлечения, оглядывал других девушек и отпускал замечания по их адресу.

Она знала, что завтра рано утром он уезжает домой в город. Она знала: он из тех, кто способен ничего не сказать и не предпринять. У нее защемило сердце от страха и досады. И вдруг, глядя ему прямо в насмешливые и скучающие глаза, она спросила:

— Скажите, очень трудно стать таким, как вы?

Он только прищурился в ответ, не говоря ни слова, стиснул ей локоть и увел из зала. Молча пошли они по деревенской улице. Рита сорвала георгин, свисавший над каким-то забором. По небу покатилась звезда, но Рита не задумала желания. С чего он начнет? — гадала она.

Вот они уже у калитки. Медленно прошла она те несколько шагов, которые вели к крылечку,— с каждым шагом ей становилось все страшнее. Вот она уже взялась за дверную ручку, холодную и бездушную, как долгая одинокая жизнь, и тут он скучающим и насмешливым тоном произнес ей вслед:

— Могли бы вы влюбиться в такого, как я?

— Да,— ответила Рита.

Ей уже не было ни чуточки страшно. Его лицо выделялось в темноте светлым пятном, и таким же он, верно, видел ее лицо. Дверная ручка потеплела от ее ладони за ту минуту, что они простояли тут.

Потом он тихонько кашлянул и ушел. Рита спокойно подождала на крыльце, пока не заглохли его шаги.

Ночью она не спала ни минуты, а с утра стала ждать от него письма, удивляясь такому повороту событий, но ничуть не сомневаясь в их исходе. Письмо пришло через неделю после деревенской танцульки. Первое письмо в ее жизни среди вороха деловых писем, которые приходили в контору и к ней не имели ни малейшего отношения.

«Милая золотистая красавица» — так обращался к ней Манфред. Посмеиваясь над самим собой, он подробно описывал ей всю гамму тонов от золотистого до темной бронзы, с первой минуты поразившую его в ней, хотя девушки давно уже перестали чем бы то ни было его удивлять.

Девятнадцатилетняя Рита часто становилась в тупик оттого, что не умела влюбляться, как другие девушки, а тут, чтобы прочитать такое письмо, обошлась без особой науки. Оказалось, что все девятнадцать лет все желания, поступки, мысли, мечты были только подготовкой именно к этому мгновению, именно к этому письму. Откуда-то вдруг обнаружилась уйма опыта, накопленного не ею самой. Как всякая девушка, она не сомневалась, что никому никогда не было и не будет дано испытывать те чувства, которыми полна сейчас она.

Рита подошла к зеркалу. Она была пунцовой до самых корней темно-бронзовых волос и при этом улыбалась по-новому застенчиво, по-новому самоуверенно.

Она знала, почему нравится ему сейчас и будет нравиться всегда.

3

С пяти лет Рита знает, что нужно всегда быть готовой к полному перевороту в жизни. Смутно припоминается ей раннее детство в голубовато-зеленом холмистом краю, вспоминается увеличительное стекло в глазу у отца, кисточка у него в руке, проворно и ловко наносящая тончайший узор на кофейные чашечки, из которых на памяти Риты никто никогда не пил.

Ее первое большое путешествие почти совпало с концом войны, когда в толпе растерянных, разъяренных людей она навеки покидала Богемские леса. Мать знала, что в одном из среднегерманских сел живет мужнина сестра. В ее-то дверь они и постучались однажды вечером, как потерпевшие кораблекрушение. Их приютили, дали кров и стол, тесную комнатку для матери, каморку для Риты. И хотя первое время мать без конца твердила: «Тут я не останусь ни за что!» — они тем не менее остались, связанные общей бедой и бессмысленной надеждой, что когда-нибудь в этот скромный, но верный приют все-таки придет письмецо от отца, пропавшего без вести на фронте.

Надежда постепенно рассеивалась, уступая место скорби, потом горестным воспоминаниям, а годы шли и шли. В этом селе Рита обучилась грамоте, затвердила считалки местных ребят, выдержала все обязательные испытания храбрости у ручья.

Тетка была хмурого, педантичного нрава; прожитая в этом домике жизнь принесла ей и радость и горе, до последней капли высосала из нее какие бы то ни было порывы и под конец погасила даже зависть. Она отстаивала права собственности на обе комнаты и каморку, но девочку по-своему любила.

Рита и не подозревала, как тяжко было матери делить любовь дочки и место у очага. Рита была привязчивым, общительным ребенком, каждый ласково обходился с ней, каждый считал, что видит ее насквозь. Но о том, что ее по-настоящему радовало и по-настоящему мучило, она

не рассказывала никому. Молодой учитель, приехавший в их село, видел, что она часто бывает одна. Он стал давать Рите книги и брал ее с собой на прогулки по окрестностям. Он знал, чего ей стоило бросить школу и поступить на службу, но разубедить ее было невозможно. Ради нее мать работала в поле, а потом на текстильной фабрике. Теперь же, когда она прихварывает, обязанность дочери — заботиться о ней. «Вы еще успеете намучиться»,— говорил учитель. Он был искренне возмущен. Рите всего семнадцать лет. Упрямство — вещь хорошая, когда нужно побороть самого себя, но далеко на нем не уедешь. Одно дело — мужественно принять неприятное решение, даже принести жертву, и совсем другое дело — изо дня в день корпеть в тесной конторе. Да еще в полном одиночестве — много ли нужно служащих сельскому отделению соцстраха?

Энтузиаст-учитель в свое время поддержал ее запросы: она ждала чего-то необычного — необычайных радостей и горестей, необычайных событий и откровений. Все в стране беспокойно метались, рвались куда-то. Ее это не удивляло (она не знала, что может быть иначе), но где же тот единственный, который поможет отвести частицу этого гигантского потока в русло ее ничтожного и такого важного существования? Кто даст ей силы внести поправку в прихоть слепого случая? Она с испугом замечала, что начинает привыкать к однообразному течению дней.

Снова наступила осень. В третий раз придется ей наблюдать, как опадают листья с двух ветвистых лип под окном конторы. Жизнь этих лип бывала ей иногда понятнее, чем ее собственная.

Весь день Рита работала, а вечерами читала романы; постепенно ею овладевало ощущение никчемности.

Тут она встретилась с Манфредом, и у нее на многое открылись глаза. В этот год листья с деревьев опадали пестрым фейерверком, а почтовый грузовик иногда ужасно запаздывал — на целых пять минут. Прочная цепь мыслей и чаяний снова привязывала ее к жизни. Она больше не грустила, если даже подолгу не видела Манфреда. Скуки как не бывало.

Он написал, что приедет на рождество. Она встретила его на станции, хотя он и просил не встречать.

— Вот она, моя золотистая красавица! — воскликнул он.— И мех на шапочке золотистый, как в русских романах.

Они прошли несколько шагов до остановки и стали ждать автобуса у какой-то витрины. Сразу же выяснилось, что в письмах легко называть друг друга на «вы» и все-таки быть вполне откровенным, в действительности это куда труднее.

— Вот видите,— начал он, и ее на миг обуял страх, не разочаровала ли она его раз и навсегда,— этого я и хотел избежать. Очень приятно стоять в снежном месиве, глазеть на лейки и детские ванночки и не знать, как быть дальше.

— Почему же? — подхватила Рита. В его присутствии она умнела молниеносно.— Пусть роман идет свои ходом.

— То есть? — с интересом спросил он.

— Например, героиня скажет герою: давай сядем в голубой автобус — кстати, он показался из-за угла. Я провожу тебя до дому, потом ты пойдешь со мной к моим родным — они ведь до сих пор не знают, что ты существуешь. А чтобы пригласить тебя на рождественского гуся, им надо с тобой познакомиться. Ну, как? Хватит на первый день?

Она поймала его взгляд в стекле витрины.

— Хватит,— он был приятно поражен,— за глаза хватит. Умница.

Они посмеялись и взобрались в голубой автобус, который остановился у самой витрины. Сперва приехали к его двоюродной сестре, а потом

он пошел с Ритой к ее родным, которые почти не знали о его существовании и долго молча разглядывали его. «Видный мужчина,— думала тетка,— только староват для девочки». «Ученый, химик,— думала мать,— лишь бы женился, ей тогда не знать забот, а я умру спокойно». И обе в один голос произнесли:

— Приходите на рождество отведать жареного гуся.

Когда Рита вспоминает о рождестве в заснеженной деревеньке — в сочельник, как и полагается, выпал снег,— о том, как они рука об руку шли по безлюдной сельской улице, она задает себе вопрос: было ли так когда-нибудь и будет ли когда-нибудь еще? Обе половинки земли сошлись точка в точку, а на стыке прогуливались мы, как ни в чем не бывало.

У ее крылечка Манфред достал из кармана узкий серебряный браслет и протянул ей так несмело, как никогда еще ничего не дарил девушкам. Рита давно поняла, что ей придется всегда быть смелой за двоих. Она сбросила толстые вязаные перчатки прямо в сугроб и приложила ладони к холодным щекам Манфреда. Он замер, глядя на нее.

— Мягкие, бронзовые, пушистые,— прошептал он и сдунул с ее лица прядь волос.

Кровь бросилась ему в голову, он отвернулся.

— Ничего, смотри на меня,— шепнула она.

— Да? — спросил он.

— Да,— ответила Рита.

Его взгляд она ощутила, как удар ножом. Весь вечер она старалась скрыть, что у нее дрожат руки, но он заметил и улыбнулся; ее обидела эта улыбка, и все-таки ей неудержимо хотелось смотреть на него. Пожалуй, она была не в меру оживлена, но мать и тетка то ли никогда не знали, то ли успели запамятовать, как девушка старается скрыть пугающую ее любовь. Они беспокоились об одном — как бы не пережарить гуся.

Под конец разлили вино и выпили друг за друга.

— За ваши экзамены,— обратилась к Манфреду мать,— чтобы все сошло благополучно.

— За ваших дорогих родителей,— пустила тетка пробный шар. Надо же побольше узнать о молодом человеке.

— Благодарю вас,— сухо ответил он.

Рита до сих пор не может без смеха вспомнить выражение его лица. Ему тогда было двадцать девять лет, и он уже раз и навсегда не годился в любящие зятья.

— Мне сегодня снилось, что мы дома празднуем рождество. Отец поднимает бокал и пьет за мое здоровье. А я — конечно, во сне — хватаю со стола тарелки, рюмки и все подряд швыряю об стену.

— Зачем тебе понадобилось пугать людей? — спросила Рита, провожая его до калитки.

Он пожал плечами.

— А чего им было пугаться?

— Твой отец...

— Мой отец — истый немец. В первую войну он потерял глаз и тем избавился от второй. Так он поступает и по сей день: жертвуй глазом, сохранишь жизнь.

— Ты несправедлив.

— Когда он меня не трогает, я не трогаю его. А пить за мое здоровье он не смеет даже во сне. Почему они не хотят понять, что мы, немцы, выросли без родителей?

Новый год они провели на туристской базе в ближнем предгорье. Днем скатывались на лыжах с белеющих склонов, а вечером вместе

с другими туристами — сплошь молодежью — встречали наступающий 1960 год.

Ночью они очутились вдвоем. Рита узнала, как этот насмешливый, холодный человек жаждет потеплеть и забыть о насмешках. Для нее это не было неожиданностью, но все-таки отлегло от сердца, и она даже всплакнула. Мурлыча себе что-то под нос, он пальцами утирал ей слезы, а она барабанила ему в грудь кулаками, сперва потихоньку, потом с остервенением.

— Спрашивается, чего так барабанить? — прошептал он.

Она заплакала еще сильнее. Оказалось, и она была очень одинока.

Позднее она повернула его голову к себе, стараясь в снежном отсвете увидеть его глаза.

— Послушай,— начала она,— а что, если бы ты так и не пригласил меня на последний танец? Что, если бы я не задала тебе тот дикий вопрос? Если бы ты промолчал, когда я была уже на пороге?

— Даже представить себе нельзя,— сказал он.— Впрочем, я все наметил заранее.

4

Такой он бывал всегда — самоуверенный и неуловимый. В одно из редких воскресений, которое они проводили вместе, она спросила его:

— Я, конечно, не первая женщина, которая привлекла тебя?

Она теребила пуговицы на его пиджаке, он поймал ее руки и подумал: «Она говорит о себе — женщина. И думает, что похожа на всех других!» Это растрогало его так же, как раньше потрясало то, что она не похожа на других.

— Да, не первая,— без улыбки ответил он.

Немного погодя она спросила как бы вскользь:

— У тебя было много любовниц?

Он спокойно выжидал, пока она молчала: ей мучительно трудно было задать этот вопрос.

— Порядочно,— признался он.

Она обратила к нему недоумевающий взгляд, но он не шутил.

— Ну что ж,— сказала она,— с тобой к чему хочешь можно привыкнуть.

Он взял ее за подбородок и заглянул в глаза.

— Дай мне слово,— попросил он,— что никогда не будешь ради меня привыкать к невозможному.

Она положила голову ему на грудь, повсхлипывала, посопела, пока он гладил ее, как ребенка, и подумала, совсем утешившись: «Ну чего мне от тебя ждать невозможного?»

Недели между воскресеньями немилосердно тянулись, на его письма порой капали слезинки. Но лицо Риты выразило непритворное удивление, когда мать прямо задала ей вопрос:

— Да ты счастлива ли, детка?

Счастлива? Она чувствовала, что только сейчас живет по-настоящему.

Манфред знавал разных женщин, любивших по-разному, и потому он лучше самой Риты мог определить, в чем особенность ее любви. Проведенная вместе ночь никогда не привязывала его к женщине. В каждую новую встречу он привносил холодок неизбежной разлуки и становился все более равнодушным. А к этой девушке его привязало первое же ее слово, обращенное к нему. Он был сражен, непозволительно потрясен до

самой глубины души. Первое время, пока ничего еще не определилось, он пытался высвободиться, но скоро понял, что это не в его власти.

Как человек по натуре недоверчивый, он всячески испытывал Риту. И она, ничего не подозревая, с улыбкой выдерживала одно испытание за другим. Его подкупало именно то, что она не сознавала своих достоинств и ему приходилось открывать их за двоих. Вместе с тем его бесило, что она пробуждает в нем надежды, которые он успел похоронить. Но в конце концов он все же нерешительно отдался надежде.

— Увы, золотистая девочка, ты еще дитя, а я пожилой человек,— говорил он.— К добру это не приведет.

— Ах, я привыкла, что все люди считают себя хитрее других,— отвечала она,— но уж не настолько я проста, чтобы выпустить из рук человека, который меня соблазнил.

— Я тебя погублю,— говорил он.

— Лучше ты, чем другой,— отвечала она.

Да, это было так. Вся жизнь была перед ними, и они могли ею распорядиться как хотели. Все было возможно, невозможным казалось только потерять друг друга.

В начале марта к ним в район явился представитель учительского института, тощий черноволосый мужчина с объемистым портфелем, в котором хранилось все, что ему могло понадобиться. Так как для него не нашлось свободного помещения, кто-то надумал устроить его в конторе у Риты, и ее попросили, чтобы она помогла ему по письменной части.

Рита с любопытством наблюдала за его деятельностью. Весь день он был в бегах, иногда звонил ей и сообщал, где сейчас находится. А вечером приносил две-три заполненные анкеты будущих студентов учительского института и вручал их Рите с соответствующими пояснениями.

— Бригадиры — мои завзятые враги. Хоть бы одного человека отпустили добровольно! И что вы думаете? Мне сегодня попался на удочку сам бригадир.

Он вешал плащ на крючок и уже больше никуда не торопился. Равнодушно выслушивал он очередное сообщение о том, как его поносят местные руководители — они даже специально ходили к Рите в контору жаловаться на нехватку рабочей силы, будто она могла им чем-нибудь помочь. Эрвин Шварценбах даже не думал оправдываться. Усевшись, он закуривал и начинал разговор о всякой всячине — Рита диву давалась, почему даже газета становится интересней, когда он читает ее.

Рита теперь всегда опаздывала домой и с каждым днем пребывания Шварценбаха становилась все беспокойнее. Впервые она воочию видела, как чья-то рука направляет судьбы простых людей. «Как, и тот? — изумлялась она про себя.— И те двое?» Значит, нужно было, чтобы откуда-то издалека явился такой вот здравомыслящий человек, как Шварценбах, и без малейшего труда обнаружил необыкновеннейшие возможности в самых обыкновенных людях.

— Двадцать,— объявил Шварценбах в предпоследний вечер.— Неплохо для одного района.

— Девятнадцать,— поправила его Рита, заглушая в себе какое-то сосущее разочарование.

— Двадцать,— повторил он и так же невозмутимо протянул ей через стол анкету. Анкета не была заполнена, но в первой графе его рукой была проставлена ее фамилия.

«Ах, это я»,— подумала она и вовсе не была так уж поражена.

— О чем вы задумались? — спросил Эрвин Шварценбах после паузы, во время которой в комнате стояла непривычная тишина.

«Мне всегда хотелось иметь младших братьев и сестер...— думала

Рита.— И Манфред... Его институт в том же городе...» Она думала о поездах и уличных шумах и вдруг представила себе бледное лицо своего школьного учителя — где-то он сейчас? — представила себе учебники, городские огни, детский запах, а под конец — целый выводок ребят, возвращающихся из лесу и поющих: «Тра-ла-ла, весна пришла, весна пришла».

— Мне страшно,— призналась Рита.

Шварценбах кивнул: оказалось, что у него могут быть очень понимающие глаза. «Значит, я правда подхожу»,— подумала она.

— Я не могу.

— Можете,— сказал Шварценбах.— Вы-то можете. Кто же, если не вы? Пишите-ка скорее автобиографию, а я на день раньше вернусь домой и наверстаю те вечера, когда обхаживал вас, как жених.

Рита ничего не делала сгоряча, но важные решения принимала мгновенно. За то время, пока она рассеянно шарила в поисках ручки, ей удалось убедить себя, что такой поворот судьбы не случайность — он был неизбежен. Ведь она ждала этого давным-давно. Рано или поздно нечто подобное должно было произойти. И это еще крепче свяжет их с Манфредом. Не будь его, у нее ни за что — ну ни за что на свете! — не хватило бы духу принять такое решение.

Когда она начала писать, ей стало стыдно, что вся ее жизнь занимает полстраницы. Надо бы каждый год приписывать к своей биографии хоть одну строку, но такую, которая бы этого заслуживала. Пускай впредь так и будет, решила она.

Эрвин Шварценбах пробежал листок глазами и сунул его в портфель.

— Мы скоро увидимся,— на прощание сказал он.

Он был доцентом в учительском институте.

Те два часа, которые предшествовали возвращению Риты домой и поднявшейся там суете, были самыми примечательными в ее жизни. Неужели это все тот же день, навстречу которому она ехала утром по шоссе? Неужели это все тот же поросший травой и набивший оскомину городок? Рита кланялась направо и налево тем же людям, которых встречала каждый день; сегодня она оглядывалась им вслед.

Они ничего не знали. Ни одна душа не знала ничего, кроме нее и того человека, которого уносил отсюда поезд. Значит, бывает такое, чтобы кто-то пришел и попросту сказал: брось ты это, начни все по-другому. Раз такое бывает, значит, все возможно — любые чудеса и любые подвиги. Вот этот сонный городишко мог встрепенуться и с края света переместиться в самую его середину. Кто скажет, какие важные вопросы будут когда-нибудь решаться в затхлых каморках его контор?

Рита ехала на велосипеде по прямому, как стрела, шоссе, а впереди медленно скрывались за лесом последние отблески мартовского дня. Сколько бы ни предстояло ей в будущем ездить по этому шоссе — сегодня она торжественно прощалась с ним.

Прежде чем сумерки сгустились окончательно, равнина, плавно поднимавшаяся и опускавшаяся по обе стороны дороги, вдруг удивительным образом посветлела. Ярче проступили белые пятна снега на буром море пашен. Завтра первое теплое дуновение западного ветра растопит их и взамен проступят другие, более жесткие очертания. На миллиметр от поверхности земли притаились в ожидании подснежники.

Рита улыбнулась. Как все это ей знакомо. Словно частица ее самой! Спасибо за каждый птичий крик, за прохладу реки, за утреннее солнце, за тень под деревьями знойным летом. Она поехала быстрее. Кто сказал, что я слабая? Нет, нет, я поеду в город. И мы еще себя покажем.

Она была очень хороша, когда приехала домой, лицо горело от быстрой езды и светилось изнутри. Мать по привычке переполошилась: житейский опыт научил ее, что все новое хуже старого. От рассказа Риты она ударилась в слезы, но, как всегда, собственное огорчение приписала другим. Что на это скажет Манфред? — ужасалась она. За свой брак она когда-то дрожала куда меньше, чем за предстоящий союз дочери.

Узнав о самовольном решении Риты, тетка разобиделась и, не сказав ни слова, ушла к себе.

«Никто не желает меня понять,— писала Рита Манфреду, порвав первое сбивчивое письмо.— Я непременно хочу стать учительницей. Больше мне сказать нечего. Надеюсь, хоть ты-то меня понимаешь?»

Он ответил довольно сдержанно: трудно, по-видимому, предугадать, какой фортель она выкинет завтра. Придется исподволь приучаться к этому. Впрочем, она может поселиться у него, вернее, у его родителей. «Но ты вряд ли долго вытерпишь. Верь мне, моя золотистая девочка, ты совсем не знаешь жизни».

5

Манфред совершенно точно знал: есть такой вид усердия, который оставляет равнодушным самого усердствующего. И лишь теперь, когда он уже не мог быть равнодушным, у него возник вопрос: что со мной происходило? И откуда пошло это безразличие ко всему на свете? Почему никто не вразумил меня? Неужели надо было, чтобы явилась эта девушка и спросила: «Трудно стать таким, как вы?»

С непривычным воодушевлением окунал он пучок искусственного волокна в разноцветные жидкости, непрерывно меняя их состав, проделывая с ними хитроумные опыты, отбирая самые лучшие и стойкие красители для следующей, более усложненной серии опытов.

Его работа приближалась к концу. Еще недавно он никак не представлял себе свою дальнейшую жизнь. О чем мечтать после того, как будет пройден этот рубеж? Какую поставить перед собой новую цель?

Теперь же планов было хоть отбавляй. Ему рисовались заводские цехи, помещения, наполненные удушливыми парами. Он был уверен: прекраснее их нет на свете, потому что в них по его методу окрашивается волокно. Сам он в белом халате переходит от котла к котлу, рассматривает образцы, проверяет состав растворов. Его ценят, как знающего и незаносчивого человека. Да, раньше он называл скромность недомыслием, а сейчас вдруг стал воспринимать ее как похвальное свойство.

Но вот пришло письмо от Риты: «Я буду учительницей». Что же это такое? Именно теперь? И со мной не посоветовалась! Я приду домой, а тут школьные тетрадки, неуспевающие ученики, родители с жалобами! И проблемы воспитания. В нем шевельнулось ревнивое чувство: она будет жить не только мною.

«Она не выдержит»,— тут же подумал он. При ее чувствительной натуре стоит раз-другой столкнуться с действительностью, как все это опостылеет ей! В таком духе он и ответил на ее письмо. Она уже вынуждала его к уступкам, и он раздражался. А раздражение порождало близорукость. Прежде всего нельзя отпускать ее от себя. Поэтому он сухо осведомил мать о существовании Риты и настоял на том, чтобы ей отдали его комнату. Сам он уже давно жил в мансарде под крышей.

Мать яростно сопротивлялась, не желая брать к себе в дом девушку, отнимающую у нее сына. Он заранее предвидел все возражения, ее плаксивая физиономия тоже не была для него новинкой. Он холодно смотрел на нее, пока она не выговорилась, а затем сказал:

— У меня на это свои соображения. Надеюсь, она все-таки не сразу сбежит от нас.

— Как ты можешь так говорить!— вскипела мать. Но тут же смирилась под его взглядом. Она привыкла к его холодной замкнутости и неуступчивости во всем, что ему было важно. Она благодарила судьбу хотя бы уже за то, что в последнее время, с тех пор как Манфред окончательно охладел к родителям, отец и сын перестали давать волю взаимной ненависти.

В прохладное апрельское утро Манфред показывал квартиру родителей своей будущей жене, только что въехавшей к ним.

— Это мой прижизненный склеп, он включает в себя четыре гроба: гостиный, столовый, спальный и кухонный.

— Почему ты так говоришь?— спросила Рита, хотя на нее с первого взгляда угнетающе подействовала и уединенная аристократическая улица, и старинный особняк, и чопорные полутемные комнаты.

— Потому что, с тех пор как я себя помню, жизнь сюда не вхожа,— ответил он.

— Но твоя комната довольно светлая,— утешила себя Рита. Ей, видимо, придется крепко держать себя в руках, чтобы ее решение не зачахло здесь, чтобы его не засосала старинная, чуждая обстановка этой квартиры.

— Брось,— прервал он.— Пойдем, я тебе покажу, где мы будем жить на самом деле.

И вот они уже стоят на пороге его чердачной комнатки, и Манфред искоса смотрит на Риту — понятно ли ей, что́ для него значит эта неприглядная каморка?

— Нда,— протянула она, обводя неторопливым взглядом письменный стол у одного из узких окошек, тахту, стенные полки с мрачными, беспорядочными рядами книг, несколько красочных литографий на стене, какие-то химические приборы по углам. Не в ее привычках было задавать вопросы. Так и теперь она спокойно — только, пожалуй, чересчур пристально — посмотрела на него.

— Очевидно, мне придется заботиться о цветах.

Он привлек ее к себе.

— Ты хорошая,— без улыбки сказал он,— лучше девушек не бывает. За это я буду по вечерам угощать тебя здесь замечательными салатами, а зимой мы будем поджаривать на печке ломтики хлеба.

Они расхохотались и подняли веселую возню, а потом усталые лежали рядом в ожидании ночи. Весна вступала в свои права под резкий свисток паровоза, который долго звучал над речной долиной и заглох где-то вдали. Чердачная комнатка вместе со всем хламом и с обоими своими обитателями превратилась в гондолу гигантских качелей, которые были подвешены к какой-то точке иссиня-черного небосвода и раскачивались такими широкими равномерными взмахами, что ощутить их можно было, только закрыв глаза.

Оба закрыли глаза.

Вот они взлетели к первым звездам и вслед за тем чуть не коснулись городских огней дном своей гондолы, а потом взвились сквозь мрак к тоненькому желтому серпу месяца. С каждым взмахом в небе становилось все больше звезд и больше огней на земле, и этому не было конца, пока у них не закружились головы; тогда они ухватились друг за друга и, по примеру всех влюбленных на свете, молчаливыми ласками старались друг друга успокоить.

Мало-помалу внизу погасли огни, за ними вверху погасли звезды, и под конец от багрово-серой утренней зари поблек месяц.

Они стояли вдвоем у окна, ветер обдувал их. Сверху они видели, как медленно выплывает из сумрака ночи кусок города, купы деревьев, полоска реки... Они тоже вынырнули из сумрака ночи, посмотрели друг на друга и улыбнулись.

6

Удержится ли эта улыбка? Не слишком ли много опасностей обступило ее? Не вытеснит ли ее натянутый смех — симптом непоправимого одиночества?

Улыбка держалась долго, даже затуманенная легкой пеленой слез. Она держалась, как таинственный знак, понятный только нам двоим: ты здесь? И улыбка отвечала: а где же мне быть еще?

Санаторий бел какой-то мертвенной белизной. В день приезда Риты на дворе было еще по-летнему тепло, но это запоздалое лето способно только нагнать тоску. Листья облетают при малейшем ветерке. Что за радость от такой красоты, которой вот-вот придет конец?

Спокойная сдержанность нового доктора вызывает у Риты вялую улыбку. Неужели у него нет ни капли любопытства? Увидим, времени достаточно. И совсем не важно, где провести ближайшие недели. А ведь где-то, должно быть, творятся важные дела. И когда-нибудь, должно быть, удастся включиться в них. А пока что вечером надо взять из рук сестры стаканчик, от которого разит эфиром, выпить его одним махом, лечь опять на подушку и дожидаться, чтобы пришел сон. Сон придет непременно и продлится до утра...

Открыв глаза, Рита видит перед собой лужайку, усеянную красными маками. У подножия крутого склона, где красный цвет положен гуще всего, идет хрупкая женская фигурка с раскрытым миниатюрным зонтиком, рядом — ребенок, так же, как она, весь в оборках и воланчиках. Сверху, откуда-то издалека, спокойно шествуют другие человечки, которым, видно, тоже хочется полюбоваться лужайкой с маками. На заднем плане лужайку замыкает ряд деревьев, а между деревьями виднеется квадратный белый домик с красной крышей, какие любят рисовать дети. Небо, очень естественной, поблекшей от зноя голубизны, усеяно теми облачками, которые всем нам запомнились с детства, а потом почти не попадались на глаза. Человечки на картине тоже не смотрят вверх и не видят этих облачков, а теперь и время упущено. Они умерли сто лет назад, как и сам художник, но он-то успел все это увидеть.

А я, если захочу, могу подойти к окну и увижу небо с облаками поверх высоких деревьев старого парка. В этом преимущество живых — возможно, не очень большое, но все-таки преимущество.

Рита не припомнит, чтобы ей попадались такие усеянные маками лужайки (а сколько она перевидала всяких лужаек!). Сперва эта картина была ей противна своей допотопной слащавостью, но потом она внушила себе, что сто лет назад лужайки и деревья тоже, верно, были не такие, как теперь. О томных дамах и говорить не приходится. Когда же она заметила, что картина меняется в зависимости от освещения, ей это понравилось: ведь так оно бывает и на самом деле. Ее это особенно поразило, когда она впервые очутилась в городе. Она по-настоящему не знала города, только наезжала сюда за покупками или в гости. И теперь ей было интересно решительно все.

Да тут не один, а несколько городов, увидела она. И они вырастали один вокруг другого, точно кольца старого дерева. Она прошла все кольцевые улицы, за несколько часов одолела столетия. Ее тянуло в центр города. Он отнюдь не был предназначен для такого движения и такой уймы народа и трещал по всем швам, когда в него вливался вечерний поток людей, идущих домой, за покупками, с работы. Ей было

забавно, когда ее толкали, когда ее несло куда-то. Став в уголок, она дожидалась, чтобы кругом загорелись огни.

Ей было страшновато. Здесь никому ни до кого нет дела, здесь и заблудиться немудрено, думала она. Молодые парни сидят в трамваях и не уступают места старухам, машины обдают прохожих уличной грязью, в магазинах покупатели от спешки сбивают друг друга с ног, а в больших универмагах продавщиц вызывают к директору через громкоговоритель...

Она проходила по рабочим кварталам, мимо выстроившихся шеренгами безликих многоэтажных домов, останавливалась на перекрестках у мемориальных досок: «Здесь во время мартовских боев 1923 года погиб товарищ...» И многие улицы сразу обретали свою эпоху и свое лицо.

Двести тысяч человек не потому жили здесь, что им так уж нравилось здесь жить. Это можно было прочесть на их лицах, как-то по-особому возбужденных, настороженных, закаленных и усталых. Вряд ли сюда ехали добровольно. Что же гнало их сюда?

Манфред с нетерпением дожидался ее. Она вздохнула.

— Во всем городе ни единого свободного местечка. Разве что где-нибудь на башне...

Он засмеялся и отправился вместе с ней. К этим чуждым, скучным, замкнутым улицам и площадям у него был ключ, имя которому — воспоминание. Он открывал ей этот город со всеми его потаенными красотами и богатствами. А сам подле нее окунался в свои детские и отроческие годы. Он смывал с себя страхи и огорчения, обиду и стыд, что осели в нем еще с полусознательной поры. Даже то, о чем он не говорил прямо — есть такое, чего не выскажешь до конца,— теперь будто свалилось с него, и он ощущал небывалую легкость. Позднее ему не раз вспоминался весенний, омытый частыми ливнями город, лицо Риты на фоне серых растрескавшихся фасадов, жиденький парк, непрерывно снующие мимо людские тени.

И река.

В стремительно сгущающихся сумерках они дошли прибрежной тропкой до последнего дома, у которого река расстается с городом, и повернули обратно. Им вдруг захотелось быть среди людей. Они забрели в малюсенькое, с пятачок, пригородное кино, где шел детский сеанс. Допотопная аппаратура скрипела и рвала ленту, но ребятам это не мешало, и они тоже примирились с этим.

Их заворожило личико парнишки на экране. Умненькое личико, созданное для того, чтобы выражать горе и радость, но не тупость и злобу. Лукавство сменялось на нем разочарованием, отчаяние — восторгом; на нем могли быть следы грязи, голода, покорности, ненависти, и все же оно оставалось чистым и вместе с опытом обретало доброту. Оно стоило любых усилий, любых жертв.

Под конец, когда парнишка, весь дрожа от радостного ожидания, вместе с родителями на открытом грузовике отправляется в лютую стужу навстречу неизвестности,— нараставшее возбуждение разрешилось многоголосым ребячьим вздохом. Дали свет. Манфред увидел, что у Риты лицо мокро от слез и что она никак не может взять себя в руки. Он с недоумением покачал головой.

— Ах ты дитя,— почти сокрушенно заметил он,— что я с тобой буду делать?

7

Ночью погода круто переменилась, ветер повернул на восток, перешел в бурю, и к утру даже подморозило.

В это утро Рита впервые отправилась на завод.

— Счастливо! — крикнул ей вдогонку Манфред.

Как он ни высмеивал ее, она решила сдержать обещание, данное Шварценбаху («В наше время учителю необходимо познакомиться с работой большого предприятия»). Ее устроил отец Манфреда. Он был коммерческим директором вагоностроительного завода.

Она робела, и некому было ее ободрить. Тогда она сама приказала себе: не озирайся по сторонам, шагай прямо. Да гляди в оба. Если что-нибудь сделаешь не так, постарайся не осрамиться второй раз. И чтобы никто не заметил, как ты трусишь. И не жди чужой помощи. До всего доходи сама — слышишь!

Еще дорогой она поняла, что в прошлом ей нечего искать опоры. Деревенское житье куда-то окончательно провалилось, далекое и ненужное. И жалеть о чем-нибудь у нее не было времени. Ее увлек торопливый утренний ритм. Серый, хмурый, холодный рассвет еще только расползался по небу, когда она стояла на трамвайной остановке. Она замерзла и обрадовалась, что может втиснуться в переполненный вагон. Потом стала считать остановки, чтобы не пропустить своей.

С толпой рабочих она направилась к заводу. В длинной оголенной тополевой аллее, упирающейся в заводские ворота, им навстречу рванулся ветер, взметая пригородную пыль. Рабочие заслоняли лица портфелями. Они здоровались окликом или жестом и шли по двое, по трое, разговаривая между собой. Только Рита шла одна, торопливо пробираясь между группами шагающих людей. Она подняла воротник пальто и придерживала его рукой, до половины закрыв им лицо. Ей хотелось избежать удивленных и любопытствующих взглядов. У ворот она оглянулась напоследок. Хилый солнечный луч как раз тронул верхушки тополей, заиграв на первых серебристых листочках. Солнце заодно с ветром и сегодня поработают над ними.

За заводскими воротами времена года определялись продукцией. Впрочем, и вошла-то она не в ворота, а в узенькую дверь и очутилась на заводском дворе, каким его в наше время представляет себе всякий, даже сроду не бывавший на заводе.

Она постаралась запомнить основные вехи — налево, мимо доски с объявлениями («Вагоностроители, обеспечьте выполнение мартовского плана!»). Мартовского? Как же так мартовского? Пересечь по диагонали двор, нырнуть в бездну огромного цеха с полуготовыми скучно-серыми вагонами, оставить справа сварщиков, сыплющих искрами, пройти еще один цех и, наконец, подняться по деревянной лестнице к закуткам, отведенным бригаде столяров.

Она бодрилась до тех пор, пока ее не обступила вся бригада — дюжина мужчин. Бригадир Гюнтер Эрмиш, обычно скорый на решения, не знал, куда ее приткнуть. На что мне это нужно? — со злостью подумала она. Прежде чем потворствовать шварценбаховским выдумкам, надо было еще самой пораскинуть мозгами.

Члены бригады воздерживались от острых словечек, очевидно приберегая их на потом. Сейчас Рите не верится, что она и та недотепа, не знавшая, куда себя девать,— одно и то же лицо. Птенец, от которого так и веяло теплом гнезда, всего лишь за год превратился в бледную большеглазую молодую женщину, и эта женщина мучительно, но прочно усваивает науку смотреть жизни в глаза и взрослеть, не ожесточаясь.

Эрмиш, жилистый, черноволосый мужчина лет тридцати пяти, мгновенно прикинул положение дел в своей бригаде и решил приставить новенькую к Рольфу Метернагелю и Гансхену. Выбор был сделан замечательно, это сразу поняли все. Один слишком стар для Риты, у него самого взрослые дочери — и притом он помешан на работе, другой же слишком молод, не напорист, честно говоря — не очень-то сметлив. Когда они втроем довольно уныло поплелись на свое место, их проводили ехидными ухмылками.

Первые дни разговоров почти не было. Сразу же, разумеется, выяснилось, что Рита понятия не имеет о простейших рабочих навыках. В тесноте вагонных купе и коридоров, в напряженной суете завершающих минут изволь теперь толкаться с ней вдвоем и показывать каждый пустяк, хотя одному куда легче управиться со всем. Она это понимала, но это как раз и нравилось Гансхену. Людей, во всем его превосходящих, было сколько угодно, а тут впервые он тоже мог кого-то поучить.

— Казалось бы, чего проще вставить нажимную раму,— говорил он.— Нет, все требует сноровки.— Сам он работал теперь быстрее обычного.

Рольф Метернагель, часто надолго отлучавшийся, уже через несколько дней говорил ей «дочка», она же робко называла его «господин Метернагель». Его костлявое, изрезанное морщинами лицо сразу внушило ей доверие. Она была вся внимание, когда он учил ее: болт надо держать вот так, а сверло надо прижимать покрепче, иначе отскочит.

Рита мало-помалу начала осматриваться на заводе — в этом скрежещущем захламленном кавардаке, в этом хаосе депо, складов и цехов, где перекрещивались рельсовые пути, сновали вагоны, грузовики, электрокары. Все это было втиснуто в несоразмерно малый треугольник между идущей из города магистралью, другим заводом и железнодорожной колеей.

— Такого количества вагонов, как сейчас, не строили еще никогда,— сказал однажды Метернагель.— Скоро придется громоздить их друг на дружку.

— А может, и не придется,— возразил Герберт Куль, Кулачок, как его прозвали.

— Ты что-то сказал? — сердито переспросил Метернагель.

— Да нет,— равнодушно протянул Куль,— мы ведь прославленная бригада.

— То-то же.

Рита переводила взгляд с одного на другого, но все как ни в чем не бывало закусывали, и никто не собирался ей объяснять, что означает стычка по такому пустяковому поводу. С Гербертом Кулем она еще не обменялась ни словом, его единственного она побаивалась — он никогда не шутил, мало разговаривал и в ее присутствии держался так же, как без нее. «Его ничем не проймешь»,— думала она и радовалась, что не работает с ним вместе. Гюнтер Эрмиш принес газетную статью, где речь шла о них *(образцовая дюжина!),* все подряд прочитали ее, жуя бутерброды, и промолчали; Эрмиш приколол ее к другим статьям на стенке.

Кофе из огромного кофейника отдавало алюминием и нагоняло сон. У Риты ломило спину и плечи, она, как всегда, перетрудилась за утро. Но потом кое-как дотянула до вечернего гудка и медленно, не торопясь пошла по безлюдной тополевой аллее в обратном направлении, спиной к ветру и к солнцу.

Первое время Манфред старался уловить на ее лице признаки разочарования или скуки. Он давно заметил, что у нее не хватает выдержки заниматься бесполезным, с ее точки зрения, делом, зато в мелочах она очень покладистая. Ему доставляло удовольствие подарить ей красивую блузку или показать, какая прическа ей больше к лицу, и она беспрекословно подчинялась его вкусу.

Но постепенно он понял, что к намеченной цели — стать учительницей — она идет так же уверенно, как пошла навстречу ему. Что ж, с этим надо мириться и даже виду не подавать, будто он с чем-то «мирится». Иногда она так уставала, так выматывалась, что ему было ее жаль, а вместе с тем его брала досада на подобную бессмысленную трату сил.

— Развяжись ты с этим,— уговаривал он.

Но она качала головой:

— Развязаться не так-то легко.

— Если хочется, все легко.

— Значит, мне не хочется.

По вечерам вся семья собиралась за большим круглым герфуртовским столом. Господин Герфурт с неизменным азартом развертывал салфетку, точно сигнальный флажок, поднимал крышку супницы и торжественно возглашал:

— Кушайте на здоровье!

Господин Герфурт был все еще недурен собой, высок ростом и строен; волосы, правда, стали жидковаты, но седина лишь слегка пробивалась в них, и стеклянный глаз почти не был заметен. С ним ладить можно, решила Рита, но Манфред явно не терпел отца.

Мать Манфреда с ее обидчивой чопорностью смущала Риту и раздражала сына.

Общей беседы не получалось. Нарочно не придумаешь контраста разительней, чем бурлящее волнение заводского цеха и неустойчивый, но тем более подчеркнутый мертвый штиль за ужином у Герфуртов. То и другое взвинчивало Риту. Для нее загадкой были и неутомимая энергия заводских рабочих и напряженное молчание герфуртовского семейства.

Она, как зрительница, сидела перед рампой, где менялось освещение и декорации, видела игру актеров, и ее преследовала мысль, что это все явления одной пьесы, до внутреннего смысла которой способна доискаться только она.

С Манфредом она об этом не заговаривала. Когда он с беспокойством смотрел на нее, она улыбалась, а когда пробовал спрашивать, отвечала:

— Я всегда помню, что у меня есть ты.

— И это тебе помогает?

— Больше, чем ты думаешь.

Время от времени выдавались удачные дни, когда господин Герфурт нападал на благодарную тему; тогда достаточно было кивать в ответ, приобретая за то исчерпывающие сведения о видах на урожай или о состоянии погоды на европейском континенте.

К несчастью, фрау Герфурт не могла долго слушать разглагольствования своего супруга. Она вклинивалась в его размеренную речь краткими ехидными замечаниями, и это придавало их беседе своеобразный характер диалога из какой-то пьесы.

Обращалась она преимущественно к Рите, но открыто нападать тут не было дозволено, а попросту помалкивать — не в ее характере.

— В наше время девушек готовили к замужеству в пансионе. Теперь их спешат ткнуть на завод, где сплошь чужие мужчины.

Фрау Герфурт очень следила за своей наружностью. Ее седые, коротко подстриженные волосы были красиво уложены, для работы по дому она надевала резиновые перчатки, а шляпки тщательно подбирала в тон костюмам. Мужа она презирала и за тридцать лет супружества, должно быть, накопила для этого достаточно поводов; однако заботилась о том, чтобы с ним не стыдно было показаться в обществе. Под разъедающим воздействием злопыхательства и досады ее лицо загрубело, стало мужеподобным, так что пудра и помада казались на нем противоестественными. Строго следуя овощной диете, регулярно делая зарядку под западногерманское радио, она совсем высохла и держалась прямо, как палка. Никто бы не поверил, что она подвержена истерическим припадкам.

Из-за Риты господин Герфурт, против своего обыкновения, спешил пресечь выпады жены.

— Эльфрида! — кротко взывал он, но его супруга, к несчастью, не стремилась уклониться от сведения счетов.

Пока он в округлых периодах выражал сдержанную укоризну, она с любопытством смотрела на него, словно еще надеялась на чудо, на то, что в его словах будет хоть намек на мысль. Дослушав, она вся оседала, не то удовлетворенная, не то разочарованная, и некоторое время молча ела, а потом изрекала как можно спокойнее:

— Ты, кажется, уже не на работе, Ульрих. Твой партийный значок лежит в гардеробе.

Господин Герфурт мастерски умел делать вид, что не слышит.

Зато как он злорадствовал, когда его супруга пыталась втянуть в разговор сына! Она знала, чем кончаются такие попытки, но из какой-то жажды самоистязания не успокаивалась до тех пор, пока чужая девушка не становилась, в который раз, свидетельницей ее унижения.

Рита со страхом ждала, что Манфред изменится в лице в ответ на любящие и настойчивые взгляды матери. Он холодно смотрел на нее, едва удерживаясь в рамках приличий. Но фрау Герфурт умудрялась подхватить обрывок сорвавшейся у него фразы и до тех пор по-своему толковала и перетолковывала его, пока не превращала в нежное признание любящего сына. Случалось, она даже мужу сообщала: «Мой сын мне сказал...» — настолько часто, должно быть, она и про себя повторяла эти слова.

Но когда ужин кончался, когда они выходили из столовой, сопутствуемые слезливо-обиженными замечаниями фрау Герфурт, и захлопывали за собой дверь, тогда-то из вечера в вечер возобновлялось чудо преображения их чердачной комнатки. Посмеявшись и пожав плечами — о родителях Манфред не говорил ни слова,— оба брались за дело; Рита — за английскую грамматику, чтобы заняться хоть чем-то нужным для ее будущей профессии, а Манфред — за свои формулы.

У него была способность мгновенно погружаться в работу. Он включал старенький осипший приемничек, стоявший на угловой полке, засовывал руки в карманы брюк и шагал взад-вперед по комнате, не выпуская из виду письменный стол, как лиса — добычу. Рита старалась не шевелиться, пока не услышит, как он что-то возбужденно замурлычет себе под нос и станет насвистывать обрывки песенок, звучащих по радио («Ах, открой, открой, свою открой мне тайну»). Это означало, что у него клюет. Все еще неуверенно и как бы нехотя наклонялся он над своими бумагами и вдруг, словно сорвавшись с цепи, принимался что-то искать, расшвыривал по полу таблицы и расчеты. Но вот он нашел то, что ему было нужно, и, проворчав «ага», садился за стол писать.

Рита видела его профиль, сдавленные виски, острый прямой нос, его голову, занятую сейчас не ею. Она догадывалась, что каждый день, прежде чем сесть за работу, он выдерживал мучительную внутреннюю борьбу, преодолевая в себе чувство неполноценности и страх оказаться не на высоте поставленной перед собой задачи. Он, как дитя, робел перед теми научными фактами, которые ему предстояло осветить. Рита и виду не подавала, сколько неожиданного для себя она открывала в нем. А он именно поэтому ничего от нее и не таил.

— Пошло-поехало! — объявлял он немного погодя и грозил ей кулаком за то, что она над ним смеется.

— Что ты сейчас пишешь?

Он прочитывал ей абзац, нашпигованный формулами и латинскими названиями, и она понимающе кивала головой.

— А что это значит на самом деле?

— Что синий цвет твоего будущего пуловера будет красивей, если я его столько-то времени продержу именно в этой, а не в другой жидкости.

— Как это мило с твоей стороны, — говорила она.— По-твоему, мне надо ходить в синем?

— Безусловно. В кобальтово-синем. Ни в чем другом.

Потом она принималась вязать из толстой коричневой шерсти куртку для Манфреда, так же медленно подвигавшуюся к концу, как время — к далекой зиме. Это успокаивало и усыпляло ее. Не спеша тянулись мысли, как по небу облака.

Правду сказать, за последние недели уж очень много всего навалилось на нее — напряженные дни на заводе, томительные вечера за семейным столом и вдобавок жалостные письма от матери из деревни. Но вечером, за английской грамматикой и за вязанием коричневой куртки, она все это отлично приводила в равновесие.

8

— К вам гости,— объявляет однажды под вечер сестра.— В виде исключения — в неурочный час.

И не веря своим глазам, Рита видит, что в палату как ни в чем не бывало входит Рольф Метернагель. Он озирается по сторонам, втягивает голову в плечи, словно боится, что потолок чересчур низок для него, и присаживается к ее кровати.

— Надо же кому-то тебя как следует встряхнуть,— говорит он.

Времени у него в обрез, он ездил на уборку картофеля в северные районы — ну конечно, кому же ехать, как не ему!

— Я очень рада,— говорит Рита, а он ухмыляется.

Немного погодя Рита спрашивает:

— Что нового?

Рольф бросает на нее быстрый взгляд. Ей и в самом деле это интересно?

— Мы теперь вставляем двенадцать окон за смену.

— Вот как! — говорит Рита. И, не придумав похвалы поновее, добавляет: — Недаром вы прославленная бригада.

Оба смеются.

— Оказывается, железнодорожные вагоны самое подходящее для меня дело, — заявляет Рита.— Конечно, на другом заводе я бы тоже прижилась. Но вряд ли что-нибудь может мне быть приятнее, чем свисток нашего паровозика, когда он вечером увозит оба новых вагона. Куда? — думаю я при этом. Куда хочешь — в Сибирь, в тайгу, к Черному морю. Часто я посылаю с ними привет, как-то я вытащила нитку из своего красного платка и привязала к водопроводной трубе — чтобы эта ниточка надежды когда-нибудь потянула за собой и меня...

Но тут у нее на глаза снова навернулись слезы — ей вспомнилось, как Манфред дразнил ее этим платком: «Красная Шапочка, а Красная Шапочка? Когда тебя съест волк?»

— Ты еще не встаешь? — спрашивает Метернагель. Только бы девчонка, чего доброго, не разревелась!

— Встаю. С каждым днем мне лучше,— отвечает она.

— А помнишь, как я тебе рассказывал про нашу бригаду?

— Помню, — отвечает Рита.

Он попросту воспользовался ее интересом к людям. Эту страсть она не может побороть, как другие — страсть к курению. Шварценбах сразу это подметил и потому не сомневался, что уговорит ее учиться. А Метернагель был еще наблюдательнее.

Некоторое время он следил, как боязливо она подходит к членам бригады, словно у каждого при себе заряд динамита. Их это только забавляло. А он подумал: к чему ей повторять все глупости, которые каждый делает поначалу? И занялся ею.

«Слушай, дочка, — обратился он к ней тогда.— Ты знаешь, что мы прославленная бригада?»

«Знаю»,— подтвердила Рита с покорностью, однако покорностью отнюдь не слепой. Она вспомнила о наградах и газетных статьях, где то и дело упоминалось о них, но вспомнила и о стычке между Метернагелем и Кулем.

«Ладно! Самое важное ты знаешь. А вот дай-ка я научу тебя тоже немаловажному делу — как обходиться с прославленными людьми».

Она убедилась в том, что бригада — это маленькое замкнутое государство. Метернагель назвал ей тех, кто здесь командует, и тех, кем командуют, объяснил, кто руководит, а кто исполняет, кто ораторствует. а кто возражает, кто с кем открыто или тайно дружит, кто с кем открыто или тайно враждует. Он обратил ее внимание на подводные течения, которые угрожающе пробиваются на поверхность в резком слове, в неосторожном взгляде, в пожатии плеч.

Мало-помалу она вошла в жизнь бригады.

— А все-таки объясни мне, откуда ты это знал? — спрашивает она сейчас, выйдя из задумчивости.

— Что именно?

— Да то, что сказал мне когда-то: «Все это изменится, помяни мое слово».

Метернагель рассмеялся и сказал, пожимая ей руку на прощанье:

— Ага, значит, ты все-таки вспомнила мои слова!

В то время Рита никак не предполагала, что честное имя Рольфа Метернагеля таит в себе такую взрывчатую силу. Однажды вечером, когда господин Герфурт вежливо расспрашивал ее о членах ее бригады, она простодушно назвала Метернагеля. И сразу же поняла, что это имя упоминается здесь не впервые. За столом воцарилась тяжелая тишина. Однако все сошло бы благополучно, если бы фрау Герфурт умела молчать. Но ее прорвало.

— Он еще существует! — выкрикнула она.

Манфред так посмотрел на нее, что она дорого бы дала, лишь бы вернуть свои слова обратно.

— А ты думала, что всякий, кому отец подставит ножку, сейчас же отправится на тот свет? — насмешливо спросил он.

Тут господин Герфурт привскочил на месте. Никто не заметил, как произошел у него переход от величайшей благожелательности к величайшей злобе. И злоба достигла высшей точки. Заорав в полный голос, он хватил через край, как это случается с неуверенными в себе людьми. Он орал многое такое, что не шло к делу, но главное—требовал, чтобы прекратились разговоры в таком дерзком тоне и грязные инсинуации со стороны его сына. Он так и выразился: «Моего сына», чтобы ни к кому не обращаться непосредственно.

Он взвинтил себя до истерического припадка, которому не предвиделось конца; осекся он так же внезапно, заметив, что Манфред невозмутимо продолжает есть.

Когда господин Герфурт опустился на стул и, вытирая лицо носовым платком, что-то беспомощно пролепетал о душевной черствости современной молодежи, в этом уже не было фальши.

Манфред встал.

— Заигранная пластинка, — проронил он. — Сегодня у меня нет ни малейшей охоты ее слушать. И вообще у меня нет охоты выслушивать от тебя что бы то ни было.

Мать загородила ему дорогу, с плачем умоляя не уходить, не рвать с ними окончательно: «Он же твой отец, подумай, что это значит...»

Манфред побледнел. Весь подобравшись, он прошел мимо матери к двери.

Рита все видела. А когда дверь неслышно закрылась за Манфредом, она разом ощутила и жгучую боль в груди, и жалость к старой женщине, которая, громко рыдая, опустилась на стул, и собственное одиночество.

Чем все это кончится?

Довольно долго прождав Манфреда в чердачной комнатке, она спустилась на улицу и стояла там почти до полуночи, когда он наконец явился.

— Ну, сегодняшнюю ночь тебе лучше было бы проспать в одиночестве.

Она покачала головой.

— В следующий раз возьми с собой меня,— попросила она.

Он бросил на нее быстрый взгляд.

— Не знаю, брать ли тебя с собой, право, не знаю.

Он стоял, прислонясь к облупленному столбу садовой калитки; Рита не в силах была сделать к нему ни шагу; она лихорадочно вспоминала, как еще недавно он из вечера в вечер поджидал ее у ветлы. И каждый раз при виде его в ней молнией вспыхивала уверенность, что она все знает о нем.

«Именно мне всегда придется его сдерживать,— думала она.— И если я сию секунду не найду какое-то слово, нет, не какое-то, а одно-единственное правильное слово — его лицо останется таким, как сейчас, и он сегодня же ночью навеки уйдет от меня».

Манфред и в самом деле отошел от нее, но по его съежившейся спине было видно: он знает, что она не покинет его.

Немного погодя, когда они уже шли рядом, он сказал:

— Я мог бы и дальше преспокойно молчать, но лучше уж я тебе кое-что расскажу. Сама увидишь, ничего особенного. Только я до сих пор не могу к этому привыкнуть... Впрочем, я совсем было стал привыкать, но тут вклинилась ты, и опять мне все стало до тошноты противно.

Начало далось ему нелегко. Ей хотелось сказать: лучше уж молчи! К чему исповедоваться, словно он обязан давать ей отчет?

А может, он действительно обязан был давать ей отчет?

«Может, мне как раз и следовало тогда снять бремя с его души?» — думает она, потому что не в ее власти не думать об этом непрестанно. Тут ее впервые поражает мысль, что в наши дни кому-то приходится то и дело выслушивать чью-то исповедь и быть достойным такого доверия. От исповедей скоро нечем будет дышать. Но, очевидно, сейчас особенно важно, чтобы самая заветная человеческая правда не оставалась под спудом. Она думает: «А что хорошего, что полезного я сделала с его правдой?»

9

— Дело вовсе не в Рольфе Метернагеле,— сказал Манфред.— Я вообще и не знаю его. Ты говоришь, он приличный малый, я верю тебе. Еще в прошлом году он работал на вашем заводе мастером. Этого он тебе, наверно, не говорил. И у него были все данные подняться выше. Беда в том, что его подчиненные оказались либо бесчестными, либо запутавшимися людьми. А начальник — мой отец — невозмутимо наблюдал, как из месяца в месяц растет неразбериха в каких-то там процентовках за подписью Метернагеля, и, когда накопилось достаточно улик, нанес удар. Он провел строжайшую проверку. Оказалось, что процентовки дутые. Перерасход дошел до трех тысяч марок. Метернагель слетел с места. Говорят, он рвал и метал и еще больше навредил себе.

После этого он и очутился в бригаде, где ты с ним познакомилась. Спрашивается, зачем это было нужно моему отцу? Ведь вообще-то он беспринципный трус и как огня боится всяких осложнений. Должно быть, потребность души.

Рита молча шагала в ногу с ним.

— Ты как-то сказала, что я к нему несправедлив. Да с тех пор как я себя помню, все мое существо восстает против него. Первая сказка в моей жизни — я слышал ее сотни раз, как другие дети «Красную Шапочку» или «Спящую красавицу»,— это легенда о моем рождении.

Слушай же: жили-были мужчина и женщина, они любили друг друга, как любят только в сказках. Правда, она ни за что не вышла бы за него, но ей уже было под тридцать, других женихов она отвадила непомерными притязаниями, и ей пришлось удовольствоваться незавидной партией — агентом обувной фабрики. Но это уж не из сказки, а в пояснение тебе! В сказке же говорится: они любили друг друга, а детей у них не было. Были выкидыши, об этом мать впоследствии точно информировала меня... Но я опять отклонился от сказки. Ибо когда наконец появился на свет этот желанный чудо-ребенок, а именно я, он родился недоношенным и нежизнеспособным. Таково было мнение врачей.

Но вот является сказочная фея, добрая сестрица Элизабет, с ложечки вскармливает младенца чужим молоком, а потом уже передает для докармливания родной матери. Моя мать видела в этом младенце дар судьбы. Она старалась привязать его к себе всеми путами эгоистической материнской любви. Она сполна заплатила ту цену, какую стоит каждое чудо в каждой сказке, и рассчитывала, что я сторицей все окуплю. На том кончается сказка и начинается моя жизнь.

У Манфреда стало спокойнее на душе от того, что он наконец заговорил, и вместе с тем его мучила невозможность высказаться полнее. Правда, у его слушательницы был чуткий слух, способный уловить больше, чем один человек может поведать другому. И все же, пока он рассказывал, перед ним проносились неподдающиеся описанию картины, запахи, слова, взгляды и обрывки мыслей.

Ему вспомнились фотографии в семейном альбоме, на которых мать была хороша собой и взгляд ее выражал нежность, должно быть утраченную впоследствии от сожительства с таким мужем. Он часто искал в своей памяти следы постепенных перемен, свершившихся в ней, старался припомнить ее деятельной, мягкой, ласковой, силился представить себе, какой она была бы сейчас, без этого семейного плена, без этого чудовищного духовного оскудения.

— Не спорю, ей жилось не сладко,— говорил он Рите,— в детстве я столько раз слышал из спальни перебранку и плач! Вдобавок она обнаружила, что муж ей изменяет. Не без ее честолюбивого нажима он повысился в должности, стал главным закупщиком на обувной фабрике, редко бывал дома, ездил на служебной машине и держал себя повелителем. Мать постоянно ходила надутая, а к его услугам было сколько угодно других женщин, которые смотрели на него с обожанием. Впрочем, двойная жизнь весьма и весьма обременяла его.

Разумеется, он почти сразу вступил в отряд штурмовиков. Помню, как он вертелся в новом облачении перед зеркалом в прихожей и перед моей матерью. Мне тогда только что исполнилось четыре года. Я увидел, как они встретились взглядом в зеркале. Их единодушие отпугнуло меня больше, чем ссоры. Я забился в угол между пальто и плащами.

После этого началась дружба отца с его директором. Он получил место уполномоченного и стал вхож в общество. По воскресеньям нас принимали в семье директора, иногда и они бывали у нас.

Раньше мне редко позволяли играть с детьми. Мать сидела у окна

за гардиной и поминутно кричала мне: «Эти гадкие дети обидят тебя, Фреди!» Теперь меня каждое воскресенье препоручали директорскому сыну Герберту. Он был старше на три года и вертел мною как хотел. Он подбивал меня на дурные проделки, а виноватым каждый раз оказывался я. Обычно отец даже не смотрел в мою сторону, до того я был ему безразличен, а тут он меня лупил на глазах у чужих людей, чтобы директор видел, кто у нас в доме глава.

Я еще в школу не ходил, когда начал его ненавидеть. Это и поныне определяет мое отношение к нему.

Манфред попытался поймать взгляд Риты, но она упорно смотрела себе под ноги, которые исправно шагали вперед, то по световому кругу от фонаря, то по темной панели. Она не заметила, как он сделал движение, чтобы взять ее под руку, но передумал.

— До сих пор я свободно обходился без слушателей,— гораздо мягче добавил он,— может быть, не следовало отступать от этого правила.

Рита покачала головой. Она старалась не вслушиваться в себя. Как это отразилось на ней, выяснится потом. Сейчас важнее всего дослушать его. Что, если до завтра все переменится? И что, если они не доросли до такой перемены? Но теперь уже поздно было пугаться.

— В школе я всегда учился лучше всех,— продолжал Манфред.— Меня дразнили недоноском. Мать каждую неделю ходила жаловаться учителю. Наконец меня перестали мучить и больше вообще не водились со мной. Дома я врал напропалую о своих друзьях и успехах. Кстати, успехи не стоили мне ни малейшего труда.

В юнгфольк меня зачислили уже во время войны. Отец был правой рукой директора. Мы не терпели никаких лишений. Всякий был счастлив раздобыть пару довоенных башмаков.

«К чему я это рассказываю? — думал он.— Ей даже непонятно, что́ тогда происходило. Ее еще и на свете не было... Странно, где-то между мной и ею начинается новое поколение. Откуда ей понять, что всем нам с самых ранних лет привили бациллу смертельного равнодушия, от которого так трудно избавиться?»

— О чем это мы говорили? — спросил он.— Да, в гитлерюгенде я все выполнял исправно, хотя это мне до крайности претило. Если мне приказывали, я, закрыв глаза, прыгал с любой стенки. Я бы и не то еще сделал! Пусть мне не трудятся объяснять, как от страха становятся преступниками. Но меня ни во что не вовлекали, наши главари видели, что я для них не «свой».

Под конец, когда отца все-таки погнали защищать отечество, я попал в компанию мальчишек моего возраста. Они отучили меня бояться и превратили в нормального по тогдашним понятиям подростка. Я курил, сквернословил и горланил на улице, а дома грубил матери. Наконец во время урока истории я выстрелил из старого кольта в учительскую кафедру. Учитель был образцовый нацист, меня бы непременно выгнали из школы, но как раз в это время все школы забрали под госпитали.

Целое лето мы слонялись без дела и собственными глазами видели, что́ за короткий срок наворочали взрослые. «Пускай попробуют теперь вдолбить нам, что они всегда правы и все знают лучше нас!» — говорили мы. И громко хохотали, читая плакаты. Отныне все пойдет по-иному! По-иному? А с кем? С теми же людьми? Осенью нашу школу опять открыли. Со злорадным ревом извлекли мы из ветхого книжного шкафа старые нацистские песенники. Новое начальство не успело даже убрать это барахло.

В какую-то из апрельских ночей сорок пятого года мать сожгла портрет фюрера. С тех пор над письменным столом висит, знаешь, этот

осенний пейзаж. По величине он точно такой, каким был портрет Гитлера, да и никто бы теперь не догадался, откуда это светлое пятно на обоях. Впрочем, и обои-то новые. Отец вернулся через год после окончания войны в довольно жалком и оборванном виде. Его коричневой формы тоже не оказалось на месте. Нет, моя мать не унизилась до перекраски сукна, как иные прочие, у кого не было запаса обуви для продажи.

Мать взяла в свои руки бразды правления и наладила настоящую меновую торговлю. Благодаря ей мы не знали голода. Кто такой был теперь отец? Человек с замаранной репутацией и жестоко уязвленным самолюбием. Попутчик — и ничего больше, как он часто уверял меня, и это верно. Попутчик немецкого образца. Убеждений у него никогда и не было. И на совести тоже не было ничего особенного. Ему можно смело подать руку. В архиве обувной фабрики, должно быть, хранятся его письма, которые сейчас ему неприятно было бы читать. Неприятно, но не противно.

Кстати, Метернагель знает его именно с тех времен — тебя ведь интересовало, почему отец ставил ему палки в колеса. Более подробно я об этом говорить не хочу.

Мать развила бешеную энергию, чтобы куда-то пристроить отца. Это ей удалось. И она окончательно поработила его.

«А меня окончательно потеряла,— про себя добавил он.— Хотя до сих пор не хочет это понять».

Теперь Манфреду легко было говорить. Он даже боялся, что не сможет остановиться. А время перешло далеко за полночь. Перед ними, как пропасти, расстилались промозглые и безлюдные улицы. В третий раз проходили они мимо своей двери, Риту знобило от усталости, но она упорно шагала рядом с ним.

— Однажды,— рассказывал Манфред,— у отца в петлице появился партийный значок. Углядев это, я громко прыснул, и с тех пор отец обижается, как только меня завидит.

«При этом он вовсе не исключение,— думал Манфред,— были и похуже. Тем не менее многим повезло. В критическую минуту судьба свела их с порядочными людьми. Я этим не могу похвастать. Стоило мне приглядеться, как из-под новой оболочки сквозило прежнее нутро. Да и откуда в этой стране было взяться вполне порядочным людям? Кроме того, искал ли я их по-настоящему? И так ли уж важно их найти, покуда сам остаешься порядочным? Порядочным до конца, не щадя усилий? А стать порядочным разве нельзя, если захотеть по-настоящему?»

— Кое-как окончили мы школу. Нам в то время было пятнадцать лет, наш выпуск стал первым, в котором не было павших в бою.

— Учительница—старая дева—обнаружила у меня актерское дарование. Ты, наверно, будешь смеяться, но скоро ни одно празднество в нашем городе не обходилось без того, чтобы я не выступал с чтением стихов. А празднеств тогда бывало много. Что я декламировал? Всякую всячину. Все очень прочувствованное, но без малейшего чувства. «Подобно утренней заре сияешь ты, прекрасная весна...» Или: «Наше время, время трудовое!» А у нас в тайном подвальном клубе я орал: «Чего вы таращитесь так трагически!» И мурлыкал или напевал с чувством: «Ханне Каш так важно знать, любима ли она».

«Да, это было времечко,— думал он.— А вот она училась тогда только читать». Конец он решил скомкать.

— На каждом празднестве мать сидела в первом ряду и плакала от умиления. Она не сомневалась, что я стану актером и добуду ей славу, в которой ей упорно отказывала жизнь.

Как ты знаешь, актером я не стал. Наперекор материнским планам. И злорадно предвкушал тот день, когда принесу свидетельство о зачи-

слении меня на факультет естественных наук. Как я и ожидал, мать заливалась слезами и бушевала вовсю. Но меня это почему-то ничуть не обрадовало. С тех пор меня вообще ничто не радует. Вот специальность у меня хорошая. В меру точности и в меру воображения. И еще ты. Ты тоже хорошая.

— В меру точности и в меру воображения,— тоненьким голоском сказала Рита. Манфред воспринял это серьезно.

— Да, моя золотистая девочка, именно так,— подтвердил он.

10

Теперь она понимает: в ту ночь у нее впервые появилось пока что неопределенное ощущение надвигающейся опасности. Она умолчала о своей тревоге, что было своеобразной и не обидной для Манфреда формой мужества. Именно такая форма мужества его больше всего устраивала.

На заводе она мало-помалу освоилась. И перестала бояться, что привлекает к себе всеобщее внимание. Вообще им в бригаде неплохо было вместе, хотя никто не считал нужным это подчеркивать: каждый делал то, что ему полагалось. Ссор между ними не бывало. Даже несдержанный Метернагель не позволял себе никаких выпадов.

Где-то далеко от города реактивные самолеты с оглушительным взрывом пробивали звуковой барьер и вмиг были уже тут, проносились над их головами очень быстро, очень высоко. А они в обеденный перерыв лениво смотрели вслед в миролюбивейшем расположении духа.

Пожалуй, миролюбивее всего они были в тот день, после которого на заводе разразилась гроза. Они праздновали выпуск пятитысячного вагона после окончания войны, а заодно и день рождения своего бригадира.

Рита до сих пор живо представляет себе каждую мелочь, очевидно, в тот день ничто не ускользнуло от ее внимания. Заводской двор был чисто выметен, и ветер гулял по нему. У стены стоял увитый гирляндами юбилейный вагон, ярко светилась цифра 5000, а рядом дата — двадцатое апреля 1960 года. Оркестр играл что умел, потом выступали ораторы. Всем, конечно, аплодировали. Рита, как обычно в компании Метернагеля и Гансхена, весело аплодировала вместе с остальными и все время беспричинно смеялась, хотя выпила только солодового пива. Оживление возросло, когда на деревянные подмостки выбежала танцевальная группа в белых кофточках и пестрых юбках. Смешно было наблюдать, как Эрмиш незаметно протискивается в передний ряд, его почему-то забыли пригласить в президиум. и он не видел другого способа напомнить о себе.

Под конец низко нависшее серое небо разразилось ливнем, и все бросились врассыпную. Порыв ветра смел к дощатому забору последние мокрые обрывки бумаги, и двор опустел.

Бригада Эрмиша во главе с дорогим новорожденным отправилась в ближайшую пивную. В дальнем углу у окошка были сдвинуты столики. Забыв про дождь, все угощались крепким пивом, которое заказывал Эрмиш, и залпом пили за его здоровье.

Прокуренное, длинное, как кишка, помещение было скудно освещено. Рита молча сидела за стаканом лимонада. Когда же они кончат пить и когда ей удобно будет уйти?

Хозяин сновал взад и вперед, усердствуя перед такими выгодными гостями. Над столом висело сизое облако дыма. Все пили и галдели. А Рита примолкла совсем.

До тех пор у нее не было времени как следует разглядеть каждого в отдельности. Старшему, седому Карсувейту из Восточной Пруссии,

было лет шестьдесят, и все его называли по фамилии: «Эй, Карсувейт, расскажи-ка про твоего обжору-барона!» Когда-то он служил в большом имении у настоящего барона и по сей день оставался крестьянином в рабочей среде. Самого младшего, Гансхена, никто даже не знал по фамилии. Он сегодня впервые пил вместе со всеми и сиял от гордости. Судьба не очень-то щедро его одарила, он даже не решался подыскать себе подружку, но весел был неизменно.

Лица у большинства обыденные, какие видишь на каждом шагу, и, за малым исключением, немолодые. Все они в свое время так или иначе пробивались в жизни, как именно — лучше не спрашивать. Во всяком случае, жизнь шла не гладким путем. Не без того, чтобы приспособляться или покорно склонять голову перед силой. Не без того, чтобы в безвыходном положении искать лазейку — каждый свою.

— Ерунда,— вполголоса говорил Франц Мельхер соседу.— В Париже, да, конечно! Но это что! Посмотрел бы ты на бедуинок, как они моются рано утром у источника, а ты наставишь бинокль и...

Вдруг он заметил, что остальные замолчали и прислушиваются, бросил быстрый взгляд на Риту и оборвал свой рассказ.

— Давайте споем!— крикнул кто-то с другого конца.— Три, четыре! «С гор бегут пото-оки...»

Чего только не осталось у них позади! Павшие на поле боя братья, замученные в тюрьмах друзья, женщины во многих странах Европы и по всему свету разного рода памятки. *«Счастлив тот, кто может позабыть все, чего не изменить»*. Теперь же их жизненный опыт с каждым днем становился бесполезнее, здесь на него нельзя было опереться, но нельзя было и целиком переродиться. Каждую десятидневку семья из двух, трех, четырех человек ждала отцовской получки, которая обеспечивала ей еду, жилье и музыку по радио. И это, пожалуй, до сих пор было главным.

— За твое здоровье! — крикнул Гансхен через стол Эрмишу.

Все подняли рюмки со шнапсом и одинаковым движением опрокинули в рот содержимое. А потом опять принялись за пиво.

«Ах ты пре-екрасный Ве-естервальд... Тра-ла-ла-ла-ла...»

Может, ей показалось или в самом деле глубже обозначилась насмешливая черточка на лице Герберта Куля? Он не пел вместе с остальными, но выражение лица у него было такое, будто их пение подтверждает то, что он всегда подозревал. И будто он не знает, радоваться этому подтверждению или нет.

«Над вершинами твоими ветер ледяной...»

Подошел еще один гость — Эрнст Вендланд, коренастый, бледный, с гладко зачесанными волосами. Рита видела его впервые. Он показался ей слишком молодым и малопредставительным для начальника производства большого завода. Эрмиш пригласил его к своему столу, и Вендланд подсел к ним с явной неохотой. Рита видела, как он старается не помешать непринужденному веселью. Он чокался с Эрмишем и даже острил в тон остальным, но ни разу не изменил своей сдержанности.

За столом от его присутствия не стало тише. И все-таки что-то изменилось. Праздник принял иной характер. Вендланд оттого и мешал им, что пытался подладиться, как мешает всякий, насилующий свою природу в угоду другим. Те невольно начинают оглядываться на себя. Может, их порицают? Все теперь орали нарочито громко и стучали о стол кружками. Посмей кто не одобрить, как они празднуют рождение своего бригадира!

А ведь Эрнст Вендланд не произнес ни одного неуместного слова. Наоборот, он вообще перестал разговаривать, быстро допил пиво, попрощался, постучав костяшками пальцев по столу, и ушел.

В наступившей тишине Метернагель ворчливо произнес:

— Скажете, я этого не предвидел?..

Никто не стал возражать, хотя неясно было, что́ именно предвидел Метернагель.

Веселье как рукой сняло, Гансхену жаль было испорченной пирушки и захотелось сорвать досаду на Вендланде.

— Больно уж молод, правда? — негодующим тоном изрек он, чем подал новый повод для смеха.

Вскоре кое-кто из гостей стал прощаться: «Ну, любезный хозяин, пиво горчит, допивать не велит!»

Рита ушла с ними.

Дождь прекратился, теплый, влажный ветерок овевал городские улицы. Рита была утомлена и в то же время взбудоражена, ей хотелось убежать куда-то далеко — например, прямо по шоссе, мимо ветлы, растрепанной ветрами, в родное село.

Когда она сошла с трамвая, перед ней вырос Манфред.

— Ты меня дожидался? — удивленно спросила она.

— Допустим,— ответил он.

— И долго?

Он пожал плечами.

— Если я скажу «долго», ты завоображаешь и будешь каждый вечер возвращаться невесть когда, и от тебя будет разить пивом и куревом.

— Не я пила, не я курила, — запротестовала она.

— Это не оправдание!

Она засмеялась и потерлась лицом о его рукав. Значит, когда приходишь вечером домой, тебя ждут, как всех, и надо давать отчет о проведенном дне и получать выговор за долгое отсутствие. При чем же тут шоссе и ветлы?

В подъезде они натолкнулись на какого-то человека, который закуривал на ходу. Огонек спички осветил его лицо, и Рита узнала Эрнста Вендланда. Она смущенно поклонилась, а он, взглянув на нее, только сейчас сообразил, что за столом в пивной кроме двенадцати мужчин сидела еще и девушка. Он приподнял шляпу и быстрым шагом направился к машине, оставленной под ближайшим фонарем.

— Кто это? — спросил Манфред.

Рита объяснила.

— Да ведь я его знаю,— задумчиво протянул он.

У себя в кабинете сидел вконец растерянный господин Герфурт. Позабыв о размолвке с сыном, он принялся, захлебываясь, рассказывать, что́ произошло.

Прежний директор вагоностроительного завода не возвратился из служебной поездки в Берлин («Понимаешь, в Западный Берлин...»). Должно быть, решил избежать ответственности за срыв производственного плана, грозивший предприятию в будущем месяце. Должно быть, первым учуял беду.

Новым директором с нынешнего дня был Эрнст Вендланд.

II

Воспоминания о той неделе сливаются у Риты с воспоминаниями о пламенно-красных восходах и дымных утренних туманах, о сумеречных днях, отмеченных внутренним недовольством, о неотвязных мыслях, не дающих покоя даже во сне.

Не только у нее, но у всех было такое ощущение, что как-то вдруг от их завода, не самого крупного, не самого современно оборудованного, сейчас зависит многое, хотя в другое время ему уделяли мало внимания. Трудности, которые испытывала в последние годы вся страна, казалось,

сосредоточились именно здесь. Даже на Западе вспомнили об их существовании: западные радиостанции, не жалея сил, почти ежедневно передавали сообщения «о некогда процветавшем вагоностроительном заводе Мильднера, ныне находящемся на грани упадка»,— правду, измышления, полуправду. Даже их бывший директор выступил по одной из этих станций. Он-де давным-давно знал, что дело у них безнадежно, но вот наконец друзья подсказали ему правильное решение и тем помогли освободиться от раздиравших его укоров совести. Своих рабочих, чье свободолюбие ему отлично известно, он приветствует из более счастливой части Германии, рекомендуя им последовать его примеру.

На следующий день эту речь передавали по заводской радиосети. После каждого абзаца звучал звонкий, хоть и плохо еще поставленный голос молоденькой редакторши их вещания:

— Товарищи! Коллеги! Вы слышите, что говорит нам этот перебежчик, предавший наш завод, наше государство, нас всех?

В течение двух недель производительность, что ни день, падала все ниже и ниже. Если бы это было возможно, заводской паровозик тащил бы вечером всего-навсего полвагона. Многочисленные комиссии в белых и синих халатах озабоченно ходили по заводу, как врачи выстукивали и выслушивали его огромное тело. Вначале с насмешкой, затем с опаской и сомнением, а в конце концов настойчиво и требовательно поглядывали им вслед рабочие.

Со щемящим, тоскливым чувством слушала Рита, как замирают день ото дня привычные шумы в цехах — рев, грохот, скрежет. Напряженно вглядывалась в разочарованные, выжидающие лица товарищей по бригаде, сравнивала эти лица с фотографиями на страницах газет, все еще висевших на доске в столовой, и спрашивала себя: кто же лжет?

Вынужденные простои («Нет работы! Нет материалов!» — чаще всего уже с утра, в начале смены говорил Эрмиш.) внезапно осложнились взаимной неприязнью и перебранками.

Рита и представить себе не могла, что значит вытаскивать из прорыва такой большой завод. Как всегда, пока еще неясен исход сражения, нашлось особенно много недовольных, обиженных, злобствующих. Кое-кто явно злорадствовал, что ломается сук, на котором он сам же сидит.

■

Манфред заметил растерянность Риты. «Гляди-ка, так быстро!» Он утешал ее. Поддерживал в ней мужество. На примерах показывал, что даже из худшего положения можно найти выход. Он не жаловался, что она день и ночь только и твердит о своем заводе.

— Позднее, — говорил он ей, — возможно, совсем скоро, ты сама посмеешься над своим отчаянием.

Он и не подозревал, насколько был прав.

■

Наступили самые тяжелые дни, когда не стало почти никакой работы. Бригады в злобном молчании сидели по своим закуткам. И тут Рита с удивлением заметила, что ее собственное уныние перешло в нетерпение, в готовность всеми силами поддержать перелом, когда он наконец произойдет.

Не ускользнули от нее и кое-какие детали. Все чаще ловила она взгляды, которыми обменивались Эрмиш и Рольф Метернагель, насмешливые взгляды — их Метернагель, словно зонды, посылал в неизвестные ему слои атмосферы. Вначале Эрмиш явно давал ему отпор, но чем дальше, тем больше терялся и отвечал скорее вопросительно. В эти дни обнаружилось, для многих неожиданно, что Гюнтер Эрмиш был хорошим бригадиром в хорошие дни, при высоких показателях и высоких заработках, среди шумихи радиопередач и всеобщих восторженных кликов;

казалось, он был создан для почетного места на первомайской трибуне. Но для плохих времен его твердости и убежденности не хватило.

— Чего ты на меня таращишься? — злился он на Метернагеля. — Что ты нашел во мне?

— Да вот нашел кое-что, — отвечал Рольф. — Тебе тоже не вредно при случае взглянуть на себя.

Ничто не могло помочь Эрмишу: рядом с ним набирал силы опасный соперник, Рольф Метернагель.

Члены бригады теперь чаще подходили к нему, потому что он сохранял спокойствие, всем своим видом показывая, что многое заранее предвидел и ничего особенного, в сущности, не произошло. Все, и конечно же прошедший огонь и воду Эрмиш, чувствовали предстоящий перелом в настроении бригад. Эрмиш пытался втихую подготовиться, чтобы не плестись потом в хвосте. Только бы знать, за что ухватиться!

А Метернагель молчал.

■

Зато в семье Герфуртов вдруг оживленно заговорили. Именно это обстоятельство и укрепило Риту в ее уверенности. Господин Герфурт далеко не так бодро, как прежде, разворачивал свою белоснежную салфетку и уж вовсе не в состоянии был смести ею со стола все досадные события дня. Неполадки на заводе оказали свое разрушительное действие на вечерние трапезы семьи Герфуртов.

Вначале, когда еще шло расследование по поводу бегства старого директора, у господина Герфурта возникли кое-какие опасения: ведь некоторые документы — наряды на сырье и прочее — подписывал и он.

— Нельзя же, в конце концов, все проверять. Хотел бы я видеть человека, который не подпишет документ, если требует директор.

Отделавшись не слишком строгими замечаниями и точно отмеренной дозой самокритики, он почти успокоился:

— Ничего особенного. Где они вдруг раздобудут коммерческого директора, да еще знающего толк в деле?

Но вскоре им овладела более глубокая, более постоянная тревога. Она находила свое выражение в кратких отзывах о новом директоре. Критиковать его господин Герфурт не осмеливался. Но тот был ему непонятен и внушал беспокойство.

— Совсем еще молодой человек, — говорил он, — со свежими знаниями, со здоровым честолюбием. Ничего плохого. Рим тоже не в один день строился.

В другой раз он сказал:

— Ну, ладно! Ярко выраженный организаторский талант. Но пусть-ка попробует претворить свои планы в жизнь на нашем заводе, с нашими людьми... Жаль, что такой способный юноша не успеет у нас остепениться. Пропадет, того и гляди, ни за грош...

Как ни странно, но наиболее верно реагировала на волновавшие всех события фрау Герфурт. Она меньше всех разбиралась в происходящем, и завод даже со стороны не видела с тех пор, как он стал народным предприятием. Но она хорошо знала своего мужа, она внимательно наблюдала за девушкой, на которой собирался жениться ее сын, видела, правда, мимолетно, лицо того честолюбивого, решительного Вендланда, которого навязали ее мужу в начальники. Этого было достаточно. Ненависть обострила ее зрение.

Все, происходившее за последнее десятилетие вне четырех стен ее дома, было ей до сих пор в тягость, ибо требовало от нее известного умения приспособиться. К тому же все это казалось ей глупым и смешным и уж во всяком случае недолговечным. Неожиданно произошло именно то, чего она всегда желала: существование этих докучных новшеств стоя-

ло под угрозой — правда, частично, но ведь начинается всегда с части. И теперь она наблюдала, какие усилия прилагают люди, чтобы отвести эту угрозу. Ясно, что заставить так работать — невозможно. Нет, такое усердие можно проявить лишь добровольно, когда чувствуешь, что тебе лично грозит тяжелая, невозместимая потеря.

Стало быть, за эти годы, там, вне ее четырех стен, произошло нечто серьезное. Стало быть, этим фанатикам удалось заразить своим безумием и других. Стало быть, из этого следует сделать какие-то выводы.

Вот почему именно теперь, впервые за много лет, фрау Герфурт написала письмо своей сестре, вдове почтового чиновника, проживающей в Западном Берлине.

12

В гуще событий Рита незаметно для себя перестала быть новичком на заводе. Теперь она хорошо знала, каким трамваем ехать утром, чтобы встретить знакомых, а вечером возвращалась домой с Метернагелем — им было по пути. Они успевали обменяться несколькими словами и о работе и о предстоящем воскресенье и расходились всегда на одном и том же углу, где на сиреневом кусте со времени их знакомства сперва набухли почки, затем расцвели и теперь уже увядали темно-фиолетовые цветы. Но вот в один из первых июньских дней, неожиданно для себя самой, Рита спросила:

— Долго вы собираетесь смотреть на все это со стороны, господин Метернагель?

Тот сразу понял, что она имеет в виду. Он разозлился, потому что от девчонки не укрылось его явное желание остаться в стороне. И злость свою обратил прежде всего на нее.

— А ты долго еще собираешься называть меня «господин Метернагель»? — раздраженно спросил он.

Его зовут Рольф — имя, которое как будто нетрудно запомнить.

Они помолчали. Когда же Рита собралась попрощаться, он сказал, но так, что она не осмелилась противоречить:

— Зайдем ко мне, ты ведь не торопишься.

Молча прошли они часть пути. Потом он испытующе покосился на нее, словно желая еще раз убедиться, что именно она тот самый человек, с которым ему следует поделиться своими сокровенными мыслями. И произнес как бы между прочим, однако фраза эта должна была все ей разъяснить:

— Видишь ли, однажды я уже высоко взлетел и пребольно шлепнулся оземь.

Она поняла, что мысль эта, никогда еще не высказанная им вслух, часто, слишком часто мучила его.

История, которую услышала Рита от Метернагеля, нередко потом вспоминалась ей, когда они бывали вместе. И больше всего ее удивляло то, что он воспринимал происшедшее как нечто обыденное. Лишь много позже она поняла, насколько он был прав. Он принадлежал к людям, силой обстоятельств вынесенным из безвестности в центр событий; оказавшись на ярком свету, почувствовав на себе тысячи взглядов, они теряют уверенность и движутся ощупью.

— Кем я был раньше? — вспоминал он. — Ну, ладно: квалифицированным столяром. И я гордился этим. Но ведь тогда с нами поступали как кому вздумается. Видно, нужна была война, чтобы мы повзрослели.

Ему пришлось шагать в строю, во многих странах он был ранен, зачастую один-единственный после боя оставался в живых.

Рита впервые задумалась над его возрастом, а когда он сказал: «Без малого пятьдесят», поняла, что его делают моложе светлые проницательные глаза.

— Потом три года я рубил деревья и строил бараки, далеко-далеко на востоке. Можешь мне поверить, я очень не скоро признал, что такая работа ближе к моей профессии, чем стрельба по живым мишеням.

Ну, конечно, понять — это еще очень мало, собственно, этого вовсе не достаточно, чтобы пойти в партийный комитет и подать заявление в партию, как поступил он в тридцать шесть лет, вернувшись на родину. В те годы некогда было расспрашивать, много ли ты понял, если ты приходил с честными намерениями (да и с нечестными кое-кого принимали под горячую руку, а позже либо выбрасывали, либо перековывали — такое тоже бывало). В партийном комитете он встретил старого приятеля, тот до смерти обрадовался, что может посадить в пустующее кресло «надежного человека». Напутствуя его, он сказал, что у власти должны быть в нынешние времена именно такие люди, как они — кто же еще, если не они? — и, вздохнув, перешел к очередным делам.

Следующие годы промчались, как в дурном сне. Новые времена вознесли Рольфа вверх с невиданной силой, но и требовали они от него больше, чем он в состоянии был дать, новые времена ставили перед ним задачи, о которых он никогда и не помышлял. Чтобы хоть кое-как справляться с этими задачами, ему пришлось осваивать новые слова и выражения, но он так никогда и не проник в их истинный смысл. Время целиком завладело им, оно сожрало его ночи, отдалило жену, дочери выросли чужими (он и малыми детьми их почти не знал), оно давало ему в руки все новые и новые рычаги руководства. И лишь изредка, в неожиданные минуты полного затишья он задавал себе вопрос: управляю я событиями или события управляют мной?

Итак, он неуклонно поднимался вверх, порой удивленно оглядываясь на себя самого: я ли это? Научился употреблять громкие слова, хотя по-прежнему бесплодно пытался проникнуть в их смысл, научился во многом ориентироваться, научился командовать и даже по-начальнически одергивать, если не мог ответить толком.

— Не веришь? Посмотрела бы на меня! — сказал он, мрачно иронизируя над собой.

«Немало времени и усилий ему, должно быть, понадобилось, чтобы говорить об этом в таком тоне», — невольно подумала Рита.

Но вот грянул гром: однажды, когда он этого совсем не ждал, его обвинили в серьезном упущении, нашли, что он не дорос до великих задач, которые призван решать, и, сняв с должности, послали мастером на вагоностроительный завод. В его падении было столько же справедливости по отношению к обществу, сколько несправедливости по отношению к нему самому, служившему этому обществу бескорыстно — в этом никто не усомнился. Не без горечи наблюдал он, как на его место приходили молодые. Те молодые, что спокойно учились, пока он, не имея достаточных знаний, ожесточенно продирался сквозь дебри. Теперь они заменили его.

О дальнейших событиях он не проронил ни слова, но Рита почувствовала, что вторичное разжалование — то самое, о котором шла речь за ужином у Герфуртов, — задело его больнее, чем первое. Ведь на этот раз он спасовал на таком посту, который был словно для него создан. На этот раз ему не было прощения. На его участке выплачивали по нарядам за работы, уже давным-давно не производившиеся. Он, как желторотый юнец, как новичок, позволил себя одурачить тем людям, с которыми он и теперь работал вместе и которым прежде так доверял. А кто докажет, что они умышленно подсовывали ему неверные процентовки? За ошибки бригадиров отвечает мастер. Так неужели же он станет помогать тем самым бригадирам, тем своим коллегам, которые до сих пор за глаза называют его «мастер» и посмеиваются над ним?

Он пригласил Риту зайти к нему, попросил жену угостить ее чашкой кофе, а когда жена незаметно вышла, вытащил из-под приемника большую тетрадь в черной клеенчатой обложке. Он открыл первую страницу. Рита прочла: *«Размышления у рабочего места»*.

— Здесь, — сказал он с удовлетворением и постучал по твердой обложке, — здесь все написано.

Не зря же в последние дни он буквально облазил весь завод, теперь никому не удастся втереть ему очки.

— Эрмиш кое-что подозревает и ходит вокруг меня, как кот вокруг сала. Но я пока еще не открыл своей тетради. Если я чему и научился за эти двенадцать лет, так это ждать. Ничего нет глупее неуместного геройства. А Вендланд — я его хорошо знаю,— он всех расшевелит, всех взбаламутит и перевернет вверх дном весь завод, можешь быть спокойна. Со временем дойдет и до нашей бригады, этого я только и жду.

Рита многое бы дала, чтобы хоть разок заглянуть в эту таинственную тетрадь, но Метернагель уже сунул ее под приемник.

Стало быть, такого человека, как Метернагель, вначале просто-напросто перегружают труднейшими обязанностями, а затем бросают на произвол судьбы? Его обманывают — трудно поверить! — те самые люди, с которыми она ежедневно сидит за одним столом! И к тому же еще смеются над ним? Неужели она примирится с такой несправедливостью, как, по-видимому, примирился он сам?

О заводском собрании, наконец-то созванном, предварительных разговоров в бригадах почти не было, но против обыкновения пришли все.

— Товарищи! — крикнул кто-то в микрофон, и сразу смолкли кругом разговоры — о покраске палисадника, о сбережениях на отпуск.

Выяснилось, что многочисленные комиссии худо-бедно составили доклад. Его-то и зачитал секретарь парторганизации — приземистый, седоголовый человек. Доклад был краток, он точно отмерял долю вины каждого. Ничего не возразишь! Разочарованы были лишь те, кто ждал сенсаций. Приходилось только удивляться, что такие мелочи могли повлечь за собой столь сокрушительные последствия.

К микрофону вызвали Эрнста Вендланда. Раздались жидкие аплодисменты. Рита подумала: «Вырос он, что ли, с того дня, как я видела его в пивной?»

Директор охрип. За последние месяцы он мало спал, стоя выпивал по утрам кофе. «Не хотелось бы мне оказаться в его шкуре»,— сказал кто-то за Ритиной спиной, но звучало это уже без той горечи, с какой прежде говорили о начальстве.

Эрнст Вендланд не был оратором, да оратор, кстати говоря, был бы здесь совсем неуместен. Он скупо, по-деловому рассказал о положении на заводе.

— Никто не поможет нам,— сказал он.— А на сверхурочных мы уже достаточно поработали. Единственный выход: каждый выполняет свою норму, но на совесть.

Момент для собрания был выбран удачно, тон взят верный. За последние месяцы каждый успел выговорить свою злость, и теперь возникла потребность заполнить пустоту, образовавшуюся в душе. Легковесные обещания рабочие отвергли бы, а продуманные предложения выслушали охотно. Да что тут зря разговаривать!

Когда же некоторые рабочие стали выходить вперед, соглашаясь с предложениями и выдвигая встречные обязательства, Эрмиш забеспокоился. Не потерял ли он контакта с людьми? Не опоздал ли со своей бригадой? Метернагель вызывающе поглядывал на него.

— Вот теперь я открою свою тетрадь,— сказал он.

Рита вернулась домой поздно и тут же поднялась в чердачную комнатку. Манфред сразу понял, что она чем-то взволнована и не хочет показать это. Он принес ей бутерброды и чай, посетовав, что она еще до свадьбы заставляет ждать себя целый вечер.

— Ну, как,— спросил он,— нашли виновных?

Рита удивленно подняла на него глаза.

Разве дело в том, чтобы покарать виновных?

— Да,— медленно ответила Рита.— Вендланд хорошо говорил.

— Что ж,— насмешливо заметил Манфред,— теперь все пойдет по-другому, не так ли?

— Надеюсь,— неуверенно подтвердила Рита.

— Ты в самом деле думаешь, что после собрания дела пойдут лучше? — спросил Манфред.— Вдруг появится сырье? Вдруг неспособные руководители окажутся способными? Вдруг рабочие станут думать о великих преобразованиях, а не о собственном кармане?

— Вполне возможно, что все останется по-прежнему,— задумчиво произнесла Рита.

Тихая лунная ночь спустилась на город. Они лежали рядом без сна.

— На каждом заводе проходили десятки подобных собраний,— сказал Манфред.— Ты присутствовала всего-навсего на одном.

«Ну и что же? — упрямо думала Рита.— Это одно для меня очень важно. И почему он боится, что дело, важное для меня, может разлучить нас?»

— Знаешь что,— сказала она спустя некоторое время,— давай договоримся не ревновать к собраниям. Ладно?

Незаметно миновал сентябрь. Однажды ночью нежданно-негаданно полили осенние дожди. Равномерно шелестит за окнами санатория серая мерцающая завеса дождя, не редея дни и ночи напролет. Деревья, черные от сырости, теряют последние листья. Пустынно в размокшем парке.

«Я уже здорова»,— ежедневно твердит Рита врачу, сдержанному и ненавязчивому, как и раньше. Он кивает и думает: «В ее возрасте любую беду обычно преодолевают значительно быстрее. Людям с повышенной чувствительностью в нынешние времена нелегко». Ему не нравится нарочито бодрое выражение, появляющееся на ее лице, когда он смотрит на нее. Темные круги под глазами тоже ему не нравятся, но они говорят правду: пациентка еще слаба.

Нынешнее лето у нее пропало, неужели оно уже кончилось?

Перед ее внутренним взором возникает один из прошлых дней, чудесный летний день минувшего года. Они не придали ему особого значения, ибо, по их разумению, ему предстояло не раз повториться. В воспоминаниях он неповторим — высшая точка, вершина их жизни, и кажется, еще раз подняться на эту высоту недостанет сил.

Чуть свет выбрались они в тот день из смрадного города. Пересекли серо-голубой район медных сланцев, отмеченный пирамидами пустой породы. Свободно вдохнули свежий аромат нетронутой земли. Радовались сочным красочным пятнам, проступавшим сквозь утренний туман.

Машину — подержанную, довольно старого образца — Манфред приобрел в день получения ученой степени. Рита шутила, что он больше рад этой колымаге, чем новому званию. Они так долго терли и полировали потускневшую краску, что машина наконец заблестела.

Любуясь проносившимся мимо ландшафтом, Рита вообразила, что

сидит на маковке одного из зеленых холмов, а их маленькая серая машина ползет к ней издали по дороге, как бронированный жучок.

К обеду показался чистенький пестрый городок на северных склонах Гарца. Вначале он возник где-то внизу, совсем игрушечный, но вскоре они уже въезжали в него под колокольный перезвон неисчислимых церквушек. Густая голубизна горного воздуха словно растворилась в солнечном мареве, и небесный свод больше не давил своей тяжестью. И все же люди жались к домам, ища спасения от гнетущего зноя.

Пообедав, они включились в общую процессию туристов, лениво, как заведенные автоматы, двигавшихся от одной достопримечательности старого города к другой, и последним усилием достигли древнего замка на горе. Вконец измученные, они безучастно прошли по башням и башенкам, мельком взглянули на рыцарские доспехи, старинные блюда и кухонную утварь, пропуская мимо ушей исторические комментарии, а затем поднялись на дозорную вышку, преодолев две сотни ступенек. Там им открылись все четыре страны света; оглядев окрестности, они с удовольствием отметили, что вся земля зазеленела, и поняли друг друга без слов.

— На северо-западе,— услышали они объяснение гида,— бывает виден город Б., расположенный в Западной Германии. В ясную погоду.

Погода была ясная. Все, собравшиеся на башне, сгрудились у ее северо-западной стороны, разглядывая далекие, расплывающиеся в знойной дымке очертания западногерманского города, словно перед ними возникла фата-моргана.

По какой-то причине, по очень разным причинам все молчали.

— Ну, ясно,— сказал Манфред, спускаясь,— скоро они впишут в туристские проспекты: «Вид на Западную Германию». Самая примечательная достопримечательность этого города.

После полудня, разморенные жарой, они выехали из города и направились вдоль северных отрогов. В каком-то городишке их задержали люди с красными повязками на рукавах. Придется подождать, заявили они, сейчас здесь пройдет праздничная процессия. Городок отмечает свой ежегодный праздник, истоки которого восходят к давно прошедшим временам и событиям. Истинный повод, вообще-то говоря, почти забыт.

После того как прошла процессия, толпа — особенно дети и молодежь — хлынула на ярмарочную лужайку за городом. Рита была не в силах противостоять соблазну. С наслаждением вдыхала она воздух ярмарки, насыщенный пылью и различными запахами, незнакомыми, приторными и острыми. Она заставила Манфреда проехаться с ней по пещерам ужасов и призналась, что всем другим предпочитает дешевые сладости.

Он купил ей сахарных петушков, мятных пряников и несколько лотерейных билетов.

Они явно попали в полосу удачи, но это их не удивило. Первый билет выиграл огромного плюшевого кота, потом посыпались тарелки, миски и даже кофейник, расписанный букетиками незабудок. Раскрасневшись от удовольствия, Рита собирала выигрыши и тотчас дарила их детям, сгрудившимся вокруг удачливых игроков. Не веря своему счастью, а может, не доверяя и щедрости Риты, они мгновенно исчезали со своими сокровищами.

Только совсем маленькая девочка осталась ни с чем. Счастье изменило Манфреду. Из глаз ее вот-вот готовы были хлынуть слезы. Не без труда удалось им выяснить, что ребенку хочется воздушный шарик. Красный воздушный шарик. Пришлось изрядно потолкаться, прежде чем они отыскали продавца шаров. Рита поглядела вслед ребенку.

— А знаешь,— сказала она,— в жизни все уравновешивается. Однажды моя тетя отказала в шарике другому ребенку. Из-за меня.

В таком же красном шарике. Тетя привезла мне его из города. В автобусе какой-то ребенок попросил: «У меня еще никогда не было шарика». Но тетя не отдала шар. Что ты на это скажешь? Мне до сих пор хочется плакать, когда я вспоминаю этот случай.

И верно, у нее на глазах навернулись слезы. Манфред при всех обнял ее.

— Ты у меня белая ворона,— сказал он.— И важнее всего, чтобы ты сама этого не понимала.

— Чего не понимаю я, понимаешь ты,— возразила она.

14

Незадолго до того как спустились сумерки, они еще раз прошлись по улицам города, утомленные и молчаливые. Они довольствовались теперь неоконченной фразой, пожатием руки. Рите доставила удовольствие темно-красная бумажная роза, которую Манфред выиграл для нее в тире. В надвигающихся сумерках цветок полыхал красным огоньком.

Перед открытым, украшенным лампионами кафе Манфред неожиданно остановился.

— Ну конечно же,— сказал он.— Конечно. Теперь я вспомнил, откуда я его знаю.

Рита проследила за его взглядом и увидела у одного из столиков Эрнста Вендланда, беседующего с каким-то молодым человеком.

— Откуда? — удивилась Рита.— Откуда ты его знаешь?

— Постой-ка,— сказал Манфред. Он пытался вспомнить, восстановить ход каких-то событий и не мог сразу решить, радоваться или огорчаться этой встрече, связанной с давней историей.

— Ладно,— сказал он наконец.— Подойдем к ним.

Но подошел он не к Эрнсту Вендланду, а к его спутнику, черноволосому юноше. Тот поднял глаза, когда Манфред заговорил с ним, поперхнулся и несколько секунд был в явном замешательстве. На его лице Рита заметила то же выражение неуверенности, какое было только что у Манфреда: приятна ему эта встреча или неприятна? Видно, незнакомец пришел к тому же решению: все будет зависеть от собеседника. Он вскочил, пожал руку Манфреду и обернулся к Эрнсту Вендланду.

— Ты, верно, его видел тогда? Помнишь?

— Правильно,— ответил Вендланд, которому не пришлось преодолевать замешательство.— Я даже помню где.

— Я тоже,— вежливо сказал Манфред.

— И я,— подтвердил юноша, кажется решивший придать этой встрече дружеский характер.

Но тут все трое вдруг сообразили, что среди них есть Рита и ей ничего не понятно. Усевшись за стол, они начали ей объяснять. Самый молодой, Руди Швабе, учился в одной школе с Манфредом, правда, в младшем классе, но он был секретарем школьной организации Союза немецкой молодежи, и его знал каждый.

— Однажды он выручил меня и моих друзей,— сказал Манфред с деланной непринужденностью.— Я ведь рассказывал тебе о нашем подпольном клубе?

«Да, знаю»,— подумала Рита и вспомнила: «Ну чего вы таращитесь так трагически!»

— Его вдруг объявили центром политической оппозиции. Это могло бы нам дорого стоить. Но на общем собрании, где многие точили на нас зубы, Руди Швабе и вот он,— Манфред показал на Вендланда,— вытащили нас из беды. Вы ведь были тогда в руководстве городской организации СНМ?

— Правильно,— повторил Вендланд.— Кое-кто из ваших преподавателей слишком уж явно хотел вас угробить. Потому-то и удалось вам помочь. Но надо признаться, я до сих пор не уверен, не следовало ли все-таки отнести ваше дело в разряд политических, хоть и в другом смысле...

— Несомненно,— ответил, почувствовав себя задетым, Манфред.— Во всяком случае, если следовать теории, что к политике относится все, что человек говорит, делает, думает, чувствует. Ведь наше поколение — это поколение людей, разбирающихся в политике, не так ли?

— Я вовсе не склонен столь широко распространять эту теорию,— сказал Вендланд, испытующе, но все еще дружелюбно поглядев на него.

Официантка принесла мороженое и взбитые сливки. Все принялись молча есть. Неожиданно, как по мановению волшебной палочки, зажглись все лампионы и заиграл маленький непритязательный оркестр. Вежливый Руди Швабе пригласил Риту, но у нее достало мужества обещать ему один из следующих танцев. Ей хотелось потанцевать с Манфредом.

Тот все еще хмурился. Вендланд его разозлил. Свою злость он выместил на Руди.

— Ты заметила, как он косится на Вендланда, прежде чем улыбнуться? — спросил он.— Раньше он был совсем другим. Способен был даже пойти на риск. Но, как видно, не сумел приобрести стоящую профессию... Активист широкого профиля — это, по-твоему, профессия?

Рита ничего не спрашивала, но и не отвечала, она лишь понуждала его ускорять темп танца. Она не скрывала, что все ей здесь нравится: крошечная танцплощадка, сверкавшая разноцветными огнями над темной улицей, нежный абрикосовый цвет вечернего неба, множество праздничнo настроенных людей. Ей нравилось, что сегодня Манфред впервые представил ее своим знакомым и что всем было сразу видно — они жених и невеста; ей нравился спокойный, рассудительный Вендланд, так не похожий на Манфреда.

— А знаешь, сегодня мы танцуем с тобой второй раз в жизни,— заметила она.

— Верно,— сказал он.— Мы еще можем по пальцам сосчитать пережитые вместе радости.

— Тебе это приятно?

— Да. Мне нравится, когда можно что-нибудь сохранить навечно, пусть хоть самую малость.

— Сохрани навечно нынешний день и забудь свою обиду на Вендланда.

— Но ты ведь не знаешь всей этой старой истории!

— Зато знаю тебя. А у тебя сейчас такое выражение лица, какое бывает, когда ты неправ и не хочешь признать это!

— Вот как! Теперь и ты начинаешь меня воспитывать?

— Не о такой жене ты мечтал, не правда ли?

— Конечно нет,— признался он.— Но что толку в пустых сожалениях?

Когда Рита танцевала с Руди Швабе, она с удовольствием отметила, что Манфред и Эрнст Вендланд разговорились, оставшись за столом. Потом она узнала, что Вендланд спросил Манфреда: «Как вы находите Руди?», а тот с неожиданной откровенностью ответил: «Он очень изменился. У меня в памяти эдакий взъерошенный юнец, смахивающий на щенка. Теперь он, видно, полностью приручен».

Вендланд расхохотался, очевидно, несколько удивленный, но ничего не возразил.

«Теперь вам часто придется с ним встречаться,— заметил он.— Руди будет работать в общеуниверситетском деканате».

Манфред пропустил это мимо ушей. Он мало соприкасался с университетским начальством.

А потом они все вместе вышли из кафе и прошлись по притихшей наконец улице. Эрнст Вендланд шел рядом с Ритой.

— Что поделывает бригада Метернагеля? — спросил он.

Рита невольно рассмеялась. Откуда это он так точно знает, кто в их бригаде задает тон? Она оглянулась на Манфреда — не слышит ли он их — и непроизвольно понизила голос, словно то, о чем они сейчас говорили, касалось только ее и Вендланда. Она ведь не сказала Манфреду, что он был тогда прав. И после собрания все осталось на заводе по-прежнему.

— Ссорится,— ответила она.

Вендланд сразу понял, что она имела в виду.

— Метернагель поддает жару?

— Но ведь он прав,— сказала Рита.— Почему же они ему не верят?

— Это вас огорчает? — спросил Вендланд без тени превосходства. Поэтому ей не трудно было ответить утвердительно.— Мне тоже часто бывает не по себе. Еще до сих пор,— признался он.

Между ними сразу установилась атмосфера откровенности. Как это случилось — трудно было объяснить. Помогла, пожалуй, и старая темная улица, и день, который остался позади.

Чем вызвано такое настроение Вендланда, Рита не задумывалась.

— Недоверие все еще причиняет людям боль,— произнес он.— Но я бы сказал, что оно задевает только нас, молодых, заметили вы это? У пожилых, кажется мне, оно стало как бы второй кожей, чем-то вроде защитного слоя, приобретенного в ходе событий.

Он замолчал, не желая распространяться, а Рита задумалась над его словами. Ей было приятно, что он судил обо всем без предвзятости и раздражения. Только теперь ей пришло в голову, что редко с кем нынче можно разговаривать спокойно.

Она остановилась у крохотного домика, вкривь и вкось втиснутого в узенькую улочку с вкривь и вкось расставленными домами рудокопов.

— Вот здесь мы и живем,— сказал Вендланд.— Раз в год, в день рождения матери, у нее собирается вся семья. Сегодня мы пригласили и Руди.

Он сунул пальцы в рот и резко свистнул. Из темноты вынырнул худенький шустрый мальчонка с большими темными глазами.

— Мой сын,— пояснил Вендланд.

Рита удивилась, узнав, что у него есть сын, она попыталась представить себе подходящую жену для такого человека, но ей это не удалось. На его лице проступило выражение, которого она никак не ожидала: нежности и какой-то неосознанной печали.

А потом Руди Швабе, Эрнст Вендланд и его сын исчезли за дверью домика. Оба взрослых нагнулись у низкой притолоки, мальчик, которому это еще не требовалось, тоже нагнулся, подражая взрослым. Желтый треугольник света на несколько секунд упал на улицу, в воздухе легким облачком повис аромат жаркого, потом дверь захлопнулась, и Рита с Манфредом остались одни.

Они добрались до ближайшего ресторанчика — старинного погребка,— отыскали местечко в углу, и Манфред составил обильное меню, не на шутку поразив Риту.

«Все можно переживать вновь и вновь,— подумала Рита,— но всегда только с ним». Они уже настолько хорошо знали друг друга, что были уверены в своих чувствах, и в то же время настолько еще плохо, что каждый раз поражали друг друга новыми чертами. И даже едва уловимое сближение между ней и Вендландом, о котором Рите не хотелось говорить, приближало ее к Манфреду.

— А ты знаешь, что такое пиршество мне и во сне не снилось? — спросила через некоторое время Рита.— И что в моей жизни еще не было такого дня? Я даже не представляла себе, какие могут быть прекрасные дни!

Было уже совсем поздно, когда они выехали на шоссе. Луна, не видимая за легким покровом облаков, разливала вокруг призрачный голубой свет, резко отделявший небесный свод от черного шара земли. Рита не могла досыта наглядеться на этот свет, для которого не находила ни названия, ни сравнения,— на этот свет, одновременно мягкий и суровый.

Неожиданно слева от них, как раз на границе земли и неба, вынырнул огненный остров. Они быстро приближались к нему. Вскоре можно было уже различить отдельные огни: на земле желтые световые цепочки, над ними — единичные красные огоньки. А дальше, на светлом фоне неба, возникли черные силуэты заводских труб, откуда-то потянуло смрадом, пришлось поднять стекла.

Они снова попали в орбиту большого индустриального города.

Уже лежа в постели, лицом к стене, Рита услышала, как в комнату тихо вошел Манфред. Зашуршала бумага.

— Кому-то сию секунду исполнилось двадцать лет. Пробило полночь,— сказал он.

Рита повернулась. Он стоял перед ней с букетом гвоздик. Она сосчитала: их было двадцать.

— Спасибо,— только и сказала она,— спасибо.

15

Никто тогда не думал, что за первыми знойными днями последуют долгие недели, опаленные жаркими лучами небесного светила. Словно какое-то сказочное чудовище задумало сжечь своим дыханием землю. Ночной сон не освежал, а днем утомленные слепящим светом глаза следили за величественно-размеренным движением раскаленного шара по высокому бледно-голубому небу. Высыхали луга, на корню сгорали хлеба. Деревья еще в середине лета сбросили пожелтевшую листву, и на ветвях набухли новые почки — случай, дотоле невиданный. В садах созревали и наливались сладкие сочные плоды, какими обычно бывают лишь дары юга. Трудно было совладать с их обилием, и по ночам слышалось, как с глухим стуком падали на землю перезрелые яблоки и груши.

Риту не трогало это зловещее равнодушие природы. Из всего, что она видела в те дни, ярче всего запечатлелось в ее памяти лицо Рольфа Метернагеля. Она заметила, что глаза его, до тех пор насмешливые и выжидательные, стали зоркими и цепкими, жесткими и волевыми. Иногда, в часы сомнений и отчаяния, эти глаза были единственным, что поддерживало ее. Позже она поняла, что именно этот измотанный, но упорный человек оградил ее от бесплодной погони за призраками. Все действительно свершилось, но не во имя громкой славы, нет. И, когда он почти не ждал этого, рядом с ним встали и другие, они говорили то, что сказал он, действовали так, как предлагал он. Рита увидела, как он перевел дух и в конце концов одержал победу. Этого ей не забыть вовек.

Рольф Метернагель раскрыл свою тетрадь. Он протягивал ее всем и показывал цифру на последней странице, обведенную красным карандашом,— трехзначную цифру.

— Потери рабочего времени в нашей бригаде за последний месяц.

Все только пожимали плечами. Ничего нового в этом для них не было. Они поглядывали на Гюнтера Эрмиша. Тот вписывал что-то в свои расчеты и отмалчивался. Кто же на деле был здесь бригадиром?

— Я изучил первопричины наших потерь,— сказал Метернагель.

— Ну и покажи начальству,— отозвался кто-то.

Метернагель открыл другую страницу своей тетради. Он действовал терпеливо и неназойливо, чем еще больше раздражал остальных.

— Простои из-за недостатков в организации рабочего процесса,— громко прочел он.

Назвал цифры.

— Это только половина потерянных часов. Мне важно отыскать вторую половину.

— А мне нет,— заявил Франц Мельхер, поднялся и ушел.

— Зачем вам все доводить до крайности? — с упреком спросил старик Карсувейт.

Метернагель посмотрел на Гюнтера Эрмиша. Тот встал, собрал свои бумажки и сказал:

— Кое-что еще можно предпринять.

Все знали: раз Эрмиш так говорит, ничего сногсшибательного не произойдет.

— То ли дождик, то ли снег, то ли будет, то ли нет,— вызывающе бросил Герберт Куль, проходя мимо Метернагеля.

— Смотри не ошибись! — крикнул ему вдогонку Рольф.

Этот человек доводил его до бешенства. Все уже давно привыкли, что Куль использовал любую возможность высмеять себя самого и всех остальных. Только Рита задумывалась иногда: неужели это доставляет ему удовольствие? Может ли вообще такое отношение к людям доставлять удовольствие?

На другое утро Рольф Метернагель принес исписанный листок бумаги. Он прикрепил его кнопками к доске,— между запыленными вырезками из газет времен их славы. «Обязательство» — стояло на нем, но никто не пожелал его прочесть. Все отворачивались от листка и спокойно жевали бутерброды. Они громко и весело болтали, не заговаривали только с Рольфом. Рита видела, как мрачнело его лицо, но он держал себя в руках до конца перерыва. Тут он резко вскочил, так что все испуганно на него оглянулись, и, сорвав с доски листок, со всего маху прихлопнул его ладонью к столу.

— «Обязательство»,— прочли все. Вместо восьми оконных рам в смену каждый должен вмонтировать десять.

— И не пытайтесь доказывать, что это невозможно.

— Многое возможно,— сказал Франц Мельхер.— Только гадить в собственном гнезде для нормального человека невозможно.

— А что ты считаешь нормальным? — спросил быстро Герберт Куль.

Рита уловила искру непритворной заинтересованности в его глазах, которая тут же погасла.

— Что считать нормальным? — переспросил Рольф угрожающе тихим голосом. Только теперь, когда он дал себе волю, понятно было, каких усилий стоило ему держать себя в руках.— Сейчас тебе объясню. Нормальным следует считать все, что нам полезно, что помогает нам стать настоящими людьми; ненормально то, что превращает нас в слизняков, обманщиков и солдафонов, каковыми мы достаточно побыли в жизни. Но этого тебе, бывшему лейтенанту, не понять!

Сразу стало очень тихо. «Почему никто не отвечает?..— подумала Рита.— Почему он никогда не говорил мне, что Куль был лейтенантом?»

Единственный, кто остался невозмутимым, был Герберт Куль. На

губах та же холодная усмешка, только побелел как полотно. Стало быть, есть нечто такое, что выводит его из равновесия.

— С Кулем ты допустил ошибку,— сказал позже Гюнтер Эрмиш Метернагелю.

Казалось, теперь бы Рольфу и поговорить с ним откровенно, но он продолжал упорствовать.

— Подумаешь,— ответил он.— Такую ошибку я охотно допущу еще раз.

Ни один из членов бригады не подписал обязательство Метернагеля.

«Почему они так сопротивляются? — задавала себе вопрос Рита.— И против чего, собственно?»

Она восстановила в памяти все, что за три месяца узнала о каждом. Что для них главное в жизни? Невеста, клочок земли, полученный в наследство, мотоцикл, садик, дети, слепая старушка мать, нуждающаяся в уходе, новые нормы выработки, фотографии актрис? Да, многое, к чему они прикипели душой,— ненавистные и все же милые сердцу жизненные путы. В свое время им подсовывали непритязательные удовольствия, утаив главный смысл существования: жить полной жизнью. И вот теперь, цепляясь за свои привычки, они ожесточенно отталкивают от себя Метернагеля.

Постепенно то один из них, то другой начинал осознавать, что их судьбы неразрывно связаны с судьбой нового дела, которое уже успело увлечь их. И вот в одно прекрасное утро на чистом листке с обязательством, все еще висевшем на доске, рядом с подписью Метернагеля появилось новое имя — тихого, скромного Вольфганга Либентрау. Озадаченный Гюнтер Эрмиш потребовал его к ответу. Либентрау всегда терялся, когда к нему обращались, он словно просил прощения за то, что кто-то вообще занимается его неприметной особой. Он и тут растерялся было, но сказал:

— Я решил так: или я член партии, или нет.

— Неужели ты считаешь, что я не готов на все для партии? — возмутился Гюнтер Эрмиш.

— Этого о тебе никто не подумает,— испугался Либентрау. Посмеет ли он равнять себя с бригадиром Эрмишем!

Гюнтер Эрмиш, не говоря ни слова, подошел к доске, помусолил карандаш и вписал свое имя на листке. Потом Метернагель, Либентрау и Эрмиш присели к столу, и Гансхен, вне себя от радости, что с Метернагелем снова кто-то разговаривает, встал перед дверью и никого не впускал.

— Партгруппа,— объяснял он.

А через две недели под заголовком *«Они указывают нам путь»* в газете вновь появилось фото бригады Эрмиша.

Большей частью Рита работала теперь с Гансхеном. Иногда, накричавшись до изнеможения и хрипоты, к ним заходил Метернагель, чтобы немного передохнуть. Спустя некоторое время он вытаскивал часы в старинном неуклюжем футляре с желтой поцарапанной крышкой, глядел на них, погрузившись в раздумье, потом говорил:

— Метернагелевские часы знает теперь весь завод.— И, хмуро усмехнувшись, уходил.

Гансхен и Рита снова принимались за работу.

Однажды Гансхен, зажав, как всегда, в уголках рта по винту — эдакая железная челюсть, придававшая ему уверенность,— спросил:

— И зачем только он это делает?

Рита промолчала. Она знала ответ, и не один, но они представлялись ей чересчур высокопарными. Гансхен же продолжал размышлять вслух:

— Может, правда, он опять хочет стать мастером? Многие так говорят. Или просто хочет подлизаться к зятю-директору.

— К кому?

Гансхен расцвел от радости: оказывается, Рита ничего не знает! Эрнст Вендланд еще год назад был женат на старшей дочери Метернагеля. Но пока Вендланд был несколько месяцев на каких-то курсах, она, живя в доме отца, нашла мужу преемника. Каждому известно, что Метернагель не способен что-либо запретить или в чем-либо отказать своим доченькам. Он, кажется, считает, что вообще не заслужил права на отцовский авторитет. Но Вендланд не простил ему подобной терпимости даже потом, когда разошелся с женой. Оба старались не попадаться друг другу на глаза.

Эту новость Рита обдумывала часами. Она, правда, привыкла неожиданно узнавать новое о людях, казалось бы, хорошо знакомых. Но случай с Метернагелем ее все-таки поразил. Стало быть, Метернагель воспитал дочь, которая обманула своего мужа, и по слабости характера упустил такого зятя, как Вендланд. А тот, оказывается, живет один, и у его сына, лохматого, большеглазого мальчонки, нет матери. Вполне вероятно, что ему теперь все женщины опротивели,— так, говорят, бывает. И все же, что тут возразишь, если у такого человека, как Метернагель, не знающего ни сна, ни покоя ради всего коллектива, есть своя собственная, так сказать, персональная мечта: показать себя перед Вендландом. Неужели из-за этого его искренние усилия выглядят неискренними?

К вечеру Рита, словно губка, пропитывалась усталостью. Жмурясь во время ужина от яркого света над герфуртовским круглым столом, она все видела, но словно и не видела, присутствовала, но будто и отсутствовала. Манфред, часто взглядывая на нее, время от времени пожимал ей руку под белой, спадающей накрахмаленными складками скатертью. Она удерживала его руку, ей было безразлично, замечают это господин Герфурт и его супруга или нет. А иногда ей казалось, что ярко освещенный круглый стол вдруг с фантастической скоростью куда-то уносится, уменьшаясь вдали до еле видимой точки, но остается четким, светлым и круглым: крошечный заколдованный островок, на котором живут изгнанники.

Обрывки застольной беседы смутно доносились до нее. Иной раз, улавливая свое имя, она прислушивалась.

— Фрейлейн Рита,— говорила фрау Герфурт,— настоятельно прошу вас принять к сведению: ковры в нашей квартире приходится чистить пылесосом каждый день, они пылятся немилосердно.

— Хорошо,— вежливо отвечала Рита. Мысли ее были бесконечно далеки от каких бы то ни было ковров.

Для Манфреда наступила светлая пора. Он жил в том блаженном, расслабленном состоянии, которое наступает от сознания добросовестно и честно выполненной работы. На нее затрачено немало труда, но она этого труда стоит. Выводами, к которым он пришел, заинтересовались не только у него в институте. Его рабочий день был до предела уплотнен, он отвечал на запросы, готовил диссертацию к печати, выступал на предприятиях с докладами перед специалистами. Он видел, что в нем нуждаются, и это действовало на него благотворно, как и то признание и уважение, которые он повсеместно завоевал.

Подобная редкостная гармония с внешним миром позволяла ему всецело принадлежать и Рите. Ее неизменно поражало, как быстро он ее понимает, даже если она, волнуясь, говорила сбивчиво, намеками. Ему особенно нравилось слушать, как умело она набрасывает портреты своих

коллег. Ее точные остроумные наблюдения забавляли его, она же, описывая Манфреду того или иного человека, сама начинала лучше понимать его.

— А что поделывает твой Вендланд? — чаще всего спрашивал он под конец.

Манфред уже привык говорить «твой Вендланд». Рита пыталась было протестовать, пока не поняла, что просто он не хочет признаться, как глубоко его интересует этот человек.

— Мне редко приходится его видеть,— отвечала Рита.— Но даже в нашей бригаде чувствуется, что руководит заводом он.

Она ежедневно наблюдала, как тесно взаимодействуют и поддерживают друг друга Вендланд и Метернагель, хотя ни о чем предварительно не договариваются. Она теперь убеждена, сказала Рита Манфреду, что и снизу и сверху принимают правильные меры.

— Ну вот и прекрасно,— кивнул Манфред.— Такое в наше время редко встречается. Ты сама увидишь.

Он любил без помех наблюдать за ней. Живая игра ее лица никогда не могла ему наскучить. Он, конечно, заметил, что оно изменилось с тех пор, как они познакомились, хотя было по-прежнему гладким, без единой морщинки, с матовой золотистой кожей. Но сквозь девичьи черты уже проступали новые — упорство, зрелость; что ж, и это было ему по душе, хотя и тревожило немного.

Для него стало необходимостью вновь и вновь убеждаться, что она существует. Легким прикосновением пальцев гладил он ее лицо, нежно касался лба, изящно обрисованных висков, бровей и бархатистых щек. Она откидывала голову. Ее коже был наизусть знаком путь его пальцев. Благодаря ему, благодаря его губам, глазам и рукам Рита познала себя самое, от теплых пушистых волос, потрескивающих в его ладони, до узких ступней. Он не уставал восхищаться ею, и она знала: ради нее он готов сделать то, чего не сделал ни для кого в мире. Он же всякий раз заново убеждался, что она откликается на его любовь всем своим существом.

Как все любящие, они страшились за свою любовь, холодели от равнодушного взгляда, а одно нетерпеливое слово портило им настроение на целый день.

По ночам слабый свет зеленого радиоглазка четко обрисовывал каждый предмет в их комнатушке, и когда они в едином порыве уносились в дальние дали, а потом возвращались и, открыв глаза, обнаруживали все на своих местах, Манфред тихо спрашивал:

— Чего бы ты пожелала сейчас?

— Всегда одного,— отвечала Рита.— Быть единым целым с тобой, дышать единым с тобой дыханием.

— А разве сейчас это не так? — говорил он.

Она кивала. Это было так, пока страстное влечение не оставляло их.

За долгие и словно стертые однообразные недели в больнице Рита проделала огромную внутреннюю работу. Часто, особенно часто возвращается она мыслями к исходной точке: разве сама она своевременно не увидела опасности? В ее распоряжении нет времени, поэтому она нагромождает мысли между настоящим своим «я» и тем роковым событием и постепенно отодвигает его от себя, чтобы обозреть от начала и до конца.

■

Отмечая пятнадцатилетие вагоностроительного завода как народного предприятия, одного из самых значительных в городе, городской

совет организовал торжественный вечер для всего коллектива. Случайно празднование пришлось на тот день, когда, наконец, впервые за многие месяцы, был выполнен план. По существу, праздновалось именно это событие. Только теперь все осознали по-настоящему, какими трудными были последние недели. Острая жажда света, веселья накопилась в каждом. Городские парикмахеры совершили чудеса, от самой раздевалки облако ароматов плыло над головами женщин. В непривычной обстановке они осваивались быстрее, чем мужчины, которых стесняли отутюженные темные костюмы.

Манфред долго сопротивлялся приглашению Риты. Он вовсе не годится в принцы-супруги, а такие вечера к тому же вообще скучны.

— А мне не будет скучно,— возразила Рита. Она тщательно готовилась к вечеру.

У входа, где толпились приглашенные, они столкнулись с Метернагелем и его женой, а когда наконец, пожав десятки рук, вошли в зал, то первым, кого они увидели, был Гансхен. Втиснутый в свой конфирмационный черный костюмчик, стоял он на сверкающем паркете под тысячесвечовой хрустальной люстрой, а рядом с ним хорошенькая, как картинка, задорная девушка, года на два старше его, бросала вокруг игривые взгляды.

— Не иначе как с открытки ее вырезал,— заметил Метернагель.

Но девушка была из плоти и крови и звалась Анита. Она дозволила Гансхену почтительно провести ее по залу. Своими огромными кукольными глазами она вытворяла поистине чудеса.

— Вот кто мне нравится,— прошептал Манфред на ухо Рите.— Тоже своего рода принц-супруг.

Манфред, выпрямившись во весь рост, стоял рядом с Ритой. Он кивал, когда с ней здоровались, удивляясь, сколько людей ее знает.

— Сударыня,— воскликнул Манфред,— вы поистине королева бала.

Рита залилась краской, потому что и сама это почувствовала. На ней, по давнему замыслу Манфреда, было бледно-желтое платье — его подарок. Кто украдкой, а кто с откровенным восхищением оборачивался в ее сторону.

Между тем на одном из концов огромного подковообразного стола, уставленного салатницами и блюдами с бутербродами, начали произносить речи. Солидные мужчины вытаскивали из левого внутреннего кармана беленькие бумажки и зачитывали текст, который, чертыхаясь, диктовали нынче утром своим секретаршам. Серьезно слушали гости серьезные речи, и даже добросовестно рассыпанный в них юмор цитат («Как говаривал наш великий Гете: «Дни — заботам! Смех — досугам!») не вызывал ответных улыбок. То один оратор, то другой подхватывал мысль предыдущего, не забывая, однако, это отметить, а значит, все было в полном порядке.

— Трудное дело быть праздничным оратором,— заметил Манфред.— Особенно если это вторая профессия. Сама посуди: весь день ты руководишь министерством или, к примеру, машиностроительным заводом, а вечером должен выступать с праздничной речью. Тут уж ничего не сочинишь, кроме: «Таким образом, мы постоянно и неуклонно...» или: «Итак, мы продолжаем наше победное движение вперед...» Жуть.

— Но всем понравилось,— возразила Рита.

— Понравилось? Люди считают, что иначе нельзя. Что такие речи— серьезные, скучные и высокопарные — должны снисходить на них, как благодать. А среди своих все предпочитают балагурить.

— Передай-ка мне еще салату,— попросила Рита.— И подумай лучше о том, что не все столь непочтительны, как ты.

— Это верно,— согласился Манфред.— Гансхен наверняка нет.

— И Метернагель и я,— сказала Рита.

Больше они об этом не говорили.

В соседнем зале зазвучала музыка. Ощущение, что все они в гостях у самих себя, придало присутствующим храбрости. Вдоль стен еще струился поток любопытных, но он заметно редел, а в центре зала скоплялись оживленные группы, и кельнерам все труднее было лавировать со своими бутылками и бокалами.

Поначалу танцевали лишь несколько молодых пар. Манфред закружил Риту по залу — как давно был тот вечер, когда он холодно и принужденно танцевал с ней! — а ей самый бешеный темп казался черепашьим. Когда же несколько молодых людей сразу бросились приглашать Риту на следующий танец, Манфред поймал ее торжествующий взгляд. Сам он не приглашал других женщин, она же, сияя, переходила от одного партнера к другому. Под конец ее пригласил и Гансхен.

Юноша чувствовал себя совсем несчастным. Это можно было предвидеть, и тем не менее его было жаль. Анита нашла поклонников, более подходящих к ее огромным глазам и острым безупречным зубкам. Гансхен признался Рите, что одолжил ее на этот вечер у приятеля. Утешать его было бесполезно, Рита вовсю бранила девушку, но Гансхен прекрасно понимал, почему Анита предпочла ему других кавалеров.

Когда Рита на мгновенье освобождалась, Манфред тут же подходил к ней и шутливо осведомлялся о ее желаниях.

— Танцевать! — требовала она каждый раз. И они шли танцевать.

О чем они говорили, не осталось у них в памяти. Среди множества людей они были словно наедине, и именно это подтверждали их улыбки и взгляды. Ах, праздник уже кончается. Ну и что ж? Разве мало еще у нас впереди праздников? Огни зала кружились, отражаясь в их зрачках, они уже не различали, что движется и что стоит на месте. Наконец, натанцевавшись до упаду, уселись на забытые кем-то в углу стулья.

Наступил тот неуловимый момент, который неизбежен на каждом празднике, когда бледнеют от усталости лица, рассыпаются прически, улыбки становятся вымученными, а тень приближающегося утра приглушит сверкание люстры и несъеденные яства теряют свою свежесть. Еще звенели бокалы, еще легко танцевалось, еще аромат духов и вина был нежным и приятным. Но уже каждый шаг, каждый глоток, каждая улыбка подводили к невидимой границе, пролегающей между удовольствием и принуждением, между подъемом чувств и обыденностью.

Рита на несколько секунд закрыла глаза. А когда открыла, перед ней стоял Эрнст Вендланд. Не глядя на него, она посмотрела на Манфреда. Выражение его лица за эти короткие мгновения резко изменилось. Оно стало замкнутым, недоверчивым.

С каким-то недобрым предчувствием Рита перевела взгляд на Вендланда и испугалась. Она тотчас сообразила, что́ произошло. Весь вечер Вендланд был занят тем, что пожимал десятки рук, чокался со знакомыми и незнакомыми, а нервы, переутомленные от напряжения последних месяцев, требовали одного — отдыха. Увидев танцующую Риту, Вендланд невольно потянулся к ней. Он прошел мимо Манфреда, не обратив на него внимания, он стоял теперь перед ней со счастливой улыбкой на губах, и его взгляд выражал столь многое, что Манфред мгновенно отрезвел, а Рита ужаснулась.

Оркестр еще играл тот же популярный мотив, но все вдруг изменилось. Эрнст Вендланд поклонился Рите и пригласил ее на танец. Она поднялась, нерешительно поглядела на Манфреда, который смотрел на нее со скучающим видом. Рассердившись, она пошла с Вендландом.

— Я видел, как вы танцевали,— сказал он.

Рита была рада, что никто, кроме нее, не слышит его голоса, не видит его лица. И, танцуя с ним, держалась чопорно и даже неуклюже. Вендланд тотчас почувствовал, что зашел слишком далеко. Он очнулся,

оживление его погасло. Рите невольно стало жаль его. Больно было слышать, как он спросил обычным голосом:

— Не правда ли, прекрасный вечер? Люди заслужили его напряженным трудом.

Что произошло? Ничего, даже меньше, чем ничего. Так мало, что об этом и говорить-то не стоило — ни теперь, ни когда-либо позже, ибо самый легкий намек звучал бы грубо и пошло. Но Рита и Манфред поняли то, что увидели. А поняв, хотели забыть, и действительно забыли — если забывается то, о чем больше не думаешь.

Когда Вендланд вместе с Ритой подошел к Манфреду, тот поднялся и насмешливо ответил на его поклон. Все произошло, как полагается: благовоспитанные люди встретились на торжественном приеме. Вендланд взял с подноса три чашечки кофе, они уселись на низенькие стулья, высоко подтянув колени и жонглируя чашками, попытались начать ничего не значащий разговор.

Манфред поинтересовался, не трудно ли Вендланду справляться с обязанностями директора. Уйма ответственности, не так ли? Да, согласился Вендланд. Но к этому постепенно привыкаешь.

— Понятно,— сказал Манфред с саркастической усмешкой, хотя повода для нее почти не было.— На этом основана вся наша история — человек ко всему привыкает.

— Вы уверены? — спросил Вендланд. Он очень устал и не искал ссоры.

Разговор принимал странный оборот. Теперь, задним числом, Рита признает, что в тот вечер, ослепленная женским тщеславием («Они ссорятся только из-за меня!»), она не поняла главного. Она знала, как уважительно относился Манфред к Вендланду на расстоянии, а тут, сидя с ним рядом, ощетинился. Многословно доказывал он, что история человечества основана на равнодушии. Не замечая, что его никто не слушает, он говорил и говорил не в меру пылко, пока наконец не пришел к такому выводу:

— Все люди скроены по одному образцу...

«И зачем он только пыжится?» — подумала Рита. Она чувствовала, что самое уместное сейчас — молчать. Каждое ее слово лишь вызвало бы у него еще большее раздражение.

— По одному образцу? — переспросил Вендланд.— Возможно. Если пренебречь различиями в развитии разума...

Манфред сделал вид, будто только и ждал этого аргумента. Он громко рассмеялся. Но смех его был явно искусственным.

— Бросьте рассказывать сказки! Разум никогда еще не был определяющим фактором истории. С каких это пор разум способен осчастливить человека? На это вам лучше не рассчитывать.

Вендланд улыбнулся, но так, что Рита покраснела за Манфреда.

— Стало быть,— сказал он,— оставь надежду, всяк сюда входящий?

— Может быть, не надежду,— возразил Манфред.— Но иллюзию.

Это и было тем мгновением, вспоминает теперь Рита, когда она вторично почувствовала беспокойство. Да, именно в это мгновение. Разве не поняла она внезапно, что дело было вовсе не в ревности и не в оскорбленном тщеславии? Дело было именно в том, о чем они говорили.

Вендланд горячился меньше, чем Манфред, и не претендовал на последнее слово. Он встал и пошел навстречу Рольфу Метернагелю, нерешительно подходившему с женой к их столику. Рита, хоть у нее щемило сердце от враждебности, проявленной Манфредом (он был как будто даже разочарован тем, что Вендланд ему не ответил), все же поняла, что значит, когда младший протягивает руку старшему.

— Здорово, Рольф!

— Здорово, Эрнст! Трудное время, да? — При этом Метернагель широко улыбнулся. И Вендланд ответил ему такой же улыбкой.

— Вполне резонное замечание.

— Трудное время, но трудности уже, кажется, позади, верно?

— Ну, так выпьем за это.

Они взяли по бокалу с шампанским и чокнулись. Правда, бокалы с шампанским не звенят, но это ничего не значит. Выпив до дна, отставили бокалы, но все еще медлили разойтись.

— Слышал о нашем новом вагоне? — спросил директор. Еще бы, ему, Метернагелю, да не слышать! — Я думаю,— сказал Вендланд,— что и ты мог бы принять участие в работе.

— Я? — не веря своим ушам, переспросил Метернагель. Но быстро взял себя в руки.— Если ты считаешь, Эрнст...

— Да, — подтвердил Вендланд.— С твоим-то опытом. Зайди завтра с утра, соберется комиссия по рассмотрению проекта.

Метернагель положил руку на плечо Риты.

— Вот так, дочка,— сказал он.— Теперь и я попал в ученые, слыхала?

— Рада за тебя, Рольф,— ответила Рита как можно деловитее.— Только я уже не смогу вам помочь. Мой срок кончился. А может, мне еще остаться на заводе?

Метернагель расхохотался, и Рита вдруг почувствовала облегчение.

Она потребовала, чтобы Манфред протанцевал с ней последний танец. А возвращаясь домой по темным тихим улицам, сама взяла его под руку. Они молчали, но оба были довольны прошедшим вечером.

Вскоре у них начался отпуск. Они любили друг друга, и ожидание второй совместной зимы наполняло их счастьем.

Третьей совместной зимы им пережить не пришлось.

Неповторима, в самом горьком смысле этого слова, смена красок в квадрате их окошка в последние месяцы года: от ярких, теплых, пестрых — до блеклых, холодных, бесцветных. Неповторимо постепенное изменение света над городскими крышами, над излучиной реки и над всей долиной, неповторимо пленительное отражение этого света в глазах Манфреда.

Мы и не знали тогда — да и кто мог знать,— какой нам предстоит год. Год суровых испытаний, выдержать которые не легко. Исторический год, как его назовут позднее.

Современникам трудно бывает вынести иссушающую будничность истории. Рита, вспоминая тот год, ясно ощущает, что именно тогда осознала разницу между скупым, но длительным светом и случайными огнями-однодневками, хотя все еще на многих, хорошо ей знакомых лицах свет и тени сменяются в зависимости от настроений и преимуществ, которые сулит им тот или иной момент. Она видит, как гигантские запасы сил, участия, сочувствия, страсти и таланта растрачиваются на повседневные заботы; справиться с ними, даже теперь, через пятнадцать лет после конца войны, не так-то просто.

Стало быть, он прав, постоянно повторяя, что в наши дни любовь невозможна! — спрашивает она себя. Невозможна дружба и надежда на исполнение желаний. Смешна самая попытка противостоять силам, вставшим между нами и нашими желаниями. Могущество этих сил мы даже отдаленно себе не представляем. А выпадет несмотря ни на что нам удача, и мы — ты и я — узнаем любовь, так уж будь тише воды, ниже травы. И помни неотступно об этом словечке — «несмотря». Судьба завистлива.

Стало быть, он оказался прав? А я неправа? Была ли моя требовательность к себе и к нему противна природе? Ты не выдержишь, твердил он. Ты не знаешь жизни. А вот он знает, считал он. Он уверен, что надо принять защитную окраску, чтобы тебя не нашли и не уничтожили. Он был в этом уверен и потому держался одиноко и надменно. А иногда озлоблялся. Я же не боялась потерять свое «я». Пока он не сказал, мне и в голову не приходило, что мы родились в неблагоприятное время. Иногда он мечтал: хорошо бы жить на сто лет раньше или на сто лет позже. Я никогда не играла с ним в эту игру, а он упрекал меня в скудости воображения...

Манфред понимал, что обстоятельства ее собственной жизни, которую она ни на что бы не променяла, целиком поглотили ее. Он слишком хорошо знал Риту, чтобы истолковать превратно и обратить в свою пользу перелом в ее настроении после первых дней учебы в институте. Он насторожился, услышав однажды вечером — сентябрь был уже на исходе — впервые совершенно серьезно заданный вопрос:

— Ты меня любишь?

— Да как будто бы,— ответил он.

Внимательно приглядевшись к ней, он упрекнул себя, что не заметил раньше ее бледности и теней под глазами. Отложив книгу, он решил сейчас же, сию секунду, поехать за город, хоть на дворе по-осеннему моросил дождь и было прохладно.

В машине он включил отопление и совсем тихонько — радио. Он пересек город в южном направлении и не начинал разговора, пока не почувствовал, что Рита успокоилась и согрелась. Когда же она, как обычно, очень скоро перестала понимать, где они едут, и стала его расспрашивать, он, как обычно, начал подшучивать над нею. Постепенно, очень осторожно он вызвал ее на разговор и довольно быстро выяснил, что в институте она чувствует себя чужой и одинокой.

Ему пришлось поверить, что ничего не случилось, никто не обидел ее, никто не бранил, хотя, правда, и внимания ей не уделяли, не подбодрили вовремя. И с учебой никаких трудностей у нее нет. Ее угнетает совсем другое.

— Они там все такие умные,— сказала она.— Все-то они знают. Ничему на свете не удивляются.

— Ну, это мне знакомо,— сказал Манфред. Это ему действительно было знакомо. Этим она его не могла удивить.— Не беспокойся, все пройдет. После первого же серьезного переживания.

— Они не способны переживать серьезно,— возразила Рита.— Вот в чем все дело.

Манфред рассмеялся.

— Каждый способен, будь уверена.

«Как я, например, когда узнал тебя,— подумал он.— С тех пор я сомневаюсь в стойкости самых закоренелых скептиков».

И все же он ошибался, не принимая всерьез ее огорчений.

Манфред долго пытался обманывать себя, умышленно не видел изменений в ее характере — едва заметных, лишь изредка уловимых в непривычной мимике лица. Он долго боялся вникать в причины этих изменений. Однако по соболезнующим взглядам своей матери понял: происходит нечто серьезное. Фрау Герфурт начала подсовывать Рите лучшие куски и заставляла ее побольше съедать за ужином. Она ведь ужас как выглядит — ничего удивительного, при такой нагрузке!

— Позаботься же о своей невесте! — сказала она однажды, оставшись с Манфредом наедине, таким тоном, словно поведала какую-то тайну.

Ответить грубостью на эту деланную заботу о Ритином здоровье он не мог. Правда, он не очень-то доверял бескорыстию своей матери, но на

нюх ее, когда дело касалось собственной выгоды, вполне мог положиться. Она уловила слабость и подавленность, которые он сам еще несколько месяцев назад желал бы видеть в Рите, и сочла их верными признаками заболевания.

Манфред делал трогательные попытки помочь Рите пережить трудную для нее полосу. Подавив в себе ревность ко всем и вся, кто соприкасался с Ритой, он сам познакомил ее с Мартином Юнгом. Тот приезжал раз в три-четыре недели из маленького тюрингского городка З., чтобы обсудить ту или иную главу дипломной работы с Манфредом, своим научным руководителем. Манфреда радовали успехи, которых наряду с практической работой достиг в науке молодой человек, инженер на заводе синтетического волокна. Пришлось Манфреду заняться и «Дженни-пряхой» — машиной, которую Юнг намеревался усовершенствовать, и то восхищался ею, то сердился на нее, словно это была его подруга.

— Вы же видите, она не оставляет мне времени для других девушек,— говорил он Рите, упрекавшей его за отшельнический образ жизни.

Юнг, беспечный, но не легкомысленный юноша, интересовался всем, больше всего своей специальностью, меньше всего девушками — может быть, потому, что они сами бегали за ним.

— У вас слишком выигрышная внешность,— выговаривала ему Рита.— Мужчины от этого легко задирают нос!

Мартин терпеливо выслушивал любые ее замечания. Когда он приезжал, они от души веселились. Он приносил пластинки, а Рите — дешевые конфеты, каких от Манфреда она никогда не получала, потому что он презирал их. Стоило появиться Мартину, и в маленькой комнатушке, где им теперь бывало уже скучновато по вечерам, закипала жизнь. Он танцевал с Ритой на пыльном темном чердаке под аккомпанемент пластинок или читал лекцию о джазе, к которому питал слабость.

— Рядом с ним я кажусь себе глубоким стариком,— признавался иногда Манфред, когда Мартин уходил.

Он любил Мартина, что с удивлением и радостью отметила Рита. А юноша испытывал к старшему другу какое-то почтительно-робкое чувство, почти обожание. У Манфреда никогда раньше не было близкого друга, и он считал это позорным пятном. Теперь пятно смыто, теперь его тайное желание исполнилось, и, конечно же, Манфред приписывал это появлению в своей жизни Риты.

— Ты принесла мне счастье,— сказал он однажды, когда Мартин уже ушел, но в комнате словно бы еще не утих поднятый им вихрь и они, улыбаясь друг другу, остались в полной тишине, которую воспринимали сейчас, как благо.

Рита по-прежнему спала рядом с Манфредом, удобно положив голову на его левое плечо. Но случалось теперь, среди ночи он просыпался, когда Рита теснее прижималась к нему, и видел, что она лежит с открытыми глазами.

— Что с тобой? — спрашивал он и гладил ее волосы.

Она делала вид, будто только что проснулась, и качала головой. Ей не хотелось отвечать. Она не знала, как выразить свои чувства, ей казалось, что в глубине души он вовсе и не желает знать, что угнетает ее.

Наступила осень, хмурая и тягостная. Листья, как мокрые тряпки, шлепались о грязную мостовую. Дворники сметали их в большие грязные кучи и куда-то увозили. Уже в октябре над городом повис туман — туман, какого нигде больше не бывает, тяжелый, плотный, пропитанный едкой вонью. Он месяцами висит над городом. Люди пробираются по улицам ощупью, держась за заборы, или сидят в одиночестве по своим комнатам, и сердце их сжимается от тоски по упущенным возможно-

стям — потерянной любви, непонятой боли, неизведанной радости и никогда не виданном солнце чужедальних стран. Движение на улицах замирает. Даже сильные фары грузовиков, чью кладь с нетерпением, как хлеба насущного, дожидаются заводы на окраинах города, с трудом проникают в красновато-молочную стену тумана.

В один из таких вечеров Манфред напрасно ждал Риту к ужину. Он придумал для родителей какую-то отговорку, которой они не поверили, но, несомненно, заметили его беспокойство и воспользовались им — бесстыдно, как все неискренне любящие. Мать выказала озабоченность Ритиной судьбой — мало ли несчастных случаев,— но тут же забыла об этом и с видом заговорщицы выложила на стол содержимое посылки от сестры, из Западного Берлина. Первая посылка после стольких лет! Наконец-то и они причислены к избранным — к тем, кто может пригласить соседку на чашечку «западного кофе». Манфред остался равнодушен. Он почти не знал эту тетку, однако сигареты, предназначенные для него, взял и приписал привет под благодарственным письмом.

Со скучающим видом спросил он о дочерях тети. Тут извлекли их фотографии. Ему пришлось взглянуть — ах да, помню, одна была маленькая и толстая, другая длинная и худая, обе соломенно-желтые блондинки, обе скучные-прескучные. Он прислушивался к каждому шороху за дверью, но не в силах был вырваться из уютного, обволакивающего теплом круга семейной лампы.

— Ох уж эти трамваи,— сказала мать, от которой ничто не укрылось.— Сегодня к вечеру они плелись буквально шагом, а некоторые вообще не ходили.

А лампа над столом горела. Так горела она уже многие годы. Еще совсем маленьким мальчиком он за этим столом делал уроки. Мать подходила к нему сзади и клала ему на голову руку — легкую руку, прикосновение которой действовало так благотворно. Кто говорит, что в ее голосе звучала фальшь, когда она беспокоилась о Рите? Кто запрещает ему посочувствовать отцу, человеку мягкому, желавшему сыну добра? Что-то неудержимо влекло его в душное тепло родительской столовой. Почувствовав, что слабеет, он тотчас взял себя в руки, вскочил и вышел, злясь на что-то неопределенное, непонятное ему самому, и злость еще долго душила его, когда он уже был у себя в комнате.

Манфред закурил и включил последние известия. Диктор говорил о несчастных случаях из-за тумана на автостраде. Волнуясь, шагал Манфред из угла в угол. В комнате вдруг стало больше места, чем ему требовалось. Постепенно, нарастая, как снежная лавина, в нем крепла уверенность: с ней что-то случилось. Преодолев парализующее действие этой пугающей мысли, он уже хотел было идти к ближайшему автомату и звонить во все клиники. Но только достал из шкафа пальто, как открылась дверь.

Вошла Рита.

На ее пальто и волосах осели мельчайшие капельки тумана, они сверкали и переливались от каждого движения. Лицо ее разрумянилось, никакой вины она за собой не чувствовала.

Не счесть, сколько раз в последующие годы, вдали от нее, видел он Риту в рамке этой двери: сверкающую и в то же время окутанную какой-то дымкой, бодрую, с еле уловимым выражением упрямства (а может, уверенности?) на лице. И каждый раз он чувствовал, что цепенеет, как тогда.

— Где ты была? — спросил он.

В его голосе звучал не страх за нее, нет, он требовал отчета.

— У Шварценбаха, — ответила она.

Ужин свой она отставила — она уже ела. Но чаю выпила.

Манфред наблюдал за ней. У Шварценбаха. У того самого пред-

ставителя института, которого она теперь узнала в преподавателе истории.

Она не собирается рассказать подробнее? Нет. Этому замкнутому человеку с таким холодным лицом ей нечего было рассказывать. Она легла спать, а он сел к письменному столу. Но она не спала, а он не работал. Он чувствовал ее взгляд, но словно одеревенел, она ждала хоть какого-нибудь знака от него. Господи, мы же не дети!

Да, в тот вечер усилием воли ему удалось преодолеть свою скованность. Он заставил себя подойти к ней. Склонившись, он сказал:

— Ты вся еще пахнешь туманом...

В ту же ночь она многое ему рассказала. Не один час понадобился им на это. Туман успел отступить, а может быть, он растворился — кому известно, куда девается туман, когда он наконец исчезает? Утром, во всяком случае, город опять стал видим, и в нем неожиданно обнаружилось нечто такое, что долго от всех ускользало.

— Так вот, о Шварценбахе, — начала Рита. — Я столкнулась с ним на лестнице в институте — правда, не без стараний с моей стороны.

Он единственный человек, кто может ее понять. Между ними еще сохранилась дружеская близость ежевечерних бесед в конторе соцстраха. Он тотчас напомнил ей, как она поначалу отвергала его уговоры, и тем самым подстегнул ее. Все возражения он знал наперед.

— И все-таки я была права. Лучше бы я осталась дома.

— Ах вот как! — сказал он. — У вас есть сейчас время?

Она кивнула, хотя знала, что Манфред будет беспокоиться. Они вышли в туман и долго брели пешком, потому что трамваев было очень мало. Счастье еще, что Шварценбах живет в той же части города, что и она. У его дома они столкнулись с женщиной и двумя детьми: это была его жена и дети. Ребята, оба черные, как смоль, бросились к отцу. Мать забирает их по вечерам из разных детских садов.

— В подъезде он поцеловал жену, словно меня и не было.

Вообще ей очень понравилось все семейство. Конечно, не могло быть и речи о том, чтобы сию же минуту поговорить со Шварценбахом по душам. Его закрутил водоворот домашних дел, как это бывает в семьях, где все работают и целый день не видят друг друга. Надо было приготовить ужин, вымыть детей, выслушать все ребячьи переживания и приключения и правильно их объяснить. Обязанности были четко распределены между супругами. Рита с удовольствием наблюдала за происходящим и даже получила разрешение проверить у старшего мальчугана урок по арифметике, выполненный прямым уверенным почерком с веселенькими закорючками.

— Я отлично чувствовала себя в их тесной шумной комнате. Вначале, правда, я удивлялась, что Шварценбаху это нравится. Мне казалось, что он любит тишину и что жена у него должна быть кроткая и задумчивая. Но она оказалась совсем, совсем другая — много моложе его, деятельная, веселая.

Жена Эрвина Шварценбаха — учительница. После ужина, когда ее муж и его юная приятельница сели поговорить, она тоже осталась.

«Эта девушка пришла, чтобы отругать меня,— сказал Эрвин Шварценбах жене.— А все потому, что я вытащил ее из деревни и тихой конторы; ведь это та самая девушка, с которой я коротал тогда вечера».

— В первую же минуту,— рассказывала Рита Манфреду,— у меня словно камень с души свалился.

Действительно, даже не успев обменяться с ним и словом, она почувствовала, что получит ответы на все свои вопросы.

— Я сама часто думала, что мои страдания — плод больного воображения. Но Шварценбахи и не пытались меня убеждать. Они не твердили: имейте терпение, скоро привыкнете.

Так иногда говорил ей Манфред.

— Но в чем же, собственно, дело? — переспросил он.— Что тебя мучает?

— Они задали мне тот же вопрос,— ответила Рита.— Мне трудно объяснить. Со стороны может показаться глупым, что я все это отношу за счет определенного человека. Но, когда я сказала, что от нас требуют подражать Мангольду, Шварценбах меня сразу понял. А я не могу этого. И не хочу. Неужели надо действительно быть такими, как он?

— Как Мангольд? — спросил Манфред.

— Ты же знаешь, я рассказывала тебе. До института он был заведующим отделом в каком-то совете. Теперь учится со мной в одной группе. Ему не больше тридцати. Но ты удивишься, когда узнаешь, чего только он в жизни не успел. Право, не понимаю, как уживались с ним его коллеги по прежней работе. Нет такого вопроса, на который у него не было бы ответа. Он нас всех буквально запугал.

— Боже мой,— сказал Манфред,— не слишком ли ты впечатлительна?

«Это не беда,— сказал ей Шварценбах.— Нам как раз нужны впечатлительные люди. Какая польза от толстокожих?»

— Хорошо ему говорить,— заметил Манфред.— Я бы лично посоветовал впечатлительным избавляться от своей впечатлительности... И не надо драматизировать события. Выслушай меня, ведь все это не ново. Молодые люди начинают жизнь с несколько идеализированными представлениями, затем сталкиваются с грубой действительностью, что, разумеется, не проходит безболезненно, пытаются перетряхнуть старые, возможно, даже оправдавшие себя отношения, а их раз, другой, третий пребольно стукнут по лбу. Не так-то это приятно! Вот они и начинают втягивать голову в плечи. Что в этом нового?

А ты делаешь вид, что у тебя все позади, подумала Рита. Шварценбах тоже возмутился, когда я рассказала ему, что произошло сегодня. Наш молодой преподаватель общественных наук как-то неуверенно себя чувствует на лекциях и все оглядывается, не сделал ли он чего не так. И вот сегодня Мангольд поймал его на ошибке в какой-то важной цитате. Мангольд знает наизусть все цитаты — видно, не один год их зазубривал. Но как испугался наш преподаватель, когда Мангольд его прервал. Мангольд дал ему понять, что, видно, неспроста кое-кто именно сейчас путает именно эту цитату. Как тот покраснел, с каким трудом закончил лекцию и как использовал создавшееся положение Мангольд, а главное, какими побитыми чувствовали себя мы все, не смея взглянуть друг на друга, не имея мужества защититься!.. Прескверное было состояние.

— За всякий прогресс надо платить,— сказал Манфред.— Терпеть подобных мангольдов — вот наша плата.

Нет, подумала Рита. Я с этим не согласна. Шварценбах считает, что мы не имеем права терпеть их. По-моему, он глубоко в этом уверен. А его жена тем более! Она пришла в ярость. «Мы или они!» — заявила она. Под этим «мы» она и меня имела в виду. «Мещанин отличается особенной живучестью,— сказал Шварценбах.— Вначале, когда мы только начинали, он забился в крысиные норы, но потом живо перестроился и теперь вылезает на свет божий, цепляется за нас, делает вид, что служит нам, а на деле только вредит».

— Твой Шварценбах коммунист,— сказал Манфред,— а ты нет. Пусть он и борется, сколько и против кого ему хочется. А чего он требует от тебя?

— Не знаю. Он, очевидно, предполагал, что по этим вопросам мы одного мнения.

— Так вот что,— сказал Манфред,— если хочешь моего совета: не ввязывайся!

— И не собираюсь,— согласилась Рита.— Я не ищу драки.

Выговорившись, она быстро заснула, и во сне лицо ее было по-детски спокойным. Но Манфред долго лежал без сна, словно ее тревога передалась ему.

18

Однажды утром — на четвертой неделе своего санаторного житья — Рита выходит на балкон, расположенный на южной стороне здания. Все кругом изменилось. Нежданно-негаданно, без предупреждения.

Первый ясный осенний день после бурной ночи. Рита мало спала, но ей и не хочется спать. Ночью в парке выла и ревела буря. Телеграфные провода угрожающе гудели. Около двенадцати она проснулась от звука собственного голоса. «Помогите, помогите!» — кричала она. Но очнувшись, сразу умолкла.

Было очень важно удержать в памяти своей утренний сон. В первые секунды после пробуждения ей казалось, что она явственно его помнит, что он понятен и доступен толкованию, если как следует поразмыслить над ним. Однако она сразу же почувствовала, что он расплывается и исчезает.

Вот еще ясно видна длинная-длинная и совсем незнакомая улица. Рита точно помнит свое ощущение — смесь страха и любопытства,— которое испытывала, когда шла по ней, и самое странное — без Манфреда, а с Эрнстом Вендландом. Но он здесь ни к чему, его присутствие удивляет ее даже во сне. Он же делает вид, что это само собой разумеется, и все твердит: «Прости только меня, а его — ни за что не прощай!» И еще прежде, чем она успевает ответить или задать ему вопрос, они уже сидят в ее девичьей комнатке (она замечает это прежде всего по аромату, доносящемуся с лугов через открытое окно). Здесь, в теткином доме, они еще никогда не бывали вместе, и она удивляется еще больше.

Но тут Рита проснулась, и сон стал быстро забываться, улетучиваться, ускользая от ее цепких мыслей.

Она долго стоит в углу балкона и смотрит вниз в парк. Вот уже солнечный треугольник на каменном полу делается совсем крошечным, остроконечным и перестает ее греть.

Рита спускается в парк. Ей хочется все потрогать: деревянную спинку скамьи, потрескавшийся ствол огненно-красного бука, листья, ветки, сухой мох. И, обратившись к внешнему миру, существующему помимо нее, она спокойней возвращается к себе самой и чувствует: теперь она уже не брошенное на дно колодца несчастное существо. Она недешево — ничего не поделаешь! — оплатила свое новое чувство собственного достоинства.

Ощущение, что они, отключившись от всех и вся, витают в своей комнатке-гондоле над миром, уже не возвращалось к ней в прежней чистоте после той ночи, когда они с Манфредом говорили о Мангольде.

Зато теперь они вели долгие разговоры. Манфред пытался показать ей мир таким, каким сам его видел: познаваемым, но все еще непознанным. Пусть даже отчасти познанным, но почти не затронутым этим познанием. Груда хаотической противоречивой материи — и человек, охотно мнящий себя мастером, но уж никак не подмастерьем. С каким-то мрачным удовлетворением следил он за усилиями математиков предрекать где только можно и что только можно, даже в областях, ничего общего с математикой не имеющих: успех или провал крупных коммерческих спекуляций, исход предполагаемых войн. Но и предсказания электронного мозга не могли изменить того, что на земле (на какой-то ее части, во всяком случае) продолжали спекулировать в крупных масштабах и в крупных масштабах вооружаться.

— Ну, а люди? — спрашивала Рита.

— Большей частью человеческие судьбы, как параллельные прямые, пересекаются лишь в бесконечности,— отвечал Манфред. И, улыбаясь, добавлял: — Зато в бесконечности, говорят,— наверняка.

Тем не менее Манфред причислял себя к гильдии пророков. Сознание, что его отрасли науки предстоит активно вмешаться в будущую повседневную жизнь людей, приносило ему удовлетворение; и если ему знакомо было нетерпение, то это было нетерпение экспериментатора, которому целые города и страны недостаточно оперативно предоставляют себя для экспериментов.

— Чего хочется людям? — сказал он однажды Эрнсту Вендланду.— Чтобы дом их работал, как хорошо смазанная машина: сам чистился, сам топился, сам ремонтировался. Чтобы в городах был точно рассчитан круговорот человеческой жизни, чтобы автоматически регулировалась деторождаемость — да, да, даже это. Во всяком случае, люди не хотят существовать на холостом ходу из-за технических неполадок. Продление жизни путем стимуляции жизненных процессов — в этом состоит научная проблема нашего столетия. И решение ее можем гарантировать лишь мы, представители естественных наук.

— Поторопитесь,— посоветовал Вендланд.

Он приехал в институт по поводу одного анализа для своего завода, кстати говоря, не в первый раз. Не в первый раз проходил он по длинному коридору мимо двери с фамилией Манфреда на табличке, но лишь сегодня, поколебавшись, впервые вошел к нему. Манфред, проверявший с одним из своих студентов длинный ряд пробирок, был ошеломлен. Именно Вендланд — и именно к нему! Но отчужденности, которой ждал Вендланд и которая заставила бы его тотчас повернуться и уйти, Манфред отнюдь не проявил. Посетитель был ему не так уж неприятен.

— Знакомьтесь, господин Вендланд — директор вагоностроительного завода. Мои коллеги. Доктор Мюллер, доктор Зейферт.

— Очень приятно. Здравствуйте.

Вендланд воспринимал сегодня все необычайно болезненно и остро. Он увидел: деловая обстановка, обширное и, несмотря на многочисленные сверкающие приборы, просторное и светлое помещение, строгая целесообразность каждого предмета. Химики — сплошь молодые; отрываясь от работы, они при виде его перекраивали напряженно-деловое выражение лица на вежливое, слишком даже вежливое, вовсе не подходящее к обстановке.

Вендланд окинул взглядом ряды пробирок.

— Все одинаковые? — спросил он Манфреда.

Тот улыбнулся, как улыбается специалист на вопрос дилетанта.

— Не совсем,— ответил он.— В нашем деле все зависит от тончайших различий.

Манфред подвел его к своим коллегам — сколько раз в их лабораторию заходили директора заводов! — и объяснил, над чем они работают. Он явно, даже больше, чем ожидал Вендланд, старался показать, что хорошо знаком с ним, и полностью использовал представившееся преимущество — принимать противника на своей территории. Вендланд и глазом не моргнул.

В конце обхода взгляды их на короткий миг встретились. Вендланд насмешливо-понимающе покосился на Манфреда и, когда тот поймал его на месте преступления, не отступил. Он улыбнулся открыто, с обезоруживающим простодушием, и Манфред улыбнулся в ответ, хотя значительно более сдержанно. Пожал плечами: ничего, мол, не поделаешь, дорогой мой, ты меня разгадал.

Перемирие. Разве можно быть столь неделикатным, чтобы воспользоваться минутной слабостью противника? Да и вообще, что значит —

противника? Из-за девушки? Ладно, пусть. Но это в известной мере даже сближает мужчин. Только об этом не говорят.

Манфред предложил сигареты. Они подошли к одному из широких окон и взглянули на оживленную улицу, лежавшую в молочно-белом предзимнем свете,— это оба отметили впервые. Они закурили. И Манфред заговорил о перспективах своей науки — что может быть естественнее? — а Вендланд повторил:

— Поторопитесь... Или вам хочется, чтобы я стал отрицать значение естественных наук?

— Отрицать? Нет, отрицать это уж чересчур несовременно. Но, быть может, вам хотелось бы чуточку одернуть нас? Немного сбить спесь с науки?

— Спесивыми могут быть в худшем случае лишь научные работники,— возразил Вендланд.

— Оставим, пожалуй, тему спеси.

Они продолжали исподтишка наблюдать друг за другом, и это их забавляло.

— Ну, ладно,— сказал наконец Манфред.— Раз уж вы меня раскусили: не считаете ли вы, что кое-где наука быстрее проникает в повседневную жизнь, чем у нас?

— Западнее Эльбы, к примеру? — уточнил Вендланд без малейшего упрека.

— К примеру,— подтвердил Манфред.

Он взял со стола роскошно изданный журнал и перелистал его.

— Вот, смотрите, нам следовало бы не отставать от них.

— А почему же мы отстаем?

— Спросите тех, кто отвечает за это!

— Почему вы их сами не спросите?

Это была ошибка. Манфред захлопнул журнал и положил его обратно. Все они одинаковы. Отделываются пустыми фразами. Разве он не знает, какой ответ получает наш брат на подобные вопросы? Нотации, в лучшем случае.

Манфред разозлился. Зачем он поддался на провокацию? У него был навык произносить ни к чему не обязывающие слова, и он сделал попытку перевести разговор.

— Знаете,— начал он,— мне, как химику, хорошо известна шутка мироздания, зародившая на нашей планете жизнь и, в частности, живые существа, подобные мне и вам. Но не слишком ли много требований предъявляем мы к себе в связи с этой шуткой? Кто сказал, что это такой уж значительный факт? Зачем воспринимать все так серьезно?

— Послушайте,— ответил Вендланд даже без неприязни,— бросьте эти выкрутасы. Если мне хочется поглядеть сальто-мортале, я иду в цирк.

Оба рассмеялись. Нечто похожее на одобрение шевельнулось в душе Манфреда. Он сразу согласился, когда Вендланд, взглянув на часы, предложил вместе пообедать.

Двое мужчин, уже не очень молодых, но еще достаточно молодых, чтобы чувствовать себя в форме, вышли из дверей института на бледное декабрьское солнце. Оба нашли, что стало холодновато, и подняли воротники пальто. А потом дружно зашагали по слегка наклонной улице, окаймленной с одной стороны голым кустарником. В этот час дня им все больше попадались люди, шедшие из города.

— Тебе надо было видеть,— сказал вечером Манфред Рите, передавая, конечно без подробностей, основные факты этой встречи.— Осталась бы нами довольна.

Ни от кого Рита не узнала так много о Вендланде, как от Манфреда в тот вечер.

В угловом ресторанчике, хорошо известном Манфреду, где завсегдатаями были главным образом крестьяне, они, несмотря на многолюдье, нашли местечко. Заказали самое ходовое здесь блюдо — свиные ножки с кислой капустой. Бойкая на язык подавальщица принесла им прежде всего пива. Выпив за здоровье друг друга, оба с аппетитом поели (здесь эти ножки отлично готовят, они нежные и не жирные, удивительно, как это удается!).

Вендланд заказал кофе и, пока они ждали в уже затихавшем ресторане, начал говорить. Возможно, он решил заговорить именно в эту минуту, возможно, вся их встреча была лишь вступлением к этому разговору. Манфред, во всяком случае, понял, что он почти случайный собеседник, и с достоинством играл свою роль.

Впрочем, рассказ Вендланда заинтересовал его.

— Нынешний день для меня необычный,— сказал Эрнст Вендланд.— Сегодня мой день рожденья. Тридцать два года. Пожалуйста, не поздравляйте. Свою долю поздравлений я уже получил... Вот мы говорили об ошибках. Вам, вероятно, известно, что для вагонов нужна электроарматура. Стало быть, так: нам поставляет арматуру один берлинский завод. Месяц назад он неожиданно прекратил поставки.

Вендланд говорил медленнее, чем обычно,— это был единственный признак его волнения.

— Разумеется, в Берлин полетели письма, но они остались без ответа. Телеграммы, телефонограммы. Но если тебе не хотят отвечать, ты ничего не добьешься. А на заводе стоят вагоны, готовенькие, только без электричества. Я махнул в Берлин. И что же выясняется? Завод просто-напросто снял арматуру с производства — представляете, что это значит? Они теперь выпускают другую продукцию. Наверняка по указанию высших инстанций. Директор в отпуске — какой директор идет в отпуск перед концом года! — ответственный работник министерства уехал за границу на какую-то конференцию.

Этого мы так не оставили. Я шлю директору телеграмму от имени отсутствующего работника министерства: из отпуска отзываем! Ну и разозлился же он, когда, вернувшись, узнал, в чем дело. Мне все-таки удалось заставить его вновь выпускать для нас арматуру. Потом он, конечно, подал на меня докладную записку.

Сегодня я был у руководителей района. Задали же мне перцу! Выполняете план, товарищ Вендланд? Отлично! Но какими методами, разрешите узнать? И тут устроили головомойку; анархизм — это еще самое легкое обвинение,— ведомственный эгоизм, невыдержанность, превышение полномочий и так далее.

Вдруг Вендланд подумал: «Почему я, собственно, рассказываю все это именно ему?»

Манфред догадался, о чем думает Вендланд. Теперь он окончательно убедился, что его не собираются поучать.

— Короче говоря, — закончил Вендланд,— мне мылили голову, и пришлось терпеть. А что делать? Они правы, но и я прав. Так бывает.

Он замолчал и залпом выпил свой кофе. Казалось, все уже было сказано, но вдруг он снова заговорил, будто вспомнил самое главное:

— А ваши хваленые химики? Они разве не делают ошибок?

— Мне кажется, это у них исключено,— ответил Манфред.— Хорошо налаженный аппарат, который отсечет любого, кто ему мешает.

— Прекрасно,— воскликнул Вендланд.— То же самое сказал и я: освободите меня, если вы мной недовольны! Но это не произвело ни малейшего впечатления. Даже если бы мы были тобой недовольны, нам все равно нужно прежде найти кого-нибудь получше на твое место. Вот так! Логично, не правда ли?

— Логично, если смотреть сверху,— сказал, помедлив, Манфред.

Ему непривычно было вникать в рассуждения таких людей, как Вендланд.— Но с вашей позиции...

Нет, нельзя, знаете ли, быть слишком щепетильным. С ним уже однажды приключилась подобная история, еще в сорок пятом. Старик фельдфебель отослал домой группу авиакурсантов, в том числе и его, Вендланда. Домой! Легко сказать — в той неразберихе под самый конец войны, да еще желторотых птенцов, какими они все были. Две недели шагали они с приятелем из Гамбурга до городка в Гарце, до крошечного домика, до его родного дома. Что значит шагали: приходилось и вплавь, и ползком пробираться, потом вдруг новое препятствие — Эльба, а кругом шныряют одинаково опасные для них патрули — как старых, так и новых властителей страны. Когда они наконец добрались, у них ноги были растерты в кровь, но радовались они так, как могут радоваться дети, нашедшие родной дом. Одну-единственную ночь спал он в своей кровати — вот это была ночь! На рассвете пришли с обыском. Вовсе не из-за него. Советский патруль охотился на крупную дичь. Но у него нашли пистолет, который он подобрал в какой-то придорожной канаве и хотел сразу же выбросить дома. Забыл, черт побери!.. «А ну, пошли!..»

— Вот так,— продолжал Вендланд.— Три года я пробыл в Сибири, на руднике. Нелогично, не правда ли? Можете мне поверить, то же думал и я. На стене возле своей койки я выцарапал: «*Неужели я для этого унес ноги?*» Не знаю, конечно, что делал бы я здесь. Но там меня послали в конце третьего года в антифашистскую школу. Вернувшись, я сразу же вступил в СНМ. Кстати говоря, мой приятель, с которым я вместе добирался домой и который своевременно выбросил пистолет, давно уже удрал... Может быть, логика того или иного события становится ясной не снизу и не сверху, а в зависимости от его исхода?

Манфред подумал: сейчас начнется знакомая песня. Вендланд все-таки не удержится от агитации.

Он поднялся.

А может быть, Вендланд знает о нем больше, чем ему хотелось бы, и ловко заводит разговор на эту тему? Но что именно он знает? Разве ему, Манфреду, есть что скрывать?

— Ну, мне пора,— сказал он.— Вы затронули действительно очень интересный вопрос.

Вендланд удивленно взглянул на него. Но тут Манфред порывисто протянул ему руку — к чертям это вечное недоверие! — и повторил уже гораздо сердечнее:

— Мне действительно было интересно. А напоследок... примите все-таки мои поздравления.

На улице еще светило солнце, бледное и словно обессиленное. Выйдя, они невольно зажмурились. Здесь же, у дверей ресторанчика, они распрощались и разошлись в разные стороны.

19

Между тем кончается год. Время уже не скользит незаметно, его плавное течение окончилось. Пришли длинные, до краев переполненные тяжелой дремотой ночи и куцые дни, регламентированные предписаниями врачей. В прошлом остались и неудержимый бег времени и бесконечная смена картин.

А то мгновение, когда все кругом словно остановилось и мы, посмотрев друг на друга, пожелали, чтобы замерли даже стрелки часов? Это случилось на званом вечере у твоего профессора, помнишь? В самом конце вечера. У того профессора с безупречным пробором. Но ведь не это же главное в человеке! Конечно нет! А о чем мне вспомнить, когда я пы-

таюсь его себе представить? Вспомни-ка его жену. Эту стройную блондинку, много моложе своего супруга, которая бурно восторгалась им всегда и везде? Ах, боже мой, все это я как-то позабыла...

Из-за этого вечера мы остались на рождество в городе. А я мечтала уехать в деревню. Может, вовсе и не существует огромных сверкающих зимних звезд? Может, я их никогда и не видела? Но в мечтах мне грезилось, что они каждую ночь между рождеством и новым годом стоят над моей деревней и над лесом.

Воспоминания обманчивы, они не очень-то годятся в беспристрастные свидетели. Но что наверняка было, так это зловещий ветер перед рождеством, атаковавший город со всех сторон. Он рвал его, словно голодный пес свою добычу, он вламывался в дома. А потом где-то обрел покой... Эта тишина в дни праздников, эта скука, разлившаяся по улицам вместе с нарядно одетыми людьми! Неужели это и есть то, к чему готовятся задолго,— праздник? Им едва удавалось скрыть друг от друга разочарование.

Ехать к профессору на машине никак нельзя, во всяком случае на такой, как у Манфреда. Невозможно даже представить ее себе рядом с блестящими автомобилями других гостей перед профессорским домом. Уж лучше идти пешком. Пожалуйста, я согласна. Но откуда у других новые машины при вашей зарплате? Они больше заботятся о внешнем лоске, вот и все.

Возьми, к примеру, жен доктора Зейферта и доктора Мюллера. Сколько внимания к мелочам! Ну, этому я никогда не выучусь...

Первые полчаса все болтали только о машинах. Профессор был выдающейся фигурой, однако это вовсе не значит, что он и человеком был выдающимся. Попросту говоря, он был тщеславен. Крупный химик. Манфред описывал ей минуты, когда он с гениальным вдохновением обобщал их совместные усилия. Но больше всего на свете любил он самого себя. Свой успех. Свою славу. А разве не уверен он, что успех обеспечит ему и всеобщее восхищение?

— Да, да, вот уже тридцать лет я вожу собственную машину. Вы и представить себе не можете, господа, на что способна моя малолитражка!

Его супруга, златокудрая лисичка, подхватила: он как всегда слишком скромен, он забыл упомянуть о премиях, полученных на гонках, когда мы еще были только помолвлены.

Тут все разом заговорили о скромности профессора, а он стоял, подняв обе руки, словно капитулируя перед превосходящими силами, впрочем, не безоговорочно.

Но разве дело в профессоре?

Рита впервые видела Манфреда среди его коллег — собралось больше десятка гостей,— и если спросить у нее, внимательно ли приглядела она к этому обществу, она должна будет честно ответить: нет. Время ярче осветило картину того вечера, оно позволило разглядеть ее в разных измерениях. Тогда Рита была лишь удивлена, и только последующие события придали ее удивлению гневную окраску, и гнев ее, говоря откровенно, был несколько даже преувеличен.

Присмотрись она внимательнее, она заметила бы, что порой в отрешенном взгляде профессора, когда он останавливался на том или ином из его учеников, сквозила печаль, хотя он тут же, сделав видимое усилие, брал себя в руки. Возможно, он говорил себе, что ученики у тебя такие, каких ты заслужил. Он дружелюбно поглядывал на Манфреда, чаще, чем могло бы понравиться доктору Зейферту и доктору Мюллеру. Рита шепотом обратила на это внимание Манфреда, но тот сделал вид, что ничего не слышит,— он чокался с супругой профессора. Ни разу не пожал он Рите тайком руку под туго накрахмаленной белой скатертью. Ни разу не улыбнулся только ей, ни разу не глянул только на нее.

Рита вынуждена была поддерживать разговор с Мартином Юнгом. Он случайно в этот день оказался в городе, и хоть не принадлежал к «узкому кругу», но ради Манфреда был приглашен к профессору. Со знаменитым ученым у него ничего, кроме работы, не было общего. Наблюдать его в обществе, скованном тысячью условностей,— истинное удовольствие! Мартин так и искрился насмешкой.

— Идолопоклонство! — шепнул он Рите.

Что он имеет в виду? Что они — Манфред, и этот Мюллер, и этот Зейферт — поклоняются идолу? Неужели Мартин рискнул так резко критиковать своего друга? Или просто хотел намекнуть: все они поклоняются высшему авторитету? Но какому? Науке?

Слово «наука» особенно часто слетало с уст Зейферта. Ему, правда, не раз напоминали, чтобы он не забывал условие: нынче вечером никаких деловых разговоров! Но о чем же, в конце концов, и говорить доктору Зейферту?

Это был долговязый, костлявый человек с тщательно сделанным пробором в неопределенного цвета волосах и тщательно выбранной супругой. Что касается самой супруги, то она, казалось, страдала хроническим дурным настроением и не в состоянии была это скрыть. Но ведь замуж за Зейферта она вышла по собственной воле и никого не имела права винить в этом.

Зейферт принадлежал к тому поколению, которое с самого начала было втянуто в войну и сильно поредело; оставшиеся в живых вынуждены были приложить огромные усилия, чтобы обрести под ногами твердую почву. На этого рода усилия способны далеко не все.

Известно было, что Зейферт необычайно трудолюбив и тщеславен, и профессор не то чтобы к нему благоволил, но не в состоянии был противиться такому натиску исполнительности и усердия. Зейферт, старший по званию среди сотрудников, был уже тем самым ближе других к креслу профессора. Ближе других был он и на тот, надо надеяться, еще не близкий случай, когда кресло это опустеет... Можно об этом думать что угодно, но таковы факты. Сотни подобных фактов окружали Манфреда изо дня в день. Нет, лучше сказать, подстерегали его.

Неужели я тогда об этом подумала? Вовсе нет. Тогда меня больше других озадачили Руди Швабе и невеста доктора Мюллера. Девица эта, низкорослая и худущая, с башней иссиня-черных волос на голове, редко открывала рот. Было более чем ясно, что от будущей супруги круглень-кого розового господина Мюллера вовсе и не требуется красноречия. Нет, господин доктор Зейферт не мог скрыть своего презрения к вкусу приятеля. Разумеется, всякое бывает. Чувственный мир мужчины подвержен внезапным и необъяснимым порывам. Речь не о них. Но зачем же немедля обручаться и, сияя эдакой примитивной гордостью собственника, тащить девчонку к профессору? Непростительная бестактность!

Понятно, за столом об этом не произнесли ни слова. Кстати говоря, еду подавали отличную, хотя и несколько стандартную, ибо ужин, равно как посуда и официанты, были из государственного ресторана.

Ах, Манфред! Среди гостей были еще совсем зеленые юнцы, только что приступившие к работе у профессора. Они сидели на дальнем конце стола и, не переставая, хихикали и подсмеивались над всеми. Меня так и тянуло к ним, а тебя — нет.

И был среди гостей еще Руди Швабе. Тот самый, которого они встретили в Гарце. Верно, верно, теперь и он принадлежал к «узкому кругу». Профессор был деканом факультета, Руди — его представителем в центральном студенческом деканате. Руди по доброй воле ни за что не явился бы в это общество, где он был в безнадежном меньшинстве, и теперь хотел лишь одного — не бросаться в глаза. Это удалось бы ему только с

молчаливого согласия остальных. Но они отказали ему в таком согласии. Они воспользовались своим численным превосходством.

Не помню уж, когда началась эта игра. Я наблюдала за Манфредом, который ушел с Мартином Юнгом в соседнюю комнату. Они стояли у бара, наливая себе коньяк. Потом поговорили, правда недолго, о чем-то очень для них важном.

— Keep smiling *, маэстро. Наш проект отклонили.

Отклонили? Нашу «Дженни-пряху» с усовершенствованным прибором для отсоса газов? Просто-напросто отклонили? Работу многих месяцев? Да разве дело только в работе. Неожиданно Манфреду стало ясно, как прикипел он душой к этой машине. Начиная работу, он мысленно обратился к оракулу: удастся проект — значит, во всем повезет, не удастся — ни в чем мне не будет счастья. Оракул был к нему расположен, пока в успехе не было сомнения. Но вот он скинул маску и показал ему свой жестокий лик.

Манфред не сказал ни слова, только посмотрел на Мартина. Зрачки его сузились, он выпил свою рюмку, будто ничего не случилось. Мартин, который уже прежде намекал, что их ждут трудности, впервые заговорил совсем откровенно: предпочтение отдано другому проекту, предложенному фабрикой, но явно незрелому. Диковинные вещи творятся на свете!

— Нам необходимо съездить туда, Манфред. Но скандала не избежать.

Манфред не желал больше ничего слушать.

— Вот как,— сдержанно, словно вся эта история его совсем не интересовала, сказал он и вернулся к остальным гостям.

Много месяцев спустя Мартин рассказал Рите, что в ту минуту еле сдержался, чтобы не схватить Манфреда и не встряхнуть его как следует, а потом долго повторял про себя: «Тебе-то я докажу... Да, тебе я докажу!»

Но Манфреду это уже было ни к чему. Он считал окончательно доказанным: в нем не нуждаются. Существуют люди, которые росчерком пера могут уничтожить твои самые заветные мечты. Все разговоры о справедливости — не более как разговоры. Этот Зейферт уже злорадно поглядывает на него. Нет, он занят Руди Швабе. Бедняга, кажется. увеселяет публику, хотя открыто никто не смеется. Но он, Манфред, их знает. Они такие же, какими были пять минут назад, и такими же отвратительными останутся всегда.

Только его они больше не интересуют.

С каким-то злобным удовлетворением почувствовал Манфред себя свободно и легко. Теперь он отчетливо понял: нынешний вечер, когда он взглянул на них и на себя глазами Риты (Рита была права, но какое это может иметь значение, если варишься в их котле?), предыдущие месяцы, когда он всю волю, все силы сосредоточил на своем проекте (как иначе мог бы он догнать всяких Зейфертов и Мюллеров и одновременно освободиться от них?), и, наконец, долгие годы сознательной жизни — все это подготовило его к нынешнему решающему мгновению. В глубине души он раз и навсегда освободил себя от какой-либо ответственности. Он чуть было не попался. Вот позор так позор, но больше с ним этого не случится.

Манфред ощутил что-то новое в себе — холодность и безразличие.

Бледный, но улыбающийся, отправился он к остальным гостям в тот полумрак, где они отлично себя чувствовали.

Там была и Рита. Она одна могла дать ему страдание и радость.

Но почему она сердится? Она же ничего не знает. О чем здесь гово-

---

* Улыбайтесь *(англ.)*.

рят? Ах, Руди Швабе, это вечное дитя. Конечно, можно было предвидеть...

Кто-то, вероятно доктор Мюллер, начал задавать ему вопросы. Безобидные поначалу вопросы, на которые Руди отвечал, пожалуй, слишком торопливо. Они поняли, что могут продолжать игру,— впрочем, без одобрения профессора. Тот держался в стороне. Речь зашла об обеспечении старости. Тридцатилетние говорили о государственном обеспечении старости, как о насущной для них проблеме. Однако очень скоро у них прошла охота хихикать. У всех создалось впечатление, словно они стали свидетелями шантажа. Шантажировали представители государства — Руди Швабе. Всплыли имена их коллег, известных специалистов: «Крупнейшие знатоки своего дела, знаете ли...» Не получив вовремя преимуществ, на которые имели право, они обиделись и не остановились перед определенными выводами. Нынче в Германии ведь всем занимаются дважды, и химией тоже. Конечно, уход таких людей весьма прискорбен — особенно для государства, которое зависит от своих ученых...

Для *любого* государства, не так ли?

Руди подтвердил.

Кто-то произнес слово «риск». На риск никто не хотел, нет *не вправе* был идти. Высшие инстанции как будто поняли, что не следует идти на риск во взаимоотношениях с учеными. Те достаточно рискуют во время своих экспериментов. Так или нет?

Руди покрылся испариной. Вот уж не думал не гадал он попасть в такой переплет! Но помня о полученных указаниях, он со всем соглашался.

— Германия...— сказал кто-то. Это был Зейферт. Все прекратили разговоры, как только он взял слово.— Германия всегда играла ведущую роль в химии. Этим не шутят! Но спросите себя: какая Германия продолжает традицию? Западная? Восточная? Между прочим, это зависит от реальных возможностей, а не от политики. Такой реальной возможностью являются наши головы. И. смею думать, немаловажной. Пролетарское государство ради желанных результатов скрепя сердце мирится с не очень-то желанными ему буржуазными химиками. Не так ли, господин Швабе?

Слабый протест Руди был оставлен без внимания. Зейферт взглянул на Манфреда. Тот, по его мнению, принимал слишком мало участия в разговоре. А Зейферт принадлежал к людям, которые больше знают о других, чем позволяют другим знать о себе.

— Несомненно,— вставил Манфред, и Зейферт улыбнулся, хотя совсем не ясно было, следует ли толковать этот ответ как покорное согласие или как возмущение.

Юнцы, статисты нынешнего вечера, молчавшие до сих пор, смущенно молчали и теперь. Что бы они сказали, будь они одни? Много ли им надо времени, чтобы начать, как Манфред, поддакивать Зейферту?

Окружив Руди Швабе, собравшиеся дразнили его, словно глупого пса: покажут ему кость то в одном месте, то в другом, а лишь он изловчится схватить, спрячут ее. В этой забаве Манфред участия не принимал. Он наконец глянул в сторону Риты. Она смотрела на него с тем выражением, которого он ожидал. Ему стало ее жаль. Все это для него не ново, но каково ей? Его так и тянуло погладить ее по голове. Но он продолжал стоять на месте, спокойно выдержав ее взгляд.

Разве она его впервые видит? Конечно нет. Но кто не знает, как трудно разглядеть истинную суть того, кого любишь? Эти несколько секунд Манфред, отдалившись от нее, как бы стоял в фокусе, что позволило ей лучше увидеть, проверить и взвесить. Говорят, это неизбежное мгновение знаменует конец любви. Нет, это лишь конец колдовским чарам. Одно из многих мгновений, под натиском которых должна устоять любовь.

Уже того, что оба они это знали, было много. Между ними возникло нечто вроде молчаливого понимания. Любое слово здесь только ранило бы, а взгляд... В его глазах она прочла решение: ни на что больше не рассчитывать, ни на что больше не надеяться. А он прочел в ее взгляде ответ: никогда в жизни с этим не соглашусь.

Одновременно она почувствовала: здесь нужно не утешение и не ободрение. Нет, ему стало ясно, что жизнь может не удаться, а быть может, уже не удалась. Кое-что, вчера еще вполне допустимое, отныне миновало навеки. К самым молодым себя больше не причислишь. И на чудеса рассчитывать не приходится.

Что-то все-таки дрогнуло в душе Риты. Она подавила желание подойти к нему и положить голову ему на плечо. С наивной верой в магическую силу прикосновения следовало бы распрощаться в далеком детстве. На этот раз Манфред и не пытался обмануть ее. Случалось, он становился в позу. Теперь она знала, с кем имеет дело.

Они оба опустили глаза и снова услышали, о чем говорят окружающие.

Руди Швабе перешел к защите.

— Нет,— прямо сказал он.— Нет, вы заблуждаетесь. Но существуют люди, которым нужны ошибки революции.

— А для чего, думаете вы,— подчеркнуто вежливо говорил Зейферт,— для чего нужны таким людям эти... ошибки? Слово, которое употребили вы, не мы!

Руди нетерпеливо мотнул головой. Оставим в покое слова! Хотя ему в точности известно, что словами можно погубить человека.

— Для чего? — переспросил он.— Как предлог, конечно. Как предлог для собственной лености или трусости...

Гляди-ка! Он хоть и не очень остер, но не подлаживается. И неплохо отбивается. Портит им игру с недомолвками, в которой они так сильны. Нарушает условия.

— Конечно, ему не хватает юмора. В этом обществе нужно владеть рапирой, а не пращой. Он часто неправ. Он защищает то, что защитить невозможно, он позволяет себе пророчества, которые вызывают улыбку: когда-нибудь вы будете рады, говорит он, если вам не станут напоминать о ваших нынешних взглядах.

И все же, и все же...

Руди верит в то, о чем говорит. Он романтик, если хотите. Рита поймала себя на мысли, как бы она на месте Руди отвечала этим людям — и Манфреду в том числе! Что можно ответить такому вот доктору Мюллеру?

— Революция...— произнес тот почти мечтательно.— Революция в Германии? Парадокс, не так ли? Русские — это да! Достойно всяческого восхищения. Не следует думать, что мы столь ограниченны и не понимаем этого. Но почему у нас каждая революция переходит в дилетантство?

С нетерпением выслушала Рита пространный ответ Руди.

— Но, господин Швабе! — воскликнул Зейферт.— Зачем же клеймить нас как заядлых реакционеров? Революция. Почему бы нет! Только, бога ради, избавьте нас от ваших иллюзий... Впрочем, вам лучше, чем кому бы то ни было, известно: революция пожирает собственных детей. Ну, а если не пожирает, то загоняет в... скажем, в студенческий деканат.

Удачный выпад! Тут уж тебе нечего сказать, мой милый. Ты вылетел из окружного комитета СНМ с выговором по партийной линии, попал к нам и, чтобы выслужиться, пытаешься положить нас на обе лопатки...

Руди побагровел. Стало быть, о выговоре всем известно. Как тут прикажете работать?

Рита ничего не знала. У нее не было навыка в пикировке, но на этот раз она сказала очень громко, среди полной тишины:

— Если бы меня спросили, я предпочла бы того, кто, не думая о себе, совершает ошибки, тому, у кого на первом плане собственная выгода.

Зейферт быстро нашелся.

— И это говорите вы! — воскликнул он, чокнулся с Руди, с Ритой и весело поддержал супругу профессора, которая уже начала жаловаться, что в политические споры втянули даже дам...

Рита и взглядом не стала спрашивать Манфреда, согласен ли он с ней. Она улыбнулась Мартину Юнгу в ответ на его восторженные кивки и сидела все такая же удрученная, все такая же несчастная, как прежде. К Руди Швабе она не испытывала симпатии. Что же побудило ее выступить в его защиту? Если бы это сделал Манфред, она была бы счастлива.

Доктора Зейферта вряд ли можно было убедить, но зато ничего не стоило его обидеть. «Он постарается мне отплатить»,— подумал Манфред, но ему все было безразлично. Ни он, ни Рита никогда не вспоминали об этом вечере. Если уж говорить начистоту, они все реже и реже бывали откровенны друг с другом.

С тех пор прошел почти год, и теперь, вспоминая вечер у профессора, Рита упрекает себя, что в ту пору не понимала по-настоящему, о чем шла речь. Душевное состояние всех этих Зейфертов, Мюллеров, Манфреда — да, да, и Манфреда тоже,— когда они, с одной стороны, еще не признали, а с другой — уже не признавали,— было ей незнакомо. Возможно, человеку в одиночку и не под силу совершить такой скачок. А ведь все они были одиночками. Ах, кому дано быть справедливым!

Рита перешла в соседнюю комнату, где был устроен бар. Здесь много пили — вечер все равно пропал. Профессору пришлось примириться с тем, что не все удалось сгладить.

— Господа, располагайтесь поудобнее, будем же развлекаться, раз уж мы собрались! Как видите, горючего достаточно.

Профессор смешивал коктейли по собственным рецептам. А потом разыгрывал призы.

— Бонбоньерка или бутылка шампанского за лучшее название коктейля!

Чудесная идея! Все снова собрались вместе, развеселились.

— Для дам!

Стали разносить бокалы с красноватой жидкостью.

— Как же мы его назовем?

— Феномен!

— Превосходно, сударыня!

— Любовный напиток,— прошептала невеста доктора Мюллера.

Это были первые слова, которые она произнесла за вечер, и всем стало неловко. Но бог с ней, надо дать ей премию.

— А теперь для мужчин. Осторожней, пожалуйста, не разлейте, он может прожечь ковер. Совершенно прозрачный, будто его и нет. В этом вся суть.

— Итак, что вы предлагаете?

— Смерть мужьям!

— Огненная вода! — Это идея молодежи.

Профессор снисходительно улыбается. Но тут доктор Мюллер, который уже основательно выпил, закашлявшись, предложил:

— Выжженная земля!

Смешки. Неожиданно все умолкли.

Приз за «Выжженную землю»?

Молчание.

Рана открылась. Зрелище не из приятных.

Вот стоят они, эти взрослые. Они присутствовали при том, когда такие лозунги гремели над огромными густонаселенными пространст-

вами; они их повторяли, за ними, как за знаменем, прошагали полмира. А вот стоим мы, дети. И дети, как обычно, отстранены от серьезных занятий взрослых. Все содрогаются при зловещем воспюминании...

Куда неожиданно заводит их это общее воспоминание. Поистине, душа человека — сущие дебри! На сколько столетий отбрасывают они людей? В ледниковый период, в каменный век или в эпоху варварства?

Но тут прозвучал резкий голос Зейферта:

— Нечего пить, если не умеешь!

Для господина Мюллера вызывают по телефону такси. Улаживает дело супруга профессора. Обычно она болезненно реагирует на любой пустяк — упавшую салфетку, двусмысленную остроту... На сей раз она, право, не видит повода...

Пожалуй, самое лучшее разойтись. Но прежде — прощальный тост, все общество вновь группируется вокруг профессора. Он никогда особенно и не стремился оказаться в центре бурных событий нашего столетия, а теперь тем более. Он уже не молод и при известных обстоятельствах ощущает предостерегающую дрожь в левой стороне грудной клетки.

Итак, шампанское. По совершенно необъяснимой причине недостает одного бокала — конфуз, который госпожа профессорша не забудет до конца своих дней. Но не успевает она броситься за ним, как раздается голос Манфреда:

— Мы будем пить из одного бокала.

Он смотрит на Риту. Та кивает, и краска заливает ей щеки. Профессор, которому во что бы то ни стало нужно спасти вечер, первым начинает аплодировать. Он старается показать, что сумел оценить поступок Манфреда: молодцы, весьма похвально так горячо любить. Неожиданно они оказались в центре внимания. Готовность Риты поддержать Манфреда подверглась испытанию. В этом обществе, признаваясь в своей близости, словно публично обнажаешься. Манфред знал это, но его это не остановило.

Профессор поднимает бокал.

— За что же мы пьем?

— За наши утраченные иллюзии,— громко предлагает Манфред.

Тост явно не годится. Неужели молодые люди не перестанут сегодня ставить своего учителя, которому они стольким обязаны, в неловкое положение?

Профессор склонился перед женой и произнес, одновременно обращаясь к Рите:

— За все, что мы любим!

Вот они и пьют каждый за свое, каждый за прямо противоположное.

Манфред делает глоток и передает бокал Рите. Она залпом его осушает. Оба не смотрят друг на друга, но желают одного и того же — чтобы время остановилось. Позднее Рита отчетливо вспоминает замешательство, с каким спросила себя: неужели нам надо страшиться бега времени?

Гости, словно подгоняемые нечистой совестью, разошлись торопливо, с какой-то нервной поспешностью.

20

Время не пощадило и профессорские званые вечера. И пусть иллюзия отгороженности обладает своеобразной прелестью — действительность развеет ее. А новые желания и порывы возникают куда медленнее, чем растут гигантские заводы в степях...

Конечно, некоторые факты весьма убедительны. Но значит ли это,

что они убеждают и меня? Невозможно жить только надеждой на будущее. Но невозможно дни и ночи, недели и годы интересоваться только своей женой, своей квартирой, машиной, только есть и пить в свое удовольствие. Вот уж поистине трезвый взгляд на жизнь, не правда ли?

Манфред, строивший из себя закаленного человека, привык, правда, к разочарованиям, но не к поражениям, что очень скоро и выявилось. До сих пор он как бы играючи, не вкладывая всех сил, достигал многого. Стране нужны были способные люди. На сей раз он приложил чуть больше усилий. Чего только не связывал он с этими чертежами, провозвестниками новой машины, настолько совершенной, насколько могут быть совершенны создания человеческого мозга. И вот, оказывается, роды не состоятся. Уныние, охватившее его, было для него самого неожиданностью. Теперь он наконец понял, какой благоприятный попутный ветер до сих пор мчал его вперед. Только из любви к Мартину Юнгу — он не хотел огорчать его — собрался он в начале нового года съездить в Тюрингию на завод, отказывавшийся испробовать их машину.

Манфред снарядился как для экспедиции в неизведанную часть света. Ему не впервой было ехать на завод, но впервые он задумался, как все устроить таким образом, чтобы произвести наилучшее впечатление.

— Зачастую от мелочей зависит очень многое. К примеру: надеть галстук или нет? Кепку? Шляпу? Как ты думаешь? — спрашивал он Мартина Юнга, который помогал ему укладываться и искренне потешался над ним.

— Ни кепку, ни шляпу,— ответил тот.— Захвати с собой терпение.

— Скажи еще — уверенность.

Это было бы лучше всего. Уверенный в себе человек легко преодолевает любое сопротивление.

Рите бросилось в глаза, что Мартин осторожно подготавливает друга к возможным осложнениям. Неужели Манфред ничего не замечает?

Он презрительно взглянул на Мартина.

— Что ты мне зубы заговариваешь! — буркнул он.

Одно удовольствие было смотреть, когда Мартин смеялся,— он действительно был еще очень молод.

Рита, подобрав под себя ноги, примостилась на табуретке и внимательно следила за их схваткой. Она толком не знала, радоваться ей или печалиться. «То ли дождик, то ли снег» — называл такое ее состояние Манфред, а она каждый раз энергично протестовала. И как обычно, избрала наиболее действенный способ защиты — нападение.

— Подарил бы ты мне попугайчика, что ли. Птица развлекала бы меня. Особенно когда я останусь одна. Надо, чтобы каждый день человек чему-то радовался.

— Во-первых, ты не будешь одна, раз у тебя так много друзей,— убеждал ее Манфред.— Да, да, друзей. Я знаю, что говорю. Во-вторых, ни одна порядочная девушка не станет огорчать отъезжающего друга. В-третьих...

Мартин знал все наизусть. Он отвернулся, когда они целовались.

— Кстати, там никто и не знает, что мы едем,— сказал он после небольшой паузы.

Манфред удивленно посмотрел на него.

— Может, мне распаковать чемодан?

— Как хочешь

Как он хочет? Он хочет увидеть, как работает машина,— увидеть незамедлительно и без всяких затруднений. Постепенно он понял, что дело не только в машине. Дело еще и в Мартине, которого он с наслаждением отругал.

Рита развеселилась, сама не зная почему. Она сварила кофе и поставила на стол блюдо с пряниками, которые извлекла из неисчерпаемого домашнего сундучка. В благодарность Мартин исполнил для нее на длинной линейке, при помощи которой Манфред обычно подчеркивал свои длинные формулы, настоящую серенаду. Линейка служила ему цитрой. И пел все, что они желали. Хорошо, что никто их больше не слышал. Они были счастливы в своем тесном кругу; каждый твердо знал: здесь только мои друзья.

С Мартином Рита могла говорить о Манфреде.

— Вы приглядите за ним,— попросила она.

Мартин склонился в шутливом поклоне.

— Послушайте, Мартин, если он поведет себя безрассудно... Он легко может вспылить. А это обижает людей.

— Вспылить? — переспросил Мартин.— Да он просто груб. Ему и невдомек, как надо разговаривать с людьми. Он человек заносчивый, зачастую оскорбляет их. Но машина, что ни говори, хорошая.

Рита вздохнула.

— И знаете, он ведь далеко не герой...

— Герой! — усмехнулся Мартин.— Там нужны химики и инженеры, а не герои. Герои не положены по штату.

Знаю, знаю, ты хочешь меня успокоить. Мило с твоей стороны, очень мило. Да и вообще ты славный парень.

— Вы уж его там опекайте, ладно?

— Рита,— сказал Мартин,— присядьте-ка на минутку и уберите эти морщинки со лба. Вот так. Я всегда восхищался, как разумно вы руководите Манфредом. Редко такое встретишь! Будьте же умницей, позвольте мне восхищаться вами и впредь.

Дольше одной, ну от силы двух недель они там не задержатся...

И все же время тянулось для нее бесконечно.

Блеклый, бесцветный февраль. Снегу чуть-чуть, но вдруг резкие волны холода, ледяной встречный ветер на прямой, как стрела, улице, ведущей к институту, и грызущее, нетерпеливое ожидание весны. Скрытый под пеплом жар...

Манфред не писал ей ни строчки. С вокзала в Тюрингии Мартин послал ей открытку с изображением уютного городка, каким он и был в действительности. «Доехали, бросаем вызов нашему веку. С приветом, Мартин. С приветом, Манфред».

Больше ничего она не получала. Бывали по ночам минуты, когда ей казалось, что весь их огромный город камнем навалился ей на грудь...

Гуляя, Рита описывает все бóльшие круги вокруг санатория. Осенняя природа ее не очень трогает. Иногда она останавливается у железнодорожного полотна, смотрит на поблескивающие рельсы, бегущие по холмам, рада, если машинисты кивают ей с паровозов, весело и без зависти кивает в ответ, хотя душа ее тоскует и рвется куда-то. Наступили ясные, прохладные дни, вполне соответствующие расположению ее духа. Она берет себя в руки и постигает науку, как вновь стать здоровой путем конкретного мышления. Она постигает и другую премудрость: как избежать прикосновения к своей ране, да, и это тоже.

Она ставит в вазу на своем столике у кровати ветки рябины, приветливо разговаривает с соседками по комнате, с сестрами, а вечерами читает у затененной лампы. Где-то вдали мчатся ночные поезда, деревья в парке тихо покачиваются, шелестя сухими листьями. Рита очень восприимчива к попыткам поэтов осветить шаг за шагом великую тьму непроизнесенных слов.

Но реальная ее жизнь в эти последние санаторные недели длится ежедневно всего четверть часа — пятнадцать изнурительных минут, которые ей необходимо стойко продержаться.

Неподалеку от тихого белого дома проходит лесная дорога, образуя острый угол с асфальтированным шоссе, которое через различные деревушки и городки ведет к их городу. В этом остром углу подле желтого столба стоит каждый день в одно и то же время Рита и ждет автобуса, который везет пассажиров вечернего поезда.

Ах, хоть бы кто-нибудь подал ей знак. Хоть бы кто-нибудь сломал предписанный ей покой. Хоть бы почувствовать, что настал тот миг, когда ей снова необходимо привыкать к беспокойству.

Что поделывает Зигрид?

Зигрид, одна из самых незаметных девушек ее группы, сидела всегда рядом с Ритой. Они приветливо разговаривали, но ничего не знали друг о друге. Так было, пока однажды Рита не заметила, что всю лекцию Зигрид царапает на промокашке одни и те же слова: что мне делать, что мне делать...

Вечером, в самом темном углу маленького кафе, Рита узнала, что предчувствие не обмануло ее: страх и неопытность поставили Зигрид в тяжелое положение. Родители, с которыми она жила, две недели назад вместе с младшими детьми «ушли» — что это значит, понимал каждый. Она была в курсе их планов и однажды вечером не вернулась домой (где может провести ночь юная девушка, оставшись одна в холодном зимнем городе?), не возвращалась и весь следующий день. Поздно вечером она, как и ожидала, нашла квартиру опустевшей. Ей многого пришлось бояться в жизни. Как она боялась крутого нрава отца, с которым шутки были плохи! Теперь она боялась только одного: если о бегстве родителей узнают, она вылетит из института. Энергично, проявляя незаурядную выдумку, воздвигла она непроницаемую стену вокруг этого бегства. Соседям сказала, что родители уехали в отпуск, неожиданно конечно. Бедь так бывает? Она позвонила на завод к отцу — он был сварщиком: отец болен, больничный лист мы пришлем позже. За братьев извинилась в школе.

Ей пришлось напрячь все силы, чтобы ложь не была разоблачена хотя бы в течение двух недель. И Рита вдруг увидела новую Зигрид: твердую при всей своей слабости. Но когда истекли две недели, Зигрид была вконец измучена вопросом: что мне делать?

Она и сама знала — есть только один путь, но все тянула и ждала, а Рита не торопила ее. Потом, по какому-то совершенно пустячному поводу, когда ее спросили о профессии отца, она напрямик без запинки заявила:

— Он ушел.

Рита была единственной, кто не удивился. Она успела разглядеть множество удивленных лиц, которые впервые с интересом смотрели на Зигрид. Через несколько минут из сумбура вопросов и ответов выделился резкий, деловой голос Мангольда:

— А больше никто не знал об этом?

— Знал,— спокойно ответила Рита. Она знала об этом.

Вот как. Знала! Да это настоящий заговор! Рабочий покидает свое государство, свою республику. Его дочь лжет этому государству. А ее подруга, которая учится и живет на стипендию от рабочего государства, покрывает ее.

— Что ж, придется об этом поговорить.

Все лица, как будто их дернули за веревочку, отвернулись от Зигрид, словно слишком долго смотрели на нее. Теперь они все смотрели на того молодого беспомощного преподавателя — он не мог столь же быстро и точно, как Мангольд, вспомнить ту или иную цитату,— который теперь растерянно повторил:

— Об этом придется поговорить...

Рита до мельчайших подробностей помнит тот день, хотя от растерянности не в состоянии была все как следует осознать. Вначале она еще надеялась достичь чего-то своей решительностью — если уж надо говорить, то лучше всего сейчас, сказала она Мангольду. Но тот отбрил ее: к такому-де разговору необходимо подготовиться.

В подобные минуты люди болезненно чувствительны к подчеркнуто невидящим взглядам. Так или иначе, никто не разговаривал с Зигрид и Ритой, во всяком случае если это мог видеть Мангольд.

— Они нас выкинут,— сказала Зигрид.— Я это знала.

По вечерам Рита часами сидела неподвижно в своей комнате. Она не спрашивала себя, может ли мнение такого вот Мангольда повредить ей. Верно, она боялась решения, которое отбросило бы ее на исходные, теперь такие далекие позиции. Но главное, она чувствовала, что Мангольд, если ему удастся победить, отнимет у нее гораздо больше, чем возможность стать учительницей. Правда, у нее не было окончательной уверенности, что жизненные принципы Метернагеля, Вендланда и Шварценбаха когда-либо будут определять жизнь всех людей, однако и малая крупица этой легко уязвимой уверенности была ей бесконечно дорога.

Ведь иначе Герфурты захлестнут мир. По всей стране они только и ждали этого, сидя за своими отлично накрытыми обеденными столами. Они уже поднимали нос, принюхиваясь, откуда дует ветер. Чем любезнее была фрау Герфурт, тем сдержаннее становилась Рита. Молча выслушивала она новости этой почтенной дамы: жуткие вещи творятся вокруг, бегство добрых знакомых стало повседневным явлением — необъяснимо, не правда ли? Или еще того хуже: всеми уважаемых людей вдруг разоблачают как преступников, и на процессах судьи клеймят их в самых немыслимых выражениях («Вербовщики! Торговцы живым товаром! Я спрашиваю вас: разве мы живем в средние века?..) Народ, говорила фрау Герфурт, народ считает, что так дальше продолжаться не может!

И как это мне прежде не бросилось в глаза сходство между фрау Герфурт и Мангольдом! — думала Рита. То же слепое рвение, те же крайности и выпячивание своего «я»... Можно ли одинаковыми средствами бороться за противоположные цели?

Она пыталась представить себе лицо Мангольда. До ее сознания неожиданно дошло, что он всегда носил серые костюмы. Но лицо его она не могла вспомнить. Оно принадлежало к тем лицам, которые не узнаешь, если видел их однажды,— и не потому, что оно такое уж заурядное (отдельные его черты она себе представляла — крупный нос, мягкий рот, бледные дряблые щеки), а потому, что у него какое-то безличное выражение. Словно он всегда носит шапку-невидимку. Но от кого же он скрывается? Можно ли длительное время скрывать от всех и каждого свои истинные цели?

А каковы его истинные цели? Честные заботы об общем деле? Или стремление под демагогическим предлогом заботы о нем использовать власть? Цинизм? Своекорыстие? Нерешительность? Ее страх возрастал.

С наступлением темноты она побежала к Метернагелю. Она приходила сюда частенько. Жена Рольфа молча указала ей на дверь другой комнаты, за которой слышались громкие голоса. В комнате сидело человек пять, все знакомые Рите люди, из ее старой бригады. В густых клубах дыма их с трудом можно было разглядеть. Радостно поздоровавшись с Ритой, они сразу же втянули ее в работу. Они как раз сочиняют письмо в дирекцию о постоянных перебоях в рабочем процессе. Письмо это — Рита отлично помнит — на следующий день привлекло всеобщее внимание на заводе, а позднее его даже напечатали в газете. Рабочие приняли Риту дружески, добродушно подшучивали над свежеиспеченной студенткой и требовали четких и неуязвимых формулировок. Все это

подействовало на нее благотворно. Но она все-таки скоро ушла. Ведь ей хотелось поговорить с Рольфом с глазу на глаз.

— Заходи завтра,— сказал он, провожая ее.

— Ладно.

Она пошла к Шварценбаху. Дверь отворила его жена. Но неужели это та самая сильная, веселая женщина? Казалось, лицо ее, однажды исказившись от ужаса, так и окаменело. Рита, не сказав ни слова, прошла мимо молчавшей женщины к Эрвину Шварценбаху. Тот сидел в кресле, безучастный ко всему.

— Ах, это вы,— подняв глаза, сказал он с облегчением, словно ждал кого-то другого.

Как раз сейчас, в эти минуты, оперируют их сына. Последние дни мальчика донимала несильная боль в правом боку, потом его начало лихорадить, за несколько часов он совершенно обессилел, ребенок был дома один, родители пришли слишком поздно...

— Этого я себе не прощу,— говорит фрау Шварценбах. Единственное, о чем она вообще может сейчас думать.

Она сидела у телефона. Оттуда должно прийти спасение или гибель. Идея самоубийства уже пустила в ее душе ростки. Шварценбах, сам во власти сокрушительного страха, вытеснившего из его сердца все, что прежде было важным, положил руку ей на плечо...

Идя по улицам, Рита видела перед собой страничку из тетради малыша Шварценбаха, которую она однажды проверяла: прямые цифры с толстым нажимом, аккуратные столбики...

Моросил дождь, первый предвесенний дождик. Тихий, почти радостный шум сливался с редкими порывами ветра, и по-зимнему застывший город облегченно вздыхал. Рита ступала по снежному насту, но теплая мягкая вода уже перекатывала через него.

Прохожие редко попадались навстречу. Рита не испытывала сейчас потребности в общении с людьми. Случаю было угодно, чтобы нынче никто в этом огромном городе не смог с ней поговорить, что ж, ее это вполне устраивало. Чувство отчужденности овладело ею не впервые. Но никогда не ощущала она его с такой болью, с таким стыдом. Обычно дружелюбное лицо города обернулось сегодня отвратительной гримасой.

Все оказалось совсем иным, думала она. Совсем иным.

Так мне и надо.

Она верила, верила по-детски, может ли она себе это простить! Она попалась на их болтовню, да, да, именно болтовню! Человек добр, нужно только предоставить ему возможность раскрыть себя. Какая чепуха! Как глупо надеяться, что ничем не прикрытое своекорыстие большинства людей может в один прекрасный день обратиться в разумную доброту.

Она потерпела крушение. По всей вероятности, любой знал бы это наперед. И ей ничего не оставалось, как попытаться избежать последствий. Стоило ли ломать копья?

Ее душевные силы были на исходе.

Словно все заранее обдумав, она пошла домой, упаковала потертый чемодан, незаметно покинула дом и успела на ночной поезд, который останавливался в их районном центре. Несколько часов она мерзла на вокзальном сквозняке, ибо маленькие города не приспособлены для отчаявшихся ночных пассажиров. Память, работавшая независимо от ее желания, вовремя подсказала ей, что именно в эти часы молочный фургон отправляется с молокозавода по деревням. Водитель оказался прежний. Он помнил ее, и вот она уже удобно сидит между ним и его помощником в теплой кабине грузовика. Фургон привезет ее в родную деревню, правда, кружным путем, но ей все равно.

Теперь оставалось только войти в знакомый крошечный, неправдоподобно крошечный домик, где было все, что надо человеку.

21

Рита спала весь день и всю следующую ночь. Проснулась утром в воскресенье от перезвона колоколов. Она ничего не забыла, но ясно почувствовала, что поступила правильно, приехав сюда. Высокий, словно затянутый легкой вуалью голубой небосвод, царящий над окружающим пейзажем; не поврежденный ни громадами домов, ни заводскими трубами, окаймленный до боли знакомой линией — лес, поля и небольшая гряда холмов,— он, естественно, вносил гармонию и во внутренний мир, не давая мучительным сомнениям скрутить тебя. Рита за час обежала во всех направлениях страну своего детства. Ей было весело. Целый маленький мир! И, как обнаружилось, вовсе не такой уж неуязвимый. Люди, которых она встречала на дороге, были нашпигованы новостями. Все казались более возбужденными, чем обычно. Одни прикрывали рот рукой, когда что-то сообщали ей на ухо, другие обрывали разговор на полуслове, прислушивались к чему-то и, покачав головой, отходили. Никогда прежде ей не бросалось в глаза, что здесь так много детей.

В деревне она встретила студентов, приехавших на каникулы. Они поздоровались с ней и несколько минут болтали о том о сем. Но при всем взаимном расположении они явно стеснялись друг друга. Каждый сознавал: собеседник видит не хуже тебя, что детство кончилось.

Неужели она приехала сюда, чтобы убедиться в этом? Неужели она думала, что какой-то застывший навеки уголок ждет ее, чтобы стать ей прибежищем? Да и желала ли она этого?

Она вдруг с презрением осудила собственное безволие и малодушие. И впервые задумалась над тем, что в один прекрасный день каждый человек оглядывается на прожитую жизнь с удовлетворением, с покорностью, с утешительным самообманом.

Все это было восемь месяцев назад, и с тех пор она даже не вспоминала о тех днях. Но сегодня Рита все переживает заново. И даже знает почему: то самое нетерпение, недовольство собой и всем на свете, которое заставило ее тогда вернуться в город на следующее же утро, охватило ее и сегодня.

Итак, состоялось собрание их группы, которого так страшилась Рита. Но, к счастью, чему ей следовало там научиться, она уже научилась сама: верный путь стать действительно умнее. Она кивнула, когда ее обвинили в прогуле, и молодой беспомощный преподаватель объявил ей выговор — самое малое, что он обязан был сделать, имея в виду возмущение Мангольда.

Мангольд говорил долго. Рита знала наперед, что он скажет. Она почти не слушала, только внимательно следила за ним. И наваждение вдруг рассеялось. Неужели никто не замечает, что слова, вылетающие из его уст, пустой звук? А как смешон его пафос! Она словно воочию видела механизм, который движет этим человеком.

Просто стыдно было за тех, кто опускал перед ним глаза.

Зигрид сидела, еле сдерживая слезы. Рита ободряюще улыбнулась ей. Ведь все это гроша ломаного не стоит. Может, Мангольд и запугает кое-кого, но в конце концов он обречен, ибо никому нет от него пользы, даже ему самому. А как вскоре выяснилось, он и запугать больше никого не мог.

— От чьего имени вы выступали? — спросил Эрвин Шварценбах.

Все насторожились. Мангольд тоже. Но тотчас он вызывающе заявил, что выступает от имени товарищей. Есть решение...

— Решение... — повторил Шварценбах.

Рита так и не успела поговорить с ним после того вечера. Как здоровье его сына? — подумала она. Он, наверно, жив, иначе Шварценбах не сидел бы так спокойно.

— А что говорит это решение о причинах проступка такой девушки, как Зигрид? — продолжал он.— Почему у нее нет доверия к группе?

Ответ должен раз и навсегда отбросить все наносное. Каждый обязан теперь выступить... Но говорил по-прежнему один Мангольд, за которым нельзя было не признать глубокой убежденности. Он говорил о партийной линии, как католики говорят о непорочном зачатии. И это с улыбкой высказал ему Шварценбах, чем довел Мангольда до бессильного бешенства. Что верно — то верно: без Шварценбаха все могло бы кончиться совсем иначе. Отчего это у них самих нет веры в свои силы? Что мешает им задавать простые человеческие вопросы, как делал это Шварценбах, внимательно, без недоверия, выслушать человека? Что мешает им дышать свободно каждый день, как они вздохнули сейчас? Всегда открыто смотреть друг другу в глаза?

— Вопрос надо ставить острее! — воскликнул Мангольд.— Каждый вопрос следует заострять, чтобы добраться до самой сути противоречий! Это будет по-партийному.

Но здесь впервые Шварценбах ответил резко и решительно. Ему было важно, чтобы в обсуждении приняли участие все и чтобы все поняли: в этом пункте он непреклонен. Им еще не доводилось видеть Шварценбаха в таком возбуждении. Он крикнул Мангольду:

— Позаботились бы лучше, чтобы такой человек, как Зигрид, чувствовала, что партия существует для нее, какая бы беда с ней ни случилась. И для кого же, если не для нее,— тихо добавил он.

Тут Зигрид все-таки расплакалась, стараясь, чтобы никто этого не заметил. Но все заметили, и это ее вдруг успокоило. Только Мангольд не отступал.

— Это же просто политическая наивность,— выкрикнул он.

Он не постеснялся, глядя на плачущую Зигрид, произнести слово «мировой империализм». Он, во всяком случае, прошел в партии суровую школу.

— Охотно верю,— быстро согласился Шварценбах, словно его худшие подозрения подтвердились.

Он даже заговорил дружелюбнее, будто они остались с Мангольдом один на один. Мангольд вдруг предстал перед всеми совсем в ином свете. Даже исчезла потребность увидеть его поражение.

— А знаете ли вы,— тихо сказал Шварценбах, обращаясь к Мангольду,— что я, сын рабочего, в конце войны хотел вступить в вервольф или покончить с собой?

Шварценбах бросил на чашу весов всю свою жизнь: за них, своих учеников.

— В те дни,— продолжал он,— мы заслужили ненависть и презрение и не ждали ничего иного. Но партия была к нам снисходительна и проявила терпение, хотя и потребовала многого. С тех пор я уважаю такие черты, как снисходительность и терпение. Революционные черты, товарищ Мангольд. Вам никогда не приходилось сталкиваться с ними?

Мангольд пожал плечами. Снисходительность, терпение? У кого сейчас есть на это время? В его тоне почувствовалась горечь.

— Вполне возможно,— сказал Шварценбах.— Но я часто думаю, что сталось бы без этого в нынешней Германии со мной... Сколько было вам лет, когда кончилась война?

— Восемнадцать,— с запинкой произнес Мангольд, словно раскрывая сокровенную тайну.

Они еще долго сидели все вместе. О наказаниях больше и речи не было. Мангольд помалкивал. Он был обидчив, и поражение далось ему

нелегко. Но Шварценбах умудрился так повести дело, что никто не глядел на него со злорадством. Даже Рита впервые думала о нем без отвращения.

— Ему, наверное, пришлось пережить много тяжелого, вот он больше и не верит в людей,— сказала она вечером Манфреду.

— А ты? — спросил Манфред.— Ты веришь в... людей? Сейчас я тебе кое-что расскажу. До сих пор я не говорил об этом. Собственно, я и сам хотел позабыть эту историю... Ты думаешь, что Мартин мой первый друг? Нет, много лет назад у меня уже был друг. Такой же хороший парень, как Мартин.

Да, да, такой же хороший. Только он был старше меня, и я смотрел на него снизу вверх. Не забыть мне ночей, когда мы сидели вдвоем и говорили обо всем на свете! И книги, которые он мне таскал! Долгие годы ничто не в состоянии было разлучить нас — ни девушка, ни ссора...

Пока один-единственный день не разлучил нас навеки. Один лишь взгляд, который я ловил понапрасну. Одна лишь фраза, которой он не произнес. Одна лишь статья, которую он написал.

Он стал журналистом в Берлине. Мы долго не виделись. Потом я встретил его на межуниверситетской конференции. Мы поздоровались еще как друзья. А через несколько часов разошлись без единого слова.

Что же случилось? Если хочешь, почти ничего. Совсем ничего. Я выступал. О несовершенстве университетских порядков, о мертвом грузе, мешающем нам. О лицемерии, награждаемом хорошими отметками.

— И ты это сказал? — удивленно спросила Рита.

— Думаешь, я всегда молчал как рыба? — ответил он вопросом на вопрос.— Когда я спустился с трибуны, все были против меня. Все указывали мне, как ошибочны, как опасны мои взгляды. Я же смотрел только на него. Он знал меня. Он отлично понял, что́ я имел в виду. Я написал ему записку: выступи же!

И зачем я написал эту записку! Зачем просил его помощи! Но я тогда ведь не знал, что передо мной сидит не прежний мой друг, а... Мангольд... Мне до сих пор стыдно за него, хотя прошло уже много лет!

— Он одним из первых покинул зал,— продолжал Манфред.— И написал статью, которую я читал и перечитывал,— так некоторые принимают яд, разрушающий их здоровье. Он писал обо мне. Писал об интеллигентах, которые отгородились от жизни, находятся в плену буржуазных взглядов и тянут наши университеты назад, в идеологическое болото.

Если бы он сейчас оказался здесь, я не подал бы ему руки. Что тебе еще надо, сказал бы он, разве газеты сейчас не кричат о том, чего ты требовал тогда?

Но я бы даже не ответил ему. Это он, он принудил меня уподобиться тому портрету, который он выдал в своей статье за подлинник, хотя и знал, что это фальсификация.

Манфред устал. Он уже жалел, что завел этот разговор. Это ведь мое личное дело, подумал он. Зачем вовлекать в него и ее?

Рита положила руку ему на плечо.

Мне надо было бы возразить, с огорчением подумала она. Но что сказать? Я ничем не могу ему помочь... Быть бы мне постарше!

22

Теперь, когда Рита смотрит на акварель с маками, она улыбается. Мне будет недоставать ее, думает она.

Неожиданно приходит письмо. Собственно, два письма в одном конверте, надписанном рукой Мартина Юнга. Но для нее важно только од-

но. Она похолодела, ноги и руки словно налились свинцом. Это письмо писал Манфред. Безумная вспышка надежды — она все еще надеется после стольких месяцев! Как она могла подумать, что все кончено навсегда!..

Письмо, написанное Мартину Юнгу и совсем недавно посланное из Западного Берлина, начинается без обращения. Рита читает:

«Справедливости ради, хочу тебе сообщить, что я действительно встретил этого Брауна из З. в одном из здешних многочисленных ведомств. Ты уже тогда что-то заподозрил. И оказался прав. Я хочу, чтобы ты знал, что я это знаю. Неужели мой отъезд перечеркнет наши добрые отношения? Впрочем, мне совершенно все равно. Знаешь, я с удовольствием убил бы его тогда. Теперь у меня и на секунду не возникло желания заговорить с ним. Зачем мне знать, было ли это преднамеренно или просто безответственно.

Все равно ничего не изменится. Я, правда, не принадлежу к тем, кто совершает паломничество к стене, чтобы пощекотать себе нервы. Я еще слушаю ваши передачи, я ведь не так давно уехал, чтобы все забыть. Шестидесятые годы... Вспоминаешь ли ты наши споры? Все еще считаешь, что эти годы войдут в историю, как великий вздох облегчения всего человечества? Я, конечно, понимаю, что можно (и должно, если хочешь жить) довольно долго обманывать себя. Но ведь нельзя себе представить, чтобы все вы, хотя бы теперь, перед лицом последних разоблачений на партийном съезде в Москве, не содрогнулись от ужаса перед человеческой природой? Что значит общественный строй, если вся история зиждется на несчастье и страхе отдельного человека?..

«Шаблон и узость взглядов»,— снова, как и тогда, слышу я твою оценку. Как и тогда. Не хочу еще раз начинать все сначала. Что можно было сказать, уже сказано давным-давно.

Желаю тебе счастья.
Манфред».

Оказывается, она еще не справилась со своим чувством. Боль настигает ее. Она вынуждена перевести дух. Рита читает и перечитывает письмо, пока не выучивает его наизусть. Она лежит в постели и просит своих соседок, с которыми ходит на прогулки, оставить ее одну. Когда комната пустеет, а шум в холле смолкает и во всем доме наступает тишина, ей становится лучше.

Внешне совершенно спокойная, Рита довольно долго лежит с закрытыми глазами. Потом читает письмо Мартина Юнга.

«Дорогая Рита. Я долго думал, посылать ли Вам письмо — единственное, написанное мне Манфредом. (Пока он не составляет исключения из общего правила и, как все, кто удрал, пытается объяснить свой шаг тем, кто остался, ибо чувствует бесчестность такого поступка.) Мне кажется, это письмо больше принадлежит Вам, чем мне.

«Справедливости ради»... Знаете ли Вы, что это было нашим девизом? А зародился он в З. С этим девизом бросались мы каждое утро в бой. Не знаю, что он Вам рассказывал, а что нет. Но верьте: дело было нелегкое. Нам ставили коварные, скрытые и неодолимые препоны. Был там и этот Браун, которого он встретил в Западном Берлине. Знаток своего дела. Только злым умыслом можно объяснить его сопротивление нашему проекту. Но в этом мы никого не в силах были убедить. И вот он уже четыре месяца, как сбежал. Многие говорят — отозван.

Я очень тороплюсь. На заводе сейчас работает партийная комиссия. Она заинтересовалась нашей машиной. Неужели Манфред не мог потер-

петь еще восемь месяцев? Обиднее всего, когда подумаешь: останься он, пусть против воли, ему удалось бы сделать над собой усилие, переломить себя. Теперь бы ему не уклониться...

Эх, об этом я, собственно говоря, и писать не хотел.

Будьте здоровы!

Мартин».

Рита держит это письмо в руке. Она лежит тихо-тихо и смотрит в потолок, прослеживая взглядом орнамент трещин и пятен сырости, который уже знает наизусть.

Мартин был бы ему хорошим другом, а я — хорошей женой. До конца наших дней. В этом я убеждена. Он знал это, иначе не вернулся бы из П. таким несчастным — хуже, чем отвергнутым: без грана надежды на успех.

Во всяком случае, несчастье в последний раз сблизило их. Усталый, он с возмущением рассказывал ей о заговоре, на который они натолкнулись в З., о холоде и недоверии у всех, кому они пытались довериться. Как ни странно, не Манфред, а Мартин стал действовать безрассудно, грубо и неумно. Рита догадалась о причине: Мартин ради Манфреда пустил в ход все средства. Он понимал, на что этот печальный опыт толкает друга, в любом отношении куда хуже вооруженного, чем он. Рита серьезно встревожилась, когда услышала о приступах ярости и диких выходках Мартина.

Неделю-другую после приезда Манфред пролежал с гриппом. Это ему, кажется, только и было нужно. Он много читал, особенно часто перечитывал молодого Гейне. («Но знать хотел бы я — со смертию куда уносится наш дух? И где тот ветер, что затихнул, и где тот пламень, что потух».*)

— Гейне тоже нелегко было с его добрыми немцами,— сказал он как-то.

— Наоборот,— поправила его Рита.— Это немцам было нелегко с ним.

Манфред улыбнулся. Он теперь часто подсмеивался над ней, как взрослые подсмеиваются над детьми. Она молчала. Тогда она еще не боялась ни за него, ни за себя. А он, быть может, втайне уже сделал выбор и всю свою энергию направлял на то, чтобы загубить и себя и ее?

Явное торжество его матери должно было насторожить Риту. Правда, немыслимо было себе представить, чтобы Манфред говорил матери о своих переживаниях, но возможно, она инстинктивно поняла его состояние.

Однако, когда Мартина исключили из института, его мрачное настроение перешло в неприкрытую отчужденность и едкий сарказм. Во время последнего откровенного разговора с Ритой он признался, что ходил к Руди Швабе замолвить слово за Мартина.

— Для себя самого я бы этого никогда не сделал! — сказал Манфред.

Он вернулся в состоянии полнейшего отчаяния и вместе с тем какого-то злобного удовлетворения, что было для него совершенно ново. Удивительно, он был даже доволен, что Руди Швабе показал себя именно таким трусом, каким он с некоторых пор его считал.

— Надо было видеть, как он на меня глянул, когда я сказал, что Мартин мой друг! Словно противоестественно называться другом отверженного! «Твой друг? Так, так... К сожалению, мы обязаны отчислить его. Последние события на заводе... Во всяком случае, он еще не созрел для учебы. Но ты ведь знаешь: мы не дадим пропасть ни одному чело-

---

* Из цикла «Кларисса». Перевод А. Мейснера.

веку». И так далее, и тому подобное. Все знакомые песни. А сам даже не слушает, что ему говорят. Я говорил и говорил до дурноты. А он даже *не смеет* слушать. Ему и дела нет до какого-то там Мартина Юнга. Думаешь, он сидел бы на своем месте, если бы прежде всего не зарубил себе на носу: не колеблясь выполнять любое указание?

— Но что же, вообще-то говоря, случилось с Мартином? — спросила Рита.

Что с ним случилось? Нервы не выдержали. На общем собрании он встал и сказал им прямо в лицо, кто они такие: интриганы, тупицы, волокитчики. Подобное поведение наказуемо. А господин Швабе — исполнительный орган.

— До чего же мне все это противно!

Мартина исключили. Но так как кроме Манфреда его почти никто не знал, это прошло незамеченным. Не поднимая шума, остался он на своем месте — это далось ему нелегко, особенно потому, что неизвестно было, сколько еще все это может продлиться. В такой ситуации восемь месяцев могут показаться бесконечными, подумала Рита. Но он держался молодцом. Манфреду это не удалось. Восемь месяцев для него оказались действительно бесконечными.

Не знаю, думает Рита, когда он окончательно решил, что его жизнь невыносима. Не знаю, когда мы потеряли контакт. Первые признаки я проглядела. Я слишком была уверена в нем. Я обманывала себя, снова и снова повторяя: что бы ни случилось, мы любим друг друга. Он имел все основания верить в это «что бы ни случилось».

Рита все еще держит письмо Мартина в руке. День угасает. Она поднимается и кладет письмо в ящик ночного столика.

Куда деваться от этих гложущих, невысказанных упреков!

23

Вскоре после того как Манфред, здоровый и внешне почти не изменившийся, снова начал работать в институте, ему позвонил Вендланд. Он пригласил их обоих, его и Риту, принять участие в испытании нового, облегченного вагона. Манфред колебался. Ее он приглашает, а не меня, подумал он. Но все же согласился.

Рита чувствовала — он только и ждет, что она скажет: «Останемся дома». Но она этого не сказала.

Сырым прохладным апрельским утром 1961 года они, как было условлено, поехали на завод. Впервые в жизни вместе прошли по тополевой аллее, безлюдной в этот час, так как первая смена уже работала. Откуда-то издалека им навстречу мчался мальчишка на самокате. Он оттолкнулся и стремительно пронесся мимо них, издавая ликующий крик радости. Крик этот эхом отозвался в душе Риты.

— Кажется, действительно пришла весна,— сказала она, глубоко вздохнув.

— Это тебя удивляет? — спросил Манфред.

Она только кивнула, ни словом не обмолвившись о тех мыслях, что мелькали у нее в голове. Никогда еще не тосковала она так по теплу, простору, движению, свету.

— Сейчас последует одно из твоих знаменитых невыполнимых желаний,— сказал Манфред.

— Да,— быстро ответила она.— Одеться понарядней, уехать далеко-далеко. Но только *очень* нарядно и *очень* далеко.

— И без меня,— добавил он.

Вот чего она боялась. Каждую ее просьбу он воспринимал, как жалобу. Она промолчала. Они шли уже по заводской улице. Нам сей-

час совсем ни к чему ссориться, подумала она и движением руки направила его в узкий проулочек между двумя заводскими зданиями, значительно сокращавший путь, но известный только посвященным. Молча прошли они несколько шагов.

— Со мной, видно, теперь и говорить нельзя,— сказал вдруг Манфред.

Рита почувствовала, что ее поймали на месте преступления, и попыталась увильнуть от ответа.

— Оставь. Я же знаю,— тихо сказал он.

— Что ты знаешь? — спросила она.

— Что я стал невыносимым. Невыносимо недоверчивым.

— Ты себе зря это внушаешь...— запинаясь, сказала она.

— Я же знаю,— повторил он.— Мне и самому от этого несладко. Мне, кажется, просто не везет...

— Везет людям только в сказках,— возразила она.— Да и там счастливчик замечает свое везенье, претерпев множество бед.

— Все может быть,— сказал он.— Но наш-то век вовсе не сказочный. Тебе это и самой не мешает знать. Но не мне просвещать тебя. Охота ли собственными руками разрушать то, что я больше всего люблю в тебе?

Эти его слова она потом часто вспоминала. Такие слова не смоешь и морем слез. Но сейчас о слезах даже речи не было.

Они завернули за угол. Ветер снова мел им в лицо. Здесь они уже наткнулись на рельсы и не дальше как в ста метрах увидели пробный состав: десять ярко-зеленых вагонов, сверкавших в свете раннего утра,— многодневный труд двух тысяч человек. Их разумная красота была создана в пыли, грязи и громыхающей неразберихе многих цехов. И среди этих десяти — новый «облегченный» вагон, внешне ничем не отличимый от остальных.

Рита заметила едва уловимые признаки повышенного внимания и волнения у людей, стоявших группами, куривших и болтавших о посторонних вещах. Она никого из них не знала и почувствовала было себя чужой, но кто-то потянул ее за рукав. Она оглянулась и оказалась лицом к лицу с Метернагелем. Тот явно был рад встрече.

— Что-то ты похудел,— сказала Рита.

— И ты тоже,— не остался он в долгу.

Они улыбнулись друг другу, и тотчас между ними восстановились дружеские отношения, словно они по-прежнему виделись ежедневно. Из стоявшей неподалеку группы им приветливо кивнул Вендланд и показал на поезд: можно занимать места.

Рита еще не разучилась ловко вспрыгивать на подножку. Раздвинув двери вагона, она остановилась: пусто!

— Как в церкви,— сказал Метернагель.

Рита до сих пор помнит, как он чертыхался, когда в последние дни перед сдачей в этих вагонах все, толкаясь, что-то доделывали.

— Тогда сними шапку,— посоветовала она.

Он так и поступил. Снял свою серую в черную полоску пропыленную кепку, без которой его на заводе никто никогда не видел. Встряхнув слежавшиеся волосы, чтобы они не падали на лоб, он выбил о колено кепку, сложил ее и сунул в карман спецовки.

Они двинулись по вагону, пропустили три купе, а четвертое открыли и вошли. Пахло краской, поролоном и синтетическими тканями.

— Ни одной детали из дерева,— сказал Метернагель.— И как это нас еще называют столярами... «Мастера синтетики» — вот, пожалуй, правильно.

Скоро и тех, кто еще стоял у вагонов, загнал внутрь неожиданный

холодный дождь. Заглянул Вендланд и попросил придержать для него местечко. Бригада испытателей распределилась по всему составу и приготовилась начать работу... Чтобы проверить радиоустановки, включили радио, и из репродукторов зазвучала музыка. За окнами крепчал ветер.

Ровно в семь часов поезд медленно тронулся — без сигнального свистка, без шума на платформе, без машущих платочков. Через несколько минут он добрался до главной колеи и выехал из города через северную окраину.

Объявили, что в двенадцать они вернутся.

В эту пору день еще не показал своего истинного лица. Железнодорожное полотно перерезало ландшафт по диагонали, а по обеим сторонам из сотен разновидностей человеческой деятельности создавалась картина будней. Мелькающими кадрами проносилась за окнами жизнь. Рита и замечала и не замечала ее, пока не разнеслось и не сорвало с этого дня маску будничности знаменательное *сообщение.*

Они проезжали по равнине, окаймленной вдали тополями; прямые ленты шоссе с проворно снующими машинами перерезали ее вдоль и поперек. Целый лес зеленых и красных высоковольтных мачт — черное кружево на фоне серого неба — медленно поворачивался перед их глазами, пока они объезжали участок. А потом поезд как-то сразу нырнул в район химических заводов и угольных шахт. Внизу, под ними, мощный тепловоз тащил огромный состав груженных бурым углем платформ. Внезапно их взорам предстал словно бы лунный ландшафт терриконов. Перед опущенным шлагбаумом остановилась крестьянская телега с семенным картофелем. То тут, то там поднимались столбы дыма от горящих луговых дернин. В кустах придорожной полосы несколько мальчишек курили свою первую сигарету. Старики копались в садиках, уже подернутых легкой зеленой дымкой.

Все они — водители, машинисты, крестьяне, рабочие, дети и старики — еще не слышали *сообщения.* Они были заняты тем, чтобы из миллионов слов, действий и мыслей создать один-единственный, обычнейший земной день, который вечером без особого шума лег бы рядом с себе подобными, довольный тем малым, что привнес в жизнь,— едва заметным, но незаменимым.

Рита почувствовала себя утомленной. Она положила голову на спинку дивана и увидела в широкое окно, что небо поднялось и посветлело: в тонкой серой пленке, затянувшей огромную массу прозрачной голубизны, там и сям видны были разрывы.

Земля радовала сочной палитрой красок. Она окружена ореолом нежно-голубого цвета. Затем эта полоса постепенно темнеет, становится бирюзовой, синей, фиолетовой и переходит в угольно-черный цвет. Этот переход очень красив и радует глаз.

Да что я, думает она. Этого я ведь тогда не знала! Она лежит в своей белой палате. Сейчас ночь. Она не спит, но и не боится бессонницы.

На потолке колеблется ветвистая тень растущего под окном дерева.

Можно ли сравнивать все, что довелось видеть мне, что довелось видеть каждому из нас — эти нежные пятна небесной голубизны сквозь разрывы облаков,— с тем, что впервые для нас всех увидел тот человек? И все же... Разве наши взгляды в те секунды — сверху и снизу (но ведь ни верха, ни низа уже не было!) — не могли скреститься в одной точке неба? Неужели этого никак не могло быть?

Стрелки бежали с ужасающей скоростью. Девяносто стремительных, до отказа заполненных земных минут начались. Но мы еще не получали *сообщения.*

— Надо же трезво смотреть на вещи,— сказал Манфред.

Я и не заметила, что Вендланд сидит у нас уже довольно долго, от меня ускользнуло, о чем они говорили, но это наверняка было до *сообщения;* после весь тон разговора изменился.

— Надо же трезво смотреть на вещи. Из подобного материала вы хотите высечь искру?

— Что вы имеете в виду? — переспросил Вендланд.

— Сущую мелочь,— ответил Манфред.— Всего-навсего тот факт, что определенные условия для нашей страны уже запоздали. Историческое опоздание. Кому-кому, а нам, немцам, это знакомо. Социализм создан для восточных народов,— продолжал он.— Не испорченные индивидуализмом и высокой цивилизацией, они способны в полной мере наслаждаться простыми преимуществами нового общества. Нам туда нет пути. Вам нужны несгибаемые герои. А здесь вы найдете лишь сломленное поколение. Трагическое противоречие. И антагонистическое.

«Видишь ли, дорогой мой, твой словарь мне знаком...»

— Буря в стакане воды,— сказал Вендланд.

Ему не доставляло никакого удовольствия вправлять мозги этому химику, который, к его досаде, всегда торчал рядом с Ритой. Но он был достаточно вежлив, чтобы отвечать ему. Манфред, кажется, путает господствующие классы западных народов с самими народами.

Манфред презрительно усмехнулся — этого аргумента он ждал. Вендланд, поняв, что его возражению недостает огня, вспылил.

— Несколько веков назад,— сказал он,— один из ваших великих предшественников в алхимии, а может и в гуманизме, с гневом атаковал своего бесовского противника: «О, помесь грязи и огня!» Заметьте,— с гневом, а не с отчаянием и меланхолией.

— Именно,— подтвердил Манфред.— Но меж этим фаустовским гневом и нами лежат столетия. Вот об этом я и толкую.

Они невесело помолчали.

Рита заметила, что Рольф Метернагель внимательно изучает Манфреда; тем не менее он тотчас почувствовал, что поезд начал тормозить. Они были уже более часа в пути, и, когда выглянули в коридор, чтобы выяснить причину задержки, пошла уже шестьдесят первая минута из тех девяноста, которыми стал знаменит этот день.

Но они еще не слышали *сообщения.* Рита вспоминает: высунувшись из окна, мы увидели перед паровозом сигнал «стоп». Именно сейчас, когда надо было развить скорость, чтобы начать испытание тормозов! Все ругались по долгу службы, но, собственно говоря, были не против паузы. Там уж дело машиниста снова разогнать машину. Из окна мы видели пастбище. С правой стороны оно примыкало к деревне, с левой — к чуть изогнутой линии леса, на фоне которого темнел одинокий неподвижный человек.

Позже я часто вспоминала песенку, которая в эту минуту гремела из репродукторов всех десяти вагонов: «Он был хорош собой, матросик боевой, по всем морям, по всем волнам...» Я и теперь, когда слышу эту песенку, представляю себе паренька, одного из ремонтников, разбиравших шагах в пятидесяти от нас соседний путь. Остальные ремонтники, все больше пожилые люди, работали, надвинув шапки на лоб, и даже не подняли головы, когда рядом остановился наш поезд. Но этот парень всадил кирку в кучу земли и медленно сделал по направлению к нам те самые пятьдесят шагов.

Это он, совсем незнакомый нам человек, которого никто из нас никогда больше не увидит, принес нам *сообщение.* Стоя на щебне соседнего пути и задрав голову, он спросил, даже не особенно громко:

— Слыхали? Час назад русские запустили в космос человека.

Я видел облака и легкие тени на далекой, милой Земле. На какое-то мгновение во мне пробудился сын колхозника. Совершенно черное небо выглядело вспаханным полем, засеваемым зерном звезд.

Когда прорвалась глухая тишина, воцарившаяся вслед за словами парнишки? Ведь тем самым все, что до сих пор свершалось, приобрело смысл: сын колхозника вспахал небеса и зерном рассыпал по ним звезды...

Когда прорвалась тишина?

Да ведь, собственно, никто и не молчал. Все разом зашумели, посыпались вопросы. Кто-то даже резко и протяжно свистнул, как на боксе. Парень, довольный своим успехом, засмеялся, обнажив два ряда крепких зубов. А из репродукторов еще гремела та самая песенка.

И все же было очень тихо. Царила та тишина, когда каждый прислушивается к новому звуку — тому, который в эти минуты добавился к старому, такому знакомому хору земных звуков.

Такому знакомому? Но что это? Словно скальпелем полоснула тень сверкающей капсулы по всем меридианам, вскрыв земную кору вплоть до кипящей раскаленной сердцевины. Да вообще она ли это, круглая, степенная планета, неторопливо вращающаяся со своей живой ношей во вселенной? Не стала ли она враз моложе и не запылала ли гневом в ответ на дерзкий вызов своего сына?

Так неужели ей теперь полететь вверх тормашками, земле, которая всегда, что бы с тобой ни случилось, была единственной опорой и основой твоего существования? Надо ли так натягивать старые стропы, на которых до сих пор держался мир? По плечу ли тебе столь внезапное освобождение от привычного «так, а не иначе»? Хватит ли у человека его малой толики тепла, чтобы выдержать холод космоса?

Вон та деревенька, и старательные рабочие на путях, и неподвижный человек у лесной опушки — разве они все те же? Ведь *сообщение* тем временем облетало весь земной шар, словно пламя, сжигая заплесневелую кожуру столетий. А наш поезд тем временем, бесшумно тронувшись с места, навсегда оставил и это пастбище, и эту деревню, и опушку леса с одиноким человеком...

Стыдясь обнаружить свои чувства, пассажиры под различными предлогами разбрелись кто куда. В мгновение ока вагон опустел. Рита устроилась за спиной тормозного мастера, который, раскрыв на откидном столике учетную книгу, под датой 12 апреля вписал: «Только что, в 8 часов 15 минут, получено сообщение, что во вселенной находится советский космический корабль с человеком на борту». А потом вытащил из кармана секундомер, развернул старую мягкую тряпочку, в которую он был завернут, и положил рядом с книгой учета. Машинист прекрасно знал, что́ от него теперь требуется: он сразу повысил скорость. Мастер взял в руки часы. Он напряженно следил в окно за километровыми столбами, а они все быстрее и быстрее мелькали мимо. Ему почти не нужен был секундомер. Уже десять лет он проверял каждый тормоз в каждом вагоне, покидавшем завод. Но он добросовестно вносит в книгу показатели возрастающей скорости.

В этот день проверить тормозной кран хотел сам Эрнст Вендланд. Стоя в дверях, он взялся за ручку тормоза и не спускал глаз с мастера. Тот все еще был недоволен скоростью. Но вот он поднял руку. Вендланд весь напрягся. И когда они пролетели следующий столб, мастер махнул:

— Давай!

В ту же секунду Вендланд со всей силой рванул ручку тормоза. Раздался отвратительный скрежет, которому, казалось, нет конца...

Тормозной мастер высовывается из окна и напряженно следит за

движением состава. Все медленнее и медленнее проскакивают мимо телеграфные столбы. И вот уже неохотно, сопротивляясь, а потом, наконец, словно образумившись, поезд остановился.

Однако еще прежде, чем испытатели выскочили из вагонов и измерили тормозной путь, мастер покачал головой. А из соседних вагонов, как бы невзначай, к нему стали сходиться его коллеги — опытные специалисты. Все они без измерений и вычислений знали: тормозной путь слишком велик. Такого на их веку еще не случалось.

Рита разделяла их озабоченность и беспокойство, хоть и не высказанное вслух. Один из мастеров, услышав, что тормозной путь превышает норму на двести метров, осуждающе покачал головой и, ткнув большим пальцем через плечо, сказал:

— А если б это с *ним* случилось?

Манфред видел, как смеется Рита, и понял, что к счастью, переполнявшему ее в этот миг, он не допущен. Рита же, увидев его перекошенное лицо, испуганно спросила себя: «Чем я его обидела?»

Между тем человек, чьим именем был отмечен этот день, стремительно падал, распевая песни, в пылающем жаре на землю, а затем уверенно, с «чистой совестью» приземлился. Простая женщина, малюсенькая девочка и пятнистый телок встретили его на родной земле.

Мы же пустились в обратный путь, с успехом затормозили другим краном и, поставив старый паровоз на запасный путь, под полуденным солнцем расположились на откосе. Наконец Манфред не выдержал.

— Что теперь последует, мне известно заранее,— сказал он, не открывая глаз и не отворачивая лица от солнца.— Пропагандистская шумиха вокруг первого космонавта. Гудящие, раскаленные телеграфные провода. Потоки всевозможных брошюр и статей захлестнут нас. Но не перетряхнут нашей жизни, не растормошат человечество. Вот тот крестьянин,— Манфред показал на человека, работавшего далеко в поле с упряжкой лошадей,— он и завтра будет запрягать своих лошадей. А наш старенький паровозик, эта древняя колымага, как насмех подвел нас именно сегодня. Вот сколько тягостных повседневных забот!

Манфреду никто не ответил. Вендланд промолчал из чувства такта— он никогда не сопротивлялся слабейшему, Рита — от стыда и злости. Это же не ты! Зачем надел ты эту маску мещанина?

Теперь она лучше понимает его: «Вся история зиждется на несчастье отдельного человека». Эту расслабляющую мысль он всеми силами старался укрепить в себе.

— Ваш отец уже освоился со своими новыми задачами? — вежливо спросил после небольшой паузы Вендланд.

Манфред насторожился. Новые задачи? Что за новые задачи?

Как, разве он не в курсе? Господин Герфурт уже с месяц работает главным бухгалтером.

— Стало быть... понижение?

— Вовсе не обязательно, на радость или горе, любой ценой дожидаться, чтобы дело, которое тебе не по плечу, тебя же угробило. Это, к сожалению, и моя доля,— добавил он шутливо.— Что же касается вашего отца... Мне кажется, он сейчас на своем месте.

Вендланд изо всех сил пролагал Манфреду путь к отступлению, но тот и не собирался этим воспользоваться. Кто мог предположить, что смещение отца так уязвит его? Не желая показать это, он только осложнял положение.

— Ах, вот как,— буркнул он.— Старая песня: мавр сделал свое дело...

Конечно, ему не пристало выступать защитником своего отца. Это было бы смешно. Тем не менее он позволит себе один вопрос: в чем

польза столь распространенного нынче недоверия, называемого бдительностью?

— Вы смешиваете разные понятия,— мягко сказал Вендланд.

Но эта мягкость Манфреду сейчас была ни к чему.

— Вот как? Я смешиваю. Может быть, мне не доступна трезвость научного мышления. Но юмор, заключенный в известных противоречиях, мне вполне доступен. К примеру — в противоречиях между средством и целью.

— Конечно,— сказал Вендланд.— Часто бывает трудно согласовать то и другое.

— Скажите лучше, невозможно,— подхватил его мысль Манфред.— Честность украшает человека.

— Украсила бы и тебя! — возбужденно выкрикнула Рита.

Манфред держал себя в руках. Поклонившись ей, он холодно ответил:

— Постараюсь быть честным.— А затем, обратившись к Вендланду, продолжал: — Мне кажется, меня здесь неверно понимают и рассматривают как обвинителя. Мне подобное и в голову не приходит! Я лишь сожалею о той бездне иллюзий и энергии, которые расточаются на невозможное. Сделать наш мир высоконравственным! Ведь вы этого хотите, не так ли?

— От этого зависит существование человечества,— ответил Вендланд.

— Именно,— согласился Манфред.— Последняя его надежда. И, кажется, разбитая, судя по всему. В один прекрасный день вам придется это признать.

Вендланд выпрямился и ответил с необычной для него резкостью:

— А зачем вам, собственно говоря, этот заслон?

Рита испугалась, хоть и не понимала сути спора. Манфред понял, но не испугался. Он явно одобрял остроту ума Вендланда и все же с обиженным видом снова нацепил на себя маску.

— Заслон? — переспросил он.— Не понимаю, что вы имеете в виду. Я говорю о накопленном опыте. Об опыте... с человечностью. Если уж быть откровенным, вспомните: корыстолюбие, эгоизм, недоверие, зависть — вот чего хоть отбавляй. Добрые старые наши привычки времен каменного века. Но человечность?

— Да ведь и грязь за собой таскаешь, покуда она может пригодиться,— сказал Вендланд.— Только ненависть еще долго будет нам нужна...

— А любовь? — робко спросила Рита.— Оборотная сторона ненависти?

Без видимой причины краска залила лицо Вендланда.

— Любовь говорит сама за себя,— сказал он.

Манфред встал.

— Для великой любви я, кажется, не создан,— грубо бросил он.

Пройдет немало дней, и однажды Вендланд скажет Рите:

— Странно, часто кажется, что в запасе еще уйма времени и что ты всегда успеешь в чем-то навести порядок. Как же я тогда не понял...

Прежде чем сесть в вагон (новый паровоз уже подали), Манфред еще раз обернулся — они увидели его лицо, жалкое и несчастное, и поняли: он не выносит, когда слово «любовь», безразлично в какой связи, говорят друг другу Рита и Вендланд.

— Да! — с горечью воскликнул он.— Долой румяна! Великая любовь, звонкие фразы... Сотрем же, наконец, румяна! Это единственное, что нам остается.

Рита словно онемела от жалости и печали. Она знала: больнее всего он ранил самого себя.

Когда они вечером вернулись домой, он прошел, не останавливаясь, мимо квартиры родителей, где их ждал ужин, и сразу повел ее в чердачную комнатку. Там, подойдя к окну, в рамке которого в розовых облаках пламенело заходящее солнце, он взял в обе ладони ее лицо и внимательно посмотрел ей в глаза. Ни капли высокомерия или вызова.

— Чего ты ищешь? — со страхом спросила Рита.

— Точку опоры,— ответил он.— Она необходима человеку, чтобы не погибнуть...

— И ты ищешь ее у меня?

— А где же еще?

— Значит, ты не был во мне уверен?

— Нет, был. Всегда внушай мне уверенность. Моя золотистая девочка... Договорились?

— Конечно, договорились.

Оба закрыли глаза. Надолго ли и от каких ударов судьбы могла их спасти любовь?

24

Май в том году выдался холодный. Обманутые в своей давно накопившейся жажде тепла, обыватели ворчливо подтапливали печи, в садах понапрасну опадал цвет с плодовых деревьев. Ветер сметал в сточную канаву снег лепестков. Но все это — холод, печально кружащий бесплодный снег лепестков и даже пронизывающий ветер — не могло быть причиной того, что душа холодела от страха и тоски.

Теперь Рита хорошо знала город. Закрыв глаза, она до мельчайших подробностей видела перед собой его улицы и площади — так запечатлеваются в памяти картины, виденные и перевиденные сотни раз. В свете этих майских дней город казался ей чужим.

Но хуже всего была перемена, происшедшая в Манфреде. После пережитого он весь ушел в свои обиды и страхи. Лишь возле нее, возле Риты ему иногда мучительно хотелось погоревать по-настоящему...

Ее одну он еще как-то щадил, а к родителям проявлял откровенную ненависть. Каждый вечер, сидя под висячей лампой за герфуртовским обеденным столом, Рита была готова к чему угодно. Она не замечала, какие кушанья ест, не слышала вялых застольных разговоров. В ее ушах раздавался только по-актерски гибкий голос диктора *(«свободный голос свободного мира»),* чьи вещания фрау Герфурт воспринимала точно евангельские заповеди. Как знать, когда этот голос перестанет лить елей и рявкнет по-начальнически, от обещаний перейдет к угрозам?

Рита поднимала взгляд от тарелки и видела лица остальных членов семьи: нервное, возбужденное поблескивание в глазах фрау Герфурт, безвольное равнодушие господина Герфурта, затаенную ненависть Манфреда.

Маски сброшены, оставлены попытки поддержать светскую беседу. Голая вражда.

Еще только раз все вырвалось наружу, когда Манфред безжалостно припер отца к стенке и тот вынужден был признаться: да, я больше не заместитель директора. Да, я теперь бухгалтер. Фрау Герфурт схватилась за сердце и с плачем выбежала из комнаты. Манфред продолжал язвить. Наконец Рита резко одернула его. Он оборвал на полуслове и вышел из комнаты. Рита осталась одна с его отцом. Господин Герфурт жалобно посмотрел на нее, даже не пытаясь спасти последние крохи своей бравой выправки.

— Мне кажется, вы добрый человек, фрейлейн Рита,— сказал он.— Объясните мне, чем я это заслужил?

— И тебя трогает это вечное нытье беззубых старцев, которые не желают пожинать то, что посеяли? — презрительно спросил ее вечером Манфред.— Ведь их беспомощность — тоже орудие шантажа. Жалость? У меня ее не ищи.

— Твоя мать чем-то больна,— настаивала Рита,— она тайком принимает капли.

— С тех пор как я себя помню, моя мать была истеричкой.

— Давай переберемся отсюда.

— Куда? — уныло спросил он. Ему теперь все было безразлично.

Она хотела сказать: «Мне страшно. Здесь я тебя потеряю». А вместо этого сказала:

— Ты окончательно разрушаешь семью.

— Да, но я не намерен хотя бы дома терпеть лицемерие и молчать.

— Потому что твои домашние слабее тебя.

Он с изумлением взглянул на нее.

— Возможно! Я не страстотерпец.

— Почти то же я однажды сказала Мартину: Манфред не герой.

Это было очень смело с ее стороны. Он только рассмеялся.

— Ты умница,— сказал он.— Только об одном ты забываешь — нам, одиночкам, трудно быть героями в наш негероический век.

— А Мартин? — спросила она.

— Мартин по молодости лет пытался плыть против течения. Но его пыл уже остудили. В следующий раз он подумает, прежде чем действовать.

— А если нет? Если справедливость ему дороже всего?

— Тогда он не герой, а попросту болван,— оборвал ее Манфред.

— Чего же ты хочешь?

— Покоя, вот чего. Не хочу, чтобы ко мне приставали.

Нет, должно быть, я тебя не знала, думала Рита. А ведь я тебя видела за работой вместе с Мартином. Таким воодушевленным ты никогда больше не был.

Теперь он не ждал помощи и от нее. Хуже всего бывало, когда он смотрел на нее с недоверчивым умилением. Ее уже не обманывала его потребность быть возле нее, пылкость его объятий, его ненасытные ласки. Случалось, что, очутившись вдвоем в своей комнатушке, освещенной зеленым глазком приемника, они избегали смотреть друг на друга. Господи, не дай ему потерять себя! Не допусти, чтобы нас что-то разлучило.

Как-то теплым и влажным вечером, в один из редких упоительных майских вечеров Рита, сдав экзамен, возвращалась из института. Она тщетно искала взглядом Манфреда, обещавшего зайти за ней. Медленно шла она той дорогой, где непременно столкнулась бы с ним, если бы он все-таки вышел ей навстречу. В тихой боковой улочке прямо около Риты резко затормозила машина. Из нее выскочил Эрнст Вендланд.

— Как вы кстати,— непроизвольно вырвалось у нее.

— Я? Я для вас кстати? — переспросил он.— Да вы понимаете, что говорите?

Но он тут же перешел на дружеский тон, ставший между ними обычным, и пригласил ее поужинать где-нибудь за городом. Рите хотелось поехать с ним, но она колебалась.

— Неужели вы не понимаете, что у одинокого человека иногда бывает потребность хоть часок не быть наедине с собой? — сказал он.

Почему Манфред не встретил меня? — подумала Рита. И села в машину Вендланда. Должно быть, они проехали мимо того угла, где Манфред уже час ждал Риту. Он видел все: затормозившую машину, Вендланда, его уговоры, ее колебания и согласие.

В машине оба молчали. Рита тут только осознала, почему поехала с ним — не ради него. Ради себя самой. Чтобы отдохнуть, не думать, не быть ни за что в ответе. А разве я вообще за что-то отвечаю? — с изумлением спросила она себя. Ну, конечно. Ты сама это отлично понимаешь.

Вендланд наблюдал за ней.

— По-моему, вы даже не замечаете, что сейчас весна,— сказал он.

Она кивнула.

— Вы устали,— добавил он.

Она рассказала об экзаменах. Он тут же остановил машину и купил ей букет — нарциссы с веточками березы. Потом расспросил подробно об экзаменах.

— Неужели вам интересны какие-то мои дела? — недоверчиво спросила она.

Он только чуть побледнел, как будто его незаслуженно оскорбили. Ее непринужденность как рукой сняло. Что я делаю? К чему это приведет? — думала она.

Химические заводы остались уже позади, теперь они ехали в южном направлении по прямому, как стрела, шоссе, подолгу простаивая из-за огромных грузовиков, бензоцистерн и целыми стаями возвращавшихся домой велосипедистов. Только тут он сказал, как бы с опозданием отвечая на ее вопрос:

— Знаете, где мне сейчас полагается быть? На заседании. В списке ораторов там значится и моя фамилия.

Зачем он мне это говорит? Ехал бы лучше на свое заседание... И все-таки приятно было сознавать, что этот положительный мужчина ради нее способен на легкомысленные поступки.

— Как вы будете завтра оправдываться? — спросила она.

— Скажу, что мне необходимо было проверить, правду ли говорят по радио, будто деревья цветут и птицы щебечут и где-то на белом свете водятся счастливые люди. Я выяснил, что все это так. Теперь можно заседать дальше. Впрочем, это мой первый прогул,— добавил он.

— Мой тоже,— призналась она.

Оба рассмеялись.

Он повел ее в сельский ресторанчик с садиком, засаженным ореховыми деревьями, и с видом на цветущие склоны по ту сторону речки.

— Очень мало кто знает это место, люди и не подозревают, что поблизости от города есть такой приятный уголок,— заметил Вендланд.

Он заказал ужин, не советуясь с ней, а затем спокойно уселся напротив. Он похудел (ему это даже идет, подумала она), в уголках глаз появились морщинки — признак усталости.

— Вы, наверно, мало спите,— сказала она.

Да, но он к этому привык, ответил Вендланд.

— Сейчас все мы проходим испытание на разрыв. В особенности мы, заводские.

Он начал рассказывать. Все те же трудности, что и год назад, думала она. Нет, трудности возросли, потому что выросли мы, доказывал он.

Рита осведомилась о Метернагеле. Из-за экзаменов она давно не виделась с ним.

Вендланд рассмеялся.

— У него свои, особые испытания на разрыв. В данный момент он разрывает в клочья своего бригадира.

Вот на что интересно было бы посмотреть, подумала Рита. Лишь бы он не переоценил свои силы.

— Во время каникул я вернусь на завод,— неожиданно для себя заявила она.

— В самом деле? Серьезно? — радостно переспросил Вендланд.

От принятого внезапно решения ей стало легче. Впереди обозначилось что-то определенное, к чему можно стремиться. Вендланд посмотрел на нее.

— Вам тоже бывает нелегко? — спросил он вполголоса, боясь оборвать тоненькую ниточку взаимного понимания и доверия.

Она не ответила и не одернула его. Я пользуюсь ее душевным смятением, подумал он, никогда бы не поверил, что я способен на это!

Тут Рита заговорила о Манфреде. После первых же слов она пожалела — разве это не предательство? — но отступать было поздно. Вендланд курил и молчал, пока полностью не овладел собой. Как эта девушка говорит о «нем», какие у нее делаются глаза, когда она о «нем» вспоминает!

Он внимательно выслушал ее рассказ о положении в институте у Манфреда; о его сотрудничестве и дружбе с Мартином Юнгом; о бесплодной борьбе на заводе. А дослушав до конца, сказал:

— Со всем этим вам давно надо было прийти ко мне. Кое-кого это безусловно заинтересует.

Рита испугалась.

— Не говорите никому ни слова. Вы даже не представляете себе, как он на меня рассердится!

— А если испытание его машины все-таки будет проведено?

— Вы... вы об этом позаботитесь?

— Почему бы нет,— ответил он и опустил глаза. Его, как огнем, обожгла вспыхнувшая в ее взгляде доверчивая радость.— Раз он сам не хочет пальцем шевельнуть...

— Вы тоже считаете, что нельзя складывать оружие? — спросила Рита.

Вендланд пожал плечами. Трудно сказать. Случалось, что люди напрасно пытались прошибить стену лбом.

— Но ведь иначе потеряешь к себе уважение,— сказала Рита. Эта мысль мучила ее с тех пор, как Манфред стал меняться у нее на глазах.

Мы слишком схожи. Ей наверняка со мной скучно, подумал Вендланд.

Когда они уже сидели в машине, он заметил как бы вскользь:

— А ведь пустота притягательна. Эдакая зона вечной мерзлоты, где все становится безразличным. И он, по-моему, от нее не защищен.

Но тебе-то откуда это известно? — подумала Рита.

Чем ближе они подъезжали к городу, тем сильнее мучило Риту чувство вины. Она пыталась себя успокоить и все-таки чуть не попросила Вендланда остановиться не у ее дома, а на углу. Она боялась, что Манфред услышит, как затормозит машина, хлопнет дверца, как они будут прощаться.

Вендланд насмешливо косился на нее. А ты-то как будешь оправдываться? — думал он.

В ней заговорило упрямство. Нет, от этого вечера я не стану отрекаться, я провела его с человеком, на которого можно спокойно смотреть, не боясь, что он не выдержит твоего взгляда, не боясь, что из-за повседневной маски проглянет незнакомое лицо, что он вовсе не тот, каким представляется...

— Благодарю вас,— на прощание сказала она. А потом взбежала наверх так стремительно, как будто от этого зависела ее жизнь.

В чердачной комнатке никого не было.

Манфред вернулся за полночь. Не взглянув на нее, он подошел к умывальнику, долго умывался, старательно вытирался. Рита не сводила с него глаз.

— Будь моя воля, я ночевал бы сегодня не дома,— холодно сказал он.— Но не нашлось любительниц оставить меня на ночь.

Рита стояла вплотную возле него. Он видел, как от боли и гнева потемнели ее глаза. Как гневом смыло всю жалость к нему, привычку его щадить. Она схватила его за плечи и тряхнула изо всей силы.

— Что ты говоришь? Подумай, что ты говоришь!

Криком она пыталась заглушить чувство собственной вины. И страх долгого ожидания. И ощущение покоя в обществе Вендланда. И сознание, что на Манфреда надвинулась опасность.

Увидев, что он испугался, она сразу успокоилась. В самом деле, такой он меня еще не видел. Надо же когда-то дать себе волю. Молчать я не собираюсь. Пусть ему будет страшно за меня, пусть увидит, до чего можно довести человека,— другого способа я не знаю...

Манфред не заметил, как постепенно утихла ее злость. Сама она это превосходно осознала, но продолжала его трясти, пока он не схватил ее за руки. Значит, можно буйствовать по холодному расчету, лишь бы добиться своего... Она словно со стороны видела себя и его, видела, как плохо играет свою роль, однако он этого не замечал. И она добилась того, чего хотела: он был пристыжен, он пытался ее приласкать.

Она вырвалась от него, села на стул и заплакала. Пускай думает, что обидел меня. Но как ничтожно все, что он говорит и до чего может договориться, по сравнению с тем, в чем я теперь убедилась: я бессильна. Не в моей власти ему помочь. Любовь наша висит на волоске.

Что он сказал? Замолчи, бога ради, замолчи! Что мне сделать, чтобы ты замолчал? Не надо, прошу тебя, не надо...

Рита мало-помалу затихла.

А он счел своим долгом оправдаться. Он понятия не имел об истинной причине ее слез.

— Я видел, как ты садилась в его машину. Я стоял на том углу, где ты всегда сворачиваешь. Я купил такой наивный букетик ландышей... Кстати, как твой экзамен? Благополучно? Букетик я отдал маленькой девчушке где-то за городом. Помнишь то забавное кино, куда мы как-то забрели?

А потом?

— Потом я где-то шатался, сам не помню где. Да, я в самом деле встретил одну старую знакомую. Она не пожелала меня узнать...

Он старался сбросить с себя весь груз пережитого в этот вечер. Он говорил ей: я не могу потерять тебя, ты это знаешь.

— Я возьму себя в руки,— обещал он.— Я больше не буду слоняться как неприкаянный. Я не буду ревновать тебя.

Она улыбнулась. Нет, ты и дальше будешь метаться как неприкаянный. И дальше будешь ревновать меня.

Ну и?..

И мы будем любить друг друга.

Но Рита теперь поняла: мы ни от чего не застрахованы. Мы, как и все, не ограждены от любых опасностей. С нами может случиться то же, что случается с другими.

Она очень скоро позабыла эти свои мысли. И только временами осознавала, что каждый день ждет какого-то несчастья.

25

Им оставалось две-три недели. Но как ни напрягает она память, эти недели точно куда-то провалились. Ведь шли же дни за днями, ведь разговаривали же они между собой, ведь жили же они как-то, но как — она не может припомнить. Манфред уехал — всего на несколько дней на

конгресс химиков в Берлин,— она не помнит даже, тосковала ли она по нем, терзалась ли дурными предчувствиями.

Она помнит одно: как-то вечером фрау Герфурт встретила ее на пороге («Чему она сегодня так рада?» — со смутной тревогой подумала Рита) и протянула письмо от Манфреда. Рита все еще ничего не подозревала. Она вскрыла письмо, прочла, но не поняла ни слова. Поняла она только после того, как его мать сказала:

— Наконец-то он образумился и остался там...

Она была удовлетворена. Она сделала свое дело.

«Я сообщу, когда тебе лучше приехать,— читала Рита,— я живу ожиданием того дня, когда ты снова будешь со мной. Помни об этом».

Такой удар может нанести только очень близкий человек, точно зная твое самое уязвимое место, спокойно нацелившись и размахнувшись. И правда: против этого защиты нет. Разве можно примириться с исчезновением, с утратой того, по ком так болит душа?

— Вы, разумеется, по-прежнему будете жить у нас,— сказала фрау Герфурт: теперь она могла позволить себе роскошь посочувствовать бедняжке.— Все останется как было, не правда ли? Из чердачной комнатки надо будет кое-что вынести — его костюмы, книги, одну из полок...

Рита легла в постель. Закинув руки за голову, смотрела в потолок. Она была совершенно спокойна, словно скована каким-то оцепенением. Она не хотела бороться с ним — так ей было легче.

Он ушел. Точно случайный знакомый ушел из дому и закрыл за собою дверь. Он ушел, чтобы не возвращаться никогда... Старинные романы вызывают улыбку, потому что в них говорится о зловещих безднах и страшных искушениях, которым трудно противостоять. Оказывается, они не лгут.

Рита ни с кем не разговаривала в эти дни. Собрав последние остатки сил, она отгородилась молчанием. Она машинально подчинилась Зигрид, деятельной благодарной Зигрид, которая заразила ее экзаменационной лихорадкой. Она исполняла все, что ей говорили.

Порой у нее мелькала недоуменная мысль: как это можно, чтобы человек все дальше уходил от жизни, медленно умирал у всех на глазах и чтобы никто этого не видел?.. Однако она не жаловалась. И почти не страдала. Ее не существовало, осталась одна оболочка. Она бродила, как может бродить тень среди театральных кулис, и не удивлялась, что стены, дома, улицы реального мира бесшумно расступаются перед ней.

Соприкасаться с людьми было больно. Она избегала людей.

Порога герфуртовской квартиры Рита больше не переступала («гостиный гроб, столовый гроб, спальный гроб»), а там кипела тем временем ожесточенная борьба. Борьба не на жизнь, а на смерть, как выяснилось в дальнейшем. Фрау Герфурт сделала для себя естественный вывод из бегства сына: надо последовать его примеру. Она требовала, чтобы муж немедленно сжег за собой мосты. У меня все наготове, через два часа мы можем бежать...

— Бежать? — переспросил господин Герфурт.— Куда и зачем?

— Господи! Он еще спрашивает! Наконец-то на свободу! Уж не говоря о том, что место родителей там, где их дитя.

— А так ли уж это дитя ценит своих родителей? — усомнился господин Герфурт.

Его жена большую часть жизни потратила на то, чтобы довести его до изнеможения и полной покорности. А тут, когда это было по-настоящему нужно, покорность отказала, осталось одно изнеможение... Как ни старалась фрау Герфурт вытянуть, выжать из него согласие, протест, любое решение — его жизненный тонус был парализован.

Он видел, чего ей это стоит. Видел в ее глазах ужас перед необходимостью распутать узел, завязанный ею самой, видел, как синеют у нее губы, как она все чаще прибегает к коричневому пузырьку с каплями. Когда она обеими руками хваталась за сердце, он видел, что это уже не притворство.

Но сейчас, на склоне жизни, которой он насладился в меру своих сил (волей судьбы, помимо нее), чем, скажите на милость, мог он помочь этой женщине?

С этими словами он однажды ночью и явился к Рите в ее полупустую чердачную комнатку. Стоял конец июня. Для многих июньские ночи уже были насыщены запахами моря и солнечных просторов — со времени бегства Манфреда прошло полтора месяца. Господину Герфурту только что пришлось вызвать санитарную машину. Чужие люди с равнодушно-суровыми лицами на носилках вынесли из дому его жену, которая с трудом ловила воздух посиневшими губами. А господин Герфурт, не привыкший терпеть молча, поднялся наверх к чужой девушке — ведь кроме нее у него не осталось никого — и задал вопрос:

— Скажите, чем я могу ей помочь?

В неловкой позе сидел он на стуле и удивленно озирался по сторонам — он ни разу не бывал в этой комнатке, пока тут жил ненавидевший его сын. Он уронил голову на руки и простонал:

— И каждую ночь эти страшные сны!

Рита сидела в постели и смотрела на него. Его горе ее не трогает, против его самообвинений она не считает нужным возражать. А снов она не видит. Так она ему и сказала.

Зачем он, собственно, пришел?

Он сокрушенно покачал головой, вытянув тощую морщинистую шею: увы, бедняжка, а что они сделали с тобой?

Промахнулись, господин Герфурт. Не попали в цель. У этой девушки и по сей день голова гудит от точно рассчитанного удара. К ударам, нанесенным другим людям, она невосприимчива.

Господин Герфурт говорил теперь, ни к кому не обращаясь.

— Что бы я выиграл «там»? — спросил он.— Кто «там» возьмет на службу старика? А тут? Ну, тут меня хоть не трогают... Она-то всегда любила сына больше, чем меня.— Внезапно он понял, что говорит о жене, как о покойнице; он замолчал и тупо уставился в пространство.

Рита уснула, проснулась, а он все сидел на стуле в серых предрассветных сумерках и что-то неумолчно бормотал себе под нос. Ей вдруг показалось, что из всех кошмаров последнего времени самый страшный — эта ночь и этот бормочущий старик.

— Уйдите же наконец! — чуть ли не крикнула она. Он послушно поднялся и ушел.

А Рита все лежала без сна; когда совсем рассвело, начался колокольный перезвон, назойливый и нескончаемый. Троица, подумала она и зажала уши.

Господин Герфурт еще раз пришел к ней — неделю спустя. Он был в черном галстуке и хриплым от слез голосом сообщил, что его дорогая жена внезапно скончалась сегодня ночью, похороны состоятся через три дня. В избитой роли осиротевшего супруга он на некоторое время обрел уверенность в себе.

Считанные люди провожали покачивающийся на плечах могильщиков гроб от дверей мертвецкой до старого кладбища и дальше по его разветвленным дорожкам.

Эрнст Вендланд взглядом поздоровался с Ритой и всю дорогу шел рядом с ней.

К счастью, ее почти не трогало происходящее. Это касалось других. Одна только мысль не давала ей покоя: то же самое когда-то уже

было и со мной. Не было только запаха тления. Но та же длинная дорога. Рядом со мной Эрнст Вендланд, хотя полагалось бы идти Манфреду... Наконец она вспомнила: ах да, это был сон. У нее отлегло от сердца. Значит, и сейчас это ей снится. И главное — все как наяву... В этом вся штука. Оттого и не верится, что это обман чувств. Но когда поймешь, что это тебе снится, тогда, конечно, становится смешно — хоронят неугомонную, жизнелюбивую фрау Герфурт, и собственный сын не провожает ее, вместо него другой идет рядом с невесткой... Когда сон окончится, я вволю посмеюсь над ним.

А дальше был холмик земли, гулкие слова и жиденькое сконфуженное пение. Ловко поддетый привычными руками, легонький гроб скользнул в яму.

Земля к земле, прах к праху, тлен к тлену.

Все еще улыбаясь своему сну, Рита взглянула вверх. Между купами деревьев виднелся шпиль кладбищенской часовни, и на нем сидела ласточка. Когда зазвенел колокольчик, ласточка вспорхнула и описала широкий круг в небе, над могилой; Рита следила за ней взглядом и сквозь жалобное звяканье колокольчика услышала звонкий, вольный крик ласточки, увидела, как она прорвала тончайшую пленку воздуха и с криком взмыла к дальнему облаку, неся на узких тонких крылышках весь голубой небосвод.

А Рита осталась одна внизу.

Звонкий крик взлетевшей птицы смахнул с нее оцепенение, и она громко, безутешно зарыдала.

Кто-то взял ее под руку — это был Эрнст Вендланд, не спускавший с нее глаз,— и молча повел по разветвленным дорожкам к выходу с кладбища.

Своему шоферу, дожидавшемуся с машиной, он велел отвезти домой господина Герфурта. А сам пошел рядом с Ритой по длинной каштановой аллее, выжидая, чтобы она хоть немного успокоилась, и только тогда заговорил с ней.

О бегстве Манфреда Вендланд узнал не от Риты, а от господина Герфурта, который предусмотрительно поспешил «отмежеваться».

Они не стали говорить о нем. Хотя Рите незачем было бояться, что в глазах Вендланда блеснет искорка нелепой надежды, если прозвучит имя соперника. Она могла с прежним доверием смотреть ему в лицо. Только его лицо способно было внушить ей бодрость. И она это прямо высказала ему. Он настолько правильно ее понял, что даже тут в глазах его не мелькнуло ни искорки надежды.

26

В июле этого года солнце светило на праведных и неправедных. Если светило вообще,— лето выдалось дождливое.

Правда, август начался неплохо: погода была ясная, сухая, небо безоблачное, но на него смотрели не часто — разве что когда следили за самолетами, чаще, чем обычно, пролетавшими над нашей страной.

— Только бы прошел август и начало сентября,— говорили люди.— Поздней осенью война не начнется.

Рита думала: даже о временах года нельзя говорить, не вспоминая об *этом*. Когда-нибудь нам самим будет непонятно, как мы это вытерпели. Нет, привычкой этого не объяснишь. К этой мысли привыкнуть нельзя.

Ранним утром в первое воскресенье августа Рита села в берлинский скорый поезд. Накануне она получила письмо, в котором стояло:

«Наконец-то настал момент, когда я могу сказать, что жду тебя в любой день. Помни об этом...»

Никто не знал, куда она едет — преимущество людей, живущих одиноко, в том, что они никому не обязаны давать отчет. И никто, даже она сама, не мог сказать, возвратится ли она обратно. Правда, чемоданчик у нее был невесомый. Она ехала к нему без багажа. Но как бы испытывая себя, она бросала прощальные взгляды на заводские трубы, спускавшиеся лесенкой к горизонту, на деревни, на рощи и одиночные деревья, на группы людей, убиравших в поле хлеб. Всего неделю назад она с Гансхеном и другими рабочими ездила на уборку как раз в эти места. Она знала: урожай плохой, однако собрать даже то, что уродилось,— дело нелегкое. Но ее ли это забота теперь? В других местах тоже есть деревья, заводские трубы и пашни.

День обещал быть жарким. Рита сняла шерстяную кофточку. Сосед по купе поспешил ей помочь. Она поблагодарила и внимательнее поглядела на него. Рослый стройный мужчина, бледное продолговатое лицо, каштановые волосы, очки. Ничего примечательного. Пожалуй, взгляд слишком назойливый. А может быть, ей это только кажется? Он отвел глаза, когда она на него посмотрела. Так или иначе, его общество стало ей неприятно. Она вышла в коридор и остановилась у открытого окна. Ей нравилось смотреть, как в его строгой рамке сменяются пестрые и такие разные картины.

Только небо долго оставалось неизменным: бледно-голубым, пронизанным лучами утреннего солнца.

Чего же тебе еще нужно? Ведь он написал в таком тоне, что сомнений быть не может: он ждет тебя, как освобождения после долгого плена, как ждет пищи и воды истомленный голодом и жаждой. Ты взяла чемоданчик — легкий или тяжелый — не в этом, право же, суть — и едешь к нему.

Два часа езды — смехотворное расстояние. И поступаешь ты вполне естественно и правильно. Так в чем же дело? В этой щемящей неотступной боли? С ней незачем считаться. Ее нельзя брать за мерило.

«Да ты счастлива ли, детка?» Ах, мама, теперь уж это неважно. Такой вопрос вам не кажется диким в наше время, а он тоже, между прочим, разъединяет нас с вами, полными заботы и благих намерений, но ничего не понимающими...

Вдруг ей стало ясно, чем ее покоробило его письмо. Тех слов, которые обычно улаживали их размолвки, теперь вдруг оказалось недостаточно. Если бы в его письме чувствовалось, что он понимает, чего требует от меня, но не видит другого выхода... А ведь его решение не возвращаться ни на чем не основано («Мне предоставляют здесь такие возможности, которые я просто не вправе упустить...»). Ведь все зависит от каких-то новых знакомых, которые вдруг превратились в закадычных друзей... Нет, так не поступают, когда не сомневаются, что поступают правильно. Так плывут по течению, потеряв управление, махнув на все рукой.

Да понимает ли он, во что превратили меня последние месяцы? Пускай не воображает, будто все в порядке оттого, что я приехала. Пускай даст мне время подумать и обсудить все вместе с ним. Но сперва нужно, чтобы я пришла в себя после удара, который он мне нанес своим бегством. Лишь бы я снова не утратила воли, когда он положит мне руку на плечо и все пережитое в эти страшные дни и ночи покажется мне нелепым вымыслом.

Поезд остановился один-единственный раз, ровно на полпути. Значит, надо скорее продумать самое главное. Но когда хочешь сосредоточиться на самом главном, оно мелькает и ускользает, а на поверхности сознания возникают никому не нужные спокойные картины.

Чтобы избавиться от бесполезных мыслей, Рита вернулась в купе. Она взяла сигарету, предложенную внимательным спутником, и перелистала иллюстрированную газету, которую он дал ей.

Пожалуй, надо было поговорить с Вендландом, думала она. Вчера как раз представлялся удобный случай. Во всем полагаться только на себя — это уже самонадеянность...

Вчера, незадолго до полуночи, последней уходя из сборочного цеха с вечерней смены, Рита по привычке обернулась и пересчитала вагоны, которые закончит утренняя смена. Она никак не могла оторваться от этих неуклюжих скучно-серых колод. Письмо Манфреда с утра было при ней, и она уже продумала во всех подробностях поездку к нему.

Выйдя, наконец, из цеха, она увидела метрах в двадцати Эрнста Вендланда, стоявшего на верхней ступеньке подъезда заводоуправления, под самой лампочкой. Рита держалась в тени, и он не заметил ее. Закурив сигарету, он медленно направился к заводским воротам. Рита пошла за ним следом.

Тишина на обычно шумном дворе производила странное и грустное впечатление. Свет и тени распределялись иначе, чем днем. Самые темные закоулки, куда не проникало ни единого солнечного луча, ночью были ярко освещены прожекторами. Освещен был даже узкий проход между поворотным кругом и кузницей, куда свернул Вендланд. На том самом месте, мимо которого он сейчас проходил, ей когда-то было сказано: неужели я собственными руками разрушу то, что я больше всего люблю в тебе?

Рита пошла быстрее, рискуя, что Вендланд ее заметит. Из сварочного цеха доносилось пронзительное шипение пламени, его голубоватые отсветы падали на дорогу.

Когда Вендланд проходил мимо вахтера, Рита окликнула его. Он остановился как вкопанный, потом быстро пошел ей навстречу.

— Рита! — Он сказал то же самое, что однажды она сказала ему: — Как ты кстати!

Он не заметил, что обратился к ней на «ты». Мысленно он давно говорил ей «ты». На сей раз держать экзамен пришлось ему, пояснил он. У него до сих пор трясутся поджилки. Не в пример ей, он вел себя не очень-то храбро.

Рита вспомнила, что весь день заводская территория кишела чужими машинами. В зале для заседаний проходила общегородская конференция руководителей предприятий. Что же, его критиковали?

— Не без того,— ответил Вендланд.— Понимаешь, я плохо переношу критику. Я и сам знаю, что сейчас мы отстаем. Но вот ведь в чем дело — те, кто на меня нападал, толком не знают, что у нас плохо, а что хорошо. От незаслуженных похвал — утешение слабое. А когда меня стали крыть за дело, я позабыл о похвалах.

Рита даже испугалась, когда он решительно заявил:

— Новых вагонов мы строить не будем!

Не будем? Да как же это возможно? Ведь последнее время на заводе только и твердили: «Погодите, вот начнем строить новые вагоны...»

— Не будем,— повторил Вендланд.— Некоторые нужные нам металлы раньше ввозились из Западной Германии. А теперь там отказались поставлять сырье. Они отлично знают, где могут нас прижать. Мы не складываем оружия,— добавил он.— Но надо перестроить планы.

— А как же Метернагель? Вы сами об этом скажете? — спросила Рита.

Вендланд утвердительно кивнул. У него было две ночи и день, чтобы подготовиться и в понедельник утром на собрании заводоуправления как можно спокойнее заявить, что выпуск вагонов нового типа откладывается. И предложить мероприятия, которые надо провести,

чтобы обойтись без чужого сырья, а значит, прекратить этот гнусный шантаж.

Когда они свернули на ту улицу, где жила Рита, пробило двенадцать.

Вендланд молчал. Конечно, завтра (а может быть, и через несколько минут) разочарование всей тяжестью снова навалится на него, но сейчас этого нет и в помине. Сейчас он идет рядом с девушкой, наконец-то говорит ей «ты», они подходят к ее двери, и он не знает, о чем говорил всю дорогу.

— Помнишь,— сказал он,— здесь я в первый раз увидел тебя. Мы столкнулись в дверях. Меня только что назначили директором.

Оба подумали: господи, как это было давно...

— Помню,— ответила Рита.— Хоть это было и не в первый раз. Ведь до того я была вместе с бригадой Эрмиша в пивной.

— Верно! И ты меня заметила? — спросил он.

Она рассмеялась.

— Мудрено было вас не заметить, когда вы всем испортили настроение.

Тут-то и следовало заговорить о письме, которое лежало у меня в кармане и ни на секунду не давало мне покоя. Он никогда не поймет, почему я ничего ему не сказала.

Они стояли у Ритиного подъезда. Молчание чересчур затянулось, и Вендланд бесстрастно сказал:

— Я часто многого недоговариваю, но ты, надеюсь, все-таки понимаешь, что можешь на меня рассчитывать?

Оба говорили не то, что хотели, а главное — не в том тоне и, в конце концов, замолчали. Он — потому что не знал, что этот разговор, возможно, последний. А она — именно потому, что знала. Несколько мгновений они еще постояли в нерешительности. Потом Вендланд попрощался, и Рита пошла наверх. Быстро сложила она свой чемоданчик, подошла к окну и некоторое время смотрела на звезды — впервые после долгого перерыва. Завтра будет ясная погода, подумала она, завела будильник и легла спать.

— Скажите, пожалуйста,— произнес ее попутчик (оказывается, она сидит в поезде и едет в Берлин),— никак не ожидал, что моя скромная газетка так вас заинтересует.

Рита покраснела. И поспешила взглянуть на страницу, которую развернула бог весть когда. Три черных буквы: ОАС. Под ними растерзанный труп женщины. Она перевернула страницу: сияющее детское личико. И тоже черные буквы: СССР.

— Современный лик медузы,— пояснил попутчик.— У каждого свои заботы: у одних — пластиковые бомбы, у других — рекламные улыбки.

Куда он клонит?

— По-моему, довольно различные забсты,— недоуменно заметила Рита.

— Конечно, вполне с вами согласен,— вежливо подтвердил он.— Вы едете в Берлин погостить?

— К жениху,— холодно, с торжествующей ноткой в голосе ответила она.

Странно, его это не смутило.

— Прекрасный день для встречи с женихом,— сказал он.— На редкость хороший день.

И на этот раз совершенно неясно, что́ он имеет в виду. Проще всего признать его антипатичным. Впрочем, он забавно рассказывает. Ах, вот что! Он учитель. Его ничуть не удивило, что она — его будущий коллега.

— Собственно, почему? По мне ведь это не видно.

Он подкупающе рассмеялся. Как же, а взгляд, в котором ясно читается стремление переделать мир, взгляд, типичный для немецкого учителя. Этим он вознаграждает себя за скудное жалованье...

Сердиться на него было невозможно. Но неприятно чувствовать, что он видит тебя насквозь, и не понимать, что кроется за его вежливой фамильярностью.

Он тоже едет погостить к родным?

Такая непозволительная наивность рассмешила его.

— Пожалуй,— нахохотавшись, сказал он.— Можно назвать и так.

Рита оборвала утомительный разговор. Собеседник не стал навязываться. Он извлек из кармана книжку и откинулся в угол дивана.

Все дальнейшее было как в тумане. Рита не помнит, когда начался Берлин и когда она впервые ощутила тот внутренний холод, без которого не могла — что бы ни произошло — осуществить свое решение.

Она не в первый раз ехала в Берлин, но лишь тут поняла, что совсем не знала этого города. Поезд шел мимо садовых участков и парков, затем начались заводы. Город некрасивый, но ничего особенного в нем не заметно, думала Рита.

Ее спутник поднял глаза от книги.

— Надеюсь, ваш жених живет в Панкове или в Шёневейде?— приветливо спросил он.

— Почему? — изумилась Рита.

— Вас могут об этом спросить.

— Да, да,— поспешно сказала она,— он живет в Панкове.

— Тогда все в порядке.

Что это значит? Он меня выспрашивает? Или предостерегает? А что я отвечу, если у меня спросят название улицы? Как я мало гожусь для того, что делаю... И кто мне поверит, что я должна это делать? Но для размышлений времени уже не было. Поезд остановился. В вагон вошли полицейские и потребовали предъявить документы (Если меня спросят — я лгать не стану. Первому встречному выложу все как есть). Ее удостоверение полистали и вернули. У нее дрожали руки, когда она прятала его в карман. Не очень-то тщательная проверка, подумала она чуть ли не с разочарованием.

Ее попутчик по купе отер пот со лба белоснежным накрахмаленным носовым платком.

— Жарко,— заметил он.

Рита еще раз встретила его на контроле вместе с женщиной, которая сошла с того же поезда и, видимо, была с ним хорошо знакома.

Но Рита тут же забыла о нем. У нее были свои заботы. В зале ожидания висел большой план города. Она долго стояла перед ним, заучивая наизусть незнакомые названия улиц и вокзалов. Ей было ясно: в том, что она задумала, надо рассчитывать только на себя. Она подошла к билетной кассе. Впервые ей предстояло высказать вслух свои намерения.

— До станции «Зоологический сад»,— сказала она.

Ей равнодушно сунули желтую картоночку.

— Двадцать,— произнес женский голос из застекленного окошечка.

— А чтобы вернуться обратно? — нерешительно спросила она.

— Тогда сорок,— нетерпеливо ответила кассирша; она забрала билет и протянула в окошечко другой.

Так вот чем этот город отличается от остальных городов мира: за сорок пфеннигов Рита держала в руках две судьбы — и какие разные.

Взглянув на билет, она бережно спрятала его в кошелек, чтобы не беспокоиться хоть об этом. Она была уже утомлена, когда поток спе-

шивших за город людей вынес ее через туннель и по лестницам на верхнюю платформу. Тут по-настоящему чувствовалось летнее воскресенье: нарядные платья, суета, детский гомон.

Рита стояла у широких дверей вагона, которые бесшумно раздвигались и закрывались на каждой станции. Первый раз в жизни ей хотелось быть кем угодно — ну хоть одним из этих беззаботных любителей воскресных прогулок,— только не самой собой.

Она повторяла про себя названия станций и улиц, мимо которых лежал ее путь. О том, что было вправо и влево, она не знала и не желала знать. В этом гигантском, непонятном и страшном городе ей надо было держаться одной только тонкой и узкой полоски — намеченного пути. Стоит отклониться, как начнутся осложнения, которые приведут бог весть к чему.

Она ничего не спутала и не упустила. Спокойно, без спешки сошла она там, где надо. Заставила себя обстоятельно разглядеть товары в киосках на платформе (вот они, прославленные апельсины и шоколадки, сигареты и дешевые книжки...). Все было именно так, как она себе представляла.

Одной из последних она медленно подошла к контролю. И тут натолкнулась на группу людей, загородивших дорогу; они бурно изливали свою радость или горе — понять было трудно. Скорее всего, и то и другое одновременно.

И вдруг в центре группы Рита увидела своего попутчика. Женщина, сошедшая с ним с поезда, повисла у него на руке и рыдала в голос вместе с другими женщинами, которые, очевидно, вышли их встретить.

Рита невольно задержала шаг. И в ту же минуту ее взгляд скрестился со взглядом бывшего попутчика. Он узнал ее, в знак приветствия поднял руку — выбраться из кольца обступивших его женщин он не мог — и насмешливо улыбнулся.

Рита быстро сбежала по лестнице.

Для начала ничего хуже нельзя было придумать. Зачем этот субъект попался мне на пути? Неужели на мне, как и на нем, печать нечистой совести?

27

Она закрыла глаза, чтобы представить себе все так же четко и ясно, как на том плане города.

Сперва повернуть направо. Перейти на ту сторону широкой улицы. Свернуть на знаменитую торговую улицу (о ее красоте, богатстве и великолепии сложены такие легенды, что она не поспевает за своей репутацией); идти по ней до пятого перекрестка. Отсюда Рита пошла по менее шумным улицам, ни на шаг не уклоняясь от тонкой полоски на большом плане, которую видела перед собой гораздо явственнее, чем настоящие дома и настоящие улицы. Ни разу не спросив дорогу, она дошла до того дома, где жил Манфред. Мысленно она бывала здесь изо дня в день, сейчас она увидела этот дом воочию. Она подавила в себе недоуменный вопрос: «Как может такой заурядный доходный дом на заурядной столичной улице стать вожделенной целью для беглеца?» Она вошла в прохладный вестибюль и только тут почувствовала, как жарко было на улице. Медленно поднялась она по лестнице, выстланной старым, но натертым до блеска линолеумом. Чем сильнее у нее билось сердце, тем тверже она знала: ты задумала нелегкое дело. Риск большой, и одной пускаться на него не следовало. Но передумывать поздно.

Вот она уже добралась до двери с начищенной медной дощечкой.

Слабо звякнул звонок. Послышались шаги. Дверь отворила тощая женщина в черном, по всей вероятности, тетка Манфреда.

Весь дом пропах какой-то кислятиной от стараний сохранить приличный вид. Он балансировал на краю бездны — непосредственно за этой улицей начинались рабочие кварталы. Кислый запах и натертый линолеум проникли и в темную прихожую, куда Риту впустили с явной неохотой. Она смущенно вошла в комнату и только тут, при дневном свете, посмотрела на тощую женщину, которая потребовала кое-каких разъяснений, прежде чем допустить незнакомую девушку к племяннику.

Да, это была сестра фрау Герфурт. Судьба, правда, обделила ее по сравнению с покойницей, если только можно сказать, что у мертвого есть какие-то преимущества перед живым. Должно быть, злорадная извилинка в складке ее губ, превосходно уживаясь с жалостью к себе и ханжеской скорбью, говорила именно об этом: наконец-то у нее, живущей, есть бесспорное преимущество перед умершей сестрой.

— Прошу вас,— пригласила она. С тех пор как племянник поселился у нее, она впервые впустила к нему посетителя.

Все слезы, пролитые Ритой потом, относились, собственно, к тому, что́ она увидела, когда вошла в его комнату.

Манфред сидел спиной к двери и, облокотясь на стол, вплотную придвинутый к окну, читал книгу: да, это был его узкий затылок, коротко остриженные волосы с хохолком на макушке, его по-юношески ссутулившаяся спина. Когда дверь открылась и кто-то вошел (он решил, что тетка), он не шевельнулся, но читать перестал и весь напружинился для отпора. Не услышав оклика, он в конце концов не спеша обернулся. Его холодный, неприязненный взгляд яснее всяких слов сказал Рите, каково ему приходится в этой комнате.

И вдруг он увидел ее.

Он закрыл глаза, а когда открыл снова, взгляд его выражал уже совсем иное — недоверие, изумление, безрассудную надежду. Манфред бросился к ней, развел руки, словно собираясь обнять ее, и прошептал ее имя. Его угрюмое лицо так просияло, что у Риты сжалось сердце. Тем не менее она улыбнулась и провела рукой по его волосам.

Она правильно поступила, что приехала к нему, хотя могла бы уже сейчас до мельчайших подробностей предсказать все, что будет дальше. Но, как это ни мучительно, надо все доделать, все договорить, надо пережить этот день до конца. Манфред, видимо, тоже все понимал, и ей стало чуточку легче. Но рассуждать трезво они могли лишь в первый миг, пока смотрели друг на друга. Потом же все, что они твердо знали и понимали, было начисто забыто. И все стало снова возможным.

— Однако ты изменилась,— заметил Манфред, когда она села на единственный стул (тот, что возле стола), а он примостился на краю постели.

Она только улыбнулась в ответ. И обоим опять стало ясно, почему они друг друга любят. Как она и предвидела, один-единственный взгляд, одно мимолетное касание его руки сожгли дотла и ночи, полные нестерпимых терзаний, и дни, полные вымученных решений.

Рита огляделась. Тетка в короткий срок добилась того, за что годами воевала мать: в комнате — бесконечно унылой клетушке — царил строжайший порядок. Нескольким пылинкам ничего не оставалось, как плясать в солнечном луче, на полчаса заглядывавшем сюда. Вот он бесшумно соскользнул с края стола на неподвижные руки Манфреда. Но они и тут не пошевелились.

Сколько времени можно так сидеть?

Рита встала и сейчас же, словно по уговору, встал Манфред. Они прошли к тетке в соседнюю комнату — в «преддверие ада», как Манфред на ходу успел шепнуть Рите. Сидя у окна, тетка вязала к зиме

черный шерстяной платок, и по ней, также украдкой, беззвучно скользил солнечный луч. У нее ничего не осталось в жизни, кроме скорби об умершей сестре, и этот запас скорби она старалась растянуть как можно дольше.

Разобрав, откуда прибыла гостья, она вдруг всполошилась и предложила сварить кофе. В ее тусклых глазах зажегся огонек. Как же не воспользоваться случаем, не угостить и не выспросить приезжую из «восточной зоны»?

Они вежливо отказались. Отделавшись от нее и захлопнув за собой входную дверь, они долго, не таясь, смотрели друг на друга. И ради этого ты сюда приехал? Что за вопрос? Конечно нет! Так для чего же?

Манфред отвел глаза, схватил Риту за руку и увлек по лестнице вниз, круто поворачивая на площадках. Потом они пробежали по гулкому прохладному вестибюлю и очутились на шумной улице.

— Ну вот, гляди,— иронически сказал Манфред.— У твоих ног — свободный мир!

На всех башенных часах пробило двенадцать.

28

— Что ж, зимовать мне здесь? — спрашивает Рита во время утреннего обхода у врача. Октябрь уже миновал. Наступил унылый, холодный ноябрь.

— Нет, зачем же? — говорит врач.— Я вас выписываю. Можете уезжать.

— Сегодня? — спрашивает Рита.

— Ну, скажем, завтра.

В этот последний день ее приходит навестить Эрвин Шварценбах.

В санатории только что начали топить. Рита усаживается со своим посетителем в зимнем саду, замыкающем холл. Сочная зелень растений в широких нишах окон выделяется на сером фоне неба.

Что ему нужно? — недоумевает Рита. Он ведь знает, что меня скоро выпустят.

Шварценбах немногословен и сосредоточен. Он курит и не спеша осматривается по сторонам. Рита задает все вопросы, какие ей приходят в голову. Он спокойно отвечает. Наконец вопросы и ответы исчерпаны. Ладно, помолчим, думает Рита. Она откидывается на спинку плетеного кресла и слушает, как дождь барабанит в окна, как шумят на ветру деревья в парке. Иногда ветер с дождем делают передышку, и становится совсем тихо.

— Послушайте,— говорит Шварценбах,— вы не собирались съездить к нему?

Рите понятно, что́ он подразумевает.

— Я *ездила* к нему,— не задумавшись, отвечает она.

Шварценбах не из тех, кто может употребить во зло излишнюю откровенность. Он просто принимает к сведению то, что ему рассказывают без утайки.

— И что же? — с интересом спрашивает он.

Пожалуй, хорошо бы поговорить об этом, думает Рита. Именно сегодня, именно с ним. Завтра ею овладеют повседневные радости и горести, по которым она так стосковалась.

— Помнится, тот воскресный день был необыкновенно жаркий,— говорит она.— Но я этого почти не замечала.

Тесные, как ущелья, улицы были раскалены до предела. Редкие прохожие, не сидевшие дома за обеденным столом, а такие же бесприютные, как мы, жались в скудную тень под стенами домов.

Кстати, дома всюду схожи между собой. Построены на один образец и «там» и у нас, для таких же людей, для таких же печалей и радостей. Я не видела причины, почему бы им быть непохожими на любые другие дома. Ну, разумеется, на торговых улицах больше стекла и целлофана. И товары такие, каких я даже по названию не знала, но обо всем этом давно говорено-переговорено. Конечно, мне это понравилось. Я бы не прочь была кое-что купить в тех магазинах.

Но в конце концов все у них сводится к еде, питью, нарядам и сну. Я задавала себе вопрос: зачем они едят? Что делают в своих сказочно роскошных квартирах? Куда ездят в таких широченных автомобилях? И о чем в этом городе думают перед сном?

— Не волнуйтесь,— перебил ее Шварценбах.— Рассказывайте спокойно и по порядку. Ведь все, что вы только что говорили, вы думаете *теперь,* верно?

— Нет, я и тогда так думала,— возражает Рита.— Это я твердо помню.

Почему он считает, что я преувеличиваю? Знали бы они все, как часто меня и раньше мучил вопрос: для чего мы живем на свете? Пока рядом со мной был Манфред, вопроса этого не существовало, словно я на него получила ответ. А в то воскресенье он снова откуда-то вынырнул. На что бы я ни взглянула, все требовало ответа на этот вопрос.

Они молча шли рядом, но не касаясь друг друга. Только раз он дотронулся рукой до ее обнаженного локтя, и она бросила на него быстрый взгляд — случайно это было или умышленно? Выражение уязвленной гордости в его ответном взгляде было слишком хорошо ей знакомо. Она невольно улыбнулась.

— Ты знаешь, что такое «прыгология»? — резко спросил он. Они остановились перед афишным столбом.

— Нет, не знаю,— ответила Рита.

— А я знаю. Это целая наука. Человека заставляют прыгать как можно выше и по прыжкам определяют его характер...

Он сам почувствовал, что говорит не то, что надо. А Рита только покачала головой, и он безропотно принял ее порицание. Лучше всего было бы обойтись вообще без слов.

— Пойдем пообедаем,— предложил Манфред.— Стеснять себя нам незачем: я уже начал зарабатывать.— И опять он понял, что этого говорить не следовало. В нем медленно закипала злоба. Он принялся называть улицы и здания, мимо которых они проходили.

— Оставь, раньше ты никогда так не делал,— сказала Рита.

— Неправда,— обиженно возразил он,— ты просто забыла.

— Я ничего не забыла,— шепотом ответила она.

— Вы когда-нибудь бывали там? — спрашивает Рита у Эрвина Шварценбаха.

— Да, только давно,— отвечает он.

— Значит, вы меня поймете. Многое там нравится, но почему-то не радует. Все время кажется, что сам себя обкрадываешь. Там чувствуешь себя гораздо хуже, чем за границей,— ведь кругом говорят на твоем родном языке. И потому еще ужаснее сознавать, что ты на чужбине.

Так она и ответила Манфреду, когда за обедом он спросил ее:

— Тебе тут нравится?

Он имел в виду только ресторан, очень современный и красивый. Ее ответ был гораздо шире и раздосадовал его. Но он сдержался.

— Ну, конечно, ты на все смотришь сквозь политическую призму,— сказал он.— Я знаю по себе. От этой привычки трудно отделаться. Но в Западной Германии все по-иному. Без такой истерики, как в этом окаянном Берлине. В Западной Германии я пробыл две недели. Там мы и будем жить. Мои знакомые сдержали обещание, к первому числу я получу место. Все в полном порядке. Я как раз был там, когда... когда умерла мама,— с явным усилием добавил он, поняв, что обойти эту тему невозможно.— Отцовскую телеграмму я получил уже после похорон.

Но ты все равно не приехал бы, ведь правда? За гробом несли венок от тебя с надписью: «Дорогой мамочке — последний привет».

Ласточка, вспомнила Рита. Ничего этого он не знает и никогда не узнает. Много есть такого, о чем он не знает...

— У нас теперь трудная полоса,— сказала она без видимой связи с предыдущим.

— У кого это — у нас? — спросил Манфред.

— У всех,— ответила она.— Напряжение растет. На заводе это особенно заметно нам: Метернагелю, Гансхену, Эрмишу.

Вендланда она не упомянула, хотя у нее и мелькнула мысль — а собственно, почему?

— Когда ты в первый раз пришла на завод, они тоже переживали трудную полосу, помнишь? — сказал Манфред.

У Риты в душе вспыхнул протест.

— Ты хочешь сказать: у вас там одна трудная полоса цепляется за другую. Стоит ли ждать, пока они кончатся?

— Для меня это все в прошлом,— заметил Манфред,— не хочу и вспоминать. Ненужные трудности. Безудержные самовосхваления при малейшей удаче. Покаянные тирады и самобичевания. Вот я получу место, где будут люди, которым за то и платят, чтобы они устраняли всякие помехи в моей работе. Я всегда мечтал об этом. Там бы я этого не добился, должно быть, до конца жизни. Увидишь, как нам будет хорошо.

Нам? — подумала Рита. Обо мне и речи быть не может. Или он решил, что я буду «там» учительницей? Почему мне представляется это немыслимым?

Случалось, и она думала: Метернагель зря надрывается. Он взял на себя больше, чем может выполнить. Но именно поэтому она не вправе предать его. Даже на словах, высказав вслух свои сомнения.

— Можешь себе представить,— сказала она (ясно чувствуя, что теперь сама говорит то, о чем говорить не следует),— на днях у нас хотели выжить двоих из бригады за то, что они перевыполнили норму на двести процентов!

— Вот как! — рассеянно сказал он. Ему было трудно даже притвориться заинтересованным.

Рита снова обращается к Шварценбаху. Его не смущают ее долгие паузы. Он не ждет, чтобы она рассказала ему все до конца. Он не спрашивает, не перебивает. Видимо, выжидает, пока она дойдет до самого главного, решающего.

— Я рассказала ему все наши злоключения, потому что сама не видела им конца. И не представляла себе, как это утрясется,— говорит Рита.

Метернагель и Эрмиш рассорились насмерть. Постороннему могло бы показаться, что причина все та же: Метернагель заботится о пользе всего предприятия в целом, а Эрмиш старается урвать побольше для своей бригады. Казалось, все повторяется сызнова. С той разницей, что

в прошлом году Метернагель настаивал на десяти рамах в день вместо восьми, а теперь требовал двенадцать рам вместо десяти.

— Еще что! — фыркал Эрмиш.— А на будущий год ты скажешь четырнадцать!

— И скажу,— подтверждал Метернагель.— Видит бог, скажу.

Только внимательно приглядевшись, можно было заметить нечто новое в этом привычном споре: до какой бы степени раздражения ни доходил Метернагель, он старался ни в коем случае не обидеть Эрмиша; а Эрмиш, как бы ни упорствовал, но голоса не поднимал. Может быть, дело было уже совсем не в двух лишних рамах?

— Я просто терялась,— объясняет Рита Шварценбаху,— не знала, когда заговорить, когда промолчать. У нас в бригаде есть такой силач и красавец — Хорст Рудольф. Он больше всех зарабатывает, и от женщин отбоя нет — так вот однажды у меня на глазах он вставил раму за четырнадцать минут. Это было просто чудо! По норме полагается полтора часа. Что же он делает остальные семьдесят шесть минут? — спросила я его. «Держи язык за зубами!» — прикрикнул он на меня. Я никому ни слова не сказала.

— Даже Метернагелю? — спрашивает Шварценбах.

— Ему-то незачем было говорить. Он и так все знал. И не только это. Но я, после того что увидела, потеряла покой. Вы же сами постоянно твердили своим ученикам: нам нужно время, только время. Через пять-десять лет они нам ни в чем навредить не смогут... И вот часто, когда я проходила мимо верстаков, у меня возникал вопрос: сколько драгоценного времени, от которого зависит наша жизнь, каждый день расходуется здесь без расчета, пропадает понапрасну?

Постепенно я стала замечать, что и другие думают о том же. Пока я была с Манфредом, я ему ни слова об этом не говорила — не знала, чем это кончится. Но мне было тяжело видеть, как члены бригады сторонятся Метернагеля. И я обо всем рассказала Манфреду.

— Даже секретарь партбюро имел с ним беседу,— говорила она Манфреду, пока кельнер подавал им суп.— Он заявил ему: «Смотри не перетяни струну. По твоей милости у нас кое-кто, чего доброго, сбежит на запад».

— Рита, ради бога, потише! — прошептал Манфред.

— Ах, так,— протянула она и пристально посмотрела на него:— Однако и переменился же ты! — И стала молча есть суп.

Все звуки в этом благопристойном уютном зале очень резко отдавались у нее в ушах...

Пугаясь нараставшего между ними молчания, Манфред ласково спросил:

— О чем ты думаешь?

— Помнишь, как нас в свое время ужасали привычки взрослых? — спросила в ответ Рита.— Мы давали себе слово: ни за что к этому не привыкну. А теперь мне бывает страшно, что и я могу привыкнуть к чему угодно. И ты тоже.

— К чему, например? — спросил он.

— Ко многому, увы,— ответила она.— К тому, чтобы думать одно, а говорить другое. Меньше делать, чем можешь. К тому, что уже сейчас на свете с избытком хватает бомб, чтобы взорвать весь земной шар. Что самый близкий человек может стать непоправимо далеким. И останется только письмо: «Помни об этом...»

— Рита, детка! Думаешь, мне это легко далось? — сказал Манфред.— Думаешь, у меня с тех пор была хоть одна светлая минутка? На тебя слишком много обрушилось сразу. И ты все валишь в кучу — свой

завод, бомбы, меня. Если ты останешься со мной, я помогу тебе справиться с этим. Может, сейчас ты еще не в состоянии сделать правильный выбор. Почему бы тебе на этот раз не положиться на меня? Как это там: «Через моря и долы — пойду за тобой, сквозь лед и железо, сквозь вражеский строй!..»

Он пытался обратить все в шутку. Рита молчала. Что они понимали — те, кто сочинял такие песни! «Сквозь лед и железо, сквозь вражеский строй!..» — с горечью подумала она. Какую песню выдумали бы они про этот день, про этот город и про них двоих, разделенных не пространством, не льдом и железом, а полной безнадежностью, хотя и сидят они рядом за одним столом?

Обед, который Рита ела, был несомненно превосходен, но она не могла потом припомнить, из каких блюд он состоял. Она отказалась пить за обедом вино, а Манфред не настаивал — впереди еще целый день.

Затем они снова вышли на солнцепек. Рита почти выбилась из сил. Неужели во всем раскаленном городе не найдется прохладного уголка для них двоих?

— Есть тут хоть какой-нибудь парк? — спросила она.

— Не парк, собственно, а небольшой сквер...

— Пойдем туда.

Лучше бы мы бродили по улицам, подумала она потом. Улица есть улица, и всякий знает, чего от нее ждать. А вот из этого никогда не выйдет парка. Редкие деревца и кустики — березы, липы, калина и сирень — уже совсем поблекли, покрылись пыльным налетом, а листья скрутились от жары, как пергаментные. Было слышно, как они шуршат, несмотря на полное безветрие. Единственными яркими бликами были пестрые скамейки, занятые стариками и молодыми мамашами с детскими колясочками.

Куда же деваться влюбленным?

Рита и Манфред пристроились на скамейке, заполненной усталыми молчаливыми людьми. Им было неловко смотреть друг на друга и до боли жалко навсегда утраченных бесхитростных радостей прошлого лета.

— Больше людям и погулять негде,— с раздражением заметил Манфред.— Город без пригородов. Жестокая штука, скажу я тебе.

— Ты винишь в этом меня? — спросила Рита.

Манфред спохватился.

— Ну что ты! Прости меня. Я, кажется, схожу с ума. И есть от чего. Пора прекратить эти взаимные обвинения. Можно подумать, что мы два политических противника. Это становится просто смешно.

Манфред был не на шутку испуган. Он понял, к чему это может привести. И от испуга заговорил откровенно.

Его откровенность отняла у Риты последнюю надежду. Она увидела: он сдал все позиции. Кто разучился любить и ненавидеть, тому безразлично, где жить. Он бежал вовсе не из протеста. Бегство было для него равноценно самоубийству. Не попыткой начать сызнова, а концом всех попыток... Что бы я ни делала дальше, все бесполезно.

А в последующие недели ее чуть не довела до безумия мысль: это настроение зародилось у него еще в то время, когда мы были вместе. И я, я не сумела его удержать.

Ничего необычного нет в том, что девушка теряет возлюбленного, уговаривала себя Рита. И незачем из-за этого впадать в отчаяние. Конечно незачем. Если бы он ушел от меня к другой, я призвала бы на помощь свою гордость. Уж она-то мне не изменила бы. Но какие чувства призывать на помощь, в чем искать опору, когда возлюбленный говорит тебе: «Я люблю тебя одну, люблю навеки. Я знаю, что говорю. До тебя

я не говорил этого никому. И неужели я не вправе просить тебя — пойдем со мной? Я тебя понимаю, но закрой на минутку глаза. И представь себе Шварцвальд, Рейн, Боденское озеро... Неужели это ничего тебе не говорит? Ведь они тоже Германия. Или для тебя это всего лишь легенда, страничка из учебника географии? Тебя не тянет туда? Совсем не тянет? Подумай! Попробуй отрешиться от всего остального».

С каждым его словом силы убывали у нее. Такого бессилья, такой тоски она не испытывала еще никогда. Душу ее захлестнула сокрушительная тоска по тем краям, где он отныне будет жить, по тем неведомым пейзажам и лицам, которые будут отпечатываться в его памяти, тоска по долгой полноценной жизни вдвоем. Кому дано право ставить человека — пусть даже одного-единственного человека! — перед таким выбором, который при любом решении отнимает у него частицу души?

Ей казалось, что она теперь лучше знает этот чужой город, вернее, этот чужой кусок большого города, чем люди, годами живущие в нем. Он населен обычными людьми, но сам он — необычный город. В отличие от других городов, его дни и ночи складывались из чуждых ему жизненных сил. Как будто многомиллионных человеческих усилий, направленных на борьбу с хаосом и смутой, не хватило именно для этого города. Он жил во власти минуты, дрожа перед неотвратимым вторжением действительности. Все то, что было сотни раз испробовано и отвергнуто, здесь навязывалось как добротный товар. И жертва этого недобросовестного торга — человек не замечал, что каждое его движение кем-то строго регламентировано...

— Где ты витаешь? — спросил Манфред и улыбнулся.— Не делай из этого трагедии. Что, собственно, произошло? Я все равно был здесь. Мне сделали заманчивое предложение. Я остался... Самое обычное дело.

— Везде обычное, но не в наших условиях,— возразила Рита.— Я своими ушами слышала, как твоя мать с гордостью рассказывала, что сама списалась с теми двумя типами, которые тебя завербовали. А ты знаешь, почему она это сделала? Знаешь, что она не могла примириться со своей загубленной жизнью? И хотела, чтобы именно ты возместил ей все, потому что ты ее презирал. Знаешь, что сказал Вендланд: «Я многим готов это простить. Только не ему. Он понимал, что делает».

— И тут Вендланд! — вне себя от бешенства воскликнул Манфред.

Безмолвной договоренности не оскорблять друг друга как не бывало.

— И тут он. А уж кому бы, казалось, и знать, что происходит! Ведь он получает сведения не только из газет. Он видит, что творится за кулисами. Думаешь, я в свое время не был окрылен надеждами? Не считал, что достаточно вырвать корень зла, как все зло исчезнет с земли? Но у зла тысячи корней. Все их мудрено выкорчевать. Не спорю: упорствовать в попытках — занятие благородное. Но без веры благородная поза смешна и уродлива. Думаешь, приятно, когда тебе втирают очки? Ты с этим сталкиваешься впервые, а я нет. В этом вся разница. Здесь у меня нет никаких иллюзий. Здесь я готов ко всему. А там неизвестно, сколько надо ждать, пока на смену красивым словам придут дела. А главное, человек не создан быть социалистом. Когда его к этому принуждают, он изворачивается, как уж, пока не доберется до сытной кормушки. А твоего Вендланда мне просто жаль, честное слово!

— Почему ты так на него злишься? — тихо спросила Рита.

Своим вопросом она окончательно вывела его из себя. Он готов был ее ударить. Она и не подозревала, что он способен на такое безысходное отчаяние. В этот миг ему стало ясно: та жизнь, от которой он бежал, которую поносил, до конца дней будет держать его в своей власти. И это его бесило. Он презирал себя за то, что не устоял под напором суровой и трудной жизни, и досаду на себя вымещал на другом.

Если бы я ушла с ним, думала Рита, я причинила бы вред не только себе. Я причинила бы непоправимый вред ему, в первую очередь ему.

— Все было бы гораздо проще,— объясняет Рита Шварценбаху,— если бы «там» по улицам рыскали каннибалы или если бы «там» голодали, а женщины ходили бы с заплаканными глазами... Но людям живется там хорошо. Они даже жалеют нас. Они считают, что сразу бросается в глаза, где живут богато, а где бедно. Год назад я бы пошла за Манфредом, куда бы он ни пожелал. А сейчас...

Вот это-то и нужно знать Шварценбаху.

— Что — сейчас? — с нетерпением переспрашивает он.

Рита задумалась.

— Через неделю, после того как я вернулась от Манфреда, было воскресенье, тринадцатое августа,— говорит она.— Услышав утренние известия, я сразу же пошла на завод. Оказалось, я была не единственная, и тут я поняла, что неспроста на завод пришло в этот воскресный день столько народу. Одних вызвали, другие явились сами.

Шварценбаху понятен смысл ее слов. Нечто подобное пережил и он в тот воскресный день.

— Но ведь вы его любили,— говорит Эрвин Шварценбах.— Для многих девушек это важнее всего. А для вас?

— Сколько раз я сама пытала себя. Ночами лежала без сна и представляла себе, как бы я жила «там». Днем не находила себе места. Но чужбина оставалась мне чужда, здесь мой дом, моя родина.

— Тяга к великим историческим свершениям,— понимающе кивает головой Эрвин Шварценбах.

Рита невольно улыбается. И он толкует о том же...

Но разве сама она не ощущала того же, когда бродила с Манфредом по жалкому берлинскому скверу?

Как одержимые блуждали они взад-вперед по аллейкам, пока не очутились в беседке, обнесенной подстриженным кустарником. До смерти усталая, Рита прислонилась к дереву, а Манфред стоял перед ней, упершись руками в ствол, по обе стороны ее головы.

Они смотрели друг на друга, не видя и не слыша ничего вокруг.

Да, это все еще ты, тот самый, что каждый вечер стоял на шоссе у растрепанной ветрами смешной ветлы, тот самый, с непомерно длинными руками и птичьей головой. Ох, я тогда сразу же поняла тебя. Но у меня не было выбора — идти или не идти к тебе. Если это бывает в жизни только раз — а мне кажется, такое бывает только раз,— тогда у меня это уже позади. И у тебя тоже, правда?

Оба улыбнулись. Манфред прильнул лицом к ее волосам. Стиснул ее руки. Риту забила дрожь. Она откинула голову, чтобы сквозь редкие ветки увидеть небо — полинявшее от зноя, белесое предвечернее небо. Ничто еще не потеряно. Вот его рука. Запах его кожи. Его голос, незнакомый сейчас ему самому. Немая зеленая стена отделяет нас от мира. Что такое мир? Разве он существует? Существуем мы. О господи, существуем мы...

Это длилось очень долго — так, по крайней мере, казалось им,— и все же непроницаемую стену пробил хрипловатый детский голосок:

—Тузик, пузик, что с тобой? Что мотаешь головой? Тузик, пузик, что с тобой? Расцарапал носик. Сальцем носик свой натрет — через сто лет заживет!

Через сто лет! Что за чушь! Никакой стены нет, а есть ты, и я, и хрипловатый ребячий голос с дурацкой песенкой.

Рита бросилась бежать к выходу из этого проклятого сквера и

свернула в первый попавшийся переулок, где Манфред догнал ее. Они перешли на теневую сторону. Должно быть, они миновали несколько улиц, прежде чем очутились перед чистеньким садиком-кафе. Они уселись за изящный круглый столик под большим зонтом, похожим на огромный мухомор. На сегодня его миссия была окончена. Солнце уже скрылось за четырехэтажным домом, в нижнем этаже которого помещалось кафе.

Они ели мороженое и смотрели на посетителей, которые приходили, уходили и были заняты только собой. Они же были слишком измучены, чтобы заниматься собой. Они понимали: сейчас, сию минуту или завтра, послезавтра боль возвратится, источит, истерзает тебя вконец. Пока что им была дарована передышка — от усталости они отупели. Они с готовностью помогли ребенку извлечь закатившийся под их столик мяч, вежливо выслушали извинения мамаши; суетливому толстяку, назначившему на сегодня в этом кафе грандиозный слет родни из ближних и дальних краев, они с улыбкой разрешили взять третий, лишний, стул и пододвинуть его к длинному семейному столу.

А сами молчали так упорно, что им стало страшно, хватит ли у них духу когда-нибудь заговорить. И сидели так неподвижно, что казалось, у них не будет сил сдвинуться с места. Оба уже твердо знали, как поступят дальше, но что сделают сейчас — не знали.

За семейной трапезой становилось шумно.

— Официант! — надрывался суетливый толстяк.

Единственная официантка не знала, куда раньше бежать. Она со всех ног бросилась на зов нетерпеливого посетителя.

— Мы специально вытребовали сюда дядюшку из Восточной зоны. По-вашему, мы его звали, чтобы показать, как у нас отвратительно обслуживают посетителей? — накинулся тот на нее.

— Из Восточной зоны? — быстро переспросила официантка и посмотрела на дядюшку. Он приехал из деревни и парился в парадном синем костюме.— Из какого города?

— Из Германсдорфа,— ответил старик.

Официантка покраснела. Не может быть! Ведь она сама из тех же мест. Она подошла сзади к приезжему гостю, обхватила спинку его стула, что ей совсем не полагалось бы делать, но радость пересилила еще не въевшуюся в нее муштру. Нет, ее деревни он не знает. Но с ее земляком Ширбахом они вместе служили в армии. Официантка вдруг живо заинтересовалась Ширбахом, о котором даже не вспоминала с тех пор, как уехала из деревни.

— А как урожай? Хороший?

— Мог бы и получше быть в нынешнем году.

— Но вы поедете обратно?

— А как же! Куда мне еще ехать?

— Послушайте, фрейлейн,— прервал их суетливый толстяк.— По-человечески я вас вполне понимаю. До чего же тесен мир! Даже свободный мир,— он хихикнул.— Однако ваш земляк пропадает от жажды.

Девушка заспешила. Убегая, она пожаловалась старику:

— Верьте мне, мужчины нынче такие, что ни об одном доброго слова не скажешь...

Рита откинулась на спинку стула. Господи, уже луна взошла! На светлом зеленоватом предвечернем небе виднелся почти прозрачный, наполовину выщербленный диск. Вокруг него скоро начнут собираться ночные тени, но пока их нет и в помине.

После того как луна незаметно для них стала видимой, изменился и воздух. Теперь дышалось легко, слишком легко. Даже не чувствовалось, что дышишь. Хотелось вобрать побольше воздуха в легкие, чтобы не задохнуться в этом безвоздушном пространстве, где каждый был пре-

доставлен самому себе и не мог поделиться с другим ни радостью, ни горем.

Город оглох, онемел и, сам того не замечая, словно вдруг ушел под воду. Высоко в небе тусклым отблеском живого мира светила луна. А кругом ни звука, ни огонька. Только световые рекламы время от времени вспыхивали загадочными головоломками: *Саламандра вне конкуренции — Пользуйтесь услугами Некермана — 4711 незаменим.*

Наступал тот неверный час, когда все кошки становятся серы.

29

На застекленной веранде тишина стуком дождевых капель отсчитывает секунды.

— Дождь кончается, можно идти,— говорит Шварценбах.

Но оба не двигаются с места.

— Иногда я задаю себе вопрос, можно ли мерить мир нашей меркой,— говорит немного погодя Рита.— Меркой добра и зла? Может, попросту он таков, какой есть, и больше ничего.

Какой тогда смысл в том, что я не осталась у Манфреда? Тогда, значит, всякая жертва бессмысленна. Недаром он говорил: игра всегда одна и та же, меняются только правила. И над всем царит улыбка авгуров...

Шварценбах понял ее мысль, но и он отвечает не прямо.

— Знаете, почему я пришел к вам сегодня? — спрашивает он.— Мне хотелось узнать, нужно ли всегда и при всех обстоятельствах отстаивать очевидную для тебя правду.

— Вы хотели услышать это от меня?

— Да, хотел и услышал,— говорит Шварценбах.

— Что случилось? — изумляется Рита.— Почему вы вдруг усомнились в этом?

— Я почувствовал, что почва уходит у меня из-под ног,— с полной откровенностью отвечает Шварценбах.— Понимаете, все, как нарочно, сошлось разом.

Он напечатал в педагогическом журнале статью о догматизме в преподавании. Раскритиковал там неправильную методику некоторых педагогов, в частности, у них в институте. «До сих пор кое-кто еще пытается предписывать, вместо того чтобы убеждать,— писал он.— Нам нужны не начетчики, а социалисты».

— Правильно,— подтверждает Рита.— В чем же тут можно сомневаться?

Шварценбах улыбается. Он заметно повеселел. И статья и все, что за ней последовало, уже не удручает его. Те, кого это задело, конечно, стали его упрекать: зачем писать об этом именно сейчас? Ты же знаешь, у нас особое положение, при котором недопустимо говорить все, что вздумается. Разумеется, не обошлось и здесь без Мангольда. Он решил, что настал благоприятный момент. «Шварценбах всегда был склонен к гуманистическим бредням»,— заявил он.

У тех, кто его обвиняет, больше власти, чем у него, думает Рита. Словно угадав ее мысль, Шварценбах говорит:

— Пусть себе устраивают собрания и прорабатывают меня. А я вспомню, как жадно вы, Рита, домогаетесь правды, и скажу: да, конечно, у нас сейчас особое положение. Мы наконец-то созрели для того, чтобы смотреть правде в глаза. Хватит выдавать трудное за легкое, черное за белое. Хватит злоупотреблять людским доверием. Это самое ценное наше завоевание. Тактика — да, конечно, но лишь такая тактика, которая приводит к правде. Ведь социализм — не магическая формула. Иногда

нам кажется, что, меняя название, мы изменяем суть. Сегодня вы мне подтвердили: только правда, голая, чистая правда — прочный ключ к человеческой душе. Зачем же добровольно отказываться от такого явного преимущества?

— Что вы! — с испугом протестует Рита.— Вы вкладываете в мой рассказ слишком серьезный смысл.

Шварценбах смеется.

— Я понял вас, как надо,— говорит он.

Наконец он все-таки встал. За окном совсем стемнело. По холлу проходит медсестра и зажигает свет. Она заглядывает к ним, здоровается и идет дальше. Теперь они оба прислушиваются к царящей в доме тишине. Затем Шварценбах спрашивает:

— Вы проводите меня до автобуса?

Рита не отвечает. Она не слышала его вопроса.

— А теперь выпьем вина, хорошо? — предложил Манфред.

Рита кивнула. Она смотрела, как он берет бутылку из рук загнанной официантки и сам наливает в рюмки зеленовато-желтое вино — уже по цвету можно было сказать, что оно легкое, терпкое и ароматное. Лунное вино, подумала Рита. Ночное вино. Вино воспоминаний.

— За что будем пить? — спросил он. Не дожидаясь ответа, он поднял рюмку. — За тебя. За твои мелкие заблуждения и за их крупные последствия.

— Мне не за что пить,— сказала она. За что-нибудь ей пить не хотелось.

Допив бутылку до дна, они ушли из кафе, где все еще пировало семейство суетливого толстяка. Они дошли до обширной круглой площади, удаленной от центра и почти безлюдной в этот час. Остановились на краю тротуара, словно не решаясь нарушить ее покой. На площадь падал странный свет — многоцветная гамма тонов. Они невольно посмотрели вверх — как раз над их головами и наискось, над всей пустынной площадью, пролегла граница между дневным и ночным небом. Дымка облаков тянулась с ночной, уже посеревшей половины на еще светлую дневную сторону, где разлились неземные краски. Понизу — или поверху? — еще виднелся прозрачный зеленый тон, а где-то совсем далеко сохранилась даже глубокая синева. Тот клочок земли, на котором они стояли,— каменная плита тротуара величиной не больше квадратного метра,— был обращен к ночной стороне.

В прежние времена влюбленные перед разлукой выбирали звезду, чтобы по вечерам встречаться на ней взглядом. Что же выбрать нам?

— Небо они, слава богу, расколоть не могут! — иронически заметил Манфред.

Небо? Этот необъятный купол, вместилище надежд и стремлений, любви и скорби?

— Могут,— тихо промолвила она.— Прежде всего раскалывается небо.

До вокзала было недалеко. Они дошли до него боковой улочкой. Вдруг Манфред остановился.

— А твой чемодан! — он понимал, что возвращаться за чемоданом она не захочет.— Ладно, я пришлю его потом.

Все необходимое было у нее в сумочке.

Они попали в самую гущу вечернего движения. Их толкали, теснили, оттирали друг от друга. Ему приходилось держать ее, чтобы не потерять уже сейчас. Он легонько сжимал рукой ее локоть, пропуская вперед, так что лица ее он не видел, пока они не добрались до станции электрички.

Теперь поздно было решать то, что еще не было решено, поздно до-

сказывать то, что не было сказано. То, что они не успели узнать друг о друге, останется неизвестным навсегда. В их распоряжении оказался только этот пустой, бесцветный, не окрашенный ни надеждой, ни отчаянием миг.

Рита сняла ниточку с его пиджака. К ним подошел продавец цветов, досконально изучивший, в какой момент можно помешать прощающейся парочке.

— Не угодно ли букетик?

Рита энергично замотала головой. Продавец ретировался. Видно, он все-таки не доучился.

Манфред посмотрел на часы. Времени оставалось в обрез.

— Тебе пора идти,— сказал он.

Он проводил ее до контроля. Тут они снова остановились. Справа от них катился людской поток в сторону перрона, слева — обратный поток — в город. Им трудно было удержаться на своем островке.

— Иди,— сказал Манфред,— иди!

Она по-прежнему неотрывно смотрела на него.

Он улыбнулся (пусть, вспоминая о нем, она видит его улыбку).

— Прощай, моя золотистая девочка,— нежно произнес он.

Рита на секунду прильнула головой к его груди.

Долго, недели и месяцы, ощущал он, закрывая глаза, это легкое, как пушок, прикосновение.

Потом она, должно быть, прошла через контроль, поднялась по лестнице. Потом, должно быть, села в вагон и вышла на той остановке, где нужно. Ее не удивляло, что все складывается просто и легко. Ее поезд стоял уже наготове, и пассажиров было немного. Она не спеша вошла, села, и поезд почти сразу тронулся. Должно быть, все происходило именно так.

30

Тот день, когда Рита вернулась в прокопченный город, был безразличным прохладным днем. В начале ноября часто выпадают такие дни, уже без примеси прощальной осенней грусти и еще без намека на хрустальную ясность зимы. Сама Рита почти не изменилась за два с лишним месяца отсутствия. С какой-то подчеркнутой торжественностью возвращалась она в старое жилище, словно возобновляя давно принятое решение или, вернее, утверждаясь в нем.

Она знала, что́ осталось у нее в прошлом, знала и то, что ожидает ее в будущем. Это была единственная, впрочем немаловажная, перемена, происшедшая в ней.

Ей не было неприятно, что она идет по улицам одна, никого из встречных не зная, никому из них не знакомая. Время было самое оживленное, перед обеденным перерывом в магазинах. Ее поражала сутолока на центральных улицах — страшно было окунуться в этот водоворот. Придется долго привыкать к резким шумам, краскам, запахам. Как могут люди всю жизнь выносить этот гам и толчею? Она внутренне посмеялась над собой: на многое я еще смотрю глазами деревенской девчонки. Завтра она, вероятно, будет смотреть на город глазами горожанки, но однажды она видела его в таком же резком, ярком и беспощадном свете. И это впечатление никогда не изгладится целиком.

Нелегкое время пришлось ей пережить, мало сказать — нелегкое. Теперь она здорова. Она и сама не понимает — как не понимают это многие,— сколько душевной стойкости понадобилось ей, чтобы изо дня в день смотреть в глаза нашей жизни, не заблуждаясь и не позволяя никому вводить себя в заблуждение. Быть может, когда-нибудь потомки наши поймут, что от этой душевной стойкости бесчисленных простых лю-

дей в длительный и трудный, чреватый опасностями и надеждами исторический период зависела судьба последующих поколений.

Итак, Рита снова стоит у окна свой мансарды. Привычным движением она отодвигает занавеску, открывает окно (ох, этот запах — запах осени и дыма!), опирается ладонью о верхний переплет и кладет голову на руку. Цепь заученных движений, за которой неизбежно тянется давно оборвавшаяся цепь мыслей. Как и в тот, не такой уж далекий августовский день, она вновь замечает, что ветлы на другом берегу от постоянных ветров все, как одна, наклонились в сторону суши; ей даже чудится свисток паровоза, который тогда врезался в ее слух.

Сейчас ей кажется, что она весь тот день ничего не слышала, кроме этого свистка. И еще ей мерещилось, будто ее преследует чудовищно равнодушный взгляд какого-то неумолимого судьи. Тогда, всего через три недели после разлуки с Манфредом, она поняла: не от расставания, а от безжалостного возврата к повседневности бросались в объятия смерти любовники, воспетые великими поэтами. Свинцовое бремя прозрения сковывало их тело, опустошало душу, парализовало волю. Обширный круг когда-то незыблемых понятий катастрофически сужался. С опаской обозревала его Рита, ожидая все новых крушений. Неужели ничто не уцелеет?

Паровозный свисток лишил ее последней, сохранившейся еще в ней воли к жизни. Сейчас она не боится признаться, что силы изменили ей именно тогда, именно там, вовсе не по вине случая. Она до сих пор видит, как два тяжелых зеленых вагона приближаются с обеих сторон — спокойно, уверенно и неудержимо. Они катят прямо на меня, думала она, но при этом понимала, что совершает покушение на собственную жизнь, что безотчетно разрешила себе последнюю попытку к бегству — уже не от любовных горестей, а от горестного сознания, что любовь преходяща, как все на свете. Потому-то она и плакала, очнувшись после обморока. Она поняла, что ее спасли, и плакала.

Сейчас ей неприятно даже вспоминать то болезненное душевное состояние. Время сделало свое дело и вернуло Рите могущественный дар называть вещи своими именами.

Рита отходит от окна и начинает распаковывать чемодан. Раскладывает его содержимое по всей комнате. Многое ей вдруг разонравилось. У нее еще остались кое-какие деньги. Завтра она купит себе юбку и несколько блузок нового фасона.

Она достает со дна чемодана ручное зеркальце. Присев на краешек кровати так, чтобы на лицо падал свет, она пристально вглядывается в свое отражение. Я давно не смотрелась в зеркало. От этого дурнеешь. Больше так не будет. Она проводит пальцем по бровям. Тут поправок не требуется. А как в уголках глаз? Нет, ничего, слезы не оставили следов. Сантиметр за сантиметром обследует она свое лицо, округлость щек, подбородок. И невольно улыбается. Но незнакомое ей выражение глаз все равно остается. В них сосредоточилось пережитое.

Ясно одно — она по-прежнему молода.

Занятая собой, она не услышала, как кто-то вошел по лестнице и осторожно нажал дверную ручку. Она поднимает глаза, когда господин Герфурт уже стоит на пороге. В первый момент он пятится назад — он не ожидал, что она уже здесь,— но потом поспешно, как входной билет, протягивает ей записочку, которую хотел положить на стол.

Записка от Метернагеля. Рита читает: «Если ты уже вернулась, навести меня. Я болен. Лежу дома».

— Конченый человек,— поясняет Герфурт.— Его восстановили в должности мастера. Казалось бы, он достиг предела своих мечтаний, ну и сиди смирно. Так нет же, он продолжал неистовствовать. И допрыгался — пришлось увезти его с завода в машине скорой помощи.

Если так, надо немедленно бежать к нему!

Рита снимает со стула чемодан.

— Присядьте, пожалуйста,— говорит она.

Господин Герфурт не хотел бы ее задерживать, но времени у него избыток.

По его виду можно определенно сказать, что он тоже давно не смотрелся в зеркало. Тому, кто знал его прежде, сразу заметно, что он порядком опустился. Даже не пролитые, но накопившиеся за целую жизнь слезы оставляют следы.

— Я теперь буду платить за квартиру,— помолчав, говорит Рита.

Господин Герфурт чуть не подпрыгивает на стуле. Это уж последнее дело! Ни за что на свете не возьмет он ничего от человека, который почти... Ну, словом, не надо его обижать.

Ей так будет спокойнее, настаивает Рита. Господин Герфурт сразу оседает.

— Простите за откровенность, но вы удивительный человек,— говорит он,— моей покойной жене тоже многое было в вас непонятно. Не спорю: у нее были свои особенности... Во всяком случае, о себе могу сказать, что я безоговорочно принял вас в свою семью. К сожалению, ответных чувств мне, по-видимому, не удалось в вас пробудить.

Рите ясно, что господин Герфурт, как всякий слабый человек, нуждается в аудитории для своего излюбленного занятия — выворачивания истины наизнанку. Только раз — в ту ночь, накануне смерти жены — он был искренен, искренне сокрушен. Надолго этого не хватило.

Он надеялся, говорит он, что между ней и Манфредом все наладится. В то воскресенье, ну, в общем, когда она внезапно уехала, он совсем было воспрянул духом. Ведь даже вообразить трудно, каково человеку разом лишиться жены и сына!

Сколько лет назад твой сын перестал быть твоим сыном? — думает Рита. Но молчит.

— По правде говоря, ваше возвращение для меня до сих пор загадка,— продолжает господин Герфурт.— Вы скажете, что я отстал от века, но в наше время любовь была романтичней. И беззаветнее. Вот это главное.

Вспомнив фотографию, на которой господин Герфурт снят женихом, Рита молчит. А что тут делать, как не молчать?

Господин Герфурт неправильно толкует ее молчание.

— Только не думайте, что я собираюсь рассказывать кому не следует про вашу берлинскую эскападу,— говорит он.

Рита смотрит на него в упор. Нет, ничего такого она о нем не думает. Господин Герфурт может успокоиться. Но беспокойство, очевидно, не оставляет его, и он спешит задать еще один вопрос:

— За что мой сын ненавидел меня?

Рита смотрит на него с изумлением. Неужто он в самом деле хочет это знать? Да нет же! Он хочет поплакаться на свою незаслуженную одинокую старость. Этот человек раз и навсегда не приспособлен к правде.

Господин Герфурт продолжает изливать свои горести.

— Поймите же,— говорит он.— Каждый человек вправе заблуждаться. Как можно заранее знать, где найдешь, где потеряешь? Потом-то легко попрекать старших их ошибками. Верьте мне, милая фрейлейн Рита, я знаю жизнь. Сыновья всегда повторяют ошибки отцов. И сколько ни бейся — конец для всех один.

С недавних пор, познав отвращение к жизни, он думает, что знает жизнь.

— Он перестал вас ненавидеть,— говорит Рита,— право же, перестал.

Как запретишь таким отцам иметь детей? Я буду ограждать детей от таких отцов.

Господин Герфурт чувствует, что ему пора уходить. Он поднимается кряхтя. Удары судьбы не проходят бесследно. Он человек, убитый горем. Но он умеет быть великодушным. Пусть эта девушка из упрямства, присущего молодости, не желает его понять, он все же кротко протягивает ей руку. Внизу в огромной пустой квартире тоска опять придавит его. Но сейчас он еще господин Герфурт — человек, знающий себе цену. Совсем уж собравшись уйти, он спохватывается, что не рассказал главного. На днях он встретил господина Швабе, Руди Швабе, ну, того уполномоченного в общеуниверситетском деканате. Как старого друга своего сына, он, разумеется, отлично его знает. Неплохой человек. У него, несомненно, были неприятности из-за Манфреда. Так или иначе, он рад бы взять теперь назад кое-какие свои выпады.

(Рита припоминает: «Твой друг? К сожалению, мы обязаны его исключить...» Как поступают люди, когда сознают, что были неправы, произнося такие слова?)

— Вот вам пример,— говорит господин Герфурт,— от такой случайности, как чье-то дурное настроение, в наше время зависят человеческие судьбы.

Руди Швабе. Тот самый, которого тогда в профессорской компании шпыняли, как глупого щенка. Может, он с тех пор что-то понял? Или по-прежнему бодро и усердно выполняет какие-нибудь новые директивы?

Но этого она не говорит ему.

— А как с Рольфом Метернагелем? — спрашивает она, как будто все время ни о чем другом и не думала.— Перечеркнули наконец то печальное недоразумение, из-за которого он был снят с должности мастера?

— Помилуйте! Три тысячи марок! Шутка сказать! — не моргнув глазом с ласковой укоризной отвечает он.

И наконец уходит.

Рита собирается навестить Рольфа Метернагеля, снова — в какой уже раз! — потерпевшего аварию! Подумать только, сколько раз нужно заново набирать силы такому человеку, который никогда не прятался от житейских бурь и не выклянчивал у жизни подачек!

Рита хорошо помнит, как пристально Герберт Куль — исконный противник Метернагеля — следил за ним последнее время. Когда никто не представлял себе, как скажется на бригаде его призыв повысить производительность, когда все шарахались от него, как от зачумленного,— Герберт Куль старался еще пуще раздразнить его ехидными замечаниями. Временами казалось, что дело дойдет до драки. Тогда лицо Куля выражало нетерпеливое ожидание, не свойственное ему, обычно хладнокровному наблюдателю. Видно было, что он старается, но не может совладать с собой. Наконец, он решил во что бы то ни стало избавиться от этого ожидания. И в самом деле, наутро, после того как он и новичок Курт Ган вставили за ночную смену по четырнадцать рам каждый, выражение его лица стало, пожалуй, даже безучастнее и насмешливее, чем когда-либо. Украдкой следил он за Метернагелем. За что тут идет борьба? За увеличение продукции или за торжество самого Метернагеля? Действительно ли он человек особого склада или лезет из кожи вон ради собственного интереса?

Метернагель молчал целых три дня. Три ночи Куль и Ган вставляли по четырнадцать рам за смену. Три дня остальные выдавали по десять рам.

Оказалось, что у Рольфа Метернагеля больше выдержки, чем у Герберта Куля. На четвертое утро, когда бригада собралась было, как всег-

да, пройти, не поздоровавшись, мимо Куля и Гана — тоже еще, нормы ломают! — Герберт Куль встал прямо перед Метернагелем. Остальные сгрудились позади.

— Ну так что? — вызывающе спросил Куль.

— Как что? — приветливо переспросил Метернагель.

— И завтра и послезавтра я тоже буду вставлять по четырнадцать рам, в любую смену,— объявил Куль.

— Молодец! — похвалил Метернагель.

— Тебе, верно, не по душе, что первым этого добился именно я? — спросил Герберт Куль.

— Ну и чудак же ты! — ответил Метернагель настороженно, но все еще приветливо.— Мне только хочется знать, зачем ты это делаешь?

Казалось, Куль сейчас накинется на Метернагеля с кулаками. Возможно, до этого бы и дошло, если бы Метернагель хоть на миг отвел от Куля свой спокойный приветливый взгляд. Но этим неотступным взглядом он держал в узде Куля, которого никто еще не видел до такой степени возбужденным.

— Еще бы! — зловещим полушепотом начал Куль.— Другой сделает гораздо меньше, и его сейчас же объявят героем. А у меня только спрашивают: зачем ты это делаешь? Почему именно у меня? Потому что я был лейтенантом? Да, был, и всей душой был предан своему делу. Я никогда ничего не делал вполовину. Да, да, если желаете знать, передо мной тогда могли поставить сколько угодно людей и приказать: стреляй! И я бы расстрелял их без зазрения совести. Только я это открыто говорю, а вы предпочитаете молчать, вот и вся разница между мной и прочими. Да, повторяю: любого человека можно превратить в подлеца. Ну что? Чего вы на меня уставились?

— Эх, ты! — самым обычным голосом сказал Метернагель.— Перестань беситься. Ты противоречишь самому себе. Шестнадцать лет пытался убедить себя, что ты подлец, и вдруг сам же это опроверг...— Он негромко засмеялся, чтобы отвлечь общее внимание на себя.

Все старались теперь не смотреть Кулю в глаза. Он внезапно обессилел, словно проделал тяжелейшую работу. Видно было, как подрагивают мускулы его щек. Он еще не мог переварить свое поражение и упорно молчал... Рита не была уверена, понимает ли он вообще, о чем говорят остальные. А тут вдруг вскипел Хорст Рудольф — первый красавец в бригаде, на глазах у Риты вставивший раму за четырнадцать минут и копивший деньги на машину.

— У нас каждый получает, что положено,— начал он.— А почему? Потому что мы не желаем подводить товарищей. А с теми, кто нам ножку подставляет, я работать не буду! Выбирайте: они или я!

— Смотри, пожалеешь,— мягко предостерег его Метернагель.

— Как же так, шли-шли в гору, а теперь изволь пятиться назад?! — растерянно сказал старик Карсувейт.— Нет уж, верьте мне, когда столько пройдено, назад ходу нет.— Он крепко запомнил службу у помещика.

Все молчали. Каждый задавал себе вопрос: неужели нам возвращаться назад к эрмишевским фокусам с нарядами?

Метернагель сделал вид, что не понимает, о чем они задумались.

— Не знаю, как вы, а я чувствую, что в воздухе пахнет гарью. Что-то надвигается на нас... А что, если, перевыполняя норму, мы поможем потушить пожар? Не так это нелепо, как вам кажется. Вдруг от нас этого даже потребуют? А мы возьмем да и скажем: оставьте нас в покое, у нас каждый получает, что положено.

Он открыто, в упор посмотрел на Гюнтера Эрмиша. Эрмиш давно уже ждал этого взгляда и теперь густо покраснел.

— За кого ты нас принимаешь? — задыхаясь от волнения, проговорил он.— Ты думаешь, один раз обманули, значит, всегда будем обманы-

вать? Да, верно! Мы тебя тогда нагрели на три тысячи марок. Конечно, я отлично знал, что вписываю в наряды несуществующие операции. Почти все это знали. А ты за это слетел с места. Ну и что ж? По-твоему, мы теперь всю жизнь должны ходить в жуликах?

Метернагель так побледнел, что Рите стало страшно за него. Ему вовсе не хотелось затягивать эту паузу. Даже самым ответственным в жизни минутам он не привык уделять много внимания.

У Риты сжимается сердце, когда она подходит к двери Метернагелей. Сильно ли может человек измениться за два месяца?

Как всегда, дверь открывает его жена. При виде Риты лицо ее проясняется.

— Он спит, но ради такой гостьи я могу его разбудить,— говорит она.

У двери в спальню она еще раз оборачивается:

— Если вы испугаетесь, не показывайте вида...

Предупреждение было не лишним.

Войдя, Рита маскирует испуг улыбкой.

— А кто тебе велел меня сменить? — говорит она.

Он понимает, что она не ожидала увидеть тяжко больного человека, но притворяется, будто не заметил этого. Он может делать что-нибудь одно: поворачивать голову, или улыбаться, или говорить — все это по очереди. Улыбка — единственное, что не изменилось в его лице, и от этого оно кажется еще более чужим.

— Садись, дочка,— говорит он. Да, его порядком скрутило: и сердце, и нервы, и кровообращение нарушено — словом, все никуда. Придется ехать на курорт. Пусть немного подлатают.

— А кого временно вместо тебя назначили мастером? — спрашивает Рита.

Не временно, нет, говорит Рольф, зачем обольщаться? Мастером ему уже не быть. Его преемник — Эрмиш.

Что тут скажешь? Их взгляды встречаются. Рита перестала притворяться. Оба чувствуют, что достаточно давно знают друг друга и могут начистоту говорить обо всем. А между тем, казалось бы, так недавно — каких-нибудь полтора года назад — она неопытной девчонкой робко семенила за ним по заводу и больше всего на свете боялась осрамиться в его глазах.

— Знать бы заранее, что тебе еще свалится на голову,— говорит Рольф.— Было время, когда мне казалось: хуже некуда. Отныне мне никакой черт не страшен.

— Вот и отлично,— подхватывает Рита,— тебе и правда никакой черт не страшен.

Оба смеются. Фрау Метернагель, явно довольная, просовывает голову в дверь. Недаром она сразу решила, что от этого визита может быть только польза. Она приглашает Риту в столовую выпить чашку кофе.

Всякий раз, когда Рита бывала в этой комнате, Метернагель сидел на своем излюбленном месте у окна. Без него и без дыма его сигареты ей здесь неуютно.

Фрау Метернагель рада, что есть с кем отвести душу. Мужу она давно не поверяет своих забот.

— Что поделаешь, он не такой, как все,— с грустью говорит она.— Я ведь видела, что он себя губит. Другие и телевизором, и холодильником обзавелись и стиральную машину жене купили. А знаете, что он делает с деньгами с тех пор, как дочки стали самостоятельными? Он копит. И думает, я не знаю на что. А я отлично знаю: он хочет вернуть

те три тысячи, которые переплатил когда-то. Он сумасшедший, говорю вам, сумасшедший. Подумаешь, нужны заводу три тысячи марок! Вот мне они действительно нужны.

Рита пьет жиденький кофе, съедает ломтик хлеба.

— Вы даже себе не представляете, какую работу проворачивает ваш муж,— говорит Рита, не в силах подыскать слова ободрения.— Как его все ценят. Без него вообще нельзя обойтись.

— Знаю, знаю,— тихо говорит фрау Метернагель.— Видно, ему на роду написано быть таким.

Когда Рита заходит к Рольфу Метернагелю проститься, он уже опять спит. Ей страшно смотреть на его изможденное лицо. Она притворяет за собой дверь.

Первый день ее вновь обретенной свободы близится к концу. Сумерки нависли над городом. Люди торопятся домой после работы. На темных фасадах вспыхивают прямоугольники света. И вот уже и дóма и в общественных местах вступает в силу вечерний ритуал, тысячи разнообразных действий, зачастую ведущих к самой скромной цели — к тарелке супа, натопленной печке, колыбельной песенке. Иногда какой-нибудь муж смотрит вслед жене, выходящей из комнаты с посудой, и ей не видно, сколько восхищения и признательности в его взгляде. А то жена подойдет к мужу и погладит его по плечу. Она давно этого не делала, но чутьем угадывает, в какую минуту ему нужна ее ласка.

Рита идет домой кружным путем и мимоходом заглядывает в освещенные окна. Она видит, как огромный запас дружелюбия, израсходованный за день, из вечера в вечер восполняется вновь. Ее не пугает, что запаса человеческого дружелюбия не хватит на ее долю. Хотя ей случится быть и усталой, и раздраженной, и злой. Все равно не пугает.

Самое главное, что мы приучаемся спать спокойно, что мы живем полной жизнью, как будто ее, этой удивительной жизненной силы, у нас избыток.

Как будто конца ей быть не может.

ФАИЗ АХМАД ФАИЗ

ДВЕ ЛЮБВИ

Перевод с урду
НИКОЛАЯ ТИХОНОВА

О Родина моя!

По слову и по зову твоему,
По слову твоему, о Родина моя,
Верны тебе пришли по зову одному —
По зову твоему, о Родина моя!
Что в дар тебе нести? Нет ничего у нас,
Есть только гордость, вдохновенья час,
Есть жизнь, в которой счастье не для нас,
Есть тело, лишь тряпьем прикрытое сейчас.
Вот, что имеют все и чем владею я,
Но все, что есть у нас, о Родина моя,
Готовы все отдать по слову твоему,
Во славу Родины, по зову твоему,
И жизнь отдать тебе по слову одному.
Кто хочет зла тебе полночною порою,
Вновь тайно шепчутся с врагами, козни строя,
Торгуются, для них ты стала лишь товаром,
Честь продают твою — в цене она недаром.
Пока живые мы — такому не бывать,
Тем грязным торгашам тебя не замарать,
Мы не дадим тобой постыдно торговать,
Мы жизни отдадим по знаку одному —
Мы сложим головы по зову твоему,
Во имя Родины, по слову твоему!

Ты говоришь...

Кончился бой уже, ты говоришь,
И никто не успел сразиться в бою,
Не смог показать всю отвагу свою,
Не поднял знамя, не встал в строю,
Чтоб показать, где бежали друзья,
Показать, где врагов затаила тишь,
Кончился бой уже, ты говоришь,
Что мы не сражались — о том молчишь!

Ты говоришь, что выхода нет —
Опускаются руки, изранено тело,
От каменной муки душа онемела,
А горе горами встает без предела,
Кто гор тех коснется, уходит в испуге,
Отходит сразу от дела.

Разве не можем мы пыль наших улиц,
Друзья, расцветить красою багряной,
Весной нашей крови? Разлить океаном
В ладони любимой алость тюльпанов?
Разве тут крик справедливый не грянет:
«Бери и владей!» — в громе и гуле...

Испытание страсти, что прошло-прошло,
Много ран, много мук позади-позади,
Впереди еще большие муки нас ждут, но иди!
Столько же будет еще впереди,
Испытанья, каких не встречали, еще впереди!

Одиночное заключение

Где-то у края неба плещет света волна.
Город мук оживает только во время сна.
Только во сне загорается нетерпеливый взгляд,
В безмолвье разлуки приходят, зари лучи горят.
Чаша сердца, я лью в нее утреннее вино,
Горечью дня вчерашнего, ядом новым полна.
Где-то у края неба плещет света волна.
Манит неведомым утром, так далеко от глаз,
Неясная песня, неясный запах, неясное, но дорогое лицо,
В безлюдье разлуки образы, как призрачное кольцо.
Возникшая вдруг надежда, чей пламень во мне не гас,
Горечью дня вчерашнего, ядом новым полна,
Пишу я о дне свиданья и о печали его,
Во имя друзей на родине и в странах необозримых,
Во имя красы вселенной и прелести губ любимых!

■ ■ ■

Ночь на убыль пошла в моем сердце, взгляни,
Так зажги в хрустале золотые огни,
Вспомни, вспомни о сердце влюбленном моем —
Цветы раскрываются в эти дни.

■ ■ ■

Одиночество, друг мой старинный, сегодня нам не до сна,
Ты пришло, чтобы вечером поздним распить со мной чашу вина,
Вот сидим мы вдвоем, ожидая восхода луны,
Чтоб в любой из теней колыхала твой образ она.

■ ■ ■

Все, опьянев, спешат, куда зовет их мода,
В битком набитый храм, на кабака огни,
Здесь в пьяном городе — святым на утешенье —
Остались, кажется, мы — трезвыми — одни.

■ ■ ■

Нет ни буквы, ни слова, ни мысли, ни взгляда,
Нет покоя кругом — на сердце так тяжело,
Сколько весит надежда, какого цвета отчаянье,
Не спрашивай ни о чем — на сердце так тяжело.

■ ■ ■

Защитники сытых, какого с нас, калек, захотели богатства?
Вот оно перед вами — все, что жизнь уделила нам наша,—
Сердце, ставшее горсточкой пыли, и кровавой печали вино —
Берите! Разжата ладонь, и опрокинута чаша!

■ ■ ■

Утро сегодня такой красоты небывалой —
Кто же легкой походкой по саду прошел?
Граната цветком закат разгорается алый,
Кто-то, пылающий жарким румянцем, за ограду прошел...
Благовонная ночь — чей блеск рассыпался в небе,
Равный черных кудрей водопаду, прошел?
Сердце, знать ты должно, кто тихо стучал в твои двери.
Тот, кто ищет тебя, как мечту и отраду, прошел.

■ ■ ■

Каждую ночь ищет сердце тебя и зовет,
Каждый звук — песня слов твоих нежных над россыпью рос,
Каждое утро мой взгляд украшает твой рот
Алостью всех, что есть в мире тюльпанов и роз.

■ ■ ■

Не забудут глаза все сиянье твоей красоты,
И куда бы ни шел я — мне всюду являлась ты.
Час прощанья настал, я уйду, расстанусь с тобой,
Но как меня будет манить туда, где осталась ты.

■ ■ ■

Я не знал, что мой день, опьянен красотой,
Цветником моим став, в один миг расцветет.
Все, к чему прикоснутся те взгляды-лучи,
Красотой засияв, в один миг расцветет.

■ ■ ■

Покой — и на тех, чей в страсти ворот разорван,
Зашиты их раны иль нет, но уста отдыхают,
Весна на пороге, друзья, украсьте наш праздник —
Раскрылись цветы или нет, но раны зияют.

■ ■ ■

Ночи стали теперь, как волны густого вина,
Зори — цветы, ароматов и красок простор,
Чаши пустуют — чем же нам встретить весну?
Сердце наполним желаньем, пламенем — взор!

■ ■ ■

В пору любви твоей — тропинку благословляю,
Славлю каждую нитку, отчизна, одежды твоей,
Крови каждую каплю, пылинку благословляю,
В сердце — тюльпаново-алую рану надежды твоей.

■ ■ ■

Рисунком каким легли улиц огни вокруг,
И желанной весны не настали ли дни вокруг,
На пиру ли, на лобном ли месте, в доме любимой,
Всюду гибнут друзья твои, взгляни вокруг!

■ ■ ■

Запах горячей крови, любимых ли губ тепло,
С какой ветерок прилетел стороны, посмотри,
В сад ли пришла весна или снова тюрьма полна,
Откуда там крики и песни слышны, посмотри.

■ ■ ■

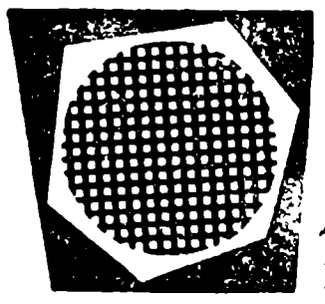
Каждый миг приходит снова, лик любимый отражая, приходит снова,
И луна, тьму ночную поражая, приходит снова.
Мое сердце, понимаешь ты иль нет, но смотри и слушай, сердце,—
Звон любовных уверений грустный ветер, доставляя, приходит снова,
Иль в мечте круговорота ветер вдруг — кудрей любимых
Ароматом окружая — приходит снова.
Хоть садовник и боится — запустеет сад любимый,
Но цветок, клинком зелсным к свету путь свой прорезая, приходит снова!

АЛЬБЕРТО МОРАВИА

ГРИ НОВЕЛЛЫ

Перевод с итальянского
Г. БОГЕМСКОГО

Автомат



девшись, Гвидо подошел к шкафу посмотреться в зеркало и, как обычно, ощутил чувство неудовлетворенности. В самом деле, на нем все было новое, с иголочки и самого лучшего качества — новый пиджак в елочку, новые серые фланелевые брюки, новый галстук в веселую полоску, новые красные шерстяные носки и новые замшевые полуботинки,— и все же выглядел он неэлегантно и похож был на манекен в витрине большого магазина готового платья.

Гвидо вышел из спальной — царивший там беспорядок действовал ему на нервы — и вошел в гостиную. Здесь было чисто, светло, аккуратно прибрано; Гвидо успокоился, хотя, впрочем, в это утро, с той самой минуты, как он проснулся, его не покидало мучительное ощущение, что он позабыл о чем-то важном. Что же это было? Свидание? Телефонный звонок? Платеж? Памятная дата? В конце концов он покачал головой и подошел к стоявшему в углу у камина проигрывателю. Проигрыватель был американской марки, автоматический — стоило нажать кнопку, как звукосниматель с иголкой сам поднимался, подвигался и опускался на край пластинки. Гвидо наугад вытащил из шкафчика какую-то джазовую пластинку, положил ее на диск проигрывателя и нажал кнопку. Тут произошло нечто непредвиденное: звукосниматель приподнялся, подвинулся, но вместо того, чтобы опуститься, продолжал двигаться куда-то вбок — движение его было задумчивым, словно исполненным сомнения,— и, наконец, упал, но не на край, а на центр пластинки. Раздался душераздирающий скрежет, звукосниматель подскочил и поехал по пластинке назад, затем вновь поднялся и, шлепнувшись с громким стуком, возвратился в исходное положение.

Гвидо снял пластинку и, поднеся к окну, тщательно ее осмотрел:

пластинка была непоправимо испорчена, в нескольких местах по ее поверхности разбегались глубокие царапины. Впервые на своем веку автомат не сработал. Гвидо, весьма удивленный, поставил другую пластинку — на сей раз звукосниматель поднялся и опустился как положено, плавно, без всякой ошибки. Хотя Гвидо внимательно слушал музыку, он не переставал спрашивать себя, в чем причина странного поведения автомата, и почувствовал, что возможное объяснение технического порядка его не удовлетворит. В эту минуту в комнату вошла жена.

Она вела за руки двух детей — Пьеро и Лючию. Обоим не было еще и пяти лет, личики у них были смышленые, с тонкими чертами, особенно у Пьеро, очень похожего на фотографию Гвидо, когда тому было столько лет, сколько сейчас сыну. Жена сказала детям:

— Ну, скорей, бегите поцелуйте папу! — и осталась стоять посреди гостиной, а дети, послушные и ласковые, подбежав к отцу, вскарабкались к нему на колени. Гвидо обнял их, но взгляд его был устремлен поверх их кудрявых головок на жену; глядя на нее, он отметил, словно видел ее впервые, что она — высокая, хрупкая и плоскогрудая, иссушенная и изнуренная двумя беременностями,— уже утратила как женщина всякую привлекательность. Он отметил также, что она в очках и нос у нее чуть красноватый, что на ней широкая синяя юбка и синий, более темный джемпер. Ему вдруг показалось, что все эти мелкие подробности должны, наверное, иметь свой скрытый смысл, вроде того, как изображенные на рисунке составные части ребуса обычно объясняются каким-нибудь одним словом; но жена не дала ему времени найти объяснение.

— Вставай, едем,— сказала она,— уже поздно, если мы еще задержимся, все дороги будут забиты машинами.

Гвидо сказал:

— Поехали,— и последовал за женой, вновь взявшей за руки детей. Квартира их была на первом этаже нового дома в Париоли*, входная дверь вела прямо в крошечный садик с асфальтированными аллейками, клумбами, засаженными тюльпанами, и деревцами, подстриженными конусообразно и в форме шара. Семейство прошествовало через этот садик и вышло на узкую улочку, застроенную большими новыми домами и с обеих сторон заставленную машинами. Теперь Гвидо вновь мучительно пытался вспомнить, о чем же все-таки он позабыл сегодня утром; с этой мыслью он усадил в машину жену и детей, включил мотор и тронулся в путь. Автомобиль быстро оставил позади Виа Фламиниа, миновал мост через Тибр и помчался по набережной: они отправились на озеро Альбано. Было воскресенье, и денек выдался чудесный, как заметила жена, сидевшая с девочкой на заднем сиденье. «Жаль, очень жаль, что нельзя устроить пикник — недавно шел дождь и земля еще сырая...» На это Гвидо ничего не ответил. Жена, перескакивая с одного на другое, поучающим тоном продолжала изрекать неоспоримые истины, обращаясь то к мужу, то к детям. Гвидо же сосредоточил все свое внимание на дороге, сплошь забитой машинами и пешеходами — люди к тому же были по-праздничному беспечны — и требовавшей от водителя особенной осторожности и сноровки.

Машина долго бежала по Старой Аппиевой дороге, свернула на Аппиа Пиньятелли, а потом на Новую Аппиеву дорогу. Гвидо не превышал обычной, не слишком большой скорости, даже когда дорога впереди была свободна. Между тем его глаза замечали множество вещей, казавшихся ему интересными, но значение их от него ускользало: ослепительное сияние никелированных частей большого черного автомобиля, следом за которым он ехал; нежная белизна ярко освещенной солнцем цилиндрической цистерны для жидкого топлива, спрятавшейся меж покрытых

---

* Один из фешенебельных кварталов Рима.

почками, по-весеннему зеленеющих деревьев; белоснежная штукатурка фасадов некоторых домов; серебристый блеск идущего на посадку самолета, перечеркивающего наискось небо над аэродромом Чампино; внезапное сверкание стекол в каком-нибудь окне, куда ударял солнечный луч; меловые полосы для автомобилистов на стволах платанов вдоль автострады. Все эти белые, сверкающие, слепящие краски нестерпимо резко контрастировали с огромной черной тучей, застлавшей горизонт и грозившей испортить чудесный день; также и светлая, нежная, почти молочная зелень полей и холмов звучала диссонансом на мрачном фоне предгрозового неба. Вновь Гвидо задал себе вопрос, в чем смысл этого нарушения гармонии, этого контраста, но не нашел никакого ответа; и все же он был уверен, что какой-то смысл тут есть. Жена позади него разговаривала с девочкой; мальчик, сидевший рядом с ним, встал на колени и, держась ручонками за спинку сиденья, то и дело вмешивался в беседу матери и сестры. Чистые, звонкие голоса детей, что-то спрашивающих, спокойный голос отвечающей им матери, несомненно, тоже таили в себе какое-то значение, но Гвидо не удавалось, как и во всем другом, что он постепенно вокруг себя замечал, обнаружить это значение, хотя он был убежден, что оно существует.

Потом дети примолкли, и в наступившей тишине жена, по-видимому, обратила внимание на неразговорчивость Гвидо. Она спросила:

— Что с тобой? Ты в плохом настроении?

— Нет, не в плохом.

— Однако и не в хорошем?

— Я в среднем настроении, в своем обычном настроении.

— Это именно то, что я больше всего в тебе ценю, — твое, как ты говоришь, среднее настроение. Но мне показалось, что ты не в духе.

— Чем же тебе нравится мое среднее настроение?

— Даже не знаю, просто оно дает мне чувство уверенности. Чувство, что я живу с человеком, которому можно полностью верить.

— И этот человек я?

— Да, ты, — жена, казалось, минутку поразмышляла, словно хотела тщательно обдумать свои слова, — да, я действительно счастлива, я с полным правом могу сказать, что счастлива. Ты дал мне все, чего я желала: семью, детей, обеспеченную и спокойную жизнь. Ты рад, что я с тобой счастлива?

Жена наклонилась вперед и ласково потрепала его по затылку. Гвидо ответил:

— Да, я рад.

Теперь машина свернула с Новой Аппиевой дороги на Дорогу озер и бежала меж зеленеющих полей, на которых здесь и там виднелись маленькие, трепетавшие от ветра белые и розовые облачка цветущих фруктовых деревьев. Потом — желтая мимоза подле голубого дома, потом — несколько иудиных деревьев с ветвями, густо усыпанными цветами винно-красного цвета. Гвидо сказал:

— Я не в плохом настроении, я только думал об одной вещи, которая произошла недавно.

— Что же произошло?

Гвидо рассказал о пластинке и о несработавшем автоматическом устройстве проигрывателя и в заключение заметил:

— Теперь пластинка пропала. Но меня больше волнует другое: я никак не могу понять, почему вдруг проигрыватель испортился.

Жена шутливо проговорила:

— Видно, машинам иногда надоедает быть машинами и они хотят показать, что они не машины.

— Может быть, и так.

Мальчик, по-прежнему стоявший коленками на сиденье рядом с Гви-

до, вдруг спросил мать, купят ли они сегодня на озере клубники. Мать объяснила, что клубники в это время года не бывает, клубника — это ягода, а весна — время цветов, как он сам мог убедиться, глядя на поля. Гвидо некоторое время прислушивался к рассуждениям жены, а затем предпринял последнюю, уже совсем слабую попытку припомнить, что он должен был, как ему казалось, сделать сегодня утром, но так ничего и не вспомнил. Может быть, он с кем-нибудь назначил деловое свидание на следующий день — на понедельник, но, так или иначе, на работе у него все дела записаны в книжке-календаре, и это легко будет проверить.

Теперь они уже выехали на дорогу, огибающую озеро Альбано. Однако озера еще не было видно — его скрывали сады теснившихся вдоль берега вилл. Затем, за одним из поворотов, оно начало постепенно открываться взору: сперва крутые, обрывистые склоны, покрытые густым и жестким зеленым ковром, потом где-то совсем глубоко, словно на дне гигантской воронки, неподвижная и темная гладь озера, в которой, причудливо преломляясь, отражались высокие берега и затянутое тучами небо. Гвидо мельком взглянул на озеро и снова ощутил скрытое значение множества отдельных подробностей окружающего пейзажа. Теперь дорога шла в гору, и Гвидо переключил скорость с четвертой на третью. Вверху, там, где подъем кончался, виднелась висящая над озером на высоте нескольких сот метров терраса — за ней угадывалась пустота.

Неожиданно у Гвидо возникло такое чувство, какое испытывает человек, вырвавшийся из душного и темного подземелья на свежий, пронизанный солнцем и светом воздух. И вместе с этим ощущением в голову ему пришла совершенно ясная и определенная мысль: бросить машину на полной скорости в эту пустоту, которая открывалась в конце подъема, и вместе с женой и детьми свалиться в озеро. Машина, сделав прыжок в двести-триста метров, упала бы прямо в воду, смерть была бы мгновенной. Гвидо спросил себя, подсказала ли ему эту мысль ненависть к семье, но тут же почувствовал, что это не так. Напротив, ему казалось, что он никогда так сильно не любил жену и детей, как в ту минуту, когда хотел их гибели. Но это в самом деле была осознанная мысль или же, скорее, искушение? Конечно, искушение, но почти непреодолимое, неотступное и яростное, вызывающее чувство сладостной жути, близкое тому, какое испытываешь на похоронах, — нечто вроде чувства острой жалости к себе и другим, которая неудержимо хочет прорваться наружу.

Машина резко свернула вправо, так, что ее занесло — колеса коснулись обочины дороги,— и стремительно помчалась вверх, к террасе. Но миновав самую высокую точку подъема, Гвидо вдруг увидел перед собой маленький лужок, о существовании которого он и не подозревал; пропасть осталась позади, и момент был упущен: полететь вниз было бы вполне естественно, но дать задний ход, чтобы свалиться в пропасть,— уже преступление. Гвидо остановил машину, потянул ручной тормоз и остался неподвижно сидеть за рулем. Он не испытывал никакого особого чувства, ему лишь казалось, что он возвратился со свежего воздуха в темное подземелье, где совсем нечем дышать. Выходя из машины, жена сказала:

— Молодец, ты хорошо сделал, что остановился. Пойдем полюбуемся на озеро!

Когда они все четверо стояли на самом краю террасы и, держась за руки, чтобы не упасть, глядели вниз на озеро, Гвидо вдруг вспомнил то, что позабыл: в это воскресенье была годовщина их свадьбы; они с женой говорили об этом накануне вечером, уложив спать детей, и решили сегодня поехать за город именно для того, чтобы отметить эту памятную дату.

Фетиш

Сразу же после свадьбы они поселились в квартире в Париоли, которую тесть Ливио дал в приданое за дочерью. Квартира была почти пуста — ничего, кроме самой необходимой мебели, но жена сказала, что ей не к спеху: она хотела обставить их новое жилище по собственному вкусу. Так, не спеша, начала она выискивать по магазинам мебель, картины, разные домашние вещи и безделушки в сугубо современном стиле, хотя муж, убежденный, что она просто слепо следует моде, находил этот стиль претенциозным и снобистским.

Фетиш жена откопала в кладовой лавки одного антиквара, старика американца, большого оригинала, который открыл лавчонку, чтобы распродать вещи, собранные им в своей вилле за двадцать лет путешествий по всему свету. Фетиш этот представлял собой серый камень цилиндрической формы высотой в человеческий рост, только гораздо толще человека, и заканчивался он головой в виде заостренного конуса с сильно стилизованными чертами лица: на его физиономии были лишь весьма приблизительно намечены надбровные дуги, линия носа и подбородок. С обеих сторон, там, где должны были бы начинаться руки, виднелись грубо высеченные маленькие диски, похожие на две пуговицы. Эту бесформенную и примитивную, хотя и выразительную скульптуру, Ливио сразу же очень не взлюбил. Он ничего не говорил, но страшилище вызывало у него неприязнь именно потому, что жена души не чаяла в этом словно околдовавшем ее идоле; Ливио не одобрял этой очередной причуды, так же как и многих других ее увлечений, которых просто не в силах был понять.

Ливио окрестил скульптуру «марсианином» — она и в самом деле немножко напоминала смешные фигуры на рисунках из юмористических журналов, изображающих обитателей космоса. «Сегодня утром я не могу тебя на прощанье поцеловать: на нас смотрит марсианин», «Марсианин сегодня, кажется, совсем не в духе: погляди, как он нахмурился», «Сегодня ночью вхожу в ванную и кого я там вижу? Наш марсианин стоит и чистит зубы», «У Дон-Жуана была статуя Командора, а у меня — марсианин. Неплохая идея: почему бы нам не пригласить его к ужину?»

Эта последняя фраза, против обыкновения, была удостоена ответа. Они ужинали в гостиной, как раз напротив фетиша, который, казалось, пристально уставился на них из своего темного угла. Жена сказала:

— Чувствую, что еще немножко, и я отнесусь к твоей идее вполне серьезно. Я уйду, и ты сможешь закончить ужин вдвоем с ним.

Она произнесла это спокойно, четко отделяя каждый слог, опустив голову и не глядя на мужа. Но в тоне ее столь явственно звучала враждебность, что Ливио почувствовал чуть ли не страх. Однако не в силах остановиться, он продолжал шутить:

— Сначала надо еще выяснить, примет ли он приглашение отужинать с нами.

— Нет, пожалуй, я и впрямь уйду,— проговорила жена, словно не слыша его слов,— приятного аппетита!

Она положила на стол салфетку, поднялась и вышла из комнаты.

Ливио остался сидеть на своем месте и несколько минут пытался представить себе, как фетиш вдруг покидает угол, в котором он стоит, подкатывается на своем круглом основании к столу, садится и начинает

закусывать. Несколько дней назад он слушал «Дон-Жуана» в опере, и это совпадение его забавляло. Интересно знать, какой голос мог бы быть у идола? На каком языке он говорит? В какой папуасский или полинезийский ад он уволочет его за собой после совместной трапезы?

Однако эти картины, которые он рисовал в своем воображении, не могли его полностью отвлечь от мыслей о жене. Он надеялся, что это, быть может, лишь мимолетная вспышка, минутное раздражение, и ждал, что она вот-вот вновь появится на пороге. Но ничего подобного не произошло. Мысль об идоле, которого он пригласил поужинать, сначала его позабавила, а теперь вызывала неприятное чувство. Да и сам фетиш, глядящий из затененного угла, смущал и раздражал Ливио. Наконец он громко позвал: «Алина!» — но никто не откликнулся, в квартире, казалось, не было ни души. Вошла прислуга с суповой миской. Ливио велел поставить ее на стол, потом поднялся и вышел.

Спальня находилась в глубине коридора; Ливио толкнул притворенную дверь и вошел. И в этой комнате также почти не было мебели— лишь кровать и два стула. На кровати он увидел открытый чемодан. Жена, стоя перед распахнутым стенным шкафом, снимала с вешалки платье.

Ливио на минуту растерялся от неожиданности и не знал, что сказать. Потом подумал, что жена уходит от него через два месяца после свадьбы, и у него по спине пробежал холодок. Он сказал:

— Алина, можно узнать, что ты делаешь?

При звуке его голоса жена сразу же перестала возиться с платьем и опустилась на кровать. Ливио сел рядом, обнял ее за талию и пробормотал:

— Но в чем дело, Алина? Что с тобой?

Он ожидал услышать в ответ слова примирения, но, взглянув на жену, понял, что ошибался. Лицо ее, круглое, массивное, желтовато-бледное, на котором выделялись холодные светлые глаза, было нахмурено и хранило упрямое и злое выражение. Она сказала:

— Со мной то, что я не могу больше выносить твоих шуток. Ты готов насмехаться над чем угодно.

— Но у меня такой характер, я люблю пошутить. Что же в этом плохого?

— Может, ничего плохого и нет, но я не в силах больше этого выносить.

— Почему же, любовь моя?

— Не смей называть меня «любовь моя». Ты никогда не говоришь серьезно, ты вечно пытаешься острить, тебе всегда надо показать, что ты выше всего на свете.

— Но погоди, Алина, тебе не кажется, что ты немного преувеличиваешь?

— Нисколько не преувеличиваю. Каждый раз, когда ты шутишь, я чувствую, как у меня сжимается сердце. Можно подумать...

— Что можно подумать?

— Можно подумать, что ты, не будучи в состоянии подняться до уровня некоторых вещей, стремишься своим сарказмом принизить все до своего собственного. Но если бы только это...

— Что же еще?

— Ты шутишь даже в такие минуты, когда ни один мужчина не стал бы шутить. Во время нашего свадебного путешествия ты сказал одну вещь, которую я не забуду тебе всю жизнь.

— А именно?

— Этого ты от меня никогда не узнаешь.

Последовало молчание. Ливио, сидя рядом с женой, все еще обнимал ее за талию. И вот, глядя на Алину, он — с таким чувством, слов-

но делает важное открытие,— подумал о том, что сейчас впервые с тех пор, как они знакомы, он разговаривает с женой серьезно, искренне и сердечно, не прячась под маской шутки. Он подумал: для того чтобы заставить его переменить тон, понадобилась ни больше ни меньше как угроза ее ухода, и неожиданно ощутил угрызения совести. Он проговорил:

— Давай, Алина, разберемся, что произошло на самом деле. Ты купила этот фетиш, который мне не нравился, и привезла его домой. Почему я начал потешаться над этим идолом? Разумеется, не потому, что он некрасив, смешон или нелеп, в этом доме уже полно некрасивых, смешных и нелепых предметов. Нет, я делал это потому, что ты увлечена этой своей новой причудой до такой степени...

Жена слушала его с напряженным вниманием. Казалось, вся ее подобранная, массивная фигура излучает внимание, которое словно концентрировалось в ее выглядывавшем из-под черных волос маленьком мясистом ушке. Вдруг она хлопнула в ладоши и повернулась к Ливио:

— Наконец-то ты это сказал! Причем сам!

— Что сказал?

— Что не можешь выносить то, что называешь моими причудами.

— Ну да, и что же с того?

— Но разве ты не понимаешь, ведь то, что ты зовешь моими причудами — это мои чувства, мои привязанности, одним словом, вся я сама?

— Ты испытываешь какие-то чувства, привязанность к этому каменному истукану?

— Может, и могла бы испытывать. Что ты в этом понимаешь? Я несомненно люблю или, вернее, любила тебя. А ты смотрел на мое чувство как на то, что ты называешь причудой, ты обрушил на него холодный душ своих шуток.

— Когда же это?

— Я тебе уже сказала — во время нашего свадебного путешествия.

— Я шутил над твоей любовью ко мне во время свадебного путешествия?

— Вот именно, в Венеции, в номере гостиницы, в первую ночь. И ты потешался не только над моим чувством, но и над моей фигурой, притом в такую минуту, когда ни один мужчина — заметь, я повторяю это со всей торжественностью,— ни один мужчина не осмелился бы это сделать.

— Я потешался над твоей фигурой?

— Да, над одной особенностью моей фигуры.

Ливио вдруг покраснел до корней волос, хотя вовсе не помнил, чтобы он шутил по такому поводу. Помолчав, он проговорил:

— Возможно, это и правда, но я ничего не помню. Кроме того, надо еще выяснить, что это была за шутка. Быть может, нечто столь же невинное, как то, что я сказал сегодня вечером насчет твоего фетиша.

— Конечно, эта шутка была невинной, поскольку ты не отдавал себе отчета в том, что говоришь. Однако на меня она произвела такое действие, словно ты опустил мне за шиворот кусок льда. Это была наша первая ночь, и ты не почувствовал, что я тебя ненавидела!

— Меня ненавидела?

— Да, всей душой.

— И сейчас ненавидишь?

— Сейчас — не знаю.

Ливио вновь помолчал, потом внимательно посмотрел на жену. И вот тут он неожиданно ощутил, что перед ним совершенно чужой ему человек, о котором он ровным счетом ничего не знает — ни его прошлого, ни настоящего, ни его чувств, ни мыслей. Это ощущение отчужденности породила всего лишь одна ее фраза: «Ты не почувствовал, что я тебя ненавидела». И ведь в самом деле он не отдавал себе отчета

в том, что сжимает в объятиях женщину, которая его ненавидит! Та ночь ему запомнилась во всех подробностях — вплоть до ветерка, который то и дело слегка надувал занавеску на распахнутом окне, выходившем прямо на лагуну, но ненависти ее он не помнил. И если он не заметил столь сильного чувства, кто знает, сколько других важных вещей укрылось от его внимания, кто знает, какая часть ее существа до сих пор остается ему неизвестной?! Но теперь было уже ясно, что жена не собиралась уезжать; что этот раскрытый чемодан на кровати составлял часть своего рода ритуала супружеской ссоры; что сейчас ему предстоит искать примирения с женой, сколь чужой и незнакомой она бы ему ни казалась. Сделав над собой усилие, он взял ее за руку и проговорил:

— Ты должна извинить меня. Таких людей, как я, обычно называют неправедными.

— А что означает «неправедный»?

— Нечто прямо противоположное «праведному». Человек, для которого нет ничего святого. Но с сегодняшнего дня я буду стараться исправиться, обещаю тебе это.

Жена пристально смотрела на него, чтобы не сказать — созерцала его, своими светлыми, почти бесцветными, невыразительными глазами — так глядят на какую-нибудь необычную и непонятную вещь. Наконец она произнесла просто и естественно:

— Ну, ладно, иди в гостиную, я сейчас приду,— и, нагнувшись, легко коснулась губами его щеки.

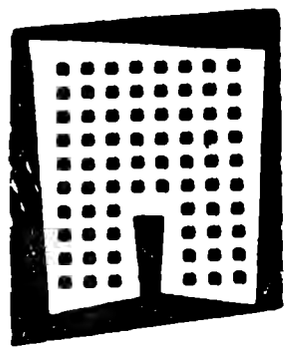
Ливио хотелось что-то сказать, но он не нашел подходящих слов. Он встал, возвратился в гостиную и вновь сел за стол. Взяв с блюда отбивную, он положил ее себе на тарелку и приготовился было есть. Потом вилка и нож выпали у него из рук, и он уставился на стену перед собой.

Фетиш, как и прежде, стоял прямо напротив его места; низкий лоб выдавался вперед, словно надвинутый на глаза козырек,— идол, казалось, смотрел на него с угрожающим и требовательным видом. Он словно хотел сказать Ливио: «Это еще только начало. На свете есть еще немало такого, над чем тебе впредь придется прекратить свои шутки».

Ливио вспомнил о Дон-Жуане и подумал: тот мог утешаться по крайней мере тем, что был наказан за насмешки над принципами всеми признанной и глубоко чтимой религии. А он должен уважать этот мир, в котором не осталось ничего святого, мир без ада и без рая, немой и нелепый, подобный этому каменному идолу.

Легкий шорох заставил Ливио очнуться от своих мыслей. Алина вернулась в гостиную и вновь уселась напротив него за столом. Глядя на жену, Ливио заметил, что в этом ракурсе ее лицо точь-в-точь походит на глупую и кровожадную физиономию фетиша. И он почувствовал, как у него по спине снова пробежали холодные мурашки.

Трельяж



Прислуга ушла за покупками, жена не могла слышать звонка, потому что сидела с ребенком на террасе. Джованни пошел открывать дверь сам и неожиданно увидел перед собой двух запыхавшихся мужчин в одних рубашках: они тащили какой-то завернутый в бумагу огромный предмет, напоминавший ширму.

— Это зеркало,— сказал один из них,— куда его вам поставить?

В довольно веселом настроении, так как он хорошо выспался и, кроме того, была суббота и ему не надо было отправляться в свою контору, Джованни, насвистывая, пошел впереди несших зеркало мужчин и показал им угол в спальной, рядом с туалетом жены. Грузчики поставили зеркало на указанное место и ушли. Джованни сорвал с зеркала бумагу — оно оказалось трехстворчатое, вроде тех, что стоят в портновских мастерских,— и погляделся в него. И вот тут все его хорошее настроение сразу улетучилось, ибо он осознал то, в чем всегда отдавал себе, в сущности, отчет, но о чем с некоторого времени почти совсем позабыл: его собственное лицо не только внушало ему антипатию, но и казалось каким-то совершенно чужим, незнакомым, причем весьма неприятным; ему просто трудно было поверить, что у него могла быть столь несимпатичная физиономия.

Очевидно, подумал Джованни, поворачиваясь сперва в профиль, затем анфас, он раньше заблуждался, льстил себе, воображал себя лучше, чем он есть на самом деле. Но каким же именно он себе представлялся? Задумавшись над этим, он пришел к выводу, что все дело именно в том, что он вообще не имеет о самом себе никакого представления; просто он ни в коем случае не желал узнавать себя в этом несимпатичном изображении. Он осторожно слегка отодвинулся и вновь поглядел на себя в зеркало, словно надеясь, что при более тщательном исследовании ему удастся обнаружить в своем лице хоть что-нибудь внушающее симпатию; но он констатировал, что чем дольше он глядится в зеркало, тем сильнее в нем поднимается отвращение. Лоб у него грубый, низкий и асимметричный, форма носа неопределенная и в общем неудачная, в глазах не светится ум, рот кривит брезгливая гримаса, кожа на лице слишком красная и блестящая; даже столь маловыразительные части лица, как подбородок и уши, вызывали у него чувство содрогания. Неожиданно пораженный сознанием того, что он глубоко несчастен, Джованни еще три-четыре раза взглянул на свое отражение в зеркале, потом отошел от трельяжа и вышел на террасу.

Жили они на самом верхнем этаже, окруженном со всех сторон широкой террасой, с которой открывался вид на изумрудный Тибр, вьющийся меж низких, утопающих в зелени берегов, на древние золотистые камни моста Мильвио и современные белые и желтые дома, выстроившиеся в ровную линию на противоположном берегу. Прищурив глаза от резкого света — в тот чудесный весенний день солнце светило ярко, но еще не палило,— Джованни пересек террасу, казавшуюся садом благодаря расставленным вдоль парапета многочисленным ящикам и горшкам с цветами, и направился в угол, где сидела жена, читавшая книгу подле коляски с ребенком. Усевшись рядом с женой, он сказал:

— Принесли зеркало. Я снял с него бумагу.

— Трюмо,— рассеянно проговорила жена, не отрываясь от книги.

— Собственно говоря,— заметил Джованни,— трюмо — это скорее старинное зеркало на подставке или в раме. А нам привезли трехстворчатое зеркало, трельяж.

— По-моему,— сказала жена,— такое зеркало и называется трюмо.

Солнце припекало все сильнее, и жара не располагала к беседе. Однако Джованни не отставал:

— Оно не очень-то красивое. Напоминает зеркало из портновской мастерской.

— А оно оттуда и есть,— подтвердила жена.

— Я погляделся в него,— продолжал Джованни, надеясь, что жена станет его разуверять,— и, сказать по правде, совершенно себе не понравился.

Но жена, казалось, не слышала его и ничего не ответила. Джованни тоже умолк, а потом вспомнил, что вчера к ним приходила одна их родственница — старушка, которая, едва увидев ребенка, стала с пылом уверять, будто он — вылитый отец. В тот момент ее слова были ему весьма приятны, но теперь, вспоминая об этом, Джованни вдруг почувствовал чуть ли не ужас при мысли о том, что его горячо любимый первенец, быть может, действительно похож на него. Это было какое-то особое чувство страха, которое, казалось, было порождено уже не физическим сходством, а чем-то большим — чуть ли не предвидением общности судьбы. В эту минуту он услышал тихий и мелодичный плач: ребенок проснулся. Жена тотчас же встала и бросилась к коляске. Джованни тоже поднялся.

Он вновь, как всегда, восхитился той необычайной бережной нежностью, с какой жена просунула обе руки под крошечное запеленутое тельце ребенка, вынула его, а потом взяла на руки и уселась с ним на стул у парапета. Она уперлась ногой в цветочный ящик и, поддерживая ребенка левой рукой, опустила его к себе на колени. Джованни сел рядом с нею и стал пристально вглядываться в сына, который, едва мать вынула его из коляски, сразу же успокоился. Это в самом деле был замечательно красивый ребенок: его тонкие, шелковистые волосики напоминали пушок только что очищенного от скорлупы кокосового ореха, лоб у него был белый, безмятежно гладкий, глаза синие и ясные, щеки удивительно круглые и пухлые, крепко сжатый розовый ротик придавал личику на редкость серьезное выражение. Мальчик уцепился рукой за ногу и с напряжённым вниманием, чуть ли не в экстазе, вглядывался в какую-то известную лишь ему одному точку в пространстве перед собой. Джованни, почти не думая, что говорит, произнес:

— Интересно, на кого из нас он будет походить, когда вырастет.

Жена уверенно ответила:

— Он будет похож на тебя.

— Надеюсь, что нет,— с живостью возразил Джованни.

— Почему же это?

— Да потому, что я внушаю себе антипатию.

Жена прогнала пчелу, с жужжанием вившуюся около ребенка, а потом добродушно сказала:

— Я тебя уверяю, что ты ни капельки не антипатичен. Напротив, все находят тебя очень симпатичным.

— Да, все, только не я сам.

Жена склонилась над ребенком, любяще и вместе с тем назидательно повторяя:

— Ма-ма... ма-ма.

Ребенок, оставив в покое ногу, властно протянул руку к лицу матери, и ему почти удалось ухватить ее за нос. Джованни прекрасно видел, что жена полностью поглощена ребенком и ее ничуть не интересуют его терзания. Однако он продолжал:

— Я себе антипатичен так, как может быть антипатичен иностранец, то есть вообще совершенно незнакомый человек. Этим я хочу сказать, что к чувству антипатии примешивается еще ощущение какой-то отчужденности. Первой мыслью, которая пришла мне в голову, когда несколько минут назад я увидел свое отражение, было: неужели возможно, что этот человек в зеркале действительно я?

— И все же,— проговорила жена с рассеянной жестокостью,— это не только возможно, но даже наверняка так.

— Вот потому-то я и не хочу, чтобы мой сын был на меня похож.

Жена снова нагнулась и потерлась щекой о тянувшуюся к ней ру-

чонку малыша, а потом выпрямилась, встала, поглядела на мужа и рассмеялась:

— Ну, знаешь, ты просто смешон! Ты, наверно, единственный отец на свете, который не хочет, чтобы ребенок походил на него.

Джованни минутку подумал и был вынужден в глубине души признать, что жена права. Однако факт оставался фактом: он испытывал отвращение к самому себе и искренне боялся, что сын будет на него похож. Он взволнованно произнес:

— Мне становится тошно при одной мысли о том, что завтра я, быть может, буду смотреть на своего ребенка с такой же антипатией, с какой сегодня смотрю на себя.

— Но почему? Давай поразмысли немного сам...

— Рассуждения не помогут, они тут ни при чем... Ведь речь идет об антипатии. Если уж испытываешь антипатию, значит, все!

Жена протянула руку и легонько пощекотала подбородок ребенка. Тот сразу же улыбнулся, хотя сосредоточенное выражение его личика не изменилось. Жена долго созерцала эту улыбку, ведь она сама хотела и сумела ее вызвать; она глядела на ребенка так, как смотрит на создаваемую им картину художник. Потом в припадке нежности она склонилась над сыном, покрывая его лицо поцелуями и повторяя со страстным упорством:

— А он у нас, наоборот, симпатичный, да, да, да, он очень симпатичный, да, да, да, страшно симпатичный!

Наконец, дав выход своей материнской любви, она, казалось, вспомнила о муже и, стремясь поскорее от него отделаться, торопливо сказала:

— С чего ты все это взял? У тебя просто какая-то мания самоуничижения. Почему ты решил, что антипатичен? Ну, давай рассмотрим вместе, что ты собой представляешь: ты хороший адвокат, дела твоей конторы идут совсем не плохо, ты человек интеллигентный, воспитанный, серьезный, уравновешенный, умный и образованный, ты молод, красив, вдобавок из богатой семьи — что тоже совсем не лишнее,— пользуешься уважением и авторитетом у своих коллег, у тебя много друзей, ты много занимаешься спортом, у тебя хороший вкус, и тебя радует все красивое, чего же тебе еще нужно? Как же ты можешь внушать себе антипатию? Я была бы просто рада, если бы наш сын точь-в-точь походил на тебя.

Жена говорила решительно и энергично, и Джованни вдруг почувствовал, что он колеблется. А может, он и в самом деле ошибается и жена права? Но потом ему неожиданно вспомнилось прочитанное сегодня утром в газете брачное объявление, в котором некий господин описывал себя почти в тех же выражениях, какие употребляла сейчас, говоря о нем, жена; он вспомнил также, что, читая эти самовосхваления, подумал: «До чего же противен, наверно, этот тип в действительности». С едкой горечью он проговорил:

— Нарисованный тобой, мой портрет очень поверхностен и условен. Если бы ты заглянула поглубже, то увидела бы, что дело обстоит не так.

Жена ответила с легким раздражением:

— Ты мне представляешься таким, потому что я тебя люблю. Сколько я ни гляжу, ничего другого не вижу: разглядывай себя сам, если тебе этого так хочется.

Джованни вновь ненадолго задумался, но ничего нового не придумал. Покачав головой, он сказал:

— Не знаю, ничего не нахожу... я чувствую, что у этой антипатии должна быть причина, но какая именно — не пойму.

Жена произнесла рассеянным, но в то же время торжествующим тоном:

— Вот видишь, ты сам себе противоречишь: думаешь, что антипатичен, и в то же время не можешь найти в себе никаких недостатков, то есть, другими словами, считаешь себя совершенством. Как же это так получается?

Джованни ответил:

— Я внушаю себе антипатию подобно тому, как ее внушают некоторые люди, которых встречаешь в поезде... Ты о них ничего не знаешь, тебе их не в чем упрекнуть, и все же они вызывают антипатию. Тот факт, что мне себя не в чем упрекнуть и ты меня находишь, как ты говоришь, совершенством, доказывает только, что мне не нравится не какая-то большая или меньшая часть меня самого, а весь я целиком. Другими словами, это мое якобы совершенство, если на него посмотреть по-другому, найдя правильную точку зрения, окажется чем-то совсем противоположным — полным несовершенством.

— Так почему же ты не посмотришь на себя с этой правильной точки зрения?

Джованни отвечал с горечью:

— Потому, что ее не существует или, по крайней мере, я не в силах ее найти.

Малыш снова уснул. Жена тихонько, чтоб не разбудить его, поднялась со стула и осторожно уложила ребенка в коляску. Потом возвратилась на прежнее место и, прежде чем сесть, потрепала мужа по щеке и сказала:

— Просто ты недоволен собой, вот и все. Это пройдет.

Джованни покачал головой:

— Нет, это не так.

— А как?

Джованни напряг все мысли, пытаясь определить и сформулировать свои чувства. Наконец он сказал:

— Так, словно я чувствую внутри себя какой-то обман. Словно я постоянно, всегда ловко обманываю самого себя. Антипатия, которую я себе внушаю, подобна той, что испытываешь к человеку, выдающему себя перед всеми нами за кого-то другого, то ли потому, что это ему выгодно, то ли по какой-то другой, во всяком случае, не слишком благовидной причине. Но я не знаю, в чем этот обман. Я его чувствую, вот и все, ощущаю его в воздухе, как запах, но сказать больше я не в силах...

Жена невозмутимо ответила:

— Я понимаю тебя. В тебе будто бы сидят два человека: один, который обманывает, и другой, который обманут. Так я — с этим вторым, именно его я и люблю.

ФРАНЦ КАФКА

РАССКАЗЫ

Перевод с немецкого
С. АПТА

В литературных спорах наших дней часто встречается имя писателя Франца Кафки (1883—1924). Спорили о нем и на встрече писателей Европы в Ленинграде, состоявшейся в августе 1963 года. некоторые писатели буржуазного Запада, принявшие участие в этой встрече, называли Франца Кафку в числе своих «духовных отцов», в то время как писатели, придерживающиеся социалистических взглядов, говорили о необходимости исторически-конкретного анализа его творчества, тем самым отвергая — говоря словами К. Федина — знамя «декаданса этой разновидности» (см. журнал «Иностранная литература» № 11, 1963). Сегодня мы знакомим читателей с некоторыми произведениями Франца Кафки, характерными для его творчества. На стр. 195 читатель найдет статью Е. Книпович, анализирующую творчество Франца Кафки и показывающую, в чем смысл современных споров вокруг его имени.

В ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ

— то особого рода аппарат,— сказал офицер ученому-путешественнику, не без любования оглядывая конечно же отлично знакомый ему аппарат. Путешественник, казалось, только из вежливости принял приглашение коменданта присутствовать при исполнении приговора, вынесенного одному солдату за непослушание и оскорбление начальника.

Да и в исправительной колонии предстоявшая экзекуция такого уж большого интереса, по-видимому, не вызывала. Во всяком случае, здесь, в этой небольшой и глубокой песчаной долине, замкнутой со всех сторон голыми косогорами, кроме офицера и путешественника находились только двое: осужденный, туповатый, широкоротый малый с нечесаной головой и небритым лицом, и солдат, не выпускавший из рук тяжелой цепи, к которой сходились маленькие цепочки, тянувшиеся от лодыжек и шеи осужденного и скрепленные вдобавок соединительными цепочками. Между тем во всем облике осужденного была такая собачья покорность, что, казалось, его можно отпустить прогуляться по косогорам и нужно только свистнуть перед началом экзекуции, чтоб он явился.

Путешественник не проявлял к аппарату интереса и прохаживался позади осужденного явно безучастно, тогда как офицер, делая последние приготовления, то залезал под аппарат, в котлован, то поднимался по трапу, чтобы осмотреть верхние части машины. Работы эти можно было, собственно, поручить какому-нибудь механику, но офицер выполнял их с великим усердием — то ли он был особым приверженцем этого аппарата, то ли по каким-то другим причинам никому больше нельзя было доверить эту работу.

— Ну, вот и все! — воскликнул он наконец и слез с трапа. Он был чрезвычайно утомлен, дышал, широко открыв рот, а из-под воротника мундира у него торчали два дамских носовых платка, очень тонких.

— Эти мундиры, пожалуй, слишком тяжелы для тропиков,— сказал путешественник, вместо того чтобы, как ожидал офицер, справиться об аппарате.

— Конечно,— сказал офицер и стал мыть выпачканные смазочным маслом руки в заранее приготовленной бадейке с водой,— но это родина, мы не хотим терять родину. Но поглядите на этот аппарат,— прибавил он сразу же и, вытирая руки полотенцем, указал на аппарат.— До сих пор нужно было работать вручную, а сейчас аппарат будет действовать уже совершенно самостоятельно.

Путешественник кивнул головой и поглядел туда, куда указывал офицер. Тот пожелал застраховать себя от всяких случайностей и сказал:

— Бывают, конечно, неполадки; надеюсь, правда, что сегодня дело обойдется без них, но все-таки с ними нужно считаться. Ведь аппарат должен работать двенадцать часов без перерыва. Но если и случатся неполадки, то самые незначительные, и они будут немедленно устранены... Не хотите ли сесть? — спросил он наконец и, вытащив из груды плетеных кресел одно, предложил его путешественнику; тот не смог отказаться.

Теперь, сидя у края котлована, он мельком туда заглянул. Котлован был не очень глубок. С одной его стороны вырытая земля была свалена насыпью, с другой стороны стоял аппарат.

— Не знаю,— сказал офицер,— объяснил ли вам уже комендант устройство этого аппарата.

Путешественник неопределенно махнул рукой; офицеру больше ничего и не требовалось, ибо теперь он мог сам начать объяснения.

— Этот аппарат,— сказал он и потрогал шатун, на который затем оперся,— изобретение прежнего нашего коменданта. Я сотрудничал с ним, начиная с самых первых опытов, и участвовал во всех работах вплоть до их завершения. Но заслуга этого изобретения принадлежит ему одному. Вы слыхали о нашем прежнем коменданте? Нет? Ну, так я не преувеличу, если скажу, что структура всей этой исправительной колонии — его дело.

Мы, его друзья, знали уже в час его смерти, что структура этой колонии настолько целостна, что его преемник, будь у него в голове хоть тысяча новых планов, никак не сможет изменить старый порядок, по крайней мере в течение многих лет. И наше предсказание сбылось, новому коменданту пришлось это признать. Жаль, что вы не знали нашего прежнего коменданта!.. Однако,— прервал себя офицер,— я заболтался, а наш аппарат — вот он, стоит перед нами. Он состоит, как вы видите, из трех частей. Постепенно каждая из этих частей получила довольно-таки просторечное наименование. Нижнюю часть прозвали лежаком, верхнюю — разметчиком, а вот эту, среднюю, висячую,— бороной.

— Бороной? — спросил путешественник. Он не совсем внимательно слушал, слишком жарко палило солнце в этой лишенной тени долине, и сосредоточиться было трудно. Тем больше удивлял его офицер, который, хотя на нем был тесный, парадный, отягощенный эполетами и увешанный аксельбантами мундир, так ревностно давал объяснения и, кроме того, продолжая говорить, еще нет-нет да подтягивал ключом гайку то здесь, то там. В том же состоянии, что и путешественник, был, кажется, и солдат. Намотав цепь осужденного на запястья обеих рук, он оперся одной из них на винтовку и стоял, свесив голову, с самым безучастным видом. Путешественника это не удивляло, ибо офицер говорил по-французски, а

французской речи ни солдат, ни осужденный, конечно, не понимали. Но тем поразительней было, что осужденный все-таки старался следить за объяснениями офицера. С каким-то сонным упорством он все время направлял свой взгляд туда, куда в этот миг указывал офицер, а теперь, когда путешественник своим вопросом прервал офицера, осужденный, так же как офицер, поглядел на путешественника.

— Да, бороной,— сказал офицер,— это название вполне подходит. Зубья расположены как у бороны, да и вся эта штука работает, как борона, только на одном месте и гораздо замысловатее. Впрочем, сейчас вы это поймете. Вот сюда, на лежак, кладут осужденного... Я сначала опишу наш аппарат, а уж потом приступлю к самой процедуре. Так вам будет легче за ней следить. К тому же одна шестерня в разметчике сильно обточилась, она страшно скрежещет, когда вращается, и разговаривать тогда почти невозможно. К сожалению, запасные части очень трудно достать... Итак, это, как я сказал, лежак. Он сплошь покрыт слоем ваты, ее назначение вы скоро узнаете. На эту вату животом вниз кладут осужденного — разумеется, голого,— вот ремни, чтобы его привязать — для рук, для ног и для шеи. Вот здесь, в изголовье лежака, куда, как я сказал, приходится сначала лицо преступника, имеется небольшой войлочный шпенек, который можно легко отрегулировать так, чтобы он попал осужденному прямо в рот. Благодаря этому шпеньку осужденный не может ни кричать, ни прикусить себе язык. Преступник волей-неволей берет в рот этот войлок, ибо иначе шейный ремень переломит ему позвонки.

— Это вата? — спросил путешественник и наклонился вперед.

— Да, конечно,— сказал офицер, улыбаясь,— пощупайте сами.— Он взял руку путешественника и провел ею по лежаку.— Эта вата особым образом препарирована, поэтому ее так трудно узнать, об ее назначении я еще скажу.

Путешественник уже немного заинтересовался аппаратом; защитив глаза от солнца рукою, он смотрел на аппарат снизу вверх. Это было большое сооружение. Лежак и разметчик имели одинаковую площадь и походили на два темных ящика. Разметчик был укреплен метра на два выше лежака и соединялся с ним по углам четырьмя латунными штангами, которые прямо-таки лучились на солнце. Между ящиками, на стальном тросе, висела борона.

Прежнего равнодушия путешественника офицер почти не замечал, но зато на интерес, пробудившийся в нем теперь, живо откликнулся, он приостановил даже свои объяснения, чтобы путешественник, не торопясь и без помех, все рассмотрел. Осужденный подражал путешественнику; поскольку прикрыть глаза рукой он не мог, он моргал, глядя вверх незащищенными глазами.

— Итак, приговоренный лежит,— сказал путешественник и, развалясь в кресле, закинул ногу на ногу.

— Да,— сказал офицер и, сдвинув фуражку немного назад, провел ладонью по разгоряченному лицу,— а теперь послушайте! И в лежаке и в разметчике имеется по электрической батарее, лежаку она нужна для себя самого, а разметчику для обороны. Как только осужденного привязывают, лежак приводят в движение. Он слегка и очень быстро вибрирует, одновременно в горизонтальном и вертикальном направлениях. Вы, конечно, видели подобные аппараты в лечебных заведениях, только у нашего лежака все движения точно рассчитаны: они должны быть строго согласованы с движениями бороны. Ведь на борону-то, собственно, и возложено исполнение приговора.

— А каков приговор? — спросил путешественник.

— Вы и этого не знаете? — удивленно спросил офицер и стал покусывать себе губы.— Извините, если мои объяснения сбивчивы, очень про-

шу простить меня. Прежде объяснения обычно давал комендант, однако новый комендант избавил себя от этой почетной обязанности; но что такого высокого гостя,— путешественник попытался обеими руками отклонить эту почесть, но офицер настоял на своем выражении,— что такого высокого гостя он не знакомит даже с формой нашего приговора, это для меня новость, которую...— На языке у него вертелось проклятье, но он совладал с собой и сказал: — Меня об этом не предупредили, я не виноват. Впрочем, я лучше, чем кто-либо другой, смогу объяснить характер наших приговоров, ибо вот здесь,— он похлопал себя по нагрудному карману,— я ношу соответствующие чертежи, сделанные рукой прежнего коменданта.

— Рукой самого коменданта? — спросил путешественник.— Он что же, соединял в себе всё? Он был и солдат, и судья, и конструктор, и химик, и чертежник?

— Так точно,— кивая головой, сказал офицер. Затем он придирчиво поглядел на свои руки; они показались ему недостаточно чистыми, чтобы прикоснуться к чертежам, поэтому он подошел к бадейке и вымыл их снова. Затем он извлек кожаный бумажник и сказал: — Наш приговор не суров. Борона записывает на теле осужденного ту заповедь, которую он нарушил. Например, у этого,— офицер указал на осужденного,— на теле будет написано: «Чти своего начальника!»

Путешественник мельком взглянул на осужденного; когда офицер указал на него, тот опустил голову и, казалось, предельно напряг слух, чтобы хоть что-нибудь понять. Но движения его толстых сомкнутых губ со всей очевидностью показывали, что он ничего не понимал. Путешественник хотел о многом спросить, но при виде осужденного спросил только:

— Знает ли он приговор?

— Нет,— сказал офицер и приготовился продолжать объяснения, но путешественник прервал его:

— Он не знает приговора, который ему же и вынесли?

— Нет,— сказал офицер, потом на мгновенье запнулся, словно требуя от путешественника более подробного обоснования его вопроса, и затем сказал: — Было бы бесполезно объявлять ему приговор. Ведь он же узнает его собственным телом.

Путешественник хотел уже умолкнуть, как вдруг почувствовал, что осужденный направил взгляд на него; казалось, он спрашивал, одобряет ли путешественник описанную процедуру. Поэтому путешественник, который уже было откинулся в кресле, опять наклонился и снова спросил:

— Но что он вообще осужден, это хотя бы он знает?

— Нет, и этого он не знает,— сказал офицер и улыбнулся путешественнику, словно ожидая от него еще каких-нибудь странных открытий.

— Вот как,— сказал путешественник и провел рукою по лбу,— но в таком случае он и сейчас еще не знает, как отнеслись к его попытке защититься?

— Ему не пришлось защищаться,— сказал офицер и поглядел в сторону, как будто он говорил сам с собой и не хотел смущать путешественника изложением этих обстоятельств.

— Но ведь конечно же у него была возможность защищаться? — спросил путешественник и поднялся с кресла.

Офицер испугался, что ему придется надолго прервать объяснения; он подошел к путешественнику и взял его под руку; указав другой рукой на осужденного, который теперь, когда на него так явно обратили внимание — да и солдат натянул цепь,— вытянулся, офицер сказал:

— Дело обстоит так. Я исполняю здесь, в колонии, обязанности судьи. Несмотря на мою молодость. Ибо и прежнему коменданту я помо-

гал вершить правосудие и знаю этот аппарат лучше, чем кто бы то ни было. Вынося приговор, я придерживаюсь правила: «Виновность всегда несомненна». Другие суды не могут следовать этому правилу, ибо они коллегиальны и подчинены более высоким судебным инстанциям. Здесь не так, во всяком случае при прежнем коменданте было не так. Новый, правда, пытается вмешиваться в мои дела, но до сих пор мне удавалось отражать эти попытки и, надеюсь, удастся в дальнейшем... Вы хотели, чтобы я объяснил вам данный случай; что ж, он так же прост, как любой другой. Сегодня утром один капитан доложил, что этот человек, приставленный к нему денщиком и обязанный спать перед его дверью, проспал службу. А ему положено вставать через каждый час, с боем часов, и отдавать честь перед дверью капитана. Обязанность, конечно, нетрудная, но необходимая, ибо денщик, который охраняет и обслуживает офицера, должен быть всегда начеку. Вчера ночью капитан пожелал проверить, выполняет ли денщик эту свою обязанность. Ровно в два часа он отворил дверь и увидел, что тот, съежившись, спит. Капитан взял хлыст и полоснул его по лицу. Вместо того чтобы встать и попросить прощения, денщик схватил своего хозяина за ноги, стал трясти его и кричать: «Брось хлыст, а то убью»... Вот вам и суть дела. Час назад капитан пришел ко мне, я записал его показания и сразу же вынес приговор. Затем я велел заковать денщика в кандалы. Все это было очень просто. А если бы я сначала вызвал денщика и стал его допрашивать, получилась бы только путаница. Он стал бы лгать, а если бы мне удалось опровергнуть эту ложь, стал бы заменять ее новой и так далее. А сейчас он у меня в руках, и я его не выпущу... Ну, теперь все понятно? Время, однако, идет, пора бы уже начать экзекуцию, а я еще не объяснил вам устройство аппарата.

Он заставил путешественника снова сесть в кресло, подошел к аппарату и начал:

— Как видите, борона соответствует форме человеческого тела; вот борона для туловища, а вот бороны для ног. Для головы предназначен только этот небольшой резец. Вам ясно?

Он приветливо склонился перед путешественником, готовый к самым подробным объяснениям.

Путешественник, нахмурившись, глядел на борону. Сведения о здешнем судопроизводстве его не удовлетворили. Все же он твердил себе, что это как-никак исправительная колония, что здесь нужны особые меры и что от воинского устава никак нельзя отступать. Кроме того, он возлагал некоторые надежды на нового коменданта, который, при всей своей медлительности, явно намеревался ввести новое судопроизводство, непонятное этому узколобому офицеру. По ходу своих мыслей путешественник спросил:

— Будет ли комендант присутствовать при экзекуции?

— Это точно не известно,— сказал офицер, задетый этим внезапным вопросом, и приветливость исчезла с его лица.— Именно поэтому мы и должны поспешить. Мне очень жаль, но придется даже сократить объяснения. Однако завтра, когда аппарат очистят — большая загрязняемость, это единственный его недостаток,— я мог бы объяснить все остальное. Итак, сейчас я ограничусь самым необходимым... Когда осужденный ложится на лежак, а лежак приводится в колебательное движение, на тело осужденного опускается борона. Она автоматически настраивается так, что зубья ее едва касаются тела; как только настройка заканчивается, этот трос натягивается и становится несгибаем, как штанга. Тут-то и начинается. Никакого внешнего различия в наших экзекуциях непосвященный не усматривает. Кажется, что борона работает однотипно. Она, вибрируя, колет своими зубьями тело, которое, в свою очередь, вибрирует благодаря лежаку. Чтобы любой мог проверить ис-

полнение приговора, борону сделали из стекла. Крепление зубьев вызвало некоторые технические трудности, но после многих опытов зубья все же удалось укрепить. Трудов мы не жалели. И теперь каждому видно через стекло, как наносится надпись на тело. Не хотите ли подойти поближе и посмотреть зубья?

Путешественник медленно поднялся, подошел к аппарату и наклонился над бороной.

— Вы видите,— сказал офицер,— два типа разнообразно расположенных зубьев. Возле каждого длинного зубца имеется короткий. Длинный пишет, а короткий выпускает воду, чтобы смыть кровь и сохранить разборчивость надписи. Кровавая вода отводится затем по желобкам и стекает в главный желоб, а оттуда, по сточной трубе, в яму.

Офицер пальцем показал путь, каким идет вода. Когда он, для большей наглядности, подхватил у отвесного стока воображаемую струю обеими пригоршнями, путешественник поднял голову и, шаря рукой у себя за спиной, попятился было к креслу. Тут он, к ужасу своему, увидел, что и осужденный, подобно ему, последовал приглашению офицера осмотреть борону вблизи. Потащив за цепь заспанного солдата, он тоже склонился над стеклом. Видно было, что и он тоже неуверенно искал глазами предмет, который рассматривали сейчас эти господа, и что без объяснений он не мог этого предмета найти. Он наклонялся и туда, и сюда. Снова и снова пробегал он глазами по стеклу. Путешественник хотел отогнать его, ибо то, что он делал, вероятно, каралось. Но задержав путешественника одной рукой, офицер другой взял с насыпи ком земли и швырнул им в солдата. Солдат, встрепенувшись, поднял глаза, увидел, на что осмелился осужденный, бросил винтовку и, упершись каблуками в землю, так рванул осужденного назад, что тот сразу упал, а потом солдат стал глядеть сверху вниз, как он барахтается, гремя своими цепями.

— Поставь его на ноги! — крикнул офицер, заметив, что осужденный слишком уж сильно отвлекает путешественника.

Наклонившись над бороной, путешественник даже не глядел на нее, а только ждал, что произойдет с осужденным.

— Обращайся с ним бережно! — крикнул офицер снова. Обежав аппарат, он сам схватил осужденного под мышки и, хотя тот ерзал, поставил его с помощью солдата на обе ноги.

— Ну, теперь мне уже все известно,— сказал путешественник, когда офицер возвратился к нему.

— Кроме самого главного,— сказал тот и, сжав локоть путешественника, указал вверх:— Там, в разметчике, находится система шестерен, которая определяет движение бороны, а устанавливается эта система по чертежу, предусмотренному приговором суда. Я пользуюсь еще чертежами прежнего коменданта. Вот они,— он вынул из бумажника несколько листков,— к сожалению, я не могу дать вам их в руки, это самая большая моя ценность. Садитесь, я покажу вам их отсюда, и вам будет все хорошо видно.

Он показал первый листок. Путешественник был бы рад сказать что-нибудь в похвалу, но перед ним были только похожие на лабиринт, многократно пересекающиеся линии такой густоты, что на бумаге почти нельзя было различить пробелов.

— Читайте,— сказал офицер.

— Я не могу,— сказал путешественник.

— Но ведь написано разборчиво,— сказал офицер.

— Написано очень искусно,— уклончиво сказал путешественник,— но я не могу ничего разобрать.

— Да,— сказал офицер и, усмехнувшись, спрятал бумажник,— это не пропись для школьников. Нужно долго вчитываться. В конце концов разобрались бы и вы. Конечно, эти буквы не могут быть простыми;

ведь они должны убивать не сразу, а в среднем через двенадцать часов; переломный час по расчету — шестой. Поэтому надпись в собственном смысле слова должна быть украшена множеством узоров; надпись, как таковая, опоясывает тело лишь узкой полоской; остальное место предназначено для узоров. Теперь вы можете оценить работу бороны и всего аппарата?.. Смотрите же!

Он вскочил на трап, повертел какое-то колесо, крикнул вниз: «Внимание, отойдите в сторону!» — и все пришло в движение. Если бы одно из колес не лязгало, это было бы великолепно. Словно бы сконфуженный этим злосчастным колесом, офицер погрозил ему кулаком, затем, как бы извиняясь перед путешественником, развел руками и торопливо спустился, чтобы наблюдать за работой аппарата снизу. Была еще какая-то неполадка, заметная только ему, он снова поднялся, залез обеими руками внутрь разметчика, затем, быстроты ради не пользуясь трапом, съехал по штанге и во весь голос, чтобы быть услышанным среди этого шума, стал кричать на ухо путешественнику:

— Вам понятно действие машины? Борона начинает писать; как только она заканчивает первую наколку на спине, слой ваты, вращаясь, медленно перекатывает тело на бок, чтобы дать бороне новую площадь. Тем временем исписанные в кровь места ложатся на вату, которая, будучи особым образом препарирована, тотчас же останавливает кровь и подготавливает тело к новому углублению надписи. Вот эти зубцы у края бороны срывают при дальнейшем перекатывании тела прилипшую к ранам вату и выбрасывают ее в яму, а потом борона снова вступает в действие. Так, все глубже и глубже, пишет она в течение двенадцати часов. Первые шесть часов осужденный живет почти так же, как прежде, он только страдает от боли. По истечении двух часов войлок изо рта вынимают, ибо у преступника уже нет сил кричать. Вот сюда, в эту миску у изголовья — она согревается электричеством,— накладывают теплой рисовой каши, которой осужденный при желании может съесть столько, сколько ему удастся поймать языком. Никто не пренебрегает этой возможностью. На моей памяти такого случая не было, а опыт у меня большой. Лишь на шестом часу осужденный перестает радоваться еде. Тогда я обычно становлюсь вот здесь на колени и наблюдаю за этим явлением. Он редко проглатывает последний комок каши — он только немного повертит его во рту и выплюнет в яму. Приходится тогда наклоняться, иначе он угодит мне в лицо. Но как затихает преступник на шестом часу! Просветление мысли наступает и у самых тупых. Это начинается вокруг глаз. И отсюда распространяется. Это зрелище так соблазнительно, что ты готов сам лечь рядом под борону. Вообще-то ничего нового больше не происходит, просто осужденный начинает разбирать надпись, он навостряет уши, как бы прислушиваясь. Вы видели, разобрать надпись нелегко и глазами; а наш осужденный разбирает ее своими ранами. Конечно, это большая работа, и ему требуется шесть часов для ее завершения. А потом борона целиком протыкает его и выбрасывает в яму, где он плюхается в кровавую воду и вату. На этом суд оканчивается, и мы, я и солдат, зарываем тело.

Склонив ухо к офицеру и засунув руки в карманы пиджака, путешественник следил за работой машины. Осужденный тоже следил за ней, но ничего не понимал. Он стоял, немного нагнувшись, и глядел на колеблющиеся зубья, когда солдат, по знаку офицера, разрéзал ему сзади ножом рубаху и брюки, так что они упали на землю, осужденный хотел схватить падавшую одежду, чтобы прикрыть свою наготу; но солдат приподнял его и стряхнул с него последние лохмотья. Офицер настроил машину, и в наступившей тишине осужденного положили под борону. Цепи сняли, вместо них закрепили ремни; в первый миг это казалось чуть ли не облегчением для осужденного. Потом борона опус-

тилась немного ниже, ибо этот человек был худ. Когда зубья коснулись осужденного, по коже у него пошла дрожь; покуда солдат был занят правой его рукой, он вытянул левую, не глядя куда; но это было как раз то направление, где стоял путешественник. Офицер все время искоса глядел на путешественника, словно пытаясь определить по лицу иностранца, какое впечатление производит на того экзекуция, с которой он его теперь хоть поверхностно познакомил.

Ремень, предназначенный для запястья, порвался — вероятно, солдат слишком сильно его натянул. Прося офицера помочь, солдат показал ему оторвавшийся кусок ремня. Офицер подошел к солдату и сказал, повернувшись лицом к путешественнику:

— Машина очень сложная, всегда что-нибудь может порваться или сломаться, но это не должно сбивать с толку при общей оценке. Для ремня, кстати сказать, замена найдется сразу — я воспользуюсь цепью; правда, вибрация правой руки будет уже не такой нежной.

И, закрепляя цепь, он добавил:

— Средства на содержание машины отпускаются теперь очень ограниченные. При прежнем коменданте я мог свободно распоряжаться суммой, выделенной только для этой цели. Здесь был склад, где имелись всевозможные запасные части. Признаться, я их прямо-таки транжирил — транжирил, конечно, прежде, а вовсе не теперь, как то утверждает новый комендант, который только и ищет повода отменить старые порядки. Теперь деньгами, отпущенными на содержание машины, распоряжается он, и, если я посылаю за новым ремнем, я должен представить в доказательство порванный, причем новый поступит только через десять дней и непременно низкого качества, никуда не годный. А каково мне тем временем без ремня управляться с машиной, это никого не трогает.

Путешественник думал: решительное вмешательство в чужие дела всегда рискованно. Он не был ни жителем этой колонии, ни жителем страны, которой она принадлежала. Вздумай он осудить, а тем более сорвать эту экзекуцию, ему сказали бы: ты иностранец, вот и помалкивай. На это он ничего не смог бы возразить, напротив, он смог бы только прибавить, что удивляется в данном случае себе самому, ибо путешествует он лишь с познавательной целью, а вовсе не для того, чтобы менять судоустройство в чужих странах. Но очень уж соблазнительна была здешняя обстановка. Несправедливость судопроизводства и бесчеловечность наказания не подлежали сомнению. Никто не мог заподозрить путешественника в своекорыстии, ибо осужденный не был ни его знакомым, ни соотечественником, да и вообще не располагал к сочувствию. У путешественника же имелись рекомендации высоких учреждений, он был принят здесь чрезвычайно учтиво, и то, что его пригласили на эту экзекуцию, казалось даже, означало, что от него ждут отзыва о здешнем правосудии. Это было тем вероятнее, что нынешний комендант, как он, путешественник, теперь вполне удостоверился, не был сторонником такого судопроизводства и относился к офицеру почти враждебно.

Тут путешественник услыхал крик взбешенного офицера. Тот наконец с трудом впихнул войлок в рот осужденного, как вдруг осужденный, не в силах побороть тошноты, закрыл глаза и затрясся в рвоте. Офицер поспешно рванул его со шпенька вверх, чтобы повернуть его голову к яме, но было уже поздно, нечистоты уже потекли по машине.

— Во всем виноват комендант! — кричал офицер, в неистовстве тряся штанги.— Машину загаживают, как свинарник.

Дрожащими руками он показал путешественнику, что произошло.

— Ведь я же часами втолковывал коменданту, что за день до экзекуции нужно прекращать выдачу пищи. Но сторонники нового, мягкого курса иного мнения. Перед уводом осужденного комендантские дамы

пичкают его сладостями. Всю свою жизнь он питался тухлой рыбой, а теперь должен есть сладости. Впрочем, это еще куда ни шло, с этим я примирился бы, но неужели нельзя приобрести новый войлок, о чем я уже три месяца прошу коменданта. Можно ли без отвращения взять в рот этот войлок, обсосанный и искусанный перед смертью доброй сотней людей?

Осужденный положил голову, и вид у него был самый мирный, солдат чистил машину рубахой осужденного. Офицер подошел к путешественнику, который, о чем-то догадываясь, на шаг отступил, но офицер взял его за руку и потянул в сторону.

— Я хочу сказать вам несколько слов по секрету,— сказал он,— вы разрешите?

— Разумеется,— ответил путешественник и стал слушать с опущенными глазами.

— Это правосудие и эта экзекуция, которыми вы сейчас любуетесь, в настоящее время уже не имеют в нашей колонии открытых приверженцев. Я единственный их защитник и одновременно единственный защитник наследия старого коменданта. О дальнейшей разработке этого судопроизводства я теперь и думать не думаю, все мои силы уходят на сохранение того, что уже есть. При старом коменданте колония была полна его сторонников; сила убеждения, которой обладал старый комендант, отчасти у меня есть, однако его властью я не располагаю ни в какой мере; поэтому его сторонники притаились, их еще много, но все молчат. Если вы сегодня, в день казни, зайдете в кофейню и прислушаетесь к разговорам, вы услышите, наверно, только двусмысленные высказывания. Это все сплошь сторонники старого, но при нынешнем коменданте и при нынешних его взглядах от них нет никакого толку. И вот я вас спрашиваю: неужели из-за этого коменданта и его женщин такое вот дело всей жизни,— он указал на машину,— должно погибнуть? Можно ли это допустить? Даже если вы иностранец и приехали на наш остров лишь на несколько дней? А времени терять нельзя, против моей судебной власти что-то предпринимается; в комендатуре ведутся уже совещания, на которые меня не приглашают; даже сегодняшний ваш визит представляется мне показательным для общей обстановки; сами боятся и посылают сначала вас, иностранца... Как, бывало, проходила экзекуция в прежние времена! Уже за день до казни вся долина была запружена людьми; все приходили ради такого зрелища, рано утром появлялся комендант со своими дамами, фанфары будили лагерь, я отдавал рапорт, что все готово, собравшиеся — никто из высших чиновников не имел права отсутствовать — располагались вокруг машины, эта кучка плетеных кресел — жалкий остаток от той поры. Начищенная машина сверкала, почти для каждой экзекуции я брал новые запасные части. На виду у сотен людей — зрители стояли на цыпочках вон до тех высоток — комендант собственноручно укладывал осужденного под борону. То, что сегодня делает простой солдат, было тогда моей, председателя суда, почетной обязанностью. И вот экзекуция начиналась! Никаких перебоев в работе машины никогда не бывало. Некоторые и вовсе не глядели на машину, а лежали с закрытыми глазами на песке; все знали: сейчас торжествует справедливость. В тишине слышны были только стоны осужденного, приглушенные войлоком. Нынче машине уже не удается выдавить из осужденного стон такой силы, чтобы его не смог заглушить войлок, а тогда пишущие зубья выпускали едкую жидкость, которую теперь не разрешается применять. Ну, а потом наступал шестой час! Невозможно было удовлетворить просьбы всех, кто хотел поглядеть с близкого расстояния. Комендант благоразумно распорядился пропускать детей в первую очередь; я, по своему положению, конечно, всегда имел доступ к самой машине; я часто сидел вон там на корточках, держа

на каждой руке по ребенку. Как ловили мы выражение просветленности на измученном лице, как подставляли мы лица сиянию этой наконец-то достигнутой и уже исчезающей справедливости! Какие это были времена, дружище!

Офицер явно забыл, кто перед ним стоит; он обнял путешественника и положил голову ему на плечо. Путешественник был в большом замешательстве, он нетерпеливо глядел мимо офицера. Солдат кончил чистить машину и вытряхнул из жестянки в миску еще немного рисовой каши. Как только осужденный, который, казалось, уже вполне оправился, это заметил, он стал тянуться языком к каше. Солдат то и дело его отталкивал, ибо каша предназначалась, видимо, для более позднего времени, но, конечно, нарушением порядка было и то, что солдат запускал в кашу свои грязные руки и ел ее на глазах у голодного осужденного.

Офицер быстро овладел собой.

— Я вовсе не хотел вас растрогать,— сказал он,— я знаю, это невозможно — сделать сегодня понятными те времена. Вообще-то машина работает и говорит сама за себя. Она говорит сама за себя, даже если стоит одна в этой долине. И под конец тело все еще летит в яму по какой-то непостижимо плавной кривой, хотя у ямы, в отличие от тех времен, не кружатся, как мухи, сотни людей. Тогда нам приходилось ограждать яму крепкими перилами, теперь они давно сорваны.

Путешественник, чтобы спрятать от офицера лицо, бесцельно озирался по сторонам. Офицер решил, что тот смотрит, как пусто в долине; поэтому он схватил его за руки и, вертясь около него, чтобы поймать его взгляд, спросил:

— Вы видите этот позор?

Но путешественник промолчал. Офицер вдруг оставил его в покое; растопырив ноги, упершись руками в бока, он несколько мгновений неподвижно глядел в землю. Затем он ободряюще улыбнулся путешественнику и сказал:

— Вчера, когда комендант вас приглашал, я находился неподалеку от вас. Я слышал это приглашение. Я знаю коменданта. Я сразу понял, зачем он вас приглашает. Хотя он достаточно могуществен, чтобы выступить против меня, на это он еще не отваживается, но заручиться вашим отзывом обо мне, отзывом уважаемого иностранца, ему хочется. Его расчет точен: вы находитесь на нашем острове второй день, вы не знали старого коменданта и его образа мыслей, вы закоснели в европейских взглядах, может быть, вы принципиальный противник смертной казни вообще и такого механизированного исполнения приговора в частности, вы видите, наконец, что казнь совершается без публики, убого, на машине уже немного изношенной, разве все это вместе взятое (так думает комендант) не позволяет надеяться, что вы не одобрите моих действий? А если вы их не одобрите, то вы (я все еще рассуждаю как комендант) не станете об этом молчать, ибо вы конечно же доверяете своему большому опыту. Правда, вы знаете своеобразные нравы разных народов и судите как ученый, поэтому вы, наверно, выскажетесь против подобных действий не так решительно, как, может быть, высказались бы у себя на родине. Но коменданту этого и не нужно. Достаточно одного просто неосторожного, сказанного невзначай слова. Оно вовсе не должно соответствовать вашим убеждениям, если только оно внешне отвечает его желанию. Что он самым хитрым образом начнет вас расспрашивать, в этом я уверен. А его дамы сядут кружком и навострят ушки; вы скажете, например: «У нас судопроизводство другое», или: «У нас есть и другие наказания, кроме смертной казни», или: «У нас пытки существовали только в средневековье». Все это замечания правильные, и вам они кажутся естественными — невинные замечания, не затрагивающие моих действий. Но как воспримет их комендант?

Я уже вижу, как наш комендант резко отодвинет стул и поспешит на балкон, я уже вижу, как его дамы устремятся за ним, я уже слышу его голос — дамы называют этот голос громовым — и слышу, как он говорит: «Великий ученый Запада, уполномоченный пересмотреть судоустройство во всех странах, только что заявил, что наш старозаветный порядок бесчеловечен. После подобного заключения такого лица я, конечно, не могу мириться с этим порядком. Итак, я приказываю отныне...» И так далее. Вы хотите вмешаться, вы не говорили того, что он вам приписывает, вы не называли моего метода бесчеловечным, напротив, по вашему глубокому убеждению, это самый человечный и наиболее достойный человека метод, вы восхищены и этой техникой, но уже поздно— вы не можете даже выйти на балкон, где уже полно дам, вы хотите обратить на себя внимание, вы хотите кричать, но дамская ручка закрывает вам рот, а я и заветы старого коменданта погибли.

Путешественник подавил улыбку: вот до чего легка была, оказывается, задача, которую он считал такой трудной. Он ответил уклончиво:

— Вы переоцениваете мое влияние; комендант читал мое рекомендательное письмо, ему известно, что я не знаток судоустройства. Если бы я высказал свое мнение, это было бы мнение частного лица, ничуть не более важное, чем мнение любого другого, и уж во всяком случае куда менее важное, чем мнение коменданта, обладающего, как мне представляется, очень широкими правами в этой колонии. Если его мнение об этой системе действительно так определенно, как вам кажется, тогда, я боюсь, этой системе пришел конец и без моего скромного содействия.

Понял ли это офицер? Нет, он еще не понял. Он помотал головой, быстро оглянулся на осужденного и солдата, которые, вздрогнув, отстранились от риса, подошел к путешественнику вплотную и, глядя ему не в лицо, а куда-то на пиджак, сказал тише, чем раньше:

— Вы не знаете коменданта, вы относитесь к нему и ко всем нам— простите меня — до некоторой степени простодушно; ваше влияние, поверьте мне, трудно переоценить. Да ведь я же был счастлив, когда узнал, что вы будете присутствовать на экзекуции один. По замыслу коменданта, это распоряжение должно было нанести мне удар, а я обращаю его себе на пользу. Вы выслушали мои объяснения, не будучи отвлекаемы ни лживыми нашептываниями, ни презрительными взглядами, которых при большом скоплении публики вряд ли удалось бы избежать, вы видели машину и собираетесь посмотреть казнь. Ваше мнение, конечно, уже сложилось; если у вас и есть еще какие-то сомнения, то зрелище казни их устранит. И вот я обращаюсь к вам с просьбой: помогите мне одолеть коменданта!

Путешественник не дал ему продолжать.

— Как я могу! — воскликнул он.— Это же невозможно. Я так же не могу быть вам полезен, как не могу повредить вам.

— Можете,— сказал офицер. Путешественник не без испуга увидел, что офицер сжал кулаки.— Можете,— еще настойчивей повторил офицер.— У меня есть план, который не подведет. Вы думаете, что вашего влияния недостаточно. Я знаю, что его достаточно. Но даже если согласиться, что вы правы, разве не следует для сохранения этого порядка испробовать любые, пусть и недостаточно действенные средства? Выслушайте же мой план... Для его успеха нужно прежде всего, чтобы сегодня вы как можно сдержаннее выражали в колонии свое мнение о нашем судопроизводстве. Если вас прямо не спросят, не высказывайтесь ни в коем случае; высказываться же вы должны коротко и неопределенно — пусть видят, что вам тяжело говорить об этом, что вы огорчены, что если бы вы стали говорить откровенно, то разразились бы прямо-таки проклятьями. Я не требую, чтобы вы лгали, ни в коем случае, вы должны

только коротко отвечать: «Да, я видел исполнение приговора», или «Да, я выслушал все объяснения». Только это, ничего больше. Ведь для огорчения, которое должно звучать в ваших словах, у вас достаточно поводов, хотя и иного свойства, чем у коменданта. Он, конечно, поймет это совершенно превратно и истолкует по-своему. На этом и основан мой план. Завтра в комендатуре, под председательством коменданта, состоится большое совещание всех высших чиновников управления. Комендант, конечно, ухитряется превращать такие совещания в спектакль. Построили даже галерею, которая всегда заполнена зрителями. Я вынужден участвовать в этих совещаниях, хотя меня там просто тошнит. Вас-то, конечно, пригласят на это совещание; а если сегодня вы будете вести себя согласно моему плану, то это приглашение обратится даже в настойчивую просьбу. Но если вас по какой-либо непонятной причине не пригласят, вам придется потребовать приглашения; в том, что тогда вы его получите, можете не сомневаться. И значит, завтра вы будете сидеть с дамами в комендантской ложе. Комендант будет время от времени поглядывать вверх, чтобы удостовериться в вашем присутствии. После множества несущественных, смешных, рассчитанных только на слушателей вопросов — обычно это строительные работы в порту, снова и снова строительные работы! — зайдет речь и о нашем судоустройстве. Если комендант сам не начнет этого разговора или начнет его недостаточно скоро, я позабочусь, чтобы он начался. Я встану и сделаю сообщение о сегодняшней казни. Очень коротко, только это сообщение. Такие сообщения там, правда, не принято делать, но я его все-таки сделаю. Комендант поблагодарит меня, как всегда, с любезной улыбкой, и тут уж он не преминет воспользоваться удобным случаем. «Только что,— он начнет таким или подобным образом,— мы выслушали сообщение о состоявшейся казни. Я лично хотел бы прибавить, что при этой казни как раз присутствовал великий ученый, который, вы все это знаете, оказал огромную честь нашей колонии своим посещением. Сегодняшнее наше заседание также приобретает особую значительность ввиду его присутствия. Так вот, не спросить ли нам этого великого ученого, какого он мнения о казни, совершенной по старому обычаю, и о судебном разбирательстве, ей предшествовавшем?» Все, конечно, одобрительно аплодируют, я громче всех. Комендант отвешивает вам поклон и говорит: «В таком случае я от имени всех присутствующих задаю этот вопрос». И тут вы подойдете к барьеру. Положите руки так, чтобы они были всем видны, иначе дамы их схватят и станут играть вашими пальцами... И вот наконец ваше слово. Не знаю, как я вынесу напряжение оставшихся до этого мига часов. Не ограничивайте себя в своей речи ничем, говорите правду во весь голос, наклонитесь над барьером и прокричите, да, да, прокричите свое мнение, свое твердое мнение коменданту в лицо. Но, может быть, вы этого не хотите, это не в вашем характере, у вас на родине, может быть, ведут себя при таких обстоятельствах иначе. Это тоже правильно, этого тоже совершенно достаточно — не вставайте вообще, скажите только несколько слов, произнесите их так, чтобы их слышали разве что сидящие под вами чиновники, этого достаточно, вы вовсе не должны говорить об отсутствии зрителей, о лязгающем колесе, о порванном ремне и о вызывающем рвоту войлоке, о, нет, все остальное я беру на себя, и, поверьте, если моя речь не выгонит его из зала, она поставит его на колени и заставит признать: старый комендант, я перед тобой преклоняюсь... Вот мой план, хотите ли вы помочь мне его осуществить? Ну конечно хотите, более того, вы обязаны это сделать.

Офицер взял путешественника за обе руки и, тяжело дыша, заглянул ему в лицо. Последние слова он прокричал так, что даже солдат и осужденный насторожились; хотя они ничего не понимали, они перестали хватать еду и, продолжая жевать, поглядели на путешественника.

Ответ, который он должен был дать, был для путешественника с самого начала совершенно ясен: слишком многое повидал он на своем веку, чтобы заколебаться сейчас, он был по существу человеком честным и не трусил. Все же теперь, при виде солдата и осужденного, он одно мгновение помедлил. Но в конце концов он сказал то, что должен был сказать:

— Нет.

Офицер заморгал глазами, не переставая, однако, глядеть на него.

— Вам требуется объяснение? — спросил путешественник.

Офицер молча кивнул головой.

— Я противник этого судебного порядка,— сказал путешественник.— Еще до того, как вы оказали мне доверие — а доверием вашим я, конечно, ни в коем случае не стану злоупотреблять,— я уже думал, вправе ли я выступить против этого порядка и имеет ли мое вмешательство хоть какие-либо виды на успех. К кому я должен был бы обратиться прежде всего, было мне ясно — к коменданту, конечно. Вы сделали это еще более ясным, однако укрепили меня в моем решении вовсе не вы, напротив, честная ваша убежденность очень меня трогает, хотя она и не может сбить меня с толку.

Офицер промолчал, повернулся к машине, потрогал одну из латунных штанг и, запрокинувшись, поглядел вверх, на разметчик, словно проверяя, все ли в порядке. Солдат и осужденный, казалось, тем временем подружились: осужденный, хотя из-за ремней это удавалось ему с трудом, делал солдату знаки, солдат наклонялся к нему; осужденный что-то шептал солдату, и солдат кивал головой.

Путешественник пошел за офицером и сказал:

— Вы еще не знаете, как я собираюсь поступить. Я выскажу коменданту свое мнение о здешнем судопроизводстве, но выскажу его не на совещании, а с глазу на глаз; да я и не намерен оставаться здесь так долго, чтобы участвовать в каких-либо заседаниях; завтра утром я уже уеду или по крайней мере сяду на судно.

Офицер, казалось, пропустил все это мимо ушей.

— Значит, наше судопроизводство вам не понравилось,— сказал он скорее для себя и усмехнулся, как усмехается старик над блажью ребенка, пряча за усмешкой свои раздумья.— Тогда пора,— сказал он наконец и вдруг взглянул на путешественника светлыми глазами, выражавшими какое-то побуждение, какой-то призыв к участию.

— Что пора? — тревожно спросил путешественник, но не получил ответа.

— Ты свободен,— сказал офицер осужденному на его языке. Тот сперва не поверил.— Ну, свободен же,— сказал офицер.

В первый раз лицо осужденного по-настоящему оживилось. Правда ли это? Не мимолетный ли это каприз офицера? Или, может быть, чужеземец выхлопотал ему помилование? Что происходит? Все эти вопросы были, казалось, написаны на его лице. Но не долго. В чем бы тут ни было дело, он хотел, если уж на то пошло, быть и вправду свободным, и он стал дергаться, насколько позволяла борона.

— Ты порвешь ремни,— крикнул офицер.— Лежи смирно! Мы отстегнем их.

И, дав знак солдату, он принялся вместе с ним за работу. Осужденный тихо смеялся, он поворачивал лицо то влево — к офицеру, то вправо — к солдату, но и путешественника он тоже не забывал.

— Вытащи его,— приказал офицер солдату. Ввиду близости бороны нужно было соблюдать осторожность. От нетерпенья осужденный уже получил несколько небольших рваных ран на спине. Но теперь он перестал занимать офицера. Тот подошел к путешественнику, снова извлек кожаный свой бумажник, порылся в нем и, найдя наконец листок, который искал, показал его путешественнику.— Читайте,— сказал он.

— Не могу,— сказал путешественник,— я же сказал, что не могу этого прочесть.

— Вглядитесь получше,— сказал офицер и стал рядом с путешественником, чтобы читать вместе с ним. Когда и это не помогло, он на большой высоте, словно до листка ни в коем случае нельзя было дотрагиваться, провел над бумагой мизинцем, чтобы таким способом облегчить путешественнику чтение. Путешественник тоже старался вовсю, чтобы хоть в этом угодить офицеру, но у него ничего не получалось. Тогда офицер стал разбирать надпись по буквам, а потом прочел ее уже связно.

— «Будь справедлив!» — написано здесь,— сказал офицер.

— Может быть,— сказал путешественник,— верю, что именно это и написано.

— Ну ладно,— сказал офицер, по крайней мере отчасти удовлетворенный, и поднялся по трапу с листком в руке; с великой осторожностью уложив листок в разметчик, он стал, казалось, целиком перестраивать зубчатую передачу; это была очень трудоемкая работа, среди шестеренок были, наверно, и совсем маленькие, порой голова офицера вовсе скрывалась в разметчике, так внимательно осматривал он систему колес.

Путешественник неотрывно следил снизу за этой работой, у него затекла шея и болели от солнца, заливавшего небо, глаза. Солдат и осужденный были заняты только друг другом. Рубаху и штаны осужденного, уже лежавшие в яме, солдат достал оттуда концом штыка. Рубаха была ужасно грязная, и осужденный выстирал ее в бадейке с водой. Когда он надел штаны и рубаху, оба, и солдат и осужденный, громко рассмеялись, ибо одежда была сзади разрезана вдоль. Считая, возможно, своим долгом позабавить солдата, осужденный принялся кружиться перед ним в разрезанном платье, а тот, присев на землю, со смехом хлопал себя по коленям. Однако ввиду присутствия господ они еще сдержали и свои чувства и себя.

Управившись наконец со своей работой, офицер еще раз с улыбкой оглядел каждую мелочь, захлопнул капот открытого дотоле разметчика, спустился, поглядел в яму, а затем на осужденного, удовлетворенно отметил, что тот забрал оттуда свою одежду, затем подошел к бадейке, чтобы помыть руки, с опозданием увидел противную грязь, огорчился, что ему не придется, значит, вымыть руки, погрузил их наконец — эта замена явно не устраивала его, но делать было нечего — в песок, затем встал и начал расстегивать свой мундир. При этом ему прежде всего попались два дамских платочка, которые он раньше засунул за воротник.

— Вот тебе твои платки, — сказал он, бросая их осужденному. А путешественнику, объясняя, сказал: — Подарки дам.

Несмотря на явную торопливость, с которой он снял мундир, а затем донага разделся, он обращался с каждым предметом одежды очень бережно; серебряные аксельбанты на мундире он даже особо погладил пальцами, а одну из кистей поправил, встряхнув. Никак, правда, не вязалось с этой бережностью то, что, сняв с себя ту или иную часть обмундирования, он сразу же раздраженно швырял ее в яму. Последним оставшимся у него предметом был кортик на портупее. Он вытащил кортик из ножен, переломил его, затем сложил все вместе — куски кортика, ножны и портупею — и швырнул это с такой силой, что в яме звякнуло.

Теперь он стоял нагишом. Путешественник кусал себе губы и ничего не говорил. Хоть он и знал, что произойдет, он не имел права в чем-либо мешать офицеру. Если судебный порядок, которым дорожил офицер, был действительно так близок к концу — возможно, из-за вмешательства путешественника, считавшего это вмешательство своим долгом,— офицер поступал сейчас совершенно правильно, на его месте путешественник поступил бы точно так же.

Солдат и осужденный ничего не понимали, сперва они даже не глядели на офицера. Осужденный был очень рад, что ему возвратили его платки, но долго радоваться ему не пришлось, ибо солдат выхватил их у него резким, внезапным рывком. Тогда осужденный стал пытаться выхватить платки у солдата из-за пояса, куда тот их заткнул, но солдат был начеку. Так они полушутливо и спорили. Только когда офицер разделся совсем, они насторожились. Казалось, осужденного особенно потрясло предчувствие какого-то великого поворота. То, что произошло с ним, происходило теперь с офицером. Очевидно, так приказал этот чужеземец. Это была, следовательно, месть. Не выстрадав до конца, он будет до конца отомщен. Широкая, беззвучная усмешка появилась теперь на его лице и больше уже не сходила с него.

А офицер между тем повернулся к машине. Если и раньше было ясно, что он отлично в ней разбирается, то теперь можно было просто диву даваться, как он управляет машиной и как она его слушается. Стоило ему только поднести руку к бороне, как та несколько раз поднялась и опустилась, пока не приняла того положения, которое требовалось, чтобы он поместился; он только дотронулся до края лежака, и лежак уже начал вибрировать; войлочный шпенек оказался как раз против рта, видно было, что вообще-то офицеру хочется обойтись без него, но после минутного колебания он превозмог себя и взял его в рот. Все было готово, только ремни висели еще по бокам, но в них явно не было нужды — офицера не требовалось привязывать. Однако осужденный заметил висящие ремни и, полагая, что при незакрепленных ремнях экзекуция будет несовершенна, ретиво кивнул солдату, и они побежали к машине привязать офицера. Тот уже вытянул одну ногу, чтобы толкнуть рубильник, включавший разметчик; увидев подбежавших, офицер перестал вытягивать ногу и дал привязать себя. Однако теперь он уже не мог достать до рубильника; ни солдат, ни осужденный рубильника не нашли бы, а путешественник не собирался и пальцем шевельнуть. Этого и не понадобилось; как только ремни застегнули, машина сразу же заработала: лежак вибрировал, зубцы ходили по коже, борона поднималась и опускалась. Путешественник успел уже наглядеться на это, прежде чем вспомнил, что одна шестерня в разметчике должна лязгать. Но все было тихо, никаких шумов не было слышно.

Благодаря такой тихой работе машина совершенно перестала привлекать к себе внимание. Путешественник перевел взгляд на солдата и осужденного. Осужденный был более оживлен — все в машине его занимало, он то наклонялся, то становился на цыпочки, все время показывая что-то солдату указательным пальцем. Путешественнику это было неприятно. Он собирался остаться здесь до конца, но глядеть на солдата и осужденного стало невыносимо.

— Ступайте домой, — сказал он им.

Солдат, вероятно, так и поступил бы, но осужденный воспринял этот приказ чуть ли не как наказание. Он сложил руки, умоляя оставить его здесь, а когда путешественник отрицательно покачал головой, даже упал на колени. Путешественник понял, что никакие приказы тут не помогут, и направился было к солдату и осужденному, чтобы просто прогнать их. Тут он услышал наверху, в разметчике, какой-то шум. Он посмотрел вверх. Значит, все-таки одну шестерню заедает? Но это было что-то другое. Капот разметчика медленно поднялся и распахнулся. Показались, поднявшись, зубцы одной шестерни, а вскоре появилась и вся шестерня, как будто какая-то огромная сила сжимала разметчик и этой шестерне не хватало места; шестерня докатилась до края разметчика, упала, покатилась стоймя по песку и легла в песок. Но наверху уже поднималась еще одна, а за ней другие — большие, маленькие, едва различимые, и со всеми происходило то же самое, и каждый раз каза-

лось, что теперь-то уж разметчик должен быть пуст, но тут появлялась новая, еще более многочисленная вереница, поднималась, падала, катилась по песку и ложилась в песок. Из-за этого зрелища осужденный совсем забыл о приказе путешественника, шестерни приводили его в восторг, он хотел схватить каждую и просил солдата помочь ему, но всякий раз испуганно отдергивал руку, ибо вдогонку спешило уже другое колесо, которое его — по крайней мере когда катилось — пугало.

Путешественник, напротив, очень встревожился; машина явно разваливалась, ровный ее ход был обманчив, у него возникло такое чувство, что теперь он должен помочь офицеру, так как тот не может уже о себе позаботиться. Но сосредоточив все свое внимание на выпадении шестеренок, путешественник упустил из виду остальные части машины, когда же он теперь, после того как из разметчика выпала последняя шестерня, склонился над бороной, его ждал новый, еще более неприятный сюрприз. Борона перестала писать, она только колола, и лежак, вибрируя, не поворачивал тело, а только насаживал его на зубья. Путешественник хотел вмешаться, может быть даже остановить машину, это же была не пытка, какой добивался офицер, это было просто убийство. Он протянул руки к машине. Но тут борона с насаженным на нее телом подалась в сторону, как это она обычно делала только на двенадцатом часу. Кровь текла ручьями, не смешиваясь с водой, трубочки для воды тоже на этот раз не сработали. Но вот не сработало и последнее — тело не отделялось от длинных игл, а, истекая кровью, продолжало висеть над ямой. Борона чуть было не вернулась уже в прежнее свое положение, но, словно заметив, что она еще не освободилась от груза, осталась над ямой.

— Помогите же! — крикнул путешественник солдату и осужденному, схватив офицера за ноги. Он хотел с этой стороны налечь на ноги, чтобы те двое с другой стороны налегли на голову и все вместе медленно сняли офицера с зубцов. Но те двое никак не решались приблизиться; осужденный и вовсе отвернулся; путешественнику пришлось подойти к ним и силой подвести их к изголовью лежака. Тут он почти против своей воли увидел лицо мертвеца. Оно было такое же, как при жизни, на нем не было никаких признаков обещанного избавления: того, что обретали в этой машине другие, офицер не обрел; губы были плотно сжаты, глаза были открыты и сохраняли живое выражение, взгляд был спокойный и уверенный, в лоб вошло острие большого железного резца.

■

Когда путешественник, с солдатом и осужденным позади, подошел к первым домам колонии, солдат показал на один из них и сказал:

— Вот кофейня.

В нижнем этаже этого дома было глубокое, низкое, пещероподобное помещение с закоптелыми стенами и потолком. Со стороны улицы оно было широко открыто. Хотя кофейня мало отличалась от остальных домов колонии, которые все, кроме роскошных зданий комендатуры, сильно обветшали, она произвела на путешественника впечатление исторической достопримечательности, и он почувствовал власть прежних времен. Он подошел к этому дому, прошел впереди своих провожатых между незанятыми столиками, стоявшими перед кофейней на улице, подышал затхлым прохладным воздухом, который шел изнутри.

— Старик похоронен здесь, — сказал солдат, — священник отказал ему в месте на кладбище. Некоторое время вообще не знали, где его хоронить, но в конце концов похоронили здесь. Об этом вам офицер наверняка не рассказывал, ведь этого он, конечно, стыдился больше всего. Он даже несколько раз пытался выкопать старика ночью, но его каждый раз прогоняли.

— Где эта могила? — спросил путешественник, не поверив солдату.

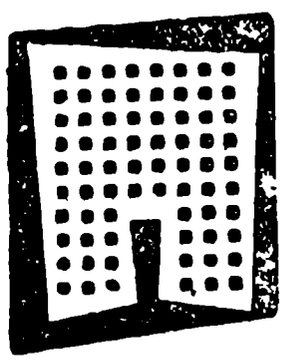
Солдат и осужденный сразу же опередили его и показали вытянутыми руками туда, где, как им было известно, находилась могила. Они провели путешественника к задней стене, где за несколькими столиками сидели посетители. Это были, по всей видимости, портовые рабочие, дюжие люди с короткими, блестяще-черными окладистыми бородами. Все были без пиджаков, в драных рубахах, это был бедный, униженный люд. Когда путешественник приблизился, некоторые поднялись, прижались к стенке и стали глядеть на него.

— Это иностранец,— слышался шепот вокруг,— он хочет посмотреть могилу.

Они отодвинули один из столиков, под которым действительно находился надгробный камень. Это был простой камень, достаточно низкий, чтобы столик мог его спрятать. На нем, очень мелкими буквами, была сделана надпись, путешественнику пришлось стать на колени, чтобы ее прочесть. Надпись гласила: «Здесь покоится старый комендант. Его сторонники, которые сейчас не могут назвать своих имен, выкопали ему эту могилу и поставили этот камень. Существует предсказание, что через определенное число лет комендант воскреснет и поведет своих сторонников отвоевывать колонию из этого дома. Верьте и ждите!» Когда путешественник прочел это и поднялся, он увидел, что вокруг него стоят люди и усмехаются так, словно они прочли надпись вместе с ним и, найдя ее смешной, призывают его присоединиться к их мнению. Путешественник сделал вид, что не заметил этого, роздал им несколько монет и, подождав, пока могилу прикроют столом, покинул кофейню и направился к порту.

Солдат и осужденный встретили в кофейне знакомых, которые их задержали. Но, видимо, они быстро отделались от них, ибо не успел путешественник дойти до середины длинной лестницы, что вела к лодкам, как они уже бежали за ним вдогонку. Они, вероятно, хотели заставить путешественника взять их в последнее мгновенье с собой. Пока путешественник договаривался внизу с лодочником о доставке на судно, эти двое опрометью бежали по лестнице, молча, ибо кричать они не осмеливались. Но когда они добежали донизу, путешественник был уже в лодке, и лодочник как раз отчалил. Они успели бы еще прыгнуть в лодку, но путешественник поднял с днища тяжелый, узловатый канат и, погрозив им канатом, удержал их от этого прыжка.

1914 г.



ПРЕВРАЩЕНИЕ

I

роснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое. Лежа на панцирно-твердой спине, он видел, стоило ему приподнять голову, свой коричневый, выпуклый, разделенный дугообразными чешуйками живот, на верхушке которого еле держалось готовое вот-вот окончательно сползти одеяло. Его многочисленные плачевно тонкие по сравнению с остальным телом ножки беспомощно копошились у него перед глазами.

«Что со мной случилось?» — подумал он. Это не было сном. Его комната, настоящая, разве что слишком маленькая, человеческая ком-

ната мирно покоилась в своих четырех, хорошо знакомых стенах. Над столом, где был разложен распакованный набор образцов сукон — Замза был коммивояжером,— висел портрет, который он недавно вырезал из иллюстрированного журнала и вставил в красивую золоченую рамку. На портрете была изображена дама в меховой шляпе и горжетке, она сидела очень прямо и протягивала зрителю тяжелую муфту, в которой целиком исчезала нижняя часть руки.

Затем взгляд Грегора устремился в окно, и пасмурная погода — слышно было, как по жести подоконника стучат капли дождя,— привела его и вовсе в грустное настроение. «Хорошо бы еще немного поспать и забыть всякую чепуху»,— подумал он, но это было совершенно неосуществимо, ибо он привык спать на правом боку, а в теперешнем своем состоянии он никак не мог принять этого положения. С какой бы силой ни поворачивался он на правый бок, он неизменно сваливался опять на спину. Закрыв глаза, чтобы не видеть своих барахтающихся ног, он проделал это добрую сотню раз и отказался от этих попыток только тогда, когда почувствовал какую-то неведомую дотоле, тупую и слабую боль в боку.

«Ах ты, господи,— подумал он,— какую я выбрал хлопотную профессию! Изо дня в день в разъезде. Деловых волнений куда больше, чем на месте, в торговом доме, а кроме того, изволь терпеть тяготы дороги, думай о расписании поездов, мирись с плохим, нерегулярным питанием, завязывай со все новыми и новыми людьми недолгие, никогда не бывающие сердечными отношения. Черт бы побрал все это!» Он почувствовал вверху живота легкий зуд; медленно подвинулся на спине к прутьям кровати, чтобы удобнее было поднять голову; нашел зудевшее место, сплошь покрытое, как оказалось, белыми непонятными точечками; хотел было ощупать это место одной из ножек, но сразу отдернул ее, ибо даже простое прикосновение вызвало у него, Грегора, озноб.

Он соскользнул в свое прежнее положение. «От этого раннего вставания,— подумал он,— можно совсем обезуметь. Человек должен высыпаться. Другие коммивояжеры живут, как одалиски. Когда я, например, утром возвращаюсь в гостиницу, чтобы переписать полученные заказы, эти господа только завтракают. А осмелься я вести себя так, мой хозяин выгнал бы меня сразу. Кто знает, впрочем, может быть, это было бы даже очень хорошо для меня. Если бы я не сдерживался ради родителей, я бы давно заявил об уходе, я бы подошел к своему хозяину и выложил ему все, что о нем думаю. Он бы так и свалился с конторки! Странная у него манера — садиться на конторку и с ее высоты разговаривать со служащим, который вдобавок из-за того, что хозяин туг на ухо, вынужден подойти вплотную к конторке. Однако надежда еще не совсем потеряна; как только я накоплю денег, чтобы выплатить то, что ему задолжали мои родители,— на это уйдет еще лет пять-шесть,— я так и поступлю. Тут-то мы и распрощаемся раз и навсегда. А пока что надо подниматься, мой поезд отправляется в пять».

И он взглянул на будильник, который тикал на сундуке. «Боже правый!» — подумал он. Была половина седьмого, и стрелки спокойно двигались дальше, было даже больше половины, без малого уже три четверти. Неужели будильник не звонил? С кровати было видно, что он поставлен правильно, на четыре часа; и конечно же он звонил. Но как можно было не проснуться от этого сотрясающего мебель трезвона? Спал он неспокойно и поэтому, видимо, крепко. Однако что делать теперь? Следующий поезд уходит в семь часов; чтобы поспеть на него, он должен отчаянно торопиться, а набор образцов еще не уложен, да и сам он отнюдь не чувствует себя свежим и легким на подъем. И даже поспей он на поезд, хозяйского разноса ему все равно не избежать — ведь рассыльный торгового дома дежурил у пятичасового поезда и дав-

но доложил об его, Грегора, опоздании. Рассыльный, человек бесхарактерный и неумный, был ставленником хозяина. А что, если сказаться больным? Но это было бы крайне неприятно и показалось бы подозрительным, ибо за пятилетнюю свою службу Грегор ни разу еще не болел. Хозяин, конечно, пришел бы с врачом больничной кассы и стал попрекать родителей сыном-лентяем, отводя любые возражения ссылкой на этого врача, по мнению которого все люди на свете совершенно здоровы и только не любят работать. И разве в данном случае он был бы так уж неправ? Если не считать сонливости, действительно странной после такого долгого сна, Грегор и в самом деле чувствовал себя превосходно и был даже чертовски голоден.

Покуда он все это очень торопливо обдумывал, никак не решаясь покинуть постель,— будильник пробил как раз без четверти семь,— в дверь у его изголовья осторожно постучали.

— Грегор,— услыхал он (это была его мать),— уже без четверти семь. Разве ты не собирался уехать?

Этот ласковый голос! Грегор испугался, услыхав ответные звуки своего собственного голоса, к которому, хоть это и был несомненно прежний его голос, примешивался какой-то подспудный, но упрямый болезненный писк, отчего слова только в первое мгновение звучали отчетливо, а потом искажались отголоском настолько, что нельзя было с уверенностью сказать, не ослышался ли ты. Грегор хотел подробно ответить и все объяснить, но ввиду этих обстоятельств сказал только:

— Да, да, спасибо, мама, я уже встаю.

Снаружи, благодаря деревянной двери, по-видимому, не заметили, как изменился его голос, ибо после этих слов мать успокоилась и зашаркала прочь. Но короткий этот разговор обратил внимание остальных членов семьи на то, что Грегор, вопреки ожиданию, все еще дома, и вот уже в одну из боковых дверей стучал отец — слабо, но кулаком.

— Грегор! Грегор! — кричал он.— В чем дело?

И через несколько мгновений позвал еще раз, понизив голос:

— Грегор! Грегор!

А за другой боковой дверью тихо и жалостно говорила сестра:

— Грегор? Тебе нездоровится? Помочь тебе чем-нибудь?

Отвечая всем вместе: «Я уже готов», Грегор старался тщательным выговором и длинными паузами между словами лишить свой голос какой бы то ни было необычности. Отец и в самом деле вернулся к своему завтраку, но сестра продолжала шептать:

— Грегор, открой, умоляю тебя.

Однако Грегор и не думал открывать, он благословлял приобретенную в поездках привычку и дома предусмотрительно запирать на ночь все двери.

Он хотел сначала спокойно и без помех встать, одеться и прежде всего позавтракать, а потом уж поразмыслить о дальнейшем, ибо — это ему стало ясно — в постели он ни до чего путного не додумался бы. Он вспомнил, что уже не раз, лежа в постели, ощущал какую-то легкую, вызванную, возможно, неудобной позой боль, которая, стоило встать, оказывалась чистейшей игрой воображения, и ему было любопытно, как рассеется его сегодняшний морок. Что изменение голоса всего-навсего предвестие профессиональной болезни коммивояжеров — жестокой простуды, в этом он нисколько не сомневался.

Сбросить одеяло оказалось просто; достаточно было немного надуть живот, и оно упало само. Но дальше дело шло хуже, главным образом потому, что он был так широк. Ему нужны были руки, чтобы подняться; а вместо этого у него было множество ножек, которые не переставали беспорядочно двигаться и с которыми он к тому же никак не мог совладать. Если он хотел какую-либо ножку согнуть, она первым делом вытя-

гивалась; а если ему наконец удавалось выполнить этой ногой то, что он хотел, то другие тем временем, словно вырвавшись на волю, приходили в самое мучительное волнение. «Только не задерживаться понапрасну в постели»,— сказал себе Грегор.

Сперва он хотел выбраться из постели нижней частью своего туловища, но эта нижняя часть, которой он, кстати, еще не видел, да и не мог представить себе, оказалась малоподвижной: дело шло медленно; а когда Грегор наконец в бешенстве изо всей силы напропалую рванулся вперед, он, взяв неверное направление, сильно ударился о прутья кровати, и обжегшая его боль убедила его, что нижняя часть туловища у него сейчас, вероятно, самая чувствительная.

Поэтому он попытался выбраться сначала верхней частью туловища и стал осторожно поворачивать голову к краю кровати. Это ему легко удалось, и, несмотря на свою ширину и тяжесть, туловище его в конце концов медленно последовало за головой. Но когда голова перевалилась наконец за край кровати, ему стало страшно продвигаться и дальше подобным образом, ибо если бы он в конце концов упал, то разве что чудом мог бы не повредить себе голову. А терять сознание именно сейчас он ни в коем случае не должен был; лучше уж было остаться в постели.

Но когда, переведя дух после стольких усилий, он принял прежнее положение, когда он увидел, что его ножки копошатся, пожалуй, еще неистовей, и не сумел внести в этот произвол покой и порядок, он снова сказал себе, что в кровати никак нельзя оставаться и что самое разумное — это пожертвовать всем ради малейшей надежды освободить себя от кровати. Одновременно, однако, он не забывал нет-нет да напомнить себе, что спокойное размышление гораздо лучше порывов отчаяния. В такие мгновения он как можно пристальнее глядел в окно, но, к сожалению, в зрелище утреннего тумана, скрывшего даже противоположную сторону узкой улицы, нельзя было почерпнуть бодрости и уверенности. «Уже семь часов,— сказал он себе, когда снова послышался бой будильника,— уже семь часов, а все еще такой туман». И несколько мгновений он полежал спокойно, слабо дыша, как будто ждал от полной тишины возвращения действительных и естественных обстоятельств.

Но потом он сказал себе: «Прежде чем пробьет четверть восьмого, я должен во что бы то ни стало полностью покинуть кровать. Впрочем, к тому времени из конторы уже придут справиться обо мне, ведь контора открывается раньше семи». И он принялся выталкиваться из кровати, раскачивая туловище по всей его длине равномерно. Если бы он упал так с кровати, то, видимо, не повредил бы голову, резко приподняв ее во время падения. Спина же казалась достаточно твердой; при падении на ковер с ней, наверно, ничего не случилось бы. Больше всего беспокоила его мысль о том, что тело его упадет с грохотом и это вызовет за всеми дверями если не ужас, то уж конечно тревогу. И все же на это нужно было решиться.

Когда Грегор уже наполовину повис над краем кровати — новый способ походил скорей на игру, чем на утомительную работу, нужно было только рывками раскачиваться,— он подумал, как было бы все просто, если бы ему помогли. Двух сильных людей — он подумал об отце и о прислуге — было бы совершенно достаточно; им пришлось бы только, засунув руки под выпуклую его спину, снять его с кровати, а затем нагнуться и проследить, чтобы он осторожно перевернулся на полу, где наличие ножек получило бы, надо полагать, какой-то смысл. Но даже если бы двери не были заперты, неужели он действительно позвал бы кого-нибудь на помощь? Несмотря на свою беду, он не удержался от улыбки при этой мысли.

Он уже с трудом сохранял равновесие при сильных рывках и уже

вот-вот должен был окончательно решиться, когда с парадного донесся звонок. «Это кто-то из фирмы»,— сказал он себе и почти застыл, но зато его ножки заходили еще стремительней. Несколько мгновений все было тихо. «Они не отворяют»,— сказал себе Грегор, отдаваясь какой-то безумной надежде. Но потом, конечно, прислуга, как всегда, твердо прошагала к парадному и открыла. Грегору достаточно было услыхать только первое приветственное слово гостя, чтобы сразу узнать, кто он — это был сам управляющий. И почему Грегору суждено было служить в фирме, где малейший промах вызывал сразу самые тяжкие подозрения? Разве ее служащие были все как один прохвосты, разве среди них не было надежного и преданного человека, который, хоть он и не отдал делу нескольких утренних часов, совсем обезумел от угрызений совести и просто не в состоянии покинуть постель? Неужели недостаточно было послать справиться ученика — если такие расспросы вообще нужны,— неужели непременно должен был прийти сам управляющий, чтобы показать всей ни в чем не повинной семье, что расследование этого подозрительного дела по силам только ему? И больше от волнения, в которое привели его эти мысли, чем по-настоящему решившись, Грегор изо всех сил рванулся с кровати. Удар был громкий, но не то чтобы оглушительный. Падение несколько смягчил ковер, да и спина оказалась эластичнее, чем предполагал Грегор, поэтому звук получился глухой, не такой уж разительный. Вот только голову он держал недостаточно осторожно и ударил ее; он потерся ею о ковер, досадуя на боль.

— Там что-то упало,— сказал управляющий в соседней комнате слева.

Грегор попытался представить себе, не может ли и с управляющим произойти нечто подобное тому, что случилось сегодня с ним, Грегором; ведь вообще-то такой возможности нельзя было отрицать. Но как бы отметая этот вопрос, управляющий сделал в соседней комнате несколько решительных шагов, сопровождавшихся скрипом его лакированных сапог. Из комнаты справа, стремясь предупредить Грегора, шептала сестра:

— Грегор, пришел управляющий.

— Я знаю,— сказал Грегор тихо; повысить голос настолько, чтобы его услыхала сестра, он не отважился.

— Грегор,— заговорил отец в комнате слева,— к нам пришел господин управляющий. Он спрашивает, почему ты не уехал с утренним поездом. Мы не знаем, что ответить ему. Впрочем, он хочет поговорить и с тобой лично. Поэтому, пожалуйста, открой дверь. Он уж великодушно извинит нас за беспорядок в комнате.

— Доброе утро, господин Замза,— приветливо вставил сам управляющий.

— Ему нездоровится,— сказала мать управляющему, покуда отец продолжал говорить у двери,— поверьте мне, господин управляющий, ему нездоровится. Разве иначе Грегор опоздал бы на поезд! Ведь мальчик только и думает что о фирме. Я даже немного сержусь, когда он никуда не ходит по вечерам; он пробыл восемь дней в городе, но все вечера провел дома. Сидит себе за столом и молча читает газету или изучает расписание поездов. Единственное развлечение, которое он позволяет себе,— это выпиливание. За каких-нибудь два-три вечера он сделал, например, рамочку; такая красивая рамочка, просто загляденье; она висит там в комнате, вы сейчас ее увидите, когда Грегор откроет. Право, я счастлива, что вы пришли, господин управляющий; без вас мы бы не заставили Грегора открыть дверь; он такой упрямый; и конечно же ему нездоровится, хотя он и отрицал это утром.

— Сейчас я выйду,— медленно и размеренно сказал Грегор, но не шевельнулся, чтобы не пропустить ни одного слова из их речей.

— Другого объяснения, сударыня, у меня и нет,— сказал управляющий,— будем надеяться, что болезнь нестрашная. Хотя, с другой стороны, должен заметить, что нам, коммерсантам,— то ли к счастью, то ли к несчастью — приходится часто в интересах дела просто превозмогать легкий недуг.

— Значит, господин управляющий может уже войти к тебе? — спросил нетерпеливый отец и снова постучал в дверь.

— Нет,— сказал Грегор.

В комнате слева наступила мучительная тишина, в комнате справа зарыдала сестра.

Почему сестра не шла к остальным? Вероятно, она только сейчас встала с постели и еще даже не начала одеваться. А почему она плакала? Потому что он не вставал и не впускал управляющего, потому что он рисковал потерять место и потому что тогда хозяин снова стал бы преследовать родителей старыми требованиями. Но ведь покамест это были напрасные страхи. Грегор был еще здесь и вовсе не собирался покидать свою семью. Сейчас он, правда, лежал на ковре, и, узнав, в каком он находится состоянии, никто не стал бы требовать от него, чтобы он впустил управляющего. Но не выгонят же так уж сразу Грегора из-за этой маленькой невежливости, для которой позднее легко найдется подходящее оправдание?! И Грегору казалось, что гораздо разумнее было бы оставить его сейчас в покое, а не докучать ему плачем и уговорами. Но ведь всех угнетала — и это извиняло их поведение — именно неизвестность.

— Господин Замза,— воскликнул управляющий, теперь уж повысив голос,— в чем дело? Вы заперлись в своей комнате, отвечаете только «да» и «нет», доставляете своим родителям тяжелые, ненужные волнения и уклоняетесь — упомяну об этом лишь вскользь — от исполнения своих служебных обязанностей поистине неслыханным образом. Я говорю сейчас от имени ваших родителей и вашего хозяина и убедительно прошу вас немедленно объясниться. Я просто диву даюсь. Я считал вас спокойным, рассудительным человеком, а вы, кажется, вздумали выкидывать странные номера. Хозяин, правда, намекнул мне сегодня утром на возможное объяснение вашего прогула — оно касалось недавно доверенного вам инкассо,— но я, право, готов был дать честное слово, что это объяснение не соответствует действительности. Однако сейчас, при виде вашего непонятного упрямства, у меня пропадает всякая охота в какой бы то ни было мере за вас заступаться. А положение ваше отнюдь не прочно. Сначала я намеревался сказать вам это с глазу на глаз, но поскольку вы заставляете меня напрасно тратить здесь время, я не вижу причин утаивать это от ваших уважаемых родителей. Ваши успехи в последнее время были тоже весьма неудовлетворительны; правда, сейчас не то время года, чтобы заключать большие сделки, это мы признаем; но такого времени года, когда не заключают никаких сделок, вообще не существует, господин Замза, не может существовать.

— Но, господин управляющий,— теряя самообладание, воскликнул Грегор и от волнения забыл обо всем другом,— я же немедленно, сию минуту открою. Легкое недомогание, приступ головокружения не давали мне возможности встать. Я и сейчас еще лежу в кровати. Но я уже совсем оправился. Я как раз вылезаю из постели. Минутку терпения! Дела мои еще не так хороши, как я думал. Но мне уже лучше. Подумать только, что за напасть! Еще вчера вечером я чувствовал себя превосходно, мои родители это подтвердят, нет, вернее, уже вчера вечером у меня появилось какое-то предчувствие. Очень возможно, что это было заметно. И почему я не уведомил об этом фирму! Но ведь всегда думаешь, что переможешь болезнь на ногах. Господин управляющий! Пощадите моих родителей! Ведь для упреков, которые вы сейчас

мне делаете, нет никаких оснований; мне же и не говорили об этом ни слова. Вы, наверно, не видели последних заказов, которые я прислал. Да я еще и уеду с восьмичасовым поездом, несколько часов покоя подкрепили мои силы. Не задерживайтесь, господин управляющий, я сейчас сам приду в фирму, будьте добры, так и скажите и засвидетельствуйте мое почтение хозяину!

И покуда Грегор все это поспешно выпаливал, сам не зная, что он говорит, он легко — видимо, наловчившись в кровати — приблизился к сундуку и попытался, опираясь на него, выпрямиться во весь рост. Он действительно хотел открыть дверь, действительно хотел выйти и поговорить с управляющим; ему очень хотелось узнать, что скажут, увидев его, люди, которые сейчас так его ждали. Если они испугаются, значит, с Грегора уже снята ответственность и он может быть спокоен. Если же они примут все это спокойно, то, значит, и у него нет причин волноваться, и, поторопившись, он действительно сможет быть на вокзале в восемь часов. Сначала он несколько раз соскальзывал с гладкого сундука, но наконец, сделав последний рывок, выпрямился во весь рост; на боль в нижней части туловища он уже не обращал внимания, хотя она и была очень сильна. Затем он навалился на спинку стоявшего поблизости стула и зацепился за ее края ножками. Теперь он обрел власть над своим телом и умолк, ибо заговорил управляющий.

— Поняли ли вы хоть одно слово? — спросил он родителей.— Уж не издевается ли он над нами?

— Господь с вами,— воскликнула мать вся в слезах,— может быть, он тяжело болен, а мы его мучим. Грета! Грета! — крикнула она затем.

— Мама? — отозвалась сестра с другой стороны.

— Сейчас же ступай к врачу. Грегор болен. Скорей за врачом. Ты слышала, как говорил Грегор?

— Это был голос животного,— сказал управляющий, сказал поразительно тихо по сравнению с криками матери.

— Анна! Анна! — закричал отец через переднюю в кухню и похлопал в ладоши.— Сейчас же привести слесаря!

И вот уже обе девушки, шурша юбками, пробежали через переднюю — как же это сестра так быстро оделась? — и распахнули парадную дверь. Не слышно было, чтобы дверь захлопнулась — наверно, они так и оставили ее открытой, как то бывает в квартирах, где произошло большое несчастье.

А Грегору стало гораздо спокойнее. Речи его, правда, уже не понимали, хотя ему она казалась достаточно ясной, даже более ясной, чем прежде,— вероятно, потому, что его слух к ней привык. Но зато теперь поверили, что с ним творится что-то неладное, и были готовы ему помочь. Уверенность и твердость, с которыми отдавались первые распоряжения, подействовали на него благотворно. Он чувствовал себя вновь приобщенным к людям и ждал от врача и от слесаря, не отделяя по существу одного от другого, удивительных свершений. Чтобы перед приближавшимся решающим разговором придать своей речи как можно большую ясность, он немного откашлялся, стараясь, однако, сделать это поглуше, ибо, возможно, даже и эти звуки больше не походили на человеческий кашель, а судить об этом он уже не решался. В соседней комнате стало между тем совсем тихо. Может быть, родители сидели с управляющим за столом и шушукались, а может быть, все они приникли к двери, прислушиваясь.

Грегор медленно продвинулся со стулом к двери, отпустил его, бросился на дверь, удержался, припав к ней, стоймя — на подушечках его лапок было какое-то клейкое вещество — и немного передохнул, натрудившись. А затем принялся поворачивать ртом ключ в замке. Увы, у него, кажется, не было настоящих зубов — чем же схватить теперь

ключ? — но зато челюсти оказались очень сильными; с их помощью он и в самом деле задвигал ключом, не обращая внимания на то, что несомненно причинил себе вред, ибо какая-то бурая жидкость выступила у него изо рта, потекла по ключу и закапала на пол.

— Послушайте-ка,— сказал управляющий в соседней комнате,— он поворачивает ключ.

Это очень ободрило Грегора; но лучше бы они все, и отец, и мать, кричали ему, лучше бы они все кричали ему: «Сильней, Грегор! Ну-ка, поднатужься, ну-ка, нажми на замок!» И вообразив, что все напряженно следят за его усилиями, он самозабвенно, изо всех сил, вцепился в ключ. По мере того как ключ поворачивался, Грегор переступал около замка с места на место; держась теперь стоймя только с помощью рта, он по мере надобности то повисал на ключе, то наваливался на него всей тяжестью своего тела. Звонкий щелк поддавшегося наконец замка как бы разбудил Грегора. Переведя дух, он сказал себе: «Значит, я все-таки обошелся без слесаря» — и положил голову на дверную ручку, чтобы отворить дверь.

Поскольку отворил он ее таким способом, его самого еще не было видно, когда дверь уже довольно широко отворилась. Сначала он должен был медленно обойти одну створку, а обойти ее нужно было с большой осторожностью, чтобы не шлепнуться на спину у входа в комнату. Он был еще занят этим трудным передвижением и, торопясь, ни на что больше не обращал внимания, как вдруг услышал громкое «О!» управляющего — оно прозвучало, как свист ветра,— и увидел затем его самого: находясь ближе всех к двери, тот прижал руку к открытому рту и медленно пятился, словно его гнала какая-то невидимая, неодолимая сила. Мать — несмотря на присутствие управляющего, она стояла здесь с распущенными еще с ночи, взъерошенными волосами — сначала, сложив руки, взглянула на отца, а потом сделала два шага к Грегору и упала, раскидывая вокруг себя юбки, с опущенным на грудь, так что его совсем не стало видно, лицом. Отец сжал с враждебным видом кулак, словно желая вытолкнуть Грегора в его комнату, потом нерешительно оглядел гостиную, закрыл руками глаза и заплакал, и могучая его грудь затряслась.

Грегор не стал входить в гостиную, а прислонился изнутри к закрепленной створке, отчего видны были только половина его туловища и заглядывавшая в комнату голова, склоненная набок. Тем временем сделалось гораздо светлее; на противоположной стороне улицы четко вырисовывался кусок бесконечного серо-черного здания — это была больница — с равномерно и четко разрезáвшими фасад окнами; дождь еще шел, но только большими, в отдельности различимыми и как бы отдельно же падавшими на землю каплями. Посуда для завтрака стояла на столе в огромном количестве, ибо для отца завтрак был важнейшей трапезой дня, тянувшейся у него, за чтением газет, часами. Как раз на противоположной стене висела фотография Грегора времен его военной службы, на ней был изображен лейтенант, который, положив руку на эфес шпаги и беззаботно улыбаясь, требовал уважения к своей выправке и к своему мундиру. Дверь в переднюю была отворена, и, так как парадная дверь тоже была открыта, виднелась лестничная площадка и начало уходившей вниз лестницы.

— Ну вот,— сказал Грегор, отлично сознавая, что спокойствие сохранил он один,— сейчас я оденусь, соберу образцы и поеду. А вам хочется, вам хочется, чтобы я поехал? Ну вот, господин управляющий, вы видите, я не упрямец, я работаю с удовольствием; разъезды утомительны, но я не мог бы жить без разъездов. Куда же вы, господин управляющий? К себе в контору? Да? Вы доложите все как было? Иногда человек не в состоянии работать, но тогда как раз самое время вспом-

нить о прежних его успехах и прийти к выводу, что конечно же тем внимательней и прилежнее будет он работать в дальнейшем, по устранении теперешней помехи. Ведь я же столь многим обязан хозяину, вы же отлично это знаете. С другой стороны, на мне лежит забота о родителях и о сестре. Я в беде, но я выкарабкаюсь. Только не делайте мое положение еще более трудным, чем оно есть. Будьте в фирме на моей стороне! Коммивояжеров не любят, я знаю. Думают, они зарабатывают бешеные деньги и при этом живут в свое удовольствие. Никому просто не случается задуматься над таким предрассудком. Но вы, господин управляющий, вы знаете, как обстоит дело, знаете лучше, чем остальной персонал, и даже, говоря между нами, лучше, чем сам хозяин, который, как предприниматель, легко может ошибиться в своей оценке в невыгодную для того или иного служащего сторону. Вы отлично знаете также, что, находясь почти весь год вне фирмы, коммивояжер легко может стать жертвой сплетен, случайностей и беспочвенных обвинений, защититься от которых он совершенно не в силах, так как по большей части он о них ничего не знает и только потом, когда, измотанный, возвращается из поездки, ощущает их скверные, уже далекие от причин следствия на собственной шкуре. Не уходите, господин управляющий, не дав мне ни одним словом почувствовать, что вы хотя бы отчасти признаете мою правоту!

Но управляющий отвернулся, едва Грегор заговорил, и, надув губы, глядел на него только поверх плеча, которое непрестанно дергалось. И во время речи Грегора он ни секунды не стоял на месте, а удалялся, не спуская с Грегора глаз, к двери — удалялся, однако, очень медленно, словно какой-то тайный запрет не позволял ему покидать эту комнату. Он был уже в передней, и глядя на то, как резко он сделал последний шаг из гостиной, можно было подумать, что он только что обжег ступню. А в передней он протянул правую руку к лестнице, словно там его ждало какое-то неземное блаженство.

Грегор понимал, что он ни в коем случае не должен отпускать управляющего в таком настроении, если не хочет поставить под удар свое положение в фирме. Родители не сознавали всего этого так ясно; с годами они привыкли думать, что в этой фирме Грегор устроился на всю жизнь, а свалившиеся на них сейчас заботы и вовсе лишили их проницательности. Но Грегор этой проницательностью обладал. Управляющего нужно было задержать, успокоить, убедить и в конце концов расположить в свою пользу; ведь от этого зависела будущность Грегора и его семьи! Ах, если бы сестра не ушла! Она умна, она плакала уже тогда, когда Грегор, еще ничего не подозревая, спокойно лежал на спине. И конечно же управляющий, этот дамский угодник, повиновался бы ей; она закрыла бы парадную дверь и своими уговорами рассеяла бы его страхи. Но сестра-то как раз и ушла, Грегор должен был действовать сам. И не думая, что он совсем еще не знает теперешних своих возможностей передвижения, не думая и о том, что его речь, возможно и даже вероятней всего, снова осталась непонятой, он покинул створку дверей; пробрался через проход; хотел было направиться к управляющему, который, выйдя уже на площадку, смешно схватился обеими руками за перила; но тут же, ища опоры, со слабым криком упал на все свои лапки. Как только это случилось, телу его впервые за это утро стало удобно; под лапками была твердая почва; они, как он к радости своей отметил, отлично его слушались; даже сами стремились перенести его туда, куда он хотел; и он уже решил, что вот-вот все его муки окончательно прекратятся. Но в тот самый миг, когда он, покачиваясь от толчка, упал на пол неподалеку от своей матери, как раз напротив нее, мать, которая, казалось, совсем ушла в себя, вскочила на ноги, широко развела руки, растопырила пальцы, закричала: «Помогите! Помогите, ради

бога!» — склонила голову, как будто хотела получше разглядеть Грегора, однако вместо этого бессмысленно отбежала назад; забыла, что позади нее стоит накрытый стол; достигнув его, она, словно по рассеянности, поспешно на него села; и, кажется, совсем не заметила, что рядом с ней из опрокинутого большого кофейника хлещет на ковер кофе.

— Мама, мама,— тихо сказал Грегор и поднял на нее глаза.

На мгновение управляющий совсем лишился чувств; однако при виде льющегося кофе он не удержался и несколько раз судорожно глотнул воздух. Увидев это, мать снова вскрикнула, спрыгнула со стола и упала на грудь поспешившему ей навстречу отцу. Но у Грегора не было сейчас времени заниматься родителями; управляющий был уже на лестнице; положив подбородок на перила, он бросил последний, прощальный взгляд. Грегор пустился бегом, чтобы его вернее догнать; но управляющий, видимо, о чем-то догадывался, ибо, перепрыгнув через несколько ступенек, исчез. Он только воскликнул: «Фу!» — и звук этот разнесся по лестничной клетке. К сожалению, бегство управляющего, видимо, вконец расстроило державшегося до сих пор сравнительно стойко отца, ибо, вместо того чтобы самому побежать за управляющим или хотя бы не мешать Грегору догнать его, он схватил правой рукой трость управляющего, которую тот вместе со шляпой и пальто оставил на стуле, а левой взял со стола большую газету и, топая ногами, размахивая газетой и палкой, стал загонять Грегора в его комнату. Никакие просьбы Грегора не помогали, да и не понимал отец никаких его просьб; как бы униженно Грегор ни мотал головой, отец только сильнее и сильнее топал ногами. Мать, несмотря на холодную погоду, распахнула окно настежь и, высунувшись в него, спрятала лицо в ладонях. Между улицей и лестничной клеткой образовался сильный сквозняк, занавески взлетели, газеты на столе зашуршали, некоторые листы поплыли по полу. Отец неумолимо наступал, издавая, как дикарь, шипящие звуки. А Грегор еще совсем не научился пятиться, он двигался назад действительно очень медленно. Если бы Грегор повернулся, он сразу же оказался бы в своей комнате, но он боялся раздражить отца медленностью своего поворота, а отцовская палка в любой миг могла нанести ему смертельный удар по спине или по голове. Наконец Грегору ничего другого все-таки не оставалось, ибо он, к ужасу своему, увидел, что, пятясь назад, не способен даже придерживаться определенного направления; и поэтому, не переставая боязливо коситься на отца, он начал поворачиваться — по своим возможностям быстро, на самом же деле очень медленно. Отец, видно, оценил его добрую волю, ибо не только не мешал ему поворачиваться, но даже издали направлял его движение наконечником палки. Если бы только не это несносное шипение отца! Из-за него Грегор совсем терял голову. Он уже заканчивал поворот, когда, прислушиваясь к этому шипению, ошибся и повернулся опять немного назад. Но когда он, наконец, благополучно направил голову в раскрытую дверь, оказалось, что туловище его слишком широко, чтобы свободно пролезть. Отец в его теперешнем состоянии, конечно, не догадывался, что надо открыть другую створку двери и дать Грегору проход. У него была одна навязчивая мысль — как можно скорее загнать Грегора в его комнату. Никак не потерпел бы он и обстоятельной подготовки, которая требовалась Грегору, чтобы выпрямиться во весь рост и таким образом, может быть, пройти через дверь. Словно не было никакого препятствия, он гнал теперь Грегора вперед с особенным шумом; звуки, раздававшиеся позади Грегора, уже совсем не походили на голос одного только отца; тут было и в самом деле не до шуток, и Грегор — будь что будет — втиснулся в дверь. Одна сторона его туловища поднялась, он наискось лег в проходе, один его бок был совсем изранен, на белой двери остались безобразные пятна; вскоре он застрял и уже не мог самостоя-

тельно двигаться дальше, на одном боку лапки повисли, дрожа, вверху, на другом они были больно прижаты к полу — и тогда отец с силой дал ему сзади поистине спасительного теперь пинка, и Грегор, истекая кровью, влетел в свою комнату. Дверь захлопнули палкой, и наступила долгожданная тишина.

II

Лишь в сумерках очнулся Грегор от тяжелого, похожего на обморок сна. Если бы его и не побеспокоили, он все равно проснулся бы ненамного позднее, ибо чувствовал себя достаточно отдохнувшим и выспавшимся, но ему показалось, что разбудили его чьи-то легкие шаги и звук осторожно запираемой двери, выходившей в переднюю. На потолке и на верхних частях мебели лежал проникавший с улицы свет электрических фонарей, но внизу, у Грегора, было темно. Медленно, еще неуклюже шаря своими щупальцами, которые он только теперь начинал ценить, Грегор подполз к двери, чтобы посмотреть, что там произошло. Левый его бок казался сплошным длинным, неприятно саднящим рубцом, и, несмотря на два ряда своих ног, он по-настоящему хромал. В ходе утренних приключений одна ножка — чудом только одна — была тяжело ранена и безжизненно волочилась по полу.

Лишь у двери он понял, что́, собственно, его туда повлекло; это был запах чего-то съедобного. Ибо там стояла миска со сладким молоком, в котором плавали ломтики белого хлеба. Он едва не засмеялся от радости, ибо есть ему хотелось еще сильнее, чем утром, и чуть ли не с глазами окунул голову в молоко. Но вскоре он разочарованно вытащил ее оттуда; мало того, что из-за раненого левого бока есть ему было трудно — ибо есть он мог только сопя, отчего все его туловище тряслось,— молоко, которое всегда было его любимым напитком и которое сестра, конечно, потому и принесла, показалось ему теперь совсем не вкусным; он почти с отвращением отвернулся от миски и пополз назад, к середине комнаты.

В гостиной, как увидел Грегор сквозь щель в двери, зажгли свет, но если обычно отец в это время громко читал матери, а иногда и сестре вечернюю газету, то сейчас не было слышно ни звука. Возможно, впрочем, что это чтение, о котором ему всегда рассказывала и писала сестра, в последнее время вообще вышло из обихода. Но и кругом было очень тихо, хотя квартира, конечно, пуста не была. «До чего же, однако, тихую жизнь вела моя семья»,— сказал себе Грегор и, уставившись в темноту, почувствовал великую гордость от сознания, что он сумел добиться для своих родителей и сестры такой жизни в такой прекрасной квартире. А что, если этому покою, благополучию, довольству пришел теперь ужасный конец? Чтобы не предаваться подобным мыслям, Грегор решил размяться и принялся ползать по комнате.

Один раз в течение долгого вечера чуть приоткрылась, но тут же захлопнулась одна боковая дверь и еще раз другая; кому-то, видно, хотелось войти, но опасения взяли верх. Грегор остановился непосредственно у двери в гостиную, чтобы каким-то образом залучить нерешительного посетителя или хотя бы узнать, кто это, но дверь больше не отворялась, и ожидание Грегора оказалось напрасным. Утром, когда двери были заперты, все хотели войти к нему, теперь же, когда одну дверь он открыл сам, а остальные были несомненно отперты в течение дня, никто к нему не входил, а ключи между тем торчали снаружи.

Лишь поздно ночью погасили в гостиной свет, и тут сразу выяснилось, что родители и сестра до сих пор бодрствовали, ибо, как то было отчетливо слышно, сейчас они все удалились на цыпочках. Теперь, конечно, до утра к Грегору никто не войдет, значит, у него было достаточ-

но времени, чтобы без помех поразмыслить, как ему перестроить свою жизнь. Но высокая пустая комната, в которой он вынужден был плашмя лежать на полу, пугала его, хотя причины своего страха он и не понимал, ибо жил в этой комнате вот уже пять лет,— и, повернувшись наполовину непроизвольно, он не без стыда поспешил уползти под диван, где, несмотря на то, что спину ему немного прижало, а голову уже нельзя было поднять, он сразу же почувствовал себя очень уютно и пожалел только, что туловище его слишком широко, чтобы поместиться целиком под диваном.

Там пробыл он всю ночь, проведя ее отчасти в дремоте, которую то и дело вспугивал голод, отчасти же в заботах и смутных надеждах, неизменно приводивших его к заключению, что покамест он должен вести себя спокойно и обязан своим терпением и тактом облегчить семье неприятности, которые он причинил ей теперешним своим состоянием.

Уже рано утром — была еще почти ночь — Грегору представился случай испытать твердость только что принятого решения, когда сестра, почти совсем одетая, открыла дверь из передней и настороженно заглянула к нему в комнату. Она не сразу заметила его, но увидев его под диваном — ведь где-то, о господи, он должен был находиться, не мог же он улететь,— испугалась так, что, не совладав с собой, захлопнула дверь снаружи. Но словно раскаявшись в своем поведении, она тотчас же открыла дверь снова и на цыпочках, как к тяжелобольному или даже как к чужому, вошла в комнату. Грегор высунул голову к самому краю дивана и стал следить за сестрой. Заметит ли она, что он оставил молоко, причем вовсе не потому, что не был голоден, и принесет ли какую-нибудь другую еду, которая подойдет ему больше? Если бы она не сделала этого по собственному почину, он скорее бы умер с голоду, чем обратил на это ее внимание, хотя его так и подмывало выскочить из-под дивана, броситься к ногам сестры и попросить у нее какой-нибудь хорошей еды. Но сразу же с удивлением увидев полную еще миску, из которой только чуть-чуть расплескалось молоко, сестра немедленно подняла ее, правда, не просто руками, а при помощи тряпки, и вынесла прочь. Грегору было очень любопытно, что она принесет взамен, и он стал строить всяческие догадки на этот счет. Но он никак не додумался бы до того, что сестра, по своей доброте, действительно сделала. Чтобы узнать его вкус, она принесла ему целый выбор кушаний, разложив всю эту снедь на старой газете. Тут были старые, с гнильцой овощи; оставшиеся от ужина кости, покрытые белым застывшим соусом; немного изюму и миндаля; кусок сыру, который Грегор два дня назад объявил несъедобным; ломоть сухого хлеба, ломоть хлеба, намазанный маслом, и ломоть хлеба, намазанный маслом и посыпанный солью. Вдобавок ко всему этому она поставила ему ту же самую, раз и навсегда, вероятно, выделенную для Грегора миску, налив в нее воды. Затем она из деликатности, зная, что при ней Грегор не станет есть, поспешила удалиться и даже повернула ключ в двери, чтобы показать Грегору, что он может устраиваться, как ему будет удобнее. Лапки Грегора, когда он теперь направился к еде, замелькали одна быстрее другой. Да и раны его, как видно, совсем зажили, он не чувствовал уже никаких помех и, удивившись этому, вспомнил, как месяц с лишним назад он слегка обрезал палец ножом и как не далее чем позавчера эта рана еще причиняла ему довольно сильную боль. «Неужели я стал теперь менее чувствителен?» — подумал он и уже жадно впился в сыр, к которому его сразу потянуло настойчивее, чем к какой-либо другой еде. Со слезящимися от удовольствия глазами он быстро уничтожил подряд сыр, овощи, соус; свежая пища, напротив, ему не нравилась, даже запах ее казался ему несносным, и он оттаскивал в сторону от нее куски, которые хотел съесть. Он давно уже управился с едой и лениво лежал на том же месте, где ел, когда сестра, в знак того,

что ему пора убраться, медленно повернула ключ. Это его сразу вспугнуло, хотя он уже почти дремал, и он опять поспешил под диван. Но ему стоило больших усилий пробыть под диваном даже то короткое время, покуда сестра находилась в комнате, ибо от обильной еды туловище его несколько округлилось и в тесноте ему было трудно дышать. Превозмогая слабые приступы удушья, он глядел выпученными глазами, как ничего не подозревавшая сестра смела веником в одну кучу не только его объедки, но и снедь, к которой Грегор вообще не притрагивался, словно и это уже не пойдет впрок, как она поспешно выбросила все это в ведерко, прикрыла его дощечкой и вынесла. Не успела она отвернуться, как Грегор уже вылез из-под дивана, вытянулся и раздулся.

Таким образом Грегор получал теперь еду ежедневно, один раз утром, когда родители и прислуга еще спали, а второй раз после общего обеда, ибо тогда родители опять-таки ложились поспать, а прислугу сестра усылала из дому с каким-нибудь поручением. Они тоже, конечно, не хотели, чтобы Грегор умер с голоду, но, может быть, им было бы невыносимо тяжело знать о еде Грегора больше, чем понаслышке, и, может быть, сестра старалась избавить их хотя бы от маленьких огорчений, ибо страдали они и в самом деле достаточно.

Под каким предлогом выпроводили из квартиры в то первое утро врача и слесаря, Грегор так и не узнал, ибо, поскольку его не понимали, никому, в том числе и сестре, не приходило в голову, что он-то понимает других, и поэтому, когда сестра бывала в его комнате, ему доводилось слышать лишь вздохи да взывания к святым. Лишь позже, когда она немного привыкла ко всему — о том, чтобы привыкнуть совсем, не могло быть, конечно, и речи,— Грегор порой ловил какое-нибудь явно доброжелательное замечание. «Сегодня угощение пришлось ему по вкусу»,— говорила она, если Грегор съедал все дочиста, тогда как в противном случае, что постепенно стало повторяться все чаще и чаще, она говорила почти печально: «Опять все осталось».

Но не узнавая никаких новостей непосредственно, Грегор подслушивал разговоры в соседних комнатах, и, стоило ему откуда-либо услыхать голоса, он сразу же спешил к соответствующей двери и прижимался к ней всем своим телом. Особенно в первое время не было ни одного разговора, который так или иначе, хотя бы и тайно, его не касался. В течение двух дней за каждой трапезой совещались о том, как теперь себя вести; но и между трапезами говорили на ту же тему, ибо дома всегда бывало не менее двух членов семьи, поскольку, видимо, никто не хотел оставаться дома один, а покидать квартиру всем сразу никак нельзя было. Кстати, прислуга — было не совсем ясно, что́ и многое ли знала она о случившемся,— в первый же день, упав на колени, попросила мать немедленно уволить ее, а прощаясь через четверть часа после этого, со слезами благодарила за увольнение, как за величайшую милость, и дала, хотя этого от нее вовсе не требовали, страшную клятву, что никому ни о чем не скажет.

Пришлось сестре вместе с матерью заняться стряпней; это не составило, впрочем, особого труда, ибо никто почти ничего не ел. Грегор то и дело слышал, как один тщетно уговаривал другого поесть, а тот отвечал: «Спасибо, я уже сыт» или что-нибудь подобное. Пить, кажется, тоже перестали. Сестра часто спрашивала отца, не хочет ли он пива, и охотно вызывалась сходить за ним, а когда отец молчал, говорила, надеясь этим избавить его от всяких сомнений, что может послать за пивом дворничиху, но тогда отец отвечал решительным «нет», и больше об этом не заговаривали.

Уже в течение первого дня отец разъяснил матери и сестре имущественное положение семьи и виды на будущее. Он часто вставал из-за стола и извлекал из своей маленькой домашней кассы, которая сохрани-

лась от его прогоревшей пять лет назад фирмы, то какую-нибудь квитанцию, то записную книжку. Слышно было, как он отпирал сложный замок и, достав то, что искал, опять поворачивал ключ. Эти объяснения отца были отчасти первой утешительной новостью, услышанной Грегором с начала его заточения. Он считал, что от того предприятия у отца решительно ничего не осталось, во всяком случае, отец не утверждал противного, а Грегор его об этом не спрашивал. Единственной заботой Грегора было тогда сделать все, чтобы семья как можно скорее забыла неудачу в делах, приведшую всех в состояние полной безнадежности. Поэтому он начал тогда трудиться с особым пылом и чуть ли не сразу сделался из маленького приказчика вояжером, у которого были, конечно, совсем другие заработки и чьи деловые успехи тотчас же, в виде комиссионных, превращались в наличные деньги, каковые и можно было положить дома на стол перед удивленной и счастливой семьей. То были хорошие времена, и потом они уже никогда, по крайней мере в прежнем великолепии, не повторялись, хотя Грегор и позже зарабатывал столько, что мог содержать и действительно содержал семью. К этому все привыкли — и семья, и сам Грегор; деньги у него благодарно принимали, а он охотно их давал, но особой теплоты больше не возникало. Только сестра осталась все-таки близка Грегору; и, так как она, в отличие от него, очень любила музыку и трогательно играла на скрипке, у Грегора была тайная мысль определить ее на будущий год в консерваторию, несмотря на большие расходы, которые это вызовет и которые придется покрыть за счет чего-то другого. Во время коротких задержек Грегора в городе в разговорах с сестрой часто упоминалась консерватория, но упоминалась всегда как прекрасная, несбыточная мечта, и даже эти невинные упоминания вызывали у родителей неудовольствие; однако Грегор думал о консерватории очень определенно и собирался торжественно заявить о своем намерении в канун рождества.

Такие, совсем бесполезные в нынешнем его состоянии, мысли вертелись в голове Грегора, когда он стоймя прилипал к двери, прислушиваясь. От общей своей усталости он нет-нет да переставал слушать и нечаянно ударялся головою о дверь, но тотчас же поднимал голову, ибо малейший учиненный им шум был слышен за дверью и заставлял всех умолкать. «Что он там опять вытворяет?» — говорил через некоторое время отец, явно глядя на дверь, и лишь после этого постепенно возобновлялся прерванный разговор.

Так вот, теперь (ибо отец повторялся в своих объяснениях — отчасти потому, что давно уже отошел от этих дел сам, отчасти же потому, что мать не все понимала с первого раза), Грегор с достаточными подробностями узнал, что, несмотря на все беды, от старых времен сохранилось еще маленькое состояние и что оно, так как процентов не трогали, за эти годы даже немного выросло. Но кроме того, оказалось, что деньги, которые ежемесячно приносил домой Грегор — он оставлял себе только несколько гульденов,— уходили не целиком и образовали небольшой капитал. Стоя за дверью, Грегор усиленно кивал головой, обрадованный такой неожиданной предусмотрительностью и бережливостью. Вообще-то он мог бы этими лишними деньгами погасить часть отцовского долга и приблизить тот день, когда он, Грегор, волен был бы отказаться от своей службы, но теперь было несомненно лучше, что отец распорядился деньгами именно так.

Денег этих, однако, было слишком мало, чтобы семья могла жить на проценты; их хватило бы, может быть, на год жизни, от силы на два, не больше. Это была, значит, только сумма, которую следовало, собственно, отложить на черный день, а не тратить; а деньги на жизнь надо было зарабатывать. Отец же был хоть и здоровым, но старым человеком, он уже пять лет не работал и не очень-то на себя надеялся, за эти пять

лет, оказавшиеся первыми каникулами в его хлопотливой, но неудачливой жизни, он очень обрюзг и стал поэтому довольно тяжел на подъем. Уж не должна ли была зарабатывать деньги старая мать, которая страдала астмой, с трудом передвигалась даже по квартире и через день, задыхаясь, лежала на кушетке возле открытого окна? Или, может быть, их следовало зарабатывать сестре, которая в свои семнадцать лет была еще ребенком и имела полное право жить так же, как до сих пор,— изящно одеваться, спать допоздна, помогать в хозяйстве, участвовать в каких-нибудь скромных развлечениях и прежде всего играть на скрипке? Когда заходила речь об этой необходимости заработка, Грегор всегда отпускал дверь и бросался на прохладный кожаный диван, стоявший близ двери, ибо ему делалось жарко от стыда и от горя.

Он часто лежал там долгими ночами, не засыпая ни на одно мгновение, и часами скребся о кожу дивана или, не жалея трудов, придвигал кресло к окну, вскарабкивался к проему и, упершись в кресло, припадал к подоконнику, что было явно только каким-то воспоминанием о чувстве освобождения, охватывавшем его прежде, когда он выглядывал из окна. Ибо на самом деле все сколько-нибудь отдаленное он видел день ото дня все хуже и хуже; противоположной больницы, примелькавшийся вид которой он прежде проклинал, Грегор уже вообще больше не различал, и не знай он доподлинно, что живет на тихой, но вполне городской Шарлоттенштрассе, он мог бы подумать, что глядит из своего окна на пустыню, в которую неразличимо слились серая земля и серое небо. Стоило внимательной сестре лишь дважды увидеть, что кресло стоит у окна, как она стала каждый раз, прибрав комнату, снова придвигать кресло к окну и даже оставлять отныне открытыми внутренние оконные створки.

Если бы Грегор мог поговорить с сестрой и поблагодарить ее за все, что она для него делала, ему было бы легче принимать ее услуги; а так он страдал из-за этого. Правда, сестра всячески старалась смягчить мучительность создавшегося положения, и чем больше времени проходило, тем это, конечно, лучше у нее получалось, но ведь и Грегору все становилось гораздо яснее со временем. Самый ее приход бывал для него ужасен. Хотя вообще-то сестра усердно оберегала всех от зрелища комнаты Грегора, сейчас она, войдя, не тратила времени на то, чтобы закрыть за собой дверь, а бежала прямо к окну, поспешно, словно она вот-вот задохнется, распахивала его настежь, а затем, как бы ни было холодно, на минутку задерживалась у окна, глубоко дыша. Этой шумной спешкой она пугала Грегора два раза в день; он все время дрожал под диваном, хотя и отлично знал, что она, несомненно, избавила бы его от страхов, если бы только могла находиться в одной комнате с ним при закрытом окне.

Однажды — со дня случившегося с Грегором превращения минуло уже около месяца, и у сестры, следовательно, не было особых причин удивляться его виду — она пришла немного раньше обычного и застала Грегора глядящим в окно, у которого он неподвижно и как бы для устрашения стоял. Если бы она не вошла в комнату, для Грегора не было бы в этом ничего неожиданного, так как своим местоположением он мешал ей тотчас открыть окно, но она не просто не вошла, а отпрянула назад и заперла дверь; постороннему могло бы показаться даже, что Грегор подстерегал ее и хотел укусить. Грегор, конечно, сразу же спрятался под диван, но ее возвращения ему пришлось ждать до полудня, и была в ней какая-то необычная встревоженность. Из этого он понял, что она все еще не выносит и никогда не сможет выносить его облика и что ей стоит больших усилий не убегать прочь при виде даже той небольшой части его тела, которая высовывается из-под дивана. Чтобы избавить сестру и от этого зрелища, он однажды перенес на спине — на эту работу ему потребовалось четыре часа — простыню на диван и положил ее таким об-

разом, чтобы она скрывала его целиком и сестра, даже нагнувшись, не могла увидеть его. Если бы, по ее мнению, в этой простыне не было надобности, сестра могла бы ведь и убрать ее, ибо, что Грегор укрылся так не для удовольствия, было достаточно ясно, но сестра оставила простыню на месте, и Грегору показалось даже, что он поймал благодарный взгляд, когда осторожно приподнял головой простыню, чтобы посмотреть, как приняла это нововведение сестра.

Первые две недели родители не могли заставить себя войти к нему, и он часто слышал, как они с похвалой отзывались о теперешней работе сестры, тогда как прежде они то и дело сердились на сестру, потому что она казалась им довольно пустой девицей. Теперь и отец и мать часто стояли в ожидании перед комнатой Грегора, покуда сестра там убирала, и, едва только она выходила оттуда, заставляли ее подробно рассказывать, в каком виде была комната, что́ ел Грегор, как он на этот раз вел себя и заметно ли хоть маленькое улучшение. Впрочем, мать относительно скоро пожелала навестить Грегора, но отец и сестра удерживали ее от этого — сначала разумными доводами, которые Грегор, очень внимательно их выслушивая, целиком одобрял. Позднее удерживать ее приходилось уже силой, и, когда она кричала: «Пустите меня к Грегору, это же мой несчастный сын! Неужели вы не понимаете, что я должна пойти к нему?» — Грегор думал, что, наверно, и в самом деле было бы хорошо, если бы мать приходила к нему, конечно, не каждый день, но, может быть, раз в неделю; ведь она понимала все куда лучше, чем сестра, которая, при всем своем мужестве, была только ребенком и в конечном счете, наверно, только по детскому легкомыслию взяла на себя такую обузу.

Желание Грегора увидеть мать вскоре исполнилось. Заботясь о родителях, Грегор в дневное время уже не́ показывался у окна, ползать же по нескольким квадратным метрам пола долго не удавалось, лежать неподвижно было ему уже и ночами трудно, еда вскоре перестала доставлять ему какое бы то ни было удовольствие, и он приобрел привычку ползать, рассеяния ради, по стенам и по потолку. Особенно любил он висеть на потолке; это совсем не походило на лежание на полу; дышалось свободнее, тело легко покачивалось, в том почти блаженном состоянии рассеянности, в котором́ он там наверху пребывал, он подчас, к собственному своему удивлению, срывался и шлепался на пол. Но теперь он, конечно, владел своим телом совсем не так, как прежде, и с какой бы высоты он ни падал, он не причинял себе при этом никакого вреда. Сестра сразу заметила, что Грегор нашел новое развлечение — ведь, ползая, он повсюду оставлял следы клейкого вещества,— и решила предоставить ему как можно больше места для этого занятия, выставив из комнаты мешавшую ползанью мебель, то есть прежде всего сундук и письменный стол. Но она была не в состоянии сделать это одна; позвать на помощь отца она не осмеливалась, прислуга же ей безусловно не помогла бы, ибо хотя эта шестнадцатилетняя девушка, нанятая после ухода прежней кухарки, не отказывалась от места, она испросила разрешения держать кухню на запоре и открывать дверь лишь по особому приказанию; поэтому сестре ничего не оставалось, как однажды, в отсутствие отца, привести мать. Та направилась к Грегору с возгласами взволнованной радости, но перед дверью его комнаты умолкла. Сестра, конечно, сначала проверила, все ли в порядке в комнате; лишь после этого она впустила мать. Грегор с величайшей поспешностью скомкал и еще дальше потянул простыню, казалось, что простыня брошена на диван и в самом деле случайно. На этот раз Грегор не стал подглядывать из-под простыни; он отказался от возможности увидеть мать уже в этот раз и был рад, что она наконец пришла.

— Входи, его не видно,— сказала сестра и явно повела мать за руку. Грегор слышал, как эти слабые женщины старались сдвинуть с места

тяжелый старый сундук и как сестра все время брала на себя бóльшую часть работы, не слушая предостережений матери, которая боялась, что та надорвется. Это длилось очень долго. Когда они провозились уже с четверть часа, мать сказала, что лучше оставить сундук там, где он стоит, ибо, во-первых, он слишком тяжел и они не управятся с ним до прихода отца, а стоя посреди комнаты, сундук и вовсе преградит Грегору путь, а во-вторых, еще неизвестно, приятно ли Грегору, что мебель выносят. Ей, сказала она, кажется, что ему это скорей неприятно; ее, например, вид голой стены прямо-таки удручает; почему же не должен он удручать и Грегора, коль скоро тот привык к этой мебели и потому почувствует себя в пустой комнате совсем заброшенным.

— Но разве,— заключила мать совсем тихо, хотя она и так говорила почти шепотом, словно не желая, чтобы Грегор, местонахождения которого она не знала, услыхал хотя бы звук ее голоса, ибо в том, что слов он не понимает, она не сомневалась,— разве, убирая мебель, мы не показываем, что перестали надеяться на какое-либо улучшение и безжалостно предоставляем его самому себе? По-моему, лучше всего постараться оставить комнату такой же, какой она была прежде, чтобы Грегор, когда он к нам возвратится, не нашел в ней никаких перемен и поскорее забыл это время.

Услыхав слова матери, Грегор подумал, что отсутствие непосредственного общения с людьми при однообразной жизни внутри семьи помутило, видимо, за эти два месяца его разум, ибо иначе он никак не мог объяснить себе появившейся у него вдруг потребности оказаться в пустой комнате. Неужели ему и в самом деле хотелось превратить свою теплую, уютно обставленную наследственной мебелью комнату в пещеру, где он, правда, мог бы беспрепятственно ползать куда угодно, но зато быстро и полностью забыл бы свое человеческое прошлое? Ведь он и теперь уже был близок к забвению, и только голос матери, которого он давно не слышал, его встормошил. Ничего не следовало удалять; все должно было оставаться на месте; благотворное воздействие мебели на его состояние было необходимо; а если мебель мешала ему бессмысленно ползать, то это шло ему не во вред, а на великую пользу.

Но сестра была, увы, другого мнения; привыкнув — и не без основания — при обсуждении дел Грегора выступать перед родителями в качестве знатока, она и сейчас сочла совет матери достаточным поводом настаивать на удалении не только сундука, но и вообще всей мебели, кроме дивана, без которого никак нельзя было обойтись. Требование это было вызвано, конечно, не только ребяческим упрямством сестры и ее так неожиданно и так нелегко обретенной в последнее время самоуверенностью; нет, она и в самом деле видела, что Грегору нужно много места для передвижения, а мебелью, судя по всему, он совершенно не пользовался. А может быть, тут сказалась и свойственная девушкам этого возраста пылкость, которая всегда рада случаю дать себе волю и теперь побуждала Грету сделать положение Грегора еще ужаснее, чтобы оказывать ему еще большие, чем до сих пор, услуги. Ибо в помещение, где были бы только Грегор да голые стены, вряд ли осмелился бы кто-либо, кроме Греты, войти.

Поэтому она не вняла совету матери, которая, испытывая в этой комнате, по-видимому, какую-то неуверенность и тревогу, вскоре умолкла и стала в меру своих сил помогать сестре выставить сундук за дверь. Без сундука Грегор, на худой конец, мог еще обойтись, но письменный стол должен был остаться. И едва обе женщины, вместе с сундуком, который они, кряхтя, толкали, покинули комнату, Грегор высунул голову из-под дивана, чтобы найти способ осторожно и по возможности деликатно вмешаться. Но на беду первой вернулась мать, ибо Грета, оставшись одна в соседней комнате, обхватила и стала раскачи-

вать сундук, который, конечно, не могла столкнуть с места. А мать не привыкла к виду Грегора, она могла даже заболеть, увидев его, и поэтому Грегор испуганно попятился к другому краю дивана, отчего висевшая спереди простыня все же зашевелилась. Этого было достаточно, чтобы привлечь внимание матери. Она остановилась, немного постояла и ушла к Грете.

Хотя Грегор все время твердил себе, что ничего особенного не происходит и что в квартире просто переставляют какую-то мебель, непрестанное хождение женщин, их негромкие возгласы, звуки скребущей пол мебели — все это, как он вскоре признался себе, показалось ему огромным, всеохватывающим переполохом; и, прижав голову и ноги к туловищу, а туловищем плотно прижавшись к полу, он вынужден был признаться себе, что не выдержит этого долго. Они опустошали его комнату, отнимали у него все, что было ему дорого; сундук, где лежали его лобзик и другие инструменты, они уже вынесли; теперь они двигали успевший уже продавить паркет письменный стол, за которым он готовил уроки, учась в торговом, в реальном и даже еще в народном училище,— и ему было уже некогда вникать в добрые намерения этих женщин, о существовании которых он, кстати, почти забыл, ибо от усталости они работали уже молча, и был слышен только тяжелый топот их ног.

Поэтому он выскочил из-под дивана — женщины были как раз в смежной комнате, они переводили дух, опершись на письменный стол,— четырежды поменял направление бега и, впрямь не зная, что ему спасать в первую очередь, увидел особенно заметный на уже пустой стене портрет дамы в мехах, поспешно вскарабкался на него и прижался к стеклу, которое, удерживая его, Грегора, приятно охлаждало ему живот. По крайней мере этого портрета, целиком закрытого теперь Грегором, у него наверняка не отберет никто. Он повернул голову к двери гостиной, чтобы увидеть женщин, когда они вернутся.

Они отдыхали не очень-то долго и уже возвращались; Грета почти несла мать, обняв ее одной рукой.

— Что же мы возьмем теперь? — сказала Грета и оглянулась. Тут взгляд ее встретился со взглядом висевшего на стене Грегора. Только, по-видимому, благодаря присутствию матери сохранив самообладание, она склонилась к ней, чтобы помешать ей обернуться, и сказала — сказала, впрочем, дрожа и наобум: — Не возвратиться ли нам, право, на минутку в гостиную?

Намерение Греты было Грегору ясно — она хотела увести мать в безопасное место, а потом согнать его со стены. Ну, что ж, пусть попробует! Он сидит на портрете и не отдаст его. Скорей уж он вцепится Грете в лицо.

Но слова Греты как раз и встревожили мать, она отступила в сторону, увидела огромное бурое пятно на цветастых обоях, вскрикнула, прежде чем до ее сознания по-настоящему дошло, что это и есть Грегор, визгливо-пронзительно: «Ах, боже мой, боже мой!» — упала с раскинутыми в изнеможении руками на диван и застыла.

— Ну, ты, Грегор! — крикнула сестра, подняв кулак и сверкая глазами. Это были первые после случившегося с ним превращения слова, обращенные к нему непосредственно. Она побежала в смежную комнату за какими-нибудь каплями, с помощью которых можно было бы привести в чувство мать; Грегор тоже хотел помочь матери — спасти портрет время еще было; но Грегор прочно прилип к стеклу и насилу от него оторвался; затем он побежал в соседнюю комнату, словно мог дать сестре какой-то совет, как в прежние времена, но вынужден был праздно стоять позади нее; перебирая разные пузырьки, она обернулась и испугалась; один пузырек упал на пол и разбился; осколок ранил Грегору лицо, а его всего обрызгало каким-то едким лекарством; не задерживаясь долее,

Грета взяла столько пузырьков, сколько могла захватить, и побежала к матери; дверь она захлопнула ногой. Теперь Грегор оказался отрезан от матери, которая по его вине была, возможно, близка к смерти; он не должен был открывать дверь, если не хотел прогнать сестру, а сестре следовало находиться с матерью; теперь ему ничего не оставалось, кроме как ждать; и, казнясь раскаянием и тревогой, он начал ползать, облазил все: стены, мебель и потолок — и, наконец, когда вся комната уже завертелась вокруг него, в отчаянье упал на середину большого стола.

Прошло несколько мгновений, Грегор без сил лежал на столе, кругом было тихо, возможно, это был добрый знак. Вдруг раздался звонок. Девчонка-прислуга, конечно, заперлась у себя в кухне, и открывать пришлось Грете. Это вернулся отец.

— Что случилось? — были его первые слова; должно быть, вид Греты все ему выдал. Грета отвечала глухим голосом, она, очевидно, прижалась лицом к груди отца:

— Мама упала в обморок, но ей уже лучше. Грегор вырвался.

— Ведь я же этого ждал,— сказал отец,— ведь я же вам всегда об этом твердил, но вы, женщины, никого не слушаете.

Грегору было ясно, что отец, превратно истолковав слишком скупые слова Греты, решил, что Грегор пустил в ход силу. Поэтому теперь Грегор должен был попытаться как-то смягчить отца, ибо объясниться с ним у него не было ни времени, ни возможности. И подбежав к двери своей комнаты, он прижался к ней, чтобы отец, войдя из передней, сразу увидел, что Грегор исполнен готовности немедленно вернуться к себе и что не нужно, следовательно, гнать его назад, а достаточно просто отворить дверь и он сразу исчезнет.

Но отец был не в том настроении, чтобы замечать подобные тонкости. «А!» — воскликнул он, как только вошел, таким тоном, словно был одновременно зол и рад. Грегор отвел голову от двери и поднял ее навстречу отцу. Он никак не представлял себе отца таким, каким сейчас увидел его; правда, в последнее время, начав ползать, Грегор уже не следил, как прежде, за происходившим в других частях квартиры и теперь, собственно, не должен был удивляться никаким переменам. И все же, и все же — неужели это был отец? Тот самый человек, который прежде устало лежал в постели, когда Грегор отправлялся в деловые поездки; который в вечера приездов встречал его дома в халате и, не будучи в состоянии встать с кресла, только приподнимал руки в знак радости; а во время редких совместных прогулок в какое-нибудь воскресенье или по большим праздникам, в наглухо застегнутом старом пальто, осторожно выставляя вперед костылик, шагал между Грегором и матерью, которые и сами-то двигались медленно, еще чуть-чуть медленней, чем они, и если хотел что-либо сказать, то почти всегда останавливался, чтобы собрать около себя своих провожатых? Сейчас он был довольно-таки осанист; на нем был плотный синий мундир, какие носят банковские рассыльные; над высоким тугим воротником нависал сильный двойной подбородок; черные глаза глядели из-под кустистых бровей внимательно и живо; обычно растрепанные седые волосы были безукоризненно причесаны на пробор и блестели. Он бросил на диван, дугой через всю комнату, свою фуражку с золотой монограммой какого-то, вероятно, банка и, спрятав руки в карманах брюк, отчего фалды длинного его мундира отогнулись назад, двинулся на Грегора с искаженным от злости лицом. Он, видимо, и сам не знал, как поступит; но он необычно высоко поднимал ноги, и Грегор поразился огромному размеру его подошв. Однако Грегор не стал мешкать, ведь он же с первого дня новой своей жизни знал, что отец считает единственно правильным к нему отношением величайшую строгость. Поэтому он побежал от отца, останавливаясь, как только отец

останавливался, и спеша вперед, стоило лишь пошевелиться отцу. Так сделали они несколько кругов по комнате без каких-либо существенных происшествий, и ввиду медленности их передвижения оно даже не походило на преследование. Поэтому Грегор пока оставался на полу, боясь к тому же, что если он побежит по стене или на потолок, то это покажется отцу верхом наглости. Однако Грегор чувствовал, что даже и такой беготни он долго не выдержит; ведь если отец делал один шаг, то ему, Грегору, приходилось проделывать за это же время бесчисленное множество движений. Одышка становилась все ощутимее, да ведь на его легкие нельзя было вполне полагаться и прежде. И вот, когда он так волочил ноги, едва открывая глаза, чтоб собрать все силы для бегства, не помышляя, по своей тупости, ни о каком другом способе спасения и уже почти забыв, что он может воспользоваться стенами, заставленными здесь, правда, затейливой резной мебелью со множеством острых выступов и зубцов,— вдруг совсем рядом с ним упал и покатился впереди него какой-то легко брошенный сверху предмет. Это было яблоко; вдогонку за первым тотчас же полетело второе; Грегор в ужасе остановился; бежать дальше было бессмысленно, ибо отец решил бомбардировать его яблоками. Он наполнил карманы содержимым стоявшей на буфете вазы для фруктов и теперь, не очень-то тщательно целясь, швырял одно яблоко за другим. Как наэлектризованные, эти маленькие красные яблоки катались по полу и сталкивались друг с другом. Одно легко брошенное яблоко задело спину Грегора, но скатилось, не причинив ему вреда. Зато другое, пущенное сразу вослед, накрепко застряло в спине у Грегора. Грегор хотел отползти подальше, как будто перемена места могла унять внезапную невероятную боль; но он почувствовал себя словно бы пригвожденным к полу и растянулся, теряя сознание. Он успел увидеть только, как распахнулась дверь его комнаты и в гостиную, опережая кричавшую что-то сестру, влетела мать — в нижней рубашке, ибо сестра раздела ее, чтобы облегчить ей дыхание во время обморока; как мать затем побежала к отцу и с нее, одна за другой, свалились на пол развязанные юбки и как она, спотыкаясь о юбки, бросилась отцу на грудь и, обнимая его, целиком слившись с ним,— но тут зрение Грегора уже отказало,— прижав ладони к затылку отца, взмолилась, чтобы он сохранил Грегору жизнь.

III

Тяжелое ранение, от которого Грегор страдал более месяца — яблоко, поскольку его никто не отважился удалить, так и осталось в теле наглядной памяткой,— тяжелое это ранение напомнило, кажется, даже отцу, что, несмотря на свой нынешний плачевный и омерзительный облик, Грегор все-таки член семьи; что с ним нельзя обращаться как с врагом, а нужно, во имя семейного долга, подавить отвращение и терпеть, только терпеть.

И если из-за своей раны Грегор навсегда, вероятно, утратил прежнюю подвижность и теперь, чтобы пересечь комнату, ему, как старому инвалиду, требовалось несколько долгих-предолгих минут — о том, чтобы ползать вверху, нечего было и думать,— то за это ухудшение своего состояния он был, по его мнению, вполне вознагражден тем, что под вечер всегда отворялась дверь гостиной, за которой он начинал следить часа за два до этого, и, лежа в темноте своей комнаты, не видимый из гостиной, он мог видеть своих сидевших за освещенным столом родных и слушать их речи, так сказать, с общего разрешения, то есть совершенно иначе, чем раньше.

Это были, правда, уже не те оживленные беседы прежних времен, о которых Грегор всегда с тоской вспоминал в каморках гостиниц, когда падал, усталый, на влажную постель. Чаще всего бывало очень тихо. Отец вскоре после ужина засыпал в своем кресле; мать и сестра призывали друг друга хранить тишину; мать, сильно нагнувшись вперед, ближе к свету, шила тонкое белье для магазина готового платья; сестра, поступившая служить продавщицей, занималась по вечерам стенографией и французским языком, чтобы, может быть, когда-нибудь позднее добиться лучшего места. Иногда отец просыпался и, словно не зная, что спал, говорил матери: «Как ты сегодня опять долго шьешь!» — после чего тотчас же засыпал снова, а мать и сестра устало улыбались друг другу.

С каким-то упрямством отец отказывался снимать и дома форму рассыльного; и в то время как его халат без пользы висел на крючке, отец дремал на своем месте совершенно одетый, словно всегда был готов к службе и даже здесь только и ждал голоса своего начальника. Из-за этого его и сперва-то не новая форма, несмотря на заботы матери и сестры, утратила опрятный вид, и Грегор, бывало, целыми вечерами глядел на эту, хоть и сплошь в пятнах, но сверкающую неизменно начищенными пуговицами одежду, в которой старик весьма неудобно и все же спокойно спал.

Когда часы били десять, мать пыталась тихонько разбудить отца и уговорить его лечь в постель, ибо в кресле ему не удавалось уснуть тем крепким сном, в котором он, уходя на службу в шесть часов, крайне нуждался. Но из упрямства, владевшего отцом с тех пор, как он стал рассыльным, он всегда оставался за столом, хотя, как правило, засыпал вторично, после чего опять-таки стоило величайшего труда убедить его перейти из кресла в кровать. Сколько ни уговаривали его мать и сестра, он подолгу медленно качал головой, не открывая глаз и не поднимаясь. Мать дергала его за рукав, говорила ему на ухо ласковые слова, сестра отрывалась от своих занятий, чтобы помочь матери, но на отца это не действовало. Лишь когда женщины брали его под мышки, он открывал глаза, глядел попеременно на мать и на сестру и говорил: «Вот она, жизнь. Вот мой покой на старости лет». И, опираясь на обеих женщин, медленно, словно не мог справиться с весом собственного тела, поднимался, позволял им довести себя до двери, а дойдя до нее, кивал им головой, чтобы они удалились, и следовал уже самостоятельно дальше, однако мать в спехе бросала шитье, а сестра — перо, чтобы побежать за отцом и помочь ему улечься в постель.

У кого в этой переутомленной и надрывавшейся от трудов семье оставалось время печься о Грегоре больше, чем то было безусловно необходимо? Расходы на хозяйство все больше сокращались; прислугу в конце концов рассчитали; для самой тяжелой работы приходила теперь по утрам и по вечерам огромная костистая женщина с седыми, развевающимися волосами; все остальное, помимо своей большой швейной работы, делала мать. Даже семейные драгоценности, которые мать и сестра с великим удовольствием надевали прежде в торжественных случаях, были проданы, как узнал однажды вечером Грегор, услыхав, что все обсуждают вырученную сумму. Больше всего, однако, сетовали всегда на то, что эту слишком большую по геперешним обстоятельствам квартиру нельзя покинуть, потому что неясно, как переселить Грегора. Но Грегор понимал, что переселению мешает не только забота о нем, ибо его можно было легко перевезти в пригодном для этого ящике с отверстиями для воздуха; удерживали семью от перемены квартиры главным образом полная безнадежность и мысль о том, что с ними стряслось такое несчастье, какого ни с кем из их знакомых и родственников никогда не случалось. Семья выполняла решительно все, чего требует свет от бедных людей, отец носил завтраки мелким банковским служащим,

мать жертвовала собой ради чужого белья, сестра, повинуясь покупателям, сновала за прилавком, но на большее у них не хватало сил. И рана на спине Грегора начинала болеть по-новому, когда мать и сестра, уложив отца, возвращались в гостиную, но не брались за работу, а садились рядом, щека к щеке; когда мать, указывая на комнату Грегора, говорила теперь: «Закрой эту дверь, Грета»,— и Грегор опять оказывался в темноте, а женщины за стеной вдвоем проливали слезы или глядели в одну точку без слез.

Ночи и дни Грегор проводил почти совершенно без сна. Иногда он думал, что вот откроется дверь, и он снова, совсем как прежде, возьмет в свои руки дела семьи; в мыслях его после долгого перерыва вновь появлялись хозяин и управляющий, коммивояжеры и ученики-мальчики, болван дворник, два-три приятеля из других фирм, горничная из одной провинциальной гостиницы — милое, мимолетное воспоминание, кассирша из одного шляпного магазина, за которой он всерьез, но слишком долго ухаживал,— все они появлялись вперемежку с незнакомыми или уже забытыми людьми, но вместо того чтобы помочь ему и его семье, оказывались все как один неприступны, и он бывал рад, когда они исчезали. А потом он опять терял всякую охоту заботиться о семье, его охватывало возмущение плохим уходом, и, не представляя себе, чего бы ему хотелось съесть, он замышлял забраться в кладовку, чтобы взять все, что ему, хотя бы он и не был голоден, причиталось. Уже не раздумывая, чем бы доставить Грегору особое удовольствие, сестра теперь утром и днем, прежде чем побежать в свой магазин, ногою запихивала в комнату Грегора какую-нибудь еду, чтобы вечером, независимо от того, притронется он к ней или — так бывало чаще всего,— оставит ее нетронутой, одним взмахом веника вымести эту снедь. Уборка комнаты, которой сестра занималась теперь всегда по вечерам, проходила как нельзя более быстро. По стенам тянулись грязные полосы, повсюду лежали кучи пыли и мусора. Первое время при появлении сестры Грегор забивался в особенно запущенные углы, как бы упрекая ее таким выбором места. Но если бы он даже стоял там неделями, сестра все равно не исправилась бы; она же видела грязь ничуть не хуже, чем он, она просто хотела оставить ее. При этом она с совершенно не свойственной ей в прежние времена обидчивостью, овладевшей теперь вообще всей семьей, следила за тем, чтобы уборка комнаты Грегора оставалась только ее, сестры, делом. Однажды мать подвергла комнату Грегора сплошной чистке, для которой пришлось извести несколько лоханок воды — такое обилие влаги было, кстати, неприятно Грегору, и, огорченный, он неподвижно распластался на диване,— но наказание постигло мать. Ибо как только сестра заметила вечером перемену в комнате Грегора, она, до глубины души оскорбившись, вбежала в гостиную и, несмотря на заклинания заламывавшей руки матери, разразилась рыданьями, на которые родители — отец, конечно, испуганно вскочил со своего кресла — глядели сначала беспомощно и удивленно; потом засуетились и они: отец, сидя справа, стал упрекать мать за то, что она не предоставила уборку комнаты Грегора сестре; сестра же, сидя слева, наоборот, кричала, что ей ни-когда больше не дадут убирать комнату Грегора; тем временем мать пыталась утащить в спальню отца, который от волнения совсем потерял власть над собой; сотрясаясь от рыданий, сестра колотила по столу своими маленькими кулачками; а Грегор громко шипел от злости, потому что никому не приходило в голову закрыть дверь и избавить его от этого зрелища и от этого шума.

Но даже когда сестре, измученной службой, надоело заботиться, как прежде, о Грегоре, а матери так и не пришлось заменить ее, Грегор тем не менее не был заброшен. Ибо теперь пришел черед служанки. Старая эта вдова, которая, вероятно, за долгую жизнь благодаря своему могу-

чему телосложению сносила и самое худшее, в сущности, не питала к Грегору отвращения. Без всякого любопытства она однажды случайно открыла дверь его комнаты и при виде Грегора, который, хотя его никто не гнал, от неожиданности забегал по полу, удивленно остановилась, сложив на животе руки. С тех пор она неизменно, утром и вечером, мимоходом приоткрывала дверь и заглядывала к Грегору. Сначала она даже подзывала его к себе словами, которые, вероятно, казались ей приветливыми, такими, например, как: «Поди-ка сюда, навозный жучок!» или: «Поглядите-ка на этого навозного жучка!» На подобные обращения Грегор никак не отвечал, он не двигался с места, словно дверь вовсе не открывалась. Лучше бы этой служанке приказали ежедневно убирать его комнату вместо того, чтобы позволять ей без толку беспокоить его, когда ей заблагорассудится! Как-то ранним утром — в стекла бил сильный дождь, должно быть, уже признак наступающей весны,— когда служанка начала обычную свою болтовню, Грегор до того разозлился, что словно бы для нападения, медленно, впрочем, и нетвердо, повернулся к служанке лицом. Та, однако, вместо того, чтобы испугаться, только занесла вверх стоявший у двери стул, и так как она широко открыла при этом рот, было ясно, что она намерена закрыть его не раньше, чем находящийся у нее в руке стул опустится на спину Грегору. «Значит, дальше не полезем?» — спросила она, когда Грегор от нее отвернулся, и спокойно поставила стул в угол на прежнее место.

Грегор теперь почти ничего не ел. Только когда он случайно проходил мимо приготовленной ему снеди, он для забавы брал кусок в рот, а потом, продержав его там несколько часов, большей частью выплевывал. Сперва он думал, что аппетит у него отбивает вид его комнаты, но как раз с переменами в своей комнате он очень быстро примирился. Сложилась уже привычка выставлять в эту комнату вещи, для которых не находилось другого места, а таких вещей было теперь много, ибо одну комнату сдали трем съемщикам. Эти строгие люди — у всех троих, как углядел через щель Грегор, были окладистые бороды — педантично добивались порядка, причем порядка не только в своей комнате, но коль скоро уж они здесь поселились, во всей квартире, и, значит, особенно в кухне. Никакого, а тем паче грязного хлама они не выносили. Кроме того, большую часть мебели они привезли с собой. По этой причине в доме оказалось много лишних вещей, которые нельзя было продать, но и жаль было выбросить. Все они перекочевали в комнату Грегора. Равным образом — ящик для золы и мусорный ящик из кухни. Все, хотя бы лишь временно ненужное, служанка, которая всегда торопилась, просто швыряла в комнату Грегора; к счастью, Грегор обычно видел только выбрасываемый предмет и державшую его руку. Возможно, что служанка собиралась при случае водворить эти вещи на место или, наоборот, выбросить все разом, но на самом деле они так и оставались лежать там, куда их однажды бросили, если только Грегор, пробираясь сквозь эту рухлядь, не сдвигал ее с места — сначала поневоле, так как ему негде было ползать, а потом со все возрастающим удовольствием, хотя после таких путешествий он часами не мог двигаться от смертельной усталости и тоски.

Поскольку съемщики порой и ужинали дома, в общей гостиной, дверь гостиной в иные вечера оставалась запертой, но Грегор легко мирился с этим, тем более что даже и теми вечерами, когда она бывала отворена, часто не пользовался, а лежал, чего не замечала семья, в самом темном углу своей комнаты. Но однажды служанка оставила дверь в гостиную приоткрытой; приоткрытой осталась она и вечером, когда вошли съемщики и зажегся свет. Они уселись с того края стола, где раньше ели отец, мать и Грегор, развернули салфетки и взяли в руки ножи и вилки. Тотчас же в дверях появилась мать с блюдом мяса и сразу же за ней — сестра с блюдом высоко наваленной картошки. От

еды обильно шел пар. Съемщики нагнулись над поставленными перед ними блюдами, словно желая проверить их, прежде чем приступить к еде, и тот, что сидел посредине и пользовался, видимо, особым уважением двух других, и в самом деле разрезал кусок мяса прямо на блюде, явно желая определить, достаточно ли оно мягко и не следует ли отослать его обратно на кухню. Он остался доволен, а мать и сестра, напряженно следившие за ним, с облегчением улыбнулись.

Сами хозяева ели на кухне. Однако, прежде чем отправиться на кухню, отец зашел в гостиную и, сделав общий поклон, с фуражкой в руках обошел стол. Все съемщики поднялись и что-то пробормотали в бороды. Оставшись затем одни, они ели в полном почти молчании. Грегору показалось странным, что из всех разнообразных шумов трапезы то и дело выделялся звук жующих зубов, словно это должно было показать Грегору, что для еды нужны зубы и что самые распрекрасные челюсти, если они без зубов, никуда не годятся. «Да ведь у меня же есть аппетит,— озабоченно говорил себе Грегор,— но только не на такие вещи. Как жадно и много эти люди едят, а я погибаю!»

Именно в тот вечер — Грегор не помнил, чтобы за все это время он хоть раз их слышал,— из кухни донеслись звуки скрипки. Съемщики уже покончили с ужином, средний, достав газету, дал двум другим по вкладке, и теперь они сидели, откинувшись, и читали. Когда заиграла скрипка, они насторожились, поднялись и на цыпочках подошли к двери передней, где и столпились. По-видимому, их услыхали на кухне, ибо отец крикнул:

— Может быть, эта игра господам неприятна? Ее можно прекратить сию же минуту.

— Напротив,— сказал средний съемщик,— не угодно ли барышне пройти к нам и поиграть в этой комнате, где, право же, гораздо приятнее и уютнее?

— О, пожалуйста,— воскликнул отец, словно на скрипке играл он.

Съемщики вернулись в гостиную и стали ждать. Вскоре явились отец с пюпитром, мать с нотами и сестра со скрипкой. Сестра спокойно занялась приготовлениями к игре; родители, никогда прежде не сдававшие комнат и потому обращавшиеся со съемщиками преувеличенно вежливо, не осмелились сесть на свои собственные стулья; отец прислонился к двери, засунув правую руку за борт застегнутой ливреи, между двумя пуговицами, мать же, которой один из съемщиков предложил стул, оставила его там, куда тот его случайно поставил, и поэтому сидела в сторонке, в углу.

Сестра начала играть. Отец и мать, каждый со своей стороны, внимательно следили за движениями ее рук. Грегор, привлеченный игрой, отважился продвинуться немного дальше обычного, и голова его была уже в гостиной. Он почти не удивлялся тому, что в последнее время стал относиться к другим не очень-то чутко; прежде эта чуткость была его гордостью. А между тем именно теперь у него было больше, чем когда-либо, оснований прятаться, ибо из-за пыли, лежавшей повсюду в его комнате и при малейшем движении поднимавшейся, сам он тоже был весь покрыт пылью; на спине и на боках он таскал с собой нитки, волосы, остатки еды; слишком велико было его равнодушие ко всему, чтобы ложиться, как прежде, по нескольку раз в день на спину и тереться о ковер. Но несмотря на свой неопрятный вид он не побоялся продвинуться вперед по сверкающему полу гостиной.

Впрочем, никто и не обращал на него внимания. Родные были целиком поглощены игрой на скрипке, а съемщики, которые сначала, засунув руки в карманы брюк, стали у самого пюпитра сестры, откуда все они заглядывали в ноты, что, несомненно, мешало сестре, прошли вскоре, вполголоса переговариваясь и опустив головы, снова к окну, где, находясь под озабоченным наблюдением отца, и остались. Теперь и в самом

деле вполне могло показаться, что они обманулись в своей надежде послушать хорошую, занимательную игру на скрипке, что все это представление им наскучило и они уже лишь из вежливости поступались своим покоем. Особенно свидетельствовало об их большой нервозности то, как они выпускали вверх из ноздрей и изо рта дым сигар. А сестра играла так хорошо. Ее лицо склонилось набок, внимательно и печально следовал ее взгляд за нотными знаками. Грегор прополз еще немного вперед и прижался головой к полу, чтобы получить возможность встретиться с ней глазами. Был ли он животным, если музыка так волновала его? Ему казалось, что перед ним открывается путь к желанной, неведомой пище. Он был полон решимости пробраться к сестре и, дернув ее за юбку, дать ей понять, чтобы она пришла со своей скрипкой в его комнату, ибо здесь никто не оценит ее игры так, как оценит эту игру он. Он решил не выпускать больше сестру из своей комнаты, по крайней мере до тех пор, покуда он жив; пусть ужасная его внешность сослужит ему наконец службу; ему хотелось, появляясь у всех дверей своей комнаты одновременно, шипеньем отпугивать всякого, кто подступится к ним; но сестра должна остаться у него не по принуждению, а добровольно; пусть она сядет рядом с ним на диван и склонит к нему ухо, и тогда он поведает ей, что был твердо намерен определить ее в консерваторию и что об этом, не случись такого несчастья, он еще в прошлое рождество — ведь рождество, наверно, уже прошло? — всем заявил бы, не боясь ничьих и никаких возражений. После этих слов сестра, растрогавшись, заплакала бы, а Грегор поднялся бы к ее плечу и поцеловал ее в шею, которую она, с тех пор как поступила на службу, не закрывала ни воротниками, ни лентами.

— Господин Замза! — крикнул средний съемщик отцу и, не тратя больше слов, указал пальцем на медленно продвигавшегося вперед Грегора. Скрипка умолкла, средний съемщик сначала улыбнулся своим друзьям и покачал головой, а потом снова взглянул на Грегора. Отец, по-видимому, счел более необходимым, чем прогонять Грегора, успокоить сначала съемщиков, хотя те вовсе не волновались и Грегор занимал их, казалось, больше, нежели игра на скрипке. Отец поспешил к ним, стараясь своими широко разведенными руками оттеснить съемщиков в их комнату и одновременно заслонить от их глаз Грегора своим туловищем. Теперь они и в самом деле немного рассердились — то ли из-за поведения отца, то ли обнаружив, что жили, не подозревая о том, с таким соседом, как Грегор. Они требовали от отца объяснений, поднимали в свою очередь руки, теребили бороды и лишь медленно отступали к своей комнате. Между тем сестра преодолела растерянность, в которую впала оттого, что так внезапно прервали ее игру; после нескольких мгновений, когда она держала в бессильно повисших руках смычок и скрипку и, словно продолжая играть, по-прежнему глядела на ноты, она вдруг встрепенулась и, положив инструмент на колени матери — та все еще сидела на своем стуле, усиленно в приступе удушья работая легкими,— побежала в смежную комнату, к которой под натиском отца уже быстрей приближались съемщики. Видно было, как под опытными руками сестры взлетают и укладываются одеяла и пуховики на кроватях. Прежде чем съемщики достигли своей комнаты, сестра кончила стелить постели и выскользнула оттуда. Отцом, видимо, снова настолько овладело его упрямство, что он забыл о всякой почтительности, с которой как-никак обязан был относиться к своим жильцам. Он все оттеснял и оттеснял их, покуда уже в дверях комнаты средний съемщик громоподобно не топнул ногой и не остановил этим отца.

— Позвольте мне заявить,— сказал он, подняв руку и поискав глазами также мать и сестру,— что ввиду мерзких порядков, царящих в этой квартире и в этой семье,— тут он решительно плюнул на пол,— я

наотрез отказываюсь от комнаты. Разумеется, я ни гроша не заплачу и за те дни, что я здесь прожил, напротив, я еще подумаю, не предъявить ли мне вам каких-либо претензий, смею вас заверить, вполне обоснованных.

Он умолк и пристально посмотрел вперед, словно чего-то ждал. И действительно, оба его друга тотчас же подали голос:

— Мы тоже наотрез отказываемся.

После этого он взялся за дверную ручку и с шумом захлопнул дверь.

Отец, шаря руками в воздухе, проковылял к своему креслу и повалился в него; с первого взгляда можно было подумать, что он расположился, как обычно, вздремнуть, но по тому, как сильно и словно бы самопроизвольно качалась у него голова, видно было, что он вовсе не спал. Грегор все время неподвижно лежал на том месте, где его застигли съемщики. Разочарованный неудачей своего плана, а может быть, и от слабости после долгого голодания, он совсем утратил способность двигаться. Он не сомневался, что с минуты на минуту все вообще рухнет, и ждал. Его не вспугнула даже скрипка, которая, выскользнув из дрожащих пальцев матери, упала с ее колен и издала гулкий звук.

— Дорогие родители,— сказала сестра, ударив для начала рукою по столу,— так жить дальше нельзя. Если вы этого, может быть, не понимаете, то я это понимаю. Я не стану произносить при этом чудовище имя моего брата и скажу только: мы должны попытаться избавиться от него. Мы сделали все, что было в человеческих силах, мы ухаживали за ним и терпели его, нас, по-моему, нельзя ни в чем упрекнуть.

— Она тысячу раз права,— сказал отец тихо. Мать, которая все еще задыхалась, начала глухо кашлять в кулак с безумным выражением глаз.

Сестра поспешила к матери и положила ладони ей на лоб. Отец, которого слова сестры навели, казалось, на какие-то более определенные мысли, выпрямился в кресле; он играл своей форменной фуражкой, лежавшей на столе среди все еще не убранных после ужина тарелок, и время от времени поглядывал на притихшего Грегора.

— Мы должны попытаться избавиться от него,— сказала сестра, обращаясь только к отцу, ибо мать ничего не слышала за своим кашлем,— оно вас обоих погубит, вот увидите. Если так тяжело трудишься, как мы все, невмоготу еще и дома сносить эту вечную муку. Я тоже не могу больше.

И она разразилась такими рыданьями, что ее слезы скатились на лицо матери, которое сестра принялась вытирать машинальным движением рук.

— Дитя мое,— сочувственно и с поразительным пониманием сказал отец,— но что же нам делать?

Сестра только пожала плечами в знак растерянности, которая — в противоположность прежней ее решимости — овладела ею, когда она плакала.

— Если бы он понимал нас,— полувопросительно сказал отец.

Сестра, продолжая плакать, резко махнула рукой в знак того, что об этом нечего и думать.

— Если бы он понимал нас,— повторил отец и, закрыв глаза, разделил убежденность сестры в невозможности этого,— тогда, может быть, с ним и удалось бы о чем-то договориться. А так...

— Пусть убирается отсюда! — воскликнула сестра.— Это единственный выход, отец. Ты должен только избавиться от мысли, что это Грегор. В том-то и состоит наше несчастье, что мы долго верили в это. Но какой же он Грегор? Будь это Грегор, он давно бы понял, что люди не могут жить вместе с таким животным, и сам ушел бы. Тогда

бы у нас не было брата, но зато мы могли бы по-прежнему жить и чтить его память. А так этот зверь преследует нас, прогоняет съемщиков и явно хочет занять всю квартиру и выбросить нас на улицу. Гляди, отец,— закричала она внезапно,— он уже опять принимается за свое!

И в совершенно непонятном Грегору ужасе сестра даже покинула мать, буквально оттолкнувшись от стула, словно предпочитала пожертвовать матерью, но не оставаться рядом с Грегором, и поспешила к отцу, который, встревожившись только из-за ее поведения, тоже встал и протянул навстречу ей руки, как бы желая ее защитить.

Но ведь у Грегора и в мыслях не было пугать кого бы то ни было, а тем более сестру. Он просто начал поворачиваться, чтобы уползти в свою комнату, а это действительно сразу же бросилось в глаза, потому что из-за болезненного своего состояния он должен был при трудных поворотах помогать себе головой, неоднократно поднимая ее и ударяясь ею об пол. Он остановился и оглянулся. Добрые его намерения, казалось, были распознаны; испуг прошел. Теперь все смотрели на него молча и грустно. Мать полулежала на стуле, вытянув ноги, глаза ее были от усталости почти закрыты; отец и сестра сидели рядом, сестра обняла отца за шею.

«Наверно, мне уже можно повернуться»,— подумал Грегор и начал свою работу снова. Он не мог не пыхтеть от напряжения и вынужден был то и дело отдыхать. Впрочем, его никто и не торопил, его предоставили самому себе. Закончив поворот, он сразу же пополз прямо. Он удивился большому расстоянию, отделявшему его от его комнаты, и не мог понять, как он при своей слабости недавно еще умудрился проделать этот же путь почти незаметно. Заботясь только о том, чтобы поскорей доползти, он не замечал, что никакие слова, никакие возгласы родных ему уже не мешают. Лишь оказавшись в дверях, он повернул голову, не полностью, ибо почувствовал, что шея у него деревенеет, но достаточно, чтобы увидеть, что позади него ничего не изменилось и только сестра встала. Последний его взгляд упал на мать, которая теперь совсем спала.

Как только он оказался в своей комнате, дверь поспешно захлопнули, заперли на задвижку, а потом и на ключ. Внезапного шума, раздавшегося сзади, Грегор испугался так, что у него подкосились лапки. Это сестра так спешила. Она уже была на ногах и ждала, потом легко метнулась вперед — Грегор даже не слышал, как она подошла,— и, крикнув родителям: «Наконец-то!» — повернула ключ в замке.

«А теперь что?» — спросил себя Грегор, озираясь в темноте. Вскоре он обнаружил, что вообще уже не может шевелиться. Он этому не удивился, скорее ему показалось неестественным, что до сих пор он ухитрялся передвигаться на таких тонких ножках. В остальном ему было довольно покойно. Он чувствовал, правда, боль во всем теле, но ему показалось, что она постепенно слабеет и наконец вовсе проходит. Сгнившего яблока в спине и образовавшегося вокруг него воспаления он уже почти не ощущал. Его мнение, что он должен исчезнуть, было, пожалуй, еще решительней, чем мнение его сестры. В этом состоянии чистого и мирного раздумья он пребывал до тех пор, пока башенные часы не пробили три часа ночи. Когда за окном все посветлело, он еще жил. Потом голова его, помимо его воли, совсем опустилась, и он слабо вздохнул в последний раз.

Когда рано утром пришла служанка — торопясь, дюжая эта женщина, сколько ее ни просили не поднимать шума, хлопала дверьми так, что с ее приходом в квартире уже прекращался спокойный сон,— она, заглянув, как всегда, к Грегору, ничего особенного сначала не заметила. Она решила, что это он нарочно лежит так неподвижно, притворяясь обиженным; в смышлености его она не сомневалась. Поскольку в руке у нее случайно был длинный веник, она попыталась пощекотать им Грего-

ра, стоя в дверях. Но так как и это не оказало ожидаемого действия, она, рассердившись, легонько толкнула Грегора и насторожилась только тогда, когда, не встретив никакого сопротивления, сдвинула его с места. Поняв вскоре истинное положение вещей, она сделала большие глаза, тихо свистнула, но не стала медлить, а рванула дверь спальни и во весь голос крикнула в темноту:

— Поглядите-ка, оно издохло, вот оно лежит, совсем-совсем дохлое!

Сидя в супружеской постели, супруги Замза сначала с трудом преодолели испуг, вызванный у них появлением служанки, а потом уже восприняли смысл ее слов. Восприняв же его, господин и госпожа Замза, каждый со своего края, поспешно встали с постели, господин Замза накинул на плечи одеяло, госпожа Замза поднялась в одной ночной рубашке; так вошли они в комнату Грегора. Тем временем отворилась и дверь гостиной, где ночевала, с тех пор как появились съемщики, Грета; она была совсем одета, как если бы вообще не спала, да и бледность ее лица являлась тому свидетельством.

— Умер? — сказала госпожа Замза, вопросительно глядя на служанку, хотя могла сама это проверить и даже без проверки понять.

— О том и твержу,— сказала служанка и в доказательство оттолкнула веником труп Грегора еще дальше в сторону. Госпожа Замза сделала такое движение, словно она хотела задержать веник, однако же не задержала его.

— Ну вот,— сказал господин Замза,— теперь мы можем поблагодарить бога.

Он перекрестился, и три женщины последовали его примеру. Грета, которая не спускала глаз с трупа, сказала:

— Поглядите только, как он исхудал. Ведь он так давно ничего не ел. Что ему ни приносили из еды, он ни к чему не притрагивался.

Тело Грегора и в самом деле было совершенно сухим и плоским, это стало по-настоящему видно только теперь, когда его уже не приподнимали ножки, да и вообще ничего больше не отвлекало взгляда.

— Зайди к нам на минутку, Грета,— сказала госпожа Замза с печальной улыбкой, и Грета, не переставая оглядываться на труп, пошла за родителями в спальню. Служанка закрыла дверь и распахнула настежь окно. Несмотря на ранний час, свежий воздух был уже тепловат. Стоял конец марта.

Трое съемщиков вышли из своей комнаты и удивились, не увидав завтрака; о них забыли.

— Где завтрак? — угрюмо спросил служанку средний.

Но служанка, приложив палец к губам, стала быстро и молча кивать съемщикам, чтобы они вошли в комнату Грегора. Они вошли туда и в уже совсем светлой комнате обступили труп Грегора, спрятав руки в карманах потертых своих пиджачков.

Тут отворилась дверь спальни, и появился господин Замза в ливрее, и с ним под руку с одной стороны жена, а с другой — дочь. У всех были немного заплаканные глаза; Грета нет-нет да прижималась лицом к плечу отца.

— Сейчас же оставьте мою квартиру! — сказал господин Замза и указал на дверь, не отпуская от себя обеих женщин.

— Что вы имеете в виду? — несколько смущенно сказал средний съемшик и льстиво улыбнулся. Два других, заложив руки за спину, непрерывно их потирали, как бы в радостном ожидании большого спора, суляшего, однако, благоприятный исход.

— Я имею в виду именно то, что сказал,— ответил господин Замза и бок о бок со своими спутницами подошел к съемщику. Тот несколько мгновений постоял молча и глядя в пол, словно у него в голове все перестраивалось.

— Ну что ж, тогда мы уйдем,— сказал он затем и поглядел на господина Замзу так, словно, как-то внезапно смирившись, ждал его согласия даже и в этом случае. Господин Замза только несколько раз коротко кивнул ему головой, вытаращив глаза. После этого съемщик и в самом деле тотчас направился широким шагом в переднюю; оба его друга, которые, прислушиваясь, уже перестали потирать руки, пустились за ним прямо-таки вприпрыжку, словно боялись, что господин Замза пройдет в переднюю раньше, чем они, и отрежет их от их вожака. В передней все три съемщика сняли с вешалки шляпы, вытащили из подставки для тростей трости, молча поклонились и покинули квартиру. С каким-то, как оказалось, совершенно необоснованным недоверием господин Замза вышел с обеими женщинами на лестничную площадку; облокотясь на перила, они глядели, как съемщики медленно, правда, но неуклонно спускались по длинной лестнице, исчезая на каждом этаже на определенном повороте и показываясь через несколько мгновений опять; чем дальше уходили они вниз, тем меньше занимали они семью Замза, а когда, сначала навстречу им, а потом высоко над ними, стал, щеголяя осанкой, подниматься с корзиной на голове подручный из мясной, господин Замза с женщинами вскоре покинул площадку, и все словно с каким-то облегчением вернулись в квартиру.

Они решили посвятить сегодняшний день отдыху и прогулке; они не только заслуживали этого перерыва в работе, он был им просто необходим. И поэтому они сели за стол и написали три объяснительных письма, господин Замза — своей дирекции, госпожа Замза — своему работодателю, а Грета — своему шефу. Покуда они писали, вошла служанка — сказать, что она уходит, так как утренняя ее работа выполнена. Писавшие сначала только кивнули, не поднимая глаз, но когда служанка, вместо того чтобы удалиться, осталась на месте, на нее недовольно взглянули.

— Ну? — спросил господин Замза.

Служанка, улыбаясь, стояла в дверях с таким видом, словно у нее была для семьи какая-то счастливая новость, сообщить которую она собиралась только после упорных расспросов. Почти вертикальное страусовое перышко на ее шляпе, всегда раздражавшее господина Замза, покачивалось во все стороны.

— Так что же вам нужно? — спросила госпожа Замза, к которой служанка относилась все-таки наиболее почтительно.

— Да,— отвечала служанка, давясь от добродушного смеха,— насчет того, как убрать это, можете не беспокоиться. Уже все в порядке.

Госпожа Замза и Грета склонились над своими письмами, словно намереваясь писать дальше; господин Замза, который заметил, что служанка собирается рассказать все подробно, решительно отклонил это движением руки. Поскольку ей не дали говорить, служанка вспомнила, что она очень торопится, крикнула с явной обидой: «Счастливо оставаться»,— резко повернулась и покинула квартиру, неистово громыхая дверьми.

— Вечером она будет уволена,— сказал господин Замза, но не получил ответа ни от жены, ни от дочери, ибо служанка, по-видимому, нарушила их едва обретенный покой. Они поднялись, подошли к окну и, обнявшись, остановились возле окна. Господин Замза повернулся на стуле в их сторону и несколько мгновений молча глядел на них. Затем он воскликнул:

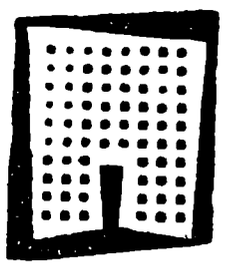
— Подите же сюда! Забудьте, наконец, старое. И хоть немного подумайте обо мне.

Женщины тотчас повиновались, поспешили к нему, приласкали его и быстро закончили свои письма.

Затем они покинули квартиру все вместе, чего они уже много меся-

цев не делали, и поехали на трамвае за город. Вагон, в котором они сидели одни, был полон теплого солнца. Удобно откинувшись на своих сиденьях, они обсуждали виды на будущее, каковые при ближайшем рассмотрении оказались совсем не плохими, ибо служба, о которой они друг друга до сих пор, собственно, и не спрашивали, была у всех у них на редкость удобная, а главное — она многое обещала в дальнейшем. Самым существенным образом улучшить их положение легко могла сейчас, конечно, перемена квартиры; они решили снять меньшую и более дешевую, но зато более уютную и вообще более практичную квартиру, чем теперешняя, которую выбрал еще Грегор. Когда они так беседовали, господину и госпоже Замза при виде их все более оживлявшейся дочери почти одновременно подумалось, что, несмотря на все горести, покрывшие бледностью ее щеки, она за последнее время расцвела и стала пышной красавицей. Приумолкнув и почти безотчетно перейдя на язык взглядов, они думали о том, что вот и пришло время подыскать ей хорошего мужа. И как бы во утверждение их новых мечтаний и прекрасных намерений дочь первая поднялась в конце их поездки и выпрямила свое молодое тело.

1912 г.



У ВРАТ ЗАКОНА

ред законом стоит привратник. К этому привратнику приходит сельский житель и просит, чтобы его пропустили в закон. Но привратник говорит, что сейчас он не может его пропустить. Подумав, поселянин спрашивает, пропустят ли его позже. «Возможно,— говорит привратник,— но не сейчас». Поскольку ворота перед законом, как всегда, открыты, а привратник отходит в сторону, поселянин нагибается, чтобы через ворота заглянуть внутрь. Заметив это, привратник смеется и говорит: «Если тебя так тянет туда, попытайся пройти, несмотря на мое запрещение. Но помни: я могуществен. А я только самый младший привратник. В каждой палате стоят привратники, один могущественней другого. Уже на третьего из них даже мне страшно взглянуть». Таких препятствий поселянин не ожидал; ведь закон, думает он, должен быть доступен всем и всегда, но присмотревшись к привратнику в тулупе, к его длинной, тонкой, черной татарской бороде, решает, что лучше подождать разрешения. Привратник дает ему табуретку и предлагает посидеть в стороне от ворот. Там он сидит долгие дни и годы. Он много раз пытается пройти в ворота и докучает привратнику своими просьбами. Порою привратник устраивает ему небольшие допросы, расспрашивает об его родине и о многом другом, но расспрашивает безучастно, как это обычно делают важные господа, а под конец каждый раз говорит, что еще не может его пропустить. Поселянин, который как следует снарядился в дорогу, ничего не жалеет, чтобы подкупить привратника. Тот действительно принимает взятки, но приговаривает: «Я принимаю это только затем, чтобы тебе не казалось, что ты в чем-либо оплошал». В течение многих лет поселянин наблюдает за привратником почти непрерывно. Он забывает о других привратниках, и этот первый кажется ему единственной преградой у входа в закон. Он проклинает эту незадачу, в первые годы решительно и громко, а позднее, постарев, только ворчит себе под нос. Он впадает в детство и, поскольку, благодаря многолетнему изучению привратника, он изучил даже блох в воротнике его тулупа, просит и блох, чтобы они помогли ему и переубедили привратника. Наконец его зрение слабеет, и он не знает, действительно ли стало темнее вокруг него или его просто обманывают глаза. Зато теперь в темноте он отлично различает сиянье, которое неугасимо льется из-за ворот закона. Жить ему остается уже недолго. Перед смертью весь опыт его ожидания

складывается у него в голове в один вопрос, которого он еще не задавал привратнику. Он подзывает его глазами, потому что уже не в силах расправить коченеющее тело. Привратнику приходится низко нагнуться, ибо разница в росте изменилась к большой невыгоде поселянина.

— Ну, а теперь-то что ты хочешь узнать? — спрашивает привратник.— Ты ненасытен.

— Если все стремятся к закону,— говорит поселянин,— то почему за эти долгие годы никто, кроме меня, не пытался пройти к нему?

Привратник видит, что поселянин уже при смерти, и, чтобы тот успел услышать его своими глохнущими ушами, рявкает:

— Пройти здесь больше никто не мог, этот вход предназначался только для тебя. Пойду-ка запру его.

1914 г.

МОСТ

Я был холодным и твердым, я был мостом, я лежал над пропастью. По эту сторону в землю вошли пальцы ног, по ту сторону — руки; я вцепился зубами в рассыпчатый суглинок. Фалды моего пиджака болтались у меня по бокам. Внизу шумел ледяной ручей, где водилась форель. Ни один турист не забредал на эту непроходимую кручу, мост еще не был обозначен на картах... Так я лежал и ждал; я поневоле должен был ждать. Не рухнув, ни один мост, коль скоро уж он воздвигнут, не перестает быть мостом.

Это случилось как-то под вечер — был ли то первый, был ли то тысячный вечер, не знаю: мои мысли шли всегда беспорядочно и всегда по кругу. Как-то под вечер летом ручей зажурчал глуше, и тут я услыхал человеческие шаги! Ко мне, ко мне... Расправься, мост, послужи, брус без перил, выдержи того, кто тебе доверился. Неверность его походки смягчи незаметно, но если он зашатается, покажи ему, на что ты способен, и, как бог горы, швырни его на ту сторону.

Он подошел, выстукал меня железным наконечником своей трости, затем поднял и поправил ею фалды моего пиджака. Он погрузил наконечник в мои взъерошенные волосы и долго не вынимал его оттуда, по-видимому, дико озираясь по сторонам. А потом — я как раз уносился за ним в мечтах за горы и долы — он прыгнул обеими ногами на середину моего тела. Я содрогнулся от дикой боли, в полном неведенье. Кто это был? Ребенок? Сон? Разбойник с большой дороги? Самоубийца? Искуситель? Разрушитель? И я стал поворачиваться, чтобы увидеть его... Мост поворачивается! Не успел я повернуться, как уже рухнул. Я рухнул и уже был изодран и проткнут заостренными голышами, которые всегда так приветливо глядели на меня из бурлящей воды.

1917 г.

ПАССАЖИРЫ

Если поглядеть на нас просто, по-житейски, мы находимся в положении пассажиров, попавших в крушение в длинном железнодорожном туннеле, и притом в таком месте, где уже не видно света начала, а свет конца настолько слаб, что взгляд то и дело ищет его и снова теряет, и даже в существовании начала и конца нельзя быть уверенным. А вокруг себя, то ли от смятения чувств, то ли от их обострения, мы видим одних только чудищ да еще, в зависимости от настроения и от раны, захватывающую или утомительную калейдоскопическую игру.

«Что мне делать?» или «Зачем мне это делать?» не спрашивают в этих местах.

1917 г.

ПРАВДА О САНЧО-ПАНСА

Занимая его в вечерние и ночные часы романами о рыцарях и разбойниках, Санчо-Панса, хоть он никогда этим не хвастался, умудрился с годами настолько отвлечь от себя своего беса, которого он позднее назвал Дон-Кихотом, что тот стал совершать один за другим безумнейшие поступки, каковые, однако, благодаря отсутствию облюбованного объекта — а им-то как раз и должен был стать Санчо-Панса — никому не причиняли вреда. Человек свободный, Санчо-Панса, по-видимому, из какого-то чувства ответственности хладнокровно сопровождал Дон-Кихота в его странствиях, находя в этом увлекательное и полезное занятие до конца его дней.

1917 г.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ

Я возвратился, я прошел переднюю и оглядываюсь. Это старый двор моего отца. Лужа посередине. Старый, ненужный скарб, сваленный в кучу, загораживает дорогу к чердачной лестнице. Кошка сидит на перилах. Драная тряпка, когда-то во время игры намотанная на жердь, колышется на ветру. Я прибыл. Кто меня встретит? Кто ждет за дверью кухни? Из трубы идет дым, варят кофе на ужин. Тебе уютно, ты чувствуешь себя дома? Я не знаю, я очень неуверен. Да, это дом моего отца, но вещи стоят кругом холодно, словно каждая из них занята своими делами, иные из которых я забыл, а иных и вовсе не знал. Какая им от меня польза, что́ я им, даже если я и сын своего отца, старого хуторянина? И я не отваживаюсь постучать в дверь, я только прислушиваюсь издали, я только стоя прислушиваюсь издали, чтобы меня никто не застиг у кухонной двери. И оттого что прислушиваюсь я издали, я ничего не могу подслушать, я слышу лишь слабый бой часов, или, может быть, мне только кажется, что я его слышу — из времен детства. А что еще происходит в кухне — это тайна тех, кто там сидит, и они не выдают ее мне. Чем больше молчишь у двери, тем сильней отчуждение. Что, если кто-нибудь отворит сейчас дверь и спросит меня о чем-либо? Не буду ли я тогда и сам похож на того, кто хочет сохранить свою тайну?

1920—1922 гг.

НОЧЬЮ

Пуститься в ночь. Как иногда опускают голову, чтобы задуматься, так целиком опуститься в ночь. Кругом спят люди. Это маленькое притворство, невинный самообман — что они спят в домах, на прочных кроватях, под прочной крышей, вытянувшись или калачиком, на матрацах, простынях и под одеялами, на самом деле они собрались, как в тот раз уже и как потом, в пустынном поле, стойбищем на просторе, несметное число людей, войско, народ, под холодным небом на холодной земле, повалившись там, где стояли, подложив под лоб руку, лицом к земле, спокойно дыша. А ты не спишь, ты один из дозорных, ты находишь ближайшего своего товарища, помахав головешкой из горящего рядом с тобою костра. Почему ты не спишь? Кто-то должен не спать, так уж ведется. Кто-то должен быть начеку.

1920 г.

ЛИДИЯ СИМОНЯН

ЛЮДИ И КНИГИ

Проза ГДР о молодом современнике

Каков он, молодой немец середины века? Что его волнует? К чему он стремится? Каковы его взгляды на то, что было, на то, что есть, на то, что будет? В художественной литературе можно и нужно искать ответа на этот вопрос. Однако в наши дни существует не только два немецких государства, но и две немецкие литературы. Иначе и быть не может, ибо даже стремление к миру, сближающее лучших писателей ФРГ с писателями ГДР, проявляется в их книгах по-разному: выражая это стремление, каждый из писателей отображает ту социальную действительность, в которой он живет и творит.

За последние два-три года в ГДР создано и издано немало книг, позволяющих судить о том, как смотрят на жизнь молодые немцы, четырнадцать лет назад ставшие гражданами Германской Демократической Республики. Таковы книги Кристы Вольф, Эрика Нейча, Юрия Брезана, Карла-Гейнца Якобса, Бригитты Рейман, Гюнтера и Иоганны Браун, Вернера Шмоля, Иоахима Вольгемута, Рейнгарда Венцеля, Ирмтрауд Моргнер и других.

Этот вопрос обретает особое значение потому, что на протяжении века немецкие захватчики дважды вторгались в Европу, оставляя позади себя развалины и трупы. Особенно губительным для народов всего мира оказалось второе вторжение.

В то время как ГДР, первое в мировой истории немецкое государство, отвергающее милитаризм, утверждающее социализм, делает все возможное для того, чтобы прошлое не повторилось, в ФРГ готовят третье вторжение. В таких условиях от молодежи зависит многое.

Итак, речь идет о молодом современнике по эту сторону Эльбы. Писатели ГДР относят к молодым и тех, кто почти не помнит черных лет фашистской диктатуры, и тех, кто в конце войны успел побывать гитлеровским солдатом.

Рите Зейдель, героине изданного в 1963 году романа Кристы Вольф «Расколотое небо», девятнадцать лет. Манфред Герфурт, с которым она связывает свою судьбу, старше: ему под тридцать. «Где-то между мною и нею начинается новое поколение»,— думает Манфред.

Манфред Герфурт принадлежит к поколению немцев, пережившему тяжкий конфликт отцов и детей. Изображению этого конфликта посвящено множество произведений тех западногерманских писателей, которым ненавистны отцы-фашисты, предававшие своих сыновей, заставлявшие их убивать и умирать, губившие их души и их жизни. В Западной Германии этот конфликт обретает особую остроту, ибо там немало таких отцов, которые продолжают предавать сыновей, способствуя возрождению прошлого — германского фашизма, германского милитаризма. Об этом свидетельствуют романы Кристиана Гейслера и Пауля Шаллюка, Генриха Бёля и Вольфганга Кёппена, а также и других. В литературе ГДР конфликт отцов и детей принимает совершенно иной характер.

Отец Манфреда Герфурта прежде носил форму штурмовика. Теперь он носит значок члена СЕПГ. Прежде в столовой висел на стене портрет Гитлера. Теперь там висит картина, изображающая осенний пейзаж.

«Попутчик — и ничего больше... Попутчик немецкого образца. Убеждений у него никогда и не было», — говорит сын об отце.

Манфред прав, когда отказывает своему отцу в уважении и в любви. Но беда Манфреда в том, что он, не веря таким, как его отец, не верит людям вообще.

Исповедуясь любимой девушке, Манфред вспоминает первые послевоенные годы. Он и тогда не поверил, что можно все переделать по-новому. «А с кем? — спрашивает он с горькой иронией.— С теми же людьми?»

Он любит Риту, он, одаренный химик, молодой ученый, любит свою работу, свою науку. И все же — после того, как кто-то, по недомыслию или по злому умыслу, отвергает его ценное изобретение,— он становится перебежчиком. Не потому, что в ФРГ он рассчитывает на справедливость; на этот счет у него нет иллюзий. А потому, что там, как он заявляет, не будет «громких фраз».

Трагедия Манфреда в том, что он не верит в возможность изменения жизни к лучшему, что любые идеи, даже и те, благодаря которым жизнь и в самом деле меняется к лучшему, кажутся ему фальшивыми. Ему, в детстве и ранней юности оглушенному геббельсовскими громкоговорителями, до сих пор каждая фраза кажется громкой.

Типично ли, характерно ли то, что воплощено Кристой Вольф в образе Манфреда Герфурта? Думается, что это характерно для определенной части немецкой молодежи, мировосприятие которой начало формироваться еще во времена фашистской демагогии.

Такие, как Манфред Герфурт, не верят никому и ничему оттого, что однажды были обмануты,— и в этом их ошибка. Но ошибка не для всех роковая; многие из них заново учатся верить, их учит этому жизнь.

Не ставит ли Криста Вольф в своей книге вопрос о так называемом «потерянном поколении»? Ведь это словосочетание, пущенное в ход после первой мировой войны, иногда употребляется и теперь.

В споре с Эрнстом Вендландом, молодым человеком, делающим все, что в его силах, для построения социализма, Манфред Герфурт говорит: «Вам нужны несгибаемые герои. А здесь вы найдете лишь сломленное поколение. Трагическое противоречие. И антагонистическое».

Сломленное поколение? Потерянное поколение? Разве это не одно и то же? Нет, ибо герои так называемого «потерянного поколения» переживали крушение идеалов, рухнувших потому, что они были абстрактно-гуманистическими. А герои того поколения, которое Манфред Герфурт называет сломленным, воспитывались в ненависти к гуманизму вообще. Их мнимые идеалы, подлинная сущность которых пряталась под оболочкой лживых фраз, были антигуманистическими. Пришло время, когда молодые люди, подобные Манфреду Герфурту, поняли, что верили в ложь, внушенную им фашистской пропагандой. И, поняв это, утеряли способность верить во что бы то ни было, даже и в истину. Однако вряд ли стоит, применительно к таким молодым людям, пользоваться термином «потерянное поколение», хотя у них и есть что-то общее с героями известных романов, созданных известными писателями; не стоит потому, что в данном случае важно не столько сходство, сколько различие между ними.

Понятие «сломленное поколение» условно, хотя Манфред и пытается придать ему абсолютное значение, рассуждая о будто бы существующем антагонистическом противоречии между эпохой и ее гражданами.

Если Манфред Герфурт причисляет себя к «сломленному поколению», то Эрнст Вендланд, в прежние годы поддавшийся обману, в новые времена нашел истину. Он не сломлен старым; он созидатель нового. И это доказывает, что «сломленного поколения», как единого целого, не существует,— так же, как, впрочем, не существовало, как единого целого, и «потерянного поколения».

И все же Манфред Герфурт не представляет собой исключительного явления. Чтобы убедиться в этом, достаточно назвать хотя бы Томаса Брайтшпрехера, героя романа Карла-Гейнца Якобса «Описание одного лета», изданного в ГДР в 1961 году.

Томас Брайтшпрехер вспоминает, как он в детстве играл с соседскими мальчишками в штурмовиков и коммунистов. И все хотели быть штурмовиками, и никто не хотел быть коммунистом, потому что это означало наверняка быть избитым. А потом — прежде чем попасть на войну — мальчишки играли в войну; и те, кто в драке оказывался сильнее, считались «доблестной германской армией».

«И вот, когда все это осталось позади, все это, и еще плен и бегство из плена, и еще годы сорок шестой, сорок седьмой, сорок восьмой, тогда уже не было в мире ничего, что могло бы взволновать, ровным счетом ничего, кроме математики. И музыки. Волноваться из-за этого еще имело смысл, ибо это казалось единственным, что основывалось на объективных закономерностях, единственно прочным. Мы изрядно позанимались всякой дьявольщиной, смертью и политикой, искусством и всевозможнейшей демагогией и блефом, пока не пришли к выводу: математика, музыка».

Томас Брайтшпрехер, способный молодой инженер, однажды летом попадает на стройку в Варту. И это спасает его от той участи, которая постигла Манфреда Герфурта. Это, а также более осознанная ненависть к фашизму. «Нет ничего, что он ненавидел бы сильнее, чем фашизм,— говорит о Томасе один из его товарищей по работе,— фашизм сделал его циником».

Точнее сказать, фашизм превратил его в скептика, но ведь от скептицизма до цинизма один шаг. И в том, что Томас освободился от скептицизма, решающую роль играет не только любовь, впервые овладевшая им, но и вся обстановка, в которой он живет, его увлеченность своей работой, становящейся (он понял это теперь) частью общего дела

Томас Брайтшпрехер — человек с душевным надломом, но он не сломлен. Герой книги Карла-Гейнца Якобса, в отличие от Манфреда Герфурта из романа Кристы Вольф, совершает путь от ложной веры к безверию и от безверия к истинной вере. Причем он верит не в догму, а в идею, которая на его глазах и при его участии претворяется в жизнь.

В Варте, мирном трудовом городе, встаю-

щем из руин, Томас Брайтшпрехер, немало поработавший и немало переживший, нашел себя. В этом городе делалось многое для того, чтобы больше не было ни несправедливых войн, затеваемых кучкой агрессоров, ни эсэсовцев, ни вервольфов, ни скептиков, ни циников.

Не следует забывать и еще об одной причине, благодаря которой в ГДР молодым людям вроде Брайтшпрехера удается найти выход из тупика,— это помощь старшего поколения немецких антифашистов. Исторические обстоятельства сложились так, что именно в Восточную Германию вернулись из эмиграции видные участники антифашистской борьбы; туда же большей частью возвращались из концлагерей и коммунисты-подпольщики. Не только для живых, но и для погибших героев антигитлеровского подполья нашлось место именно в Германской Демократической Республике, где свято чтут их светлую память. Ведь в фашистской Германии были такие отцы и матери, которые не предали сыновей и дочерей, которые, погибая, оставляли в наследство сыновьям и дочерям то, чем обладали сами: несгибаемую волю к борьбе за мир и свободу. Пусть их было мало, но они сделали много — спасли честь своей родины и своего народа.

Не только у Манфреда Герфурта, но и у Томаса Брайтшпрехера нет такого отца. Однако в судьбе Томаса Брайтшпрехера многое зависит от того, что он, попав на стройку, дышит атмосферой революционного созидания. Где революционное созидание, там и революционная преемственность, передаваемая из поколения в поколение любовь к человеку и ненависть к врагам человечества, фашистам и милитаристам старого и нового образца.

В начале «Описания одного лета» между Томасом Брайтшпрехером, от имени которого ведется повествование, и одной из его сотрудниц произошел следующий разговор:

«— Ладно, то, что ты не за Аденауэра,— я знаю. Но за что ты?

— За математику,— ответил я».

К концу романа Томас Брайтшпрехер понимает, что существуют и иные истины, кроме математических. Теперь он по-иному ответил бы на вопрос, за что он.

А вот перед нами роман Гюнтера и Иоганны Браун «Ева и новый Адам», тоже вышедший в ГДР в 1961 году. За плечами у Петера Адама, его героя, нет такого трудного прошлого, как у Томаса Брайтшпрехера. Да и отец у него не плохой, а хороший. И все же книга начинается так:

«Я привык, что мои расчеты безошибочны. Если вдруг вкрадется ошибка, я всю ночь глаз не сомкну. Синус альфа на косинус альфа дает тангенс альфа. В каждом треугольнике соотношение сторон равно соотношению синусов противолежащих углов. Корень квадратный из двух равен 1,4142. Для чего существуют законы математики?

Люди жили бы счастливее, если бы строили свою жизнь по законам точных наук, а не в соответствии с неопределенными чувствами».

Что же все это означает? Откуда такое увлечение математикой, причем не просто увлечение, а противопоставление математики всему другому? Может быть, это связано с так называемой проблемой физиков и лириков? Вряд ли, тут скорее всего речь идет об иной проблеме. Чтобы убедиться в этом, вернемся к романам Кристы Вольф и Карла-Гейнца Якобса.

В романе Кристы Вольф имеется не только герой, но и героиня. Именно через восприятие героини преломляются все изображенные в романе события.

Совсем юная, Рита Зейдель постепенно открывает для себя мир. Первое ее открытие — любовь к Манфреду Герфурту. А потом, работая и учась, она все больше и больше связывает свою судьбу с судьбой трудового народа ГДР и наконец начинает понимать, что в Германии, разделенной надвое, возможны два противоположных пути; она выбирает верный путь, жертвуя любовью.

И именно потому, что разрыв с Манфредом едва не стоит ей жизни, мы верим, что она не могла поступить иначе.

Особенно важно, что Рита делает свой выбор после того, как в своей стране сталкивается с трудностями, мучительно переживаемыми ею. Вот Рита Зейдель уже студентка, она собирается стать учительницей. Среди студентов есть некто Мангольд, член СЕПГ, претендующий на роль партийного деятеля. «Он говорил о партийной линии, как католики говорят о непорочном зачатии»,— насмешливо скажет о нем в конце книги Шварценбах, тоже член СЕПГ, настоящий партиец. Но прежде, чем это и многое другое будет сказано, все остальные будут молчать, протестуя только лишь в глубине души, а Мангольд, догматик, начетчик, фразер, успеет причинить немало вреда.

Не потому ли герои этих книг не любят пафоса, что им время от времени приходилось встречаться с ложным пафосом, которым переполнены трескучие фразы мангольдов? Не оттого ли они предпочитают всему точные науки, в которых фразам нет места? Однако не следует забывать и о том, что у некоторой части немецкой молодежи, как уже говорилось, есть давнее отвращение к заученным фразам, оставшееся с гитлеровских времен. Этим обстоятельством явно усугубляется тот вред, который приносят начетчики вроде Мангольда.

Не только Рите Зейдель, но и Томасу Брайтшпрехеру приходится сталкиваться с догматиками. Это случается тогда, когда он впервые в жизни узнает, что такое истинная любовь; Томас Брайтшпрехер полюбил замужнюю женщину; для обоих нет жизни друг без друга.

Любопытно, что автор не свел в своей книге концы с концами. Во всяком случае, он уклоняется от прямого ответа на поставленный вопрос, хотя, казалось бы, ответ ясен: ведь Грит и ее муж не связаны друг с другом ни детьми, ни душевной близостью. Читатели, выступая на конференциях, упрекали автора за недостаточно ясную и

недостаточно смелую концовку, хотя в общем книга заслужила высокую оценку.

Криста Вольф последовательнее. Ее взгляд на вещи с полной определенностью выражен в словах, сказанных женой Шварценбаха о всяческих мангольдах: «Мы или они!». Писательница глубоко убеждена, что пора кончать с догматизмом всякого рода. Ибо догматики, даже и те, у кого честные намерения, наносят ущерб делу социализма.

Книга Кристы Вольф пользуется заслуженным успехом у читателей ГДР. Ключом к ней могут служить слова, вложенные писательницей в уста Шварценбаха: «Мы наконец-то созрели для того, чтоб смотреть правде в глаза. Хватит выдавать трудное за легкое, черное за белое. Хватит злоупотреблять людским доверием. Это самое ценное наше завоевание! Тактика — да, конечно, но лишь такая тактика, которая приводит к правде».

Совершенно очевидно, что ключ к книге тот же, что и ключ к нашему времени, ознаменованному XX съездом Коммунистической партии Советского Союза. И в этом смысле книга Кристы Вольф не составляет исключения в литературе ГДР последних лет.

Разумеется, молодые писатели, овладевая творческим методом социалистического реализма, учатся у старших. Так, например, роман Анны Зегерс «Решение», посвященный современной немецкой действительности, может служить образцом правдивого отображения истинной сложности общественных событий и человеческих судеб. Однако именно за последние годы в литературе ГДР явно произошел заметный сдвиг. Все реже и реже появляются романы, приукрашивающие действительность, либо бесконфликтные, либо с мнимым конфликтом, благополучный исход которого заранее известен. Все чаще и чаще писатели ГДР касаются в своих книгах самых сложных и острых конфликтов, взятых из жизни. В этом смысле роман Кристы Вольф — одно из наиболее значительных произведений, созданных в шестидесятые годы.

Проблема положительного героя — в данном случае положительной героини — в этой книге решена, ибо образ Риты Зейдель художественно убедителен и жизненно правдив. Внутреннее становление Риты Зейдель прежде всего и больше всего определяется новыми социальными условиями, в которых она живет.

Гамбургская газета «Вельт» с провокационными целями подняла шумиху вокруг романа «Расколотое небо». Член редакционной коллегии Гюнтер Цем, высказываясь по поводу романа, не перестает удивляться.

Его удивляет, как это Криста Вольф не побоялась использовать в романе внутренний монолог, да еще и с чередованиями во времени, с переходами от сегодняшних событий к вчерашним, от вчерашних к сегодняшним. «Это тоже рискованно...» — глубокомысленно изрекает он.

Еще более рискованным кажется ему то, что в романе на долю таких героев, как Эрнст Вендланд или Вольф Метернагель, выпадают нелегкие испытания. Как же так, недоумевает он, Вольф Метернагель, изображенный в романе как рабочий-новатор, в отделе кадров на плохом счету, его однажды даже понизили в должности?.. Почему же, вопрошает Гюнтер Цем, этот роман, положительными героями которого оказываются люди с трудными судьбами, в ГДР издан, встречен с одобрением и даже удостоен премии? Тут-то гамбургский критик и делает сенсационное открытие: герои, противопоставленные писательницей Манфреду Герфурту, верны СЕПГ, несмотря на то, что им порою приходится переживать трудности и наталкиваться на несправедливости. Что ж, спору нет, так оно и есть, это правда. А критик безапелляционно заявляет, что это натяжка, что такого не бывает...

Той сенсации, на которую рассчитывал западногерманский критик, не получилось. Цем своей статьей доказал, что даже и враги вынуждены считаться с фактом: литература ГДР, особенно в последние годы, решает сложные проблемы немецкой действительности. Какова бы ни была его аргументация, он так или иначе признал, что книга Кристы Вольф отнюдь не бесконфликтная, отнюдь не лакировочная. Что же касается недоверчивого отношения критика к Риге Зейдель и ее друзьям, то его сомнения в правдивости их образов неосновательны. Они и в самом деле за ГДР, потому что знают: тут их родина, тут они — хозяева своей страны; в их силах изменять жизнь к лучшему, преодолевая трудности и исправляя ошибки, работая для общего блага.*

Итак, каковы они, молодые немцы пятидесятых-шестидесятых годов? Они разные, и такие, как Рита Зейдель, и такие, как Томас Брайтшпрехер, и такие, как Манфред Герфурт. В повести Бригитты Рейман «Прибытие в будни» трое героев — семнадцатилетняя Реха Гейне, восемнадцатилетние Николаус Шпаршу и Курт Шелле. Они из того же поколения, что Рита Зейдель; фашистское прошлое знают только понаслышке.

Проблема отцов и детей принимает в этой книге неожиданный оборот. У Курта Шелле такой отец, которым можно гордиться. Старый коммунист, много лет пробывший в концлагере, он никогда не переставал бо-

---

* Статья была уже написана, когда в ГДР журнале «Форум» № 22 за 1963 год было опубликовано выступление Хорста Эккерта по поводу развернувшейся в ГДР дискуссии о «Расколотом небе». Хорст Эккерт, на наш взгляд, совершенно прав, споря с отдельными критиками, по ошибочному мнению которых в романе слишком много конфликтов, особенно там, где речь идет о положительных героях, хотя бы о Метернагеле. «Как раз такие заостренные ситуации и трудные судьбы дают художнику особую возможность показать величие социалистического общества, силу его воздействия на людей»,— справедливо отмечает Хорст Эккерт.

роться за правое дело; когда его отправили на фронт, он перешел линию фронта, не сделав ни единого выстрела. Ныне он руководит крупным предприятием; на старости лет учился, стал инженером. Сын не столько гордится, сколько хвастается отцом. «Он валяется на отцовских лаврах, он глотает отцовские монеты»,— презрительно говорит о нем Реха, хоть она и увлечена им. А отец, которому некогда заниматься сыном, как-то, ужаснувшись, спрашивает самого себя, почему именно у его сына мелкобуржуазная психология.

Герои книги, все трое, встречаются на комбинате «Шварце пумпе», куда они прибыли работать. Курт много говорит и мало делает, он фразер, он позер, он стиляга, хотя при всем при том не лишен обаяния. Николаус, сын наборщика, в прошлом социал-демократа, ныне члена СЕПГ, немногословен, деловит. В нем не угадаешь художника, но он, если верить автору, будет художником: в его картинах все знакомо и все ново. А Реха? Сирота, отец которой в годы фашизма отрекся от матери, потому что та была еврейкой, Реха выросла в интернате. Она красива, совсем не глупа, но легкомысленна и быстро поддается влиянию Курта: ходит с ним по ресторанам, напивается допьяна, опаздывает на работу.

При чтении книги поначалу возникает досадное чувство: совершенно очевидно, что положительный герой — это Николаус, а между тем именно его образ бледнее других. Но постепенно это чувство ослабевает. Впрочем, не потому, что образ Николауса становится ярче, а потому, что Реха все больше и больше привлекает читателя: лучшее в ней побеждает, она находит свое место в жизни. Найдет свое место в жизни и Курт, но не сразу, а после того, как жизнь его хорошенько поучит. Концовка романа свидетельствует о том, что урок, полученный Куртом от Рехи, отвергнувшей его любовь, и от товарищей по работе, не прошел для него даром.

Что дает эта книга для ответа на вопрос о том, каковы молодые немцы середины века? Еще один вариант конфликта отцов и детей? Что ж, этот вариант не надуман, он существует в немецкой жизни. Недаром он, в несколько ином виде, разрабатывается и в романе Вернера Шмоля «В семнадцать лет ты еще не герой»,— правда, в связи с судьбой второстепенного персонажа. Но дело не только в этом. Повесть Бригитты Рейман «Прибытие в будни» — это еще одна книга, в которой показано, как молодые люди под благотворным воздействием окружающей среды открывают в себе то лучшее, что в них есть.

Вторая повесть Бригитты Рейман «Сестра и братья» также посвящена современной немецкой молодежи. Роман Кристы Вольф «Расколотое небо» и повесть Бригитты Рейман «Сестра и братья» написаны в один и тот же год. Книги сходны по тематике, чрезвычайно актуальной. Они свидетельствуют о том, что наличие двух вплотную граничащих друг с другом немецких государств с различными социально-политическими системами рано или поздно требует от каждого немца ответа на вопрос: с кем ему по пути — со сторонниками мира и социализма или со сторонниками войны и фашизма. Это, в сущности, и есть германский вопрос наших дней, для немцев самый животрепещущий, самый решающий.

Героиня повести Элизабет Арендт чем-то похожа на Реху Гейне. Она тоже хороша собой, тоже любит проводить вечера в кафе, тоже может напиться. Но у нее, в отличие от Рехи, уже есть профессия: она художница. Ее брат, Ульрих Арендт, инженер. Наступает день, намеченный им для бегства в Западную Германию. С этого и начинается книга.

Конрад Арендт, старший брат Бетси и Ули, тоже инженер, еще раньше стал перебежчиком. Но с ним все более или менее ясно: он, как говорит его сестра, «человек локтя» — локти даны ему для того, чтобы толкаться, и он думает, что в ФРГ скорее протолкнется к богатству, к комфорту.

«Сегодня у него есть удобно оборудованное место под солнцем — этакое теплофицированное местечко, с выложенной кафелем ванной, с домашним баром и со всем, что полагается иметь преуспевающему человеку...— говорит о нем сестра, от имени которой ведется повествование.— Он просится в хрестоматию: самый подходящий герой для рассказа о беглецах из Восточной зоны».

Но Ули... ведь он никогда не был обывателем, стяжателем... Что же случилось с ним? Почему он решил перейти из ГДР в ФРГ?

Между сестрой и братом происходит следующий диалог:

«— Они запретили КПГ.

— Может быть,— сказал Ули спокойно,— может быть, именно поэтому я и вступлю там в КПГ.

— Может быть, тебя за это в два счета упрячут в кутузку.

— Что ж, это еще полбеды, гораздо хуже, если меня упрячут в кутузку свои,— сказал Ули.

Я ответила с издевкой:

— Разумеется, социализм вещь хорошая, пока его нет в собственной стране.

— Пока за него можно бороться, пока дураки не размололи его языками,— закричал Ули.

— Сам дурак! — закричала я.»

Вот она, еще одна разновидность молодого немца нашего времени. В первые послевоенные годы он, тогда подросток, горел желанием все переделать, все перестроить, во имя социализма. А потом огонь угас, так как молодой человек натолкнулся на трудности. К нему отнеслись с недоверием, ему отказали в работе, о которой он мечтал.

«Я отрекаюсь от ваших людей, но не от нашего дела»,— говорит он сестре. Наше дело, ваши люди!.. Можно ли так рассуждать? Да, и в стране, строящей социализм, встречаются люди, которые совершают не только несправедливости, но и преступления. То, как какой-то человек из отдела кадров поступил с Ули, это несправедливость. То, что другой человек из Союза художников

пытался сделать с Бетси, это преступление: он сознательно оклеветал ее. Но Бетси не сдалась, она боролась за справедливость, а Ули сдался. В этом разница между сестрой и братом. К тому же Бетси в трудную минуту была не одна: нашлись люди, которые помогли ей обуздать клеветника. Не потому ли нашлись, что и она их искала?

Книга кончается тем, что Ули остается на родине. Нашлись люди, которые помогли ему понять собственную ошибку. Эти люди — его сестра и ее жених Иоахим Штейнбринк, сын старого коммуниста, идущий по пути своего отца.

Проза ГДР, создаваемая в шестидесятые годы нашего века, оптимистична. Однако вера в будущее и вера в человека, утверждаемые этой прозой, не исключают реального изображения человеческих трагедий. То, что случилось с Ритой Зейдель, вынужденной пожертвовать первой любовью, было трагедией. То, что пережила Элизабет Арендт, могло стать трагедией.

И нет ничего удивительного в том, что многие из человеческих трагедий, отображенных в романах и повестях, обусловлены одной и той же социально-исторической причиной: расколом Германии, наличием двух германских государств. Две Германии — это два разных мира, противостоящих друг другу. Недаром и Рите Зейдель и Элизабет Арендт в Западной Германии все кажется чужим, одной из них — даже немецкий язык.

Человек, выбирающий между двумя мирами,— это типичный герой многих прозаических произведений последних лет. таких как «История одной любви» Юрия Брезана. «Жалости нет» Вольфганга Йохо, «Возвращение Иоахима Отта» Фрица Зельбмана. «Профессор Гудербраах» Инги фон Вангенхейм, «Сердце пополам» и «Победители» И. Шварца, «Лена в Берлине» Гельмута Мейера и других. К сожалению, последние три книги не удовлетворяют высоким требованиям настоящего искусства. Но если оставить в стороне творческие неудачи отдельных авторов, проза ГДР служит убедительным подтверждением того факта, что молодые немцы, отдающие социалистическому строительству не только свои рабочие руки, но и свои умы и свои сердца, раз и навсегда сделали выбор. Героиня Бригитты Рейман не случайно говорит «моя республика»; для таких, как она, это не пустое слово. Нет сомнения в том, что ее выбор окончательный: она сделала его, глядя на жизнь в ГДР открытыми глазами, видя и то, что уже достигнуто, и то, чего еще надо достигнуть.

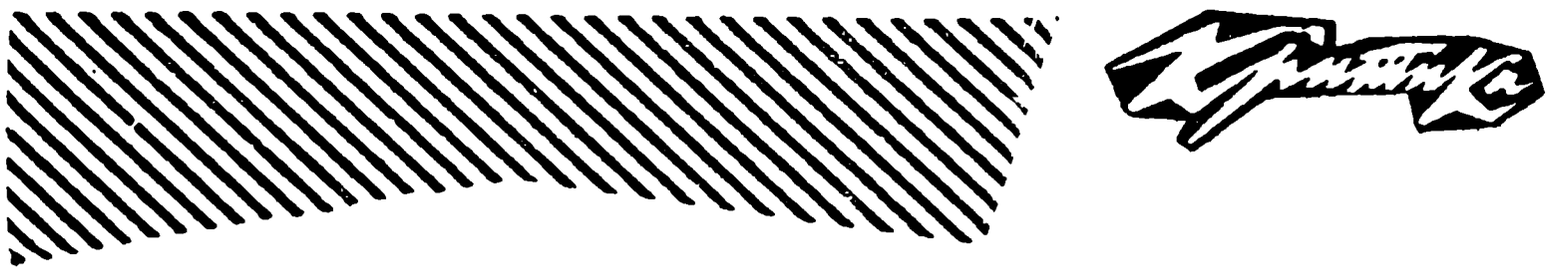
В лучших романах шестидесятых годов ощущается глубокая человечность, утверждается необходимость бережного отношения к людям. Этой человечностью пронизан и роман Эрика Нейча «След камней», печатающийся в молодежном журнале «Форум».

Книг и молодых людей, изображенных в этих книгах писателями ГДР, много. И хотя мера и степень творческой одаренности у каждого писателя своя, тем не менее читателю ясно одно: молодые люди Германской Демократической Республики ненавидят фашистское прошлое и верят в социалистическое будущее; они приложат все усилия к тому, чтобы в мире был мир.

На конференции, происходившей в 1963 году в Союзе немецких писателей, встретились, как обычно, литераторы обоих поколений, старшего и младшего.

«Я убеждена, что каждый из писателей, посланных делегатом на эту конференцию, хотел бы отображать окружающий нас мир по нашему методу, то есть таким, каков он есть,— как мир, где, несмотря на некоторые отступления, несмотря на трудности, строится социализм, как мир, устремленный к социализму. Писатель не может иначе, если желает дать реалистическое отображение окружающего нас мира, глядя на него с социалистической точки зрения, самой дальновидной из возможных...— сказала Анна Зегерс — Социалистический реализм означает отображение жизни в ее неотвратимом движении вперед, увиденном с той точки зрения, с которой это движение лучше всего видно. Из чего отнюдь не следует, что мы — как это недавно приписала товарищу Хагеру одна западногерманская газета — изображаем жизнь так, будто наша мечта о новом мире получила полное воплощение. В лучших из произведений, таких, как книга Кристы Вольф «Расколотое небо» или роман Эриха Нейча «След камней», этот заново рождающийся мир либо уже существует, либо еще находится в зародыше, заявляя свои права на существование».

Литература ГДР — в частности, лучшие образцы ее прозы, созданные за последние годы,— способствует тому, чтобы заново рождающийся мир оказался сильнее старого мира, уходящего в небытие.



ВЛАДИМИР ДОСТАЛ

ПЛОДЫ, НЕ УСПЕВШИЕ СОЗРЕТЬ

О неоконченных работах Ю. Фучика

Среди последних писем Фучика из тюрьмы есть одно, которое он начал стихами:

Мой плод из тех, что поздно вызревает,
Питаясь мглою над печальными лугами,
Когда она встает над черными загробными водами,
А на горах уж первый снег блистает.

То были стихи его учителя, великого чешского критика Франтишка Ксавера Шальды, и Фучик вспомнил их потому, что они выражали именно то, о чем он сам думал в четырех стенах тюремной камеры, предчувствуя близкий конец. И все же Фучик не сдался. Весной 1943 года в камере № 267 Панкрацкой тюрьмы он не только написал «Репортаж с петлей на шее», но попытался осуществить и другие свои литературные замыслы. Без книг, без справочного материала, только по памяти начал он писать эссе «О характере чешской литературы», от которого сохранилось введение. Да и как мог он сдать позиции, когда ему было всего сорок лет! В этом возрасте человек как раскидистое дерево· вдохновение молодости переплавляется в мудрость опыта. Ими проникнуты лирические строки письма Фучика:

«Ты знаешь, как я любил простор, солнце и ветер, как я хотел быть всем, что живет в них: птицей или кустом, облаком или бродягой. Но долгие, долгие годы живу я под землей, деля судьбу корней. Невзрачные, желтые корни, окруженные тьмой и тлением — но ими держится дерево жизни. Никакой ураган не вырвет из почвы дерево, если у него крепкие корни. В этом их гордость. Моя тоже. Я не жалею об этом. Не жалею ни о чем. Что было в моих силах — я сделал, и делал это с радостью. Но я любил, любил свет и хотел бы расти прямо вверх, хотел бы расцвести и созреть, как съедобный плод».

Корни, дерево, плод. И — сожаление корней о плоде, не успевшем созреть. Мужественное, гордое сожаление человека, глубоко творческого, полного планов и замыслов. «Ведь я только созревал, и было у меня много, много сил»,— писал он в «Репортаже». Но он ничего не упустил в жизни. Только избранное из того, что было им написано, составляет двенадцать томов. В этом году выходит еще сборник читательских записей молодого Фучика, сделанных им между шестнадцатью и двадцатью годами. Все, что успел он создать за двадцать лет взрослой жизни, достаточно обширно по объему, а по значению становится в ряд с лучшими произведениями чешской прозы, публицистики, литературоведения и критики. Многие ли из тех, кто дольше жил и жил в более благоприятных условиях, сравнятся с ним? И все же сожаление Фучика оправданно. Его плоды только наливались. Топор палача срубил дерево, которое еще готовилось принести свой главный урожай.

Вот несколько плодов, не успевших созреть, несколько работ, оставшихся незаконченными.

■

В один прекрасный день пришлось и Фучику явиться на призыв. В ту пору ему было уже под тридцать, он был лет на десять старше остальных новобранцев. Воинские начальники не выказали никакого восторга по поводу того, что в казарме появился газетчик-коммунист. От него только лишние хлопоты. И в первый раз с ним по-

ступили точно так же, как со Швейком: отправили на медицинский осмотр, намекнув доктору, чтоб он закрыл оба глаза на здоровье новобранца, зато на болезни его смотрел бы через увеличительное стекло. В результате «бравый солдат Фучик» отправился домой, пробыв в казарме всего несколько недель. Однако через два года его снова призвали, теперь уж на более долгий срок. Почти год носил Фучик солдатский мундир; только успевал он пригреться на одном месте, подружиться с товарищами, начать среди них коммунистическую агитацию, как его переводили в другую часть. Из армии Фучик послал жене около сорока пространных, эпических писем, которые были опубликованы в этом году в последнем томе его сочинений. Они читаются как эпистолярная новелла и воспринимаются почти как литературное произведение, в них очень живо изображена среда, есть драматические сценки, лирические вставки, а главное — есть обаятельный герой-рассказчик, который совсем не старается подделаться под какой-нибудь литературный стиль. Эти письма Фучика — рассказ о коммунисте-газетчике, попавшем в казармы буржуазной Чехословакии в годы глубочайшего экономического кризиса (1932—1933); рассказ о его молчаливой и упорной борьбе против превращения молодых парней в бездумные «военные машины»; рассказ о том, как Фучик играл в образцового солдата, и о том жизненном опыте, который он приобрел: «Чувствую по себе — я стал старше, и на моем всегда хорошем настроении прорезались морщины, я утратил часть своего легкомыслия, которое, по-моему, больше пользы приносит другим, чем мне. Я умнею — и начинаю взвешивать людей на иных весах. Несправедливо будет, если я с горечью скажу, что они кажутся мне пустыми. Просто они другие, немного не такие, как я думал. Чуть-чуть не такие».

Литературная ценность писем Фучика из армии обусловлена не только его талантом прозаика, который обнаружил себя уже в книге очерков о Советском Союзе. Их ценность определяется — и причем более непосредственно — авторским замыслом. Дело в том, что, живя в казармах, Фучик начал писать рассказы из солдатской жизни. Похоже, что он задумал цикл таких рассказов. Два из них имели общий заголовок «Вечера над Юликой», один (который, кажется, был закончен, но уничтожен автором) назывался «Францисканец», еще один, рукопись которого Густина в 1934 году посылала Фучику в Москву, получил название «Зеркало». Ни один из этих рассказов не сохранился. Быть может, что-нибудь было в чемодане, который Фучик оставил в 1936 году в Москве, как об этом пишет Ида Радволина в «Рассказах о Юлиусе Фучике». Но все это лишь предположения. От всего цикла остался лишь рождественский рассказ «О Резыньке и доблестном судебном исполнителе», напечатанный в «Творбе» в начале 1933 года, да еще незаконченная рукопись «Смерть длинного Якуба».

Много общего между этими двумя рассказами. В обоих, строго говоря, речь идет вовсе не о солдатской жизни. Она — лишь повод для изображения нужды и безработицы в годы кризиса. Пафос обоих рассказов — в разоблачении нечеловеческих условий, в которые ставит бедняков капитализм. Первый рассказ, «О Резыньке и доблестном судебном исполнителе»,— настоящий маленький шедевр. Действие происходит в бедном словацком крае (правда, место не определено и, вероятно, в целях обобщения, намеренно оставлено без уточнения, но в пору написания рассказа Фучик служил в Глоговце); повествование ведется на пражском разговорном наречии с незначительной примесью местного, словацкого, колорита; композиция рассказа стройна; он полон беспощадной иронии. Повествование от лица солдата как бы вправлено в рамку — оно предваряется и заключается авторской речью, которая может служить образцом литературно-публицистического стиля. Фучик не хочет подавить в себе критика, полемизируя в ходе рассказа, во-первых, с традицией сентиментальных рождественских социальных рассказов — от старых классиков до современности, а во-вторых, с надуманностью и неправдоподобностью тогдашней прозы вообще. Его рассказ «совершенно не выдуман... В нем тщательно воспроизводится то, что было на самом деле и что видел солдат».

В «Смерти длинного Якуба» Фучик снова ведет рассказ устами солдата, но тут он действует несколько иначе. Он обращается к мертвому солдату, который не вынес несправедливости и застрелился, и это начало задает тон всему повествованию. Над головой мертвеца как бы проходит вся его жизнь, типичная для бедняка из горной области Чехии, судя по всему — северо-востока страны: голодное детство, с тринадцати лет работа на текстильной фабрике; человек буквально замордован тяжким трудом и безысходным однообразием жизни. «Якубу восемнадцать лет. Он уже постоянный номер на фабрике. Теперь он возвращается домой развинченной походкой — так ходил бы скелет, чьи кости соединены проволокой. Дорогу он видит теперь только ногами, реку не слышит». На фабрике вспыхивает забастовка. Якуб не принимает ее, для него это только потерянный заработок. И он становится штрейкбрехером. Забастовка кончается неудачей, директор фабрики в отместку рабочим еще сильнее закручивает гайки. На этом рукопись обрывается. Причина самоубийства Якуба не объяснена. Ее можно лишь угадывать. В рассказе о Якубе отразилось, вероятно, не только то, что видел Фучик в армии, но и его воспоминания о крупной забастовке горняков в Мостецком крае, о которой он в свое время написал ряд очерков и в которой принимал прямое участие как редактор стачечной газеты. Оба рассказа тесно связаны с его

ВЛАДИМИР ДОСТАЛ
ПЛОДЫ, НЕ УСПЕВШИЕ СОЗРЕТЬ

очерками о народных бедствиях, о безработице, о трагических судьбах тех, кто потерял работу, а с нею — источник существования. Рассказы продолжают традицию старшей чешской прозы, традицию так называемого социального реализма, но вместе с тем, полемизируя с этой традицией, уходят дальше.

■

Летом 1934 года Фучик вторично приехал в Советский Союз. Работа корреспондента «Руде право» в стране, где все так стремительно менялось и развивалось, нарушила его прежние замыслы, поглощая все время, все внимание — по крайней мере, на первых порах. Фучик отправлял сообщения в газету, выступал по радио, писал политические комментарии, репортажи, полемические статьи. Особенно обширен и важен цикл его очерков о Средней Азии. Он думал составить из них книгу. Это было сделано уже после его смерти. Но вместе с тем он начал подготовку еще одного большого труда: он нашел материал для воплощения замысла, который вынашивал уже несколько лет. «Ты знаешь,— писал он Густине в Прагу,— я часто раздумывал над тем, как показать два класса на примере двух человек, взятых в одних и тех же отрезках времени. Я-то представлял себе тему несколько иначе (шахтер — акционер), но пока что, видимо, придется такое представление послать к черту. Однако идея одновременного действия не могла исчезнуть — и вдруг я увидел ее осуществленной полностью на примере Интергельпо».*

Фучик трижды побывал в Интергельпо: в 1930, 1934 и 1935 годах. На судьбах некоторых членов коммуны он собирался показать историю всего этого интересного коллектива. «Представь себе: люди из Европы, из Чехословакии — словаки, венгры, чехи, немцы — отправляются в Киргизскую республику строить свою коммуну, а вместе с ней закладывать основу промышленности в этом отсталом краю. Они уезжают из Европы еще во времена экономического подъема, то есть отнюдь не потому, что они страдали дома от безработицы. Почему они отправились туда? Одни — потому, что видят в СССР вторую Америку. Другие — из любви к приключениям. Третьи же потому, что они — коммунисты и хотят научить отсталых киргизов строить социализм. Они приезжают в голую степь. Им приходится преодолевать тяжелые, очень тяжелые препятствия — это почти что подвиг. Людям, влюбленным в приключения, это по душе; «американцы» работают, так как думают, что первым колонистам в Америке приходилось не легче, а вот ведь стали же они миллионерами. «Учители социализма» и предвидели большие трудности. Однако построить Интергельпо не просто. Во всем недостаток; вспыхивает малярия; умирают дети; многие поддаются усталости. Советское правительство помогает, но многие члены Интергельпо бегут домой, в Чехословакию. Теперь тут остались люди, которые выдержали все: это коммунисты, прошедшие через забастовки, через декабрьские бури у нас на родине, через войну и революцию в России — куда они попали как военнопленные — и через Венгерскую коммуну; есть среди них один «американец», он так долго и беззаветно работал в Интергельпо, надеясь сделаться миллионером, что понял наконец: фактически он не может и не хочет жить вне социалистического коллектива, и сам стал коммунистом; есть еще ряд других характеров, по которым видно, как на глазах растет человек».

Такой должна была быть первая и, видимо, главная линия книги Фучика об Интергельпо. Он хотел столкнуть рабочих из Чехословакии с советской действительностью, показать, как менялась психология этих людей, строивших социализм в одном из самых отсталых уголков советской страны. Фучик не только собирал рассказы членов коммуны о том, как она возникала, не только изучал среду, он мог еще опереться и на собственный опыт — а это у него всегда играло очень важную роль, без этого ему трудно было писать,— на собственный опыт журналиста, приехавшего в СССР впервые в 1930 году и тоже искавшего тогда свое отношение к советской действительности.

Ничего не известно точно о жанре, о композиции книги, однако подробный план подсказывает нам, что она могла бы быть серией репортажей, как книга «В стране, где наше завтра стало вчерашним днем», только с бо́льшим нажимом на главы, повествующие о конкретных людях, об их характерах и судьбах. И, судя по всему, эта ненаписанная книга должна была иметь более прочное внутреннее строение, основанное на чередовании и переплетении трех «сюжетных» линий («сюжетных» строго документально).

Вторую линию книги должен был составлять показ тех перемен, которые произошли в жизни местного населения. «В степи, где члены Интергельпо «построили» первое «промышленное предприятие» — яму и кирпичи из глины, выкопанной в этой самой яме,— стоит теперь интергельповская текстильная фабрика, и большой современный мукомольный завод, и элеватор, и большой, красивый консервный завод, кожзавод и т. д. Кочевники приехали с гор в долину поглядеть на эти чудеса — и стали квалифицированными мастерами. Люди, еще покупавшие жен, теперь обучают других политграмоте. Басмачи, которые еще в 1931 году воевали против советской власти, теперь прокладывают дороги в горах, соединяя с широким миром места, отрезанные от него на протяжении тысячелетий...» Одним словом: «экономическая и национальная политика Советского Союза, продемонстрированная на примере одной страшно отсталой республики».

Эта линия еще не связывается у Фучика с конкретными человеческими типами. Ког-

---

* Письмо Фучика от 9 февраля 1935 г. опубликовано полностью в журнале «Иностранная литература» № 11 за 1962 г.

да он писал письмо с планом книги, он как раз собирался в третью поездку по Киргизии, по самым отдаленным ее горным областям, чтобы познакомиться с жизнью кочевников-скотоводов и получить возможность измерить путь, пройденный этим краем после революции. Зато более ясна Фучику третья линия, с которой должен был войти в книгу чехословацкий материал: «...много людей, приехавших в Интергельпо, вернулось в Чехословакию, потому что трудности строительства казались им непреодолимыми. Они помнили Чехословакию времен процветания, а вернулись в начале кризиса. Там, в степи под Фрунзе, измученные двенадцатичасовым трудом, к которому не лежала душа (ткачи работали каменщиками и т. д.), они мечтали о своей работе, о восьми часах у ткацкого станка, о твердом, пусть скромном заработке, об удобствах «цивилизованной» страны. И вот они вернулись. Стали клеветать на Советский Союз. Но недолго — восьмичасовой работы, о которой столько мечтали, они не нашли, не нашли ни двенадцатичасовой, ни даже двухчасовой, не было вообще никакой работы. Удобства «цивилизации» обернулись варварством безработицы, кризиса, упадка... Тогда в богатом Интергельпо стали получать письма из Чехословакии от бывших товарищей: примите нас обратно, умираем, не можем здесь жить... История этих людей на родине стала бы третьей линией, естественным образом связанной с первыми двумя. И вышло бы: вот вам Советский Союз, условия жизни здесь вполне удовлетворяют рабочих из Европы — и вот вам капиталистическая Европа.

Стало быть, Фучику важно было не строго документальное изложение. Он хотел создать на документальной основе роман-доказательство, сопоставить два мира, показать спор двух мировоззрений, в котором сам принимал участие как публицист. Он пояснял в письме, что хотя план его и выглядит как «сухие тезисы», но он-то интересуется прежде всего «живыми, конкретными людьми».

Книгу об Интергельпо Фучик тоже не написал. Летом 1936 года он привез из Москвы пять записных книжек с биографиями членов Интергельпо. Но на родине его ждала рабочая горячка в редакции «Руде право», а там вспыхнула война в Испании, началась борьба за единый фронт антифашистских сил. Книгу пришлось отложить. Этот плод так и не дозрел. Но подробный план имеет для нас большую ценность: он объясняет основные идейные тенденции фучиковских очерков и репортажей из Советского Союза, ибо они подчинялись тем же требованиям великого спора двух идеологий и доказательства свои черпали из того же источника, что и ненаписанная книга об Интергельпо.

■

«Есть у меня еще один план,— писал Фучик из Москвы в августе 1935 года.— Такой чисто журналистский план, что-то вроде жюль-верновского сюжета. Но теперь замысел уже обрел конкретные формы: серия полубеллетристических репортажей о профессоре Вериго, который наблюдал космические лучи в шахтах, в морской глубине, на вершинах Эльбруса, в Арктике и в стратосфере; о солнечных домах в Ташкенте; о Чирчике, где из воздуха вырабатывают тысячи вагонов азотистых удобрений, и т. д. Для этого я порядочно изучаю физику, химию, астрономию и т. д.». В этом же письме Фучик просил Густину прислать несколько романов Жюля Верна, по которым он мог бы «повторить жюль-верновский стиль». Фучик с детства любил Жюля Верна, заключенный в его произведениях пафос творческого труда и фантастику изобретений, предвосхитивших реальные научные открытия. Фучику казалось, что это жюль-верновский дух воскресает в индустриализации, в научных достижениях Советского Союза. И он полагал, что об этом следовало бы писать столь же занимательно.

«Чем меньше сил приходится тратить людям на борьбу за существование... тем больше сил высвобождается для борьбы с природой, за овладение природой. Вот почему сообщения о гигантских успехах в завоевании природы... поступают именно из Советского Союза... где устранена эксплуатация человека человеком. Об этих успехах можно было бы писать книги, которые были бы в точности похожи на фантастические романы Жюля Верна, с той лишь разницей, что они изображали бы не одну фантазию, но действительность. Можно писать о целых заводах, работающих только на солнечной энергии. Можно писать о кораблях, утонувших десять лет тому назад, а теперь плавающих под советским флагом — как «городок ученых» в полярных морях. Можно писать об искусственном дожде, о преображении пустынь в плодородные края, о разведении гигантских огородов на дне моря — и все эти увлекательные «жюль-верновские фантазии» уже осуществлены или осуществляются в СССР».

Эти слова были написаны в 1937 году. Они свидетельствуют о том, что план Фучика все еще оставался планом. Время от времени ему удавалось, использовав часть материала, написать очерк или статью в газету, время от времени какая-нибудь деталь этого плана появлялась в фучиковских заметках о детской литературе. Но один «жюль-верновский репортаж о действительности» Фучик все же сумел закончить. Репортаж назывался «Покорение Северного полюса» и был напечатан под псевдонимом в буржуазном иллюстрированном журнале летом 1937 года, а после войны выпущен отдельной книжкой. Фучик описывал перелет четырех советских самолетов к Северному полюсу, осуществленный по проекту Водопьянова и под руководством О. Ю. Шмидта, и лагерь Папанина на плавучей льдине. То был один из многих героических эпизодов

ВЛАДИМИР ДОСТАЛ
ПЛОДЫ, НЕ УСПЕВШИЕ СОЗРЕТЬ

великой битвы за исследование Арктики, которой Фучик уделял большое внимание в своей журналистской работе. На основе информационных документов Фучику удалось создать великолепное произведение: то, что он сам видел и узнал в СССР, позволило ему настолько оживить сообщения печати и радио, что у читателей создается впечатление, будто пишет участник папанинской эпопеи. При всем том мера беллетризации не переходит границ, допустимых в репортаже.

Итак, Фучик не успел осуществить свои замыслы, хотя многое было им подготовлено. Однако чтение романов Жюля Верна внушило ему еще одну идею, довольно далеко отходящую от его основных планов. Он решил подойти к жюль-верновскому материалу с другой стороны и еще в Москве написал три главы новой книги. На титульном листе неоконченной рукописи мы читаем название: «Путешествие Паспарту вокруг света». Нетрудно догадаться, что Фучик отталкивается от книги «Вокруг света за восемьдесят дней». В отличие от задуманной, но так и не написанной книги (и от написанного «Покорения Северного полюса») здесь Фучик собирался прибегнуть к жюль-верновским параллелям не для того, чтобы воспеть осуществление мечты фантаста. Эта книга была задумана как сатира. Жюль-верновская ситуация была перенесена в современность, в тридцатые годы нашего века. Под именем Филеаса Фогга выступал внук знаменитого путешественника, владелец прибыльной туристской конторы. Паспарту был вовсе не француз, а безработный чех Франтишек Балабан, застрявший в Лондоне и готовый выдать себя за кого угодно, хоть и за француза, лишь бы получить, согласно объявлению в газете, место слуги у мистера Фогга. Пари, заключенное между Фоггом и банкиром Стюартом в Клубе реформ в годовщину того дня, когда дед Фогга вернулся из своего восьмидесятидневного кругосветного путешествия, содержало следующее условие: за те же восемьдесят дней Фогг-внук обязывался объехать земной шар, но со всем комфортом и с обязательством посетить все достопримечательности мира. Текст пари был передан газетам и радио еще до того, как оно было формально заключено. Мистер Фогг рассчитывал, что такая реклама прославит его туристскую контору. С этой целью была подготовлена сцена на вокзале, описание которой дает нам представление об избранной Фучиком манере письма и о том, в кого он метит.

«Еще приготовили славненькую девчушку из народа, которая — чисто вымытая и в белом платьице, взятом напрокат специально для такого случая,— должна была протолкаться через толпу на перроне и крикнуть уезжавшему мистеру Фоггу:

— Дяденька Фогг, возьми меня с собой!

На что мистер Фогг, ласково улыбаясь из окна спального вагона, ответит:

— Как жаль, милое дитя, что поезд уже тронулся...

Дальнейшие его слова должны потонуть в перестуке колес и реве паровозного гудка, но весь эпизод, столь характерный для унаследованного от деда доброго сердца Фогга, врежется в память присутствующих и глубоко тронет их души, а добрые газеты сообщат потом об этой трогательной сцене всему народу. Ибо любовь к детям (и к птичкам) свидетельствует о благородстве человека и внушает доверие к нему. Таково свойство всех великих людей, а необходимость при этом наклоняться приближает их к народу. Глаза увлажняются у растроганного зрителя, когда победоносный полководец, вступив после пятидневной бомбардировки в догорающие развалины города, велит отыскать среди груды обезображенных и уже смердящих трупов чудом уцелевшего новорожденного, берет его на руки и целует перед объективом киноаппарата и ликующими толпами генштабистов. Ничто так не выдает скрываемое благородство души, как любовь к детям».

Стиль пародии показывает, что Фучик берет на прицел лицемерную буржуазную прессу с излюбленной ею демагогией. Тотчас после этой сцены в действие вступает нью-йоркский журналист мистер Сильвестр Трэли, сделавший карьеру на том, что перебежал к конкуренту с грязным бельем прежних хозяев. Последние фразы рукописи дают основание полагать, что мистеру Трэли будет поручено поехать в СССР, чтобы расследовать «сообщения о таинственных, да к тому же еще пятилетних планах Москвы», и что его путь каким-то образом скрестится с путем мистера Фогга. Сохранившиеся части трех глав, видимо, представляют собой начало большого романа-памфлета, опять-таки основанного на противопоставлении, теперь уже сатирическом, двух миров; об этом свидетельствуют и сценки из жизни лондонских безработных, и рассказ о толчее перед домом Фогга, когда туда хлынули все желавшие наняться к нему в слуги, так что полиция принуждена была разгонять толпу, а палата лордов — обсуждать этот случай.

■

Интересна временна́я последовательность неоконченных работ Фучика. Сначала задуман сборник рассказов, потом — книга репортажей с признаками документального романа, затем — сатирический роман. Ясную тенденцию к роману — вот что обнаруживает эта кривая литературных замыслов. И в самом деле, имея за плечами весь предшествующий опыт, Фучик берется за роман. Он начал писать его, хотя у него уже были разработаны и подготовлены планы других произведений, о которых только что шла речь. Его подстегивали события. Мюнхенский сговор, немецкая оккупация заставили отложить начатое, поскольку не было никакой надежды в ближайшее время опубликовать что-либо из этого. Но автобиографический, исторический роман — тут еще стоило попытаться, это еще могло пройти через цензуру, как прошел в 1940 году его

этюд о борющейся Божене Немцовой. Фучик начал свой роман 16 марта 1939 года — на другой день после вступления немецкой армии на территорию Чехии и Моравии. Он дал роману название «Поколение до Петра», первая часть носила заголовок «Пробуждение». Фучик работал над романом с перерывами в течение 1939 года и в начале 1940 года, в Хотимержи, после того как закончил свою «Божену Немцову». Он написал три главы и начал четвертую. Рукопись обрывается на полуслове.

Это начало романа было опубликовано недавно, в одиннадцатом томе собрания сочинений. До этого в разных сборниках печаталось авторское предисловие к роману. Советские читатели тоже знают этот взволнованный монолог, эту исповедь, обращенную к несуществующему, выдуманному сыну Петру и через него — ко всему молодому поколению, которое стало взрослым именно в последние годы. Можно только поражаться пророческому предвидению Фучика. Нынешнее молодое поколение, родившееся в первые годы войны, действительно задает вопросы, которых Фучик ждал от своего Петра, оно действительно не всегда умеет, хотя и хочет, разобраться в прошлом, из которого выросло настоящее. Для этого-то поколения непосредственно, по точному адресу Фучик писал — и не успел дописать — свой роман.

Он писал о себе. Изменил фамилии, некоторые обстоятельства — ведь он имел в виду роман, а не документальную автобиографию; но принцип правдивого отражения прожитого господствовал всегда, в каком бы жанре он ни писал, и побудил его даже в романе придерживаться фактов, связанных с жизнью его семьи. В образах Карела Матоуша и его жены Марии он вывел своих родителей — которых действительно звали Карел и Мария,— но сыну их дал имя Ян. Вокруг рождения этого сына и сосредоточивается действие первых двух глав; тут же проявляются и характеры обоих родителей — нежной, чувствительной матери и шумного, темпераментного отца. В ретроспективном изображении дана история знакомства отца с матерью. Анекдоты из семейной жизни, которые до сих пор рассказывают в семье младшей сестры Фучика Веры, сменяются мотивами народных сказок: всю жизнь мальчик искал две книги — «книгу любви и рождения» и особенно «книгу мудрости».

«Он искал ее повсюду. Расспрашивал родителей. Выведывал у учителей. Рассказывал о ней товарищам и ловил блеск их глаз, надеясь прочитать в них хоть намек на то, где искать. С трепетом открывал он тысячи книг — и откладывал после первых же страниц. Но иные дочитывал до конца затаив дыхание и возвращался к ним снова и снова, взволнованно чуя их близость к той, которую он искал.

Но ни одна из книг не могла с ней сравниться.

Если б он достал ее — сделался бы мудрым. Знал бы все и все понимал. Стал бы добрым и справедливым. Не обижал бы ни других, ни себя. Не колебался бы и не страдал. Всякая боль отступала бы перед ним, смерть покорно вручила бы ему свою власть, жизнь стала бы кристально-светлой, заиграла бы всеми соками, и он сам стал бы счастлив и сделал бы счастливым весь мир.

Вот тогда он действительно стал бы человеком.

Никогда не отказывался он от мечты найти книгу мудрости. Искал ее, и сейчас ищет, и будет искать до конца своих дней.

Потому что он — человек».

В этих абзацах выражено душевное беспокойство, характерное для молодого героя автобиографического романа. Фучик ставил перед собой цель не только рассказать о своей юности, воскресить былое, воссоздать атмосферу тех лет. Уже в предисловие он вносит философское начало. Чувство ответственности перед молодым поколением за мир, который оставлен ему отцами, заставляло Фучика раздумывать о том, каково влияние впечатлений, полученных в детстве и юности, на жизнь человека в современном обществе. Ему хотелось не только показать нравственное и умственное созревание подростка, но и то, как деформируют его психологию общественные отношения, лишая его искренности чувств, облекая в защитную броню грубости и равнодушия, убивая в нем воображение и чистоту, отнимая все естественное, человеческое. Но для того чтобы удовлетворить всем требованиям задуманной «истории чувств» (как сам Фучик с проницательностью литературного критика назвал свое произведение), автору надо было выйти далеко за пределы детского мирка и семейного круга. Поэтому уже в третьей главе резко расширяется сфера действия. В идиллию детской врывается зловещий гул войны. Отец мобилизован, потому что Австрия пожелала захватить Боснию и Герцеговину. В романе звучат отголоски драматических событий в мировой политике, суть которых выражена Ромэном Ролланом в словах: «Прощай, Европа!.. Ты топчешься на кладбище. Там твое место. Ложись! Пусть другие ведут мир!» Фучик поставил эпиграфом к своему роману эти слова и еще цитату из научного журнала, прославляющую прогресс в промышленности и технике на благо человечества. Отсюда Фучику легче было подойти к сюжетной линии романа. Отец Яна был слесарем на металлургическом заводе Рингхоффера в Смихове; на первые же сбережения он купил тогдашнюю техническую новинку — велосипед; в австрийской армии он был первым связным-мотоциклистом; барон Рингхоффер предложил ему затем место личного шофера, а в газетах уже появлялись сообщения о первых авиаторах — тут Фучик неприкрыто проводит свою излюбленную «жюль-верновскую» линию.

Общественную основу романа должны были создать оба элемента: мировые политические сдвиги и их отражение в жизни его

родной страны — и технические открытия с их влиянием на развитие промышленности. То и другое подталкивало мир к войне. Война нависла над миром и тогда, когда Фучик начал свой роман. Душная атмосфера кануна войны была общей и для того времени, когда проходила молодость Яна (Фучика), и для того, когда должен был родиться Петр. Обращение к этому выдуманному сыну не прерывается в ходе действия романа. Фучик вкрапливает эти обращения в виде своеобразных лирических отступлений, с помощью которых он мог комментировать действие и открыто высказывать авторскую точку зрения.

Несомненно, он собирался построить вокруг фактов своей жизни многоплановый роман, который постоянно перекрещивался бы с «историей чувств» молодого героя и сталкивал бы его с фактами всемирной истории. Не случайно дал Фучик в подзаголовке жанровое обозначение своего труда: «Хроника». В чешской литературе так определяют романы-эпопеи.

Так называемое «Волькеровское поколение», в рядах которого рос и боролся Фучик, дало чешскому народу крупнейших его деятелей в искусстве и политике XX века. Книга «Поколение до Петра» должна была стать романом об этом поколении, должна была показать пробуждение этого поколения в первые годы мировой войны и возмужание его под горячим дыханием русской Октябрьской революции. В рядах «Волькеровского поколения» были крупнейшие прозаики, они создали в числе прочего и романы о значении и судьбе своего поколения, но ни один из них не стремился к такому всеобъемлющему изображению общества, изображению героя с таким ясным мировоззрением, как Фучик в «Поколении до Петра» Это — не юбилейное славословие. только Фучик был способен создать правдивый образ коммуниста младшего поколения, проследить его рост, раскрыть мир его мыслей, показать богатство его чувств. И Фучик мог — что очень характерно для его дарования — изобразить все это только в форме автобиографии, автопортрета. Это доказывает и его «Репортаж с петлей на шее». Последний репортаж — это эпилог его автобиографии, пролог к которой составляют сохранившиеся страницы «Поколения до Петра». Только пролог и эпилог — больше он не успел написать. Ядро романа о его жизни, о жизни его поколения, осталось материалом, не получившим формы. Или этот материал — уже сам по себе форма? Знакомясь с жизнью Фучика, читая написанное им, не испытываете ли вы чувства, будто читаете захватывающий роман, созданный самой действительностью?

Только героический конец его жизни заставил по-настоящему зазвучать слова из его предисловия к «Поколению до Петра»:

«Мы — зерна, брошенные в землю, Петр. Таково наше поколение. Так мы говорим о себе. Не все мы взойдем, не все дадим ростки, когда наступит весна. Любой подкованный сапог, грохающий над моей головой, может растоптать нас. Может раздавить нас — случайно, из злобы, из самого желания уничтожать, и мы это знаем. И с тем живем.

Не думай, однако, Петр, что мы этого боимся. Не все мы взойдем, но не все и погибнем. И это мы знаем и с этим живем. Шелест созревших колосьев прикроет затоптанные могилы — о них забудут, забудется все, и страх, и горе, только урожай скажет твоему поколению за нас, за живых и за мертвых: берите и ешьте, се наше тело!

И это мы знаем и *этим* живем».

Да, этим живут они. Пусть даже в плодах безвременно срубленного дерева.

Е. КНИПОВИЧ

ФРАНЦ КАФКА

Библиография работ о творчестве Франца Кафки, появившаяся в Швеции в 1961 году, насчитывает пять тысяч названий. Франция и ФРГ, США и Канада, Япония и Скандинавские страны — в разных концах земного шара буржуазные исследователи на все лады превозносят художника, будто бы предрекшего возникновение Третьего рейха и наступление «атомного века», а также, как говорят иные, одним махом покончившего с реалистическим методом в искусстве.

Представители литературы капиталистических стран в дискуссиях, которые они ведут с советскими литераторами, поднимают обычно имя Кафки, вместе с именами Пруста и Джойса, как некое знамя, в противовес литературе социалистического реализма.

Думаю, что на деле художники эти настолько разнятся по всей сути и всем особенностям своего творчества, что соединять их в одну обойму можно только из посторонних искусству соображений.

В интересах истины надо прежде всего найти для каждого из них ему одному присущий исторический, национальный, социальный контекст.

Слава Кафки была посмертной. И росла она скачкообразно. Первая волна поднялась примерно через десять лет после его смерти (Кафка родился в 1883 году, умер в 1924) и совпала с победой фашизма в Германии. Другая, еще более высокая, поднялась к концу второй мировой войны. Я думаю, что не ошибусь, утверждая, что примерно две трети существующих работ о творчестве Кафки написаны в послевоенные годы.

Восьмидесятилетие покойного писателя было ознаменовано рядом работ, увидевших свет и в странах социалистического лагеря. Работ неравноценных, потому что в некоторых из них марксизм чувствовался скорее в терминологии. В частности, это в той или иной мере было свойственно некоторым докладам на конференции, посвященной творчеству Кафки и проходившей в Праге в мае 1963 года.

О Кафке приходилось читать и слышать разное. Призрачный реалист, визионер, утвердивший примат внутренней жизни человека над действительностью окружающего мира, всеотрицающий нигилист и страстный поборник «неразрушимого» в человеке, анархист, сионист, антисионист — таков многоголосый хор почитателей умершего писателя.

Макс Брод, друг и литературный душеприказчик Кафки, даже доказывал вполне серьезно, что речь у Кафки идет вовсе не о человеке и обществе, а о человеке и боге. И два наиболее известных романа — «Процесс» и «Замок» рисуют вовсе не судьбу человека в современном обществе (какой ее видел сам художник), а всего лишь две ипостаси бога иудейской религии — «Правосудие» и «Милость»

К сожалению, к этому пестрому списку на пражской конференции прибавлено еще одно определение. По крайней мере в двух докладах Кафка присутствовал как жертва периода культа личности, и «реабилитация» (а скорее, даже возведение на престол), которая происходила на конференции, была расценена в некоторых докладах как «знамение весны» и «появление первой ласточки».

Я отнюдь не хочу сказать, что в работе конференции не было ничего верного и ценного. Ценным и верным было прежде всего то вступительное слово, которое предпослал конференции Пауль Рейман. И бесспорен тот общий вывод, к которому он приходит: «Мы не можем, конечно, принудить к нашему мировоззрению того, кто лишен оптимистической веры в жизнь, кто внутренне не умеет разобраться в себе самом, как это было с Кафкой. И я думаю, что позиция Каф-

ки никак не может быть основой для мироощущения нормального человека, который активно участвует в строительстве социалистического общества и имеет перед собой жизненную перспективу. Мы ценим Кафку, как писателя, который честно искал правду, но в борьбе за построение нового общества мы остаемся верными ориентации Фучика: мы идем по пути жизни и радости».

К сожалению, эта четкая грань между героической традицией литературы социалистического реализма и творчеством Кафки, по-видимому, была забыта участниками конференции. Более того, в докладе Ф Каутмана, например, проявилась тенденция к стиранию граней если не между Кафкой и Фучиком, то, по крайней мере, между Кафкой и Гашеком. Да, Ф. Каутман несомненно прав в исходном своем тезисе: оба писателя имели дело с уродливой действительностью Австро-Венгрии — «лоскутной монархии», и оба они ненавидели эту действительность. Но отсюда докладчик тут же сделал вывод, что надо покончить с ложным противопоставлением якобы народного, оптимистического и реалистического творчества Гашека якобы индивидуалистическому, антиреалистическому творчеству Кафки: на самом деле сущность творчества обоих писателей едина — «оба переносят видение действительности на иную, нетрадиционную почву. Тем самым они отступают от классических масштабов реализма XIX века. Делают это они по-разному, но смысл этого един — постижение абсурдности нашей действительности».

Для начала — несколько историко-литературных уточнений. Думаю, что Гоголь не отпал от реализма XIX века и тогда, когда нос поручика Ковалева надел вицмундир и пошел шастать по канцеляриям николаевской России. Не отпал от реализма и Щедрин, несмотря на всю абсурдность действий его лакомки-полицмейстера, который с воплем «Мамочка! Кусочек!» отхватил и сожрал добрый ломоть фаршированной головы своего высокого начальства.

Все дело в том, что Рабле, Свифт, Гоголь, Щедрин, Маяковский разоблачали социальную абсурдность определенных стадий бытия классового общества.

Такого рода гротеск не зашифровывал и не деформировал реальную действительность, как не деформирует увеличительное стекло или микроскоп объект исследования.

К этой славной традиции примыкает и книга Гашека. Швейк, если можно так сказать, делает абсурд оружием борьбы с абсурдной действительностью австро-венгерской монархии. Он доводит до логического конца указания, даваемые ему начальством, вскрывая тем самым спрятанное за внешне логической формой абсурдное содержание.

Швейковское толкование данных ему «властью» приказов и есть то самое «отрицание отрицания», в ранг которого Эрнст Фишер — автор ряда обстоятельных работ о Кафке — пробует возвести «тотальное отрицание», воплощенное, по его мнению, в творчестве объекта его исследования.

Ни в малой мере не ставя под сомнение личную честность и человеческое благородство Франца Кафки, все-таки нельзя не видеть, что, пользуясь по-своему материалом социальной абсурдности империи Франца-Иосифа, он стремится создать картину безысходной метафизической абсурдности мира и человеческого бытия.

Уравнивание в правах Кафки и Гашека есть, в сущности, воплощение в конкретном материале некоей общей тенденции, свойственной ряду прочитанных в Праге докладов. И Эдуард Гольдштюкер и Ф. Каутман призывали к отказу от понятия декадентского искусства, утверждая, что демонстрация уродств и бесчеловечности личных и общественных отношений может быть и весьма ценной формой критики буржуазного общества.

Я думаю, что и здесь речь идет о стирании граней между явлениями разного порядка. Когда назревает общенациональный или тем паче мировой кризис, это, естественно, находит свое отражение как в жизни всех классов и социальных групп, так и во всех областях идеологии. Наряду с критикой социальной действительности, которая рождена демократическими и социалистическими элементами национальной культуры, в литературе и искусстве отражаются и проявления недовольства внутри старого общества. Так, ни Андрей Белый — автор «Петербурга», ни Федор Сологуб — автор «Мелкого беса» — не выступали в своих произведениях как апологеты социального строя буржуазно-помещичьей России. Но оба они, деформируя материал реальной действительности и облекая социальное зло в метафизические или мистические одежды (как сказал однажды о другом авторе такого рода произведений Александр Блок), «вместо того, чтобы расшифровывать сложное, зашифровывали простое».

Расшифровывал сложное Горький — основоположник литературы социалистического реализма, в творчестве которого все многообразие жизни, все проявления социального кризиса раскрыты в свете ленинской правды, точно определяющей ту грань, которая отделяет основные процессы от «боковых», «сопровождающих».

Декадентская литература — это не ярлык, а точное определение творчества тех художников, которые «зашифровывали действительность», выдавали обычно «боковые», сопровождающие социальный кризис явления за его основной смысл и сущность.

Вот почему невозможно признать соответствующим объективной истине то стремление вывести творчество Кафки за пределы литературы декаданса, которое проявилось в докладах пражской конференции. И если, как говорит Э. Гольдштюкер, в странах капитализма через Кафку пытаются понять современную действительность отнюдь не одни политические реакционеры, то из этого тоже не следует, что творчество Кафки лежит вне пределов декаданса.

Недавно на встрече европейских писателей в Ленинграде поэт ФРГ Ганс Магнус Энценсбергер говорил о том, что Кафка

бесспорный реалист, так как он, Энценсбергер, неоднократно попадал в ситуации, изображенные Кафкой.

Думаю, что здесь была допущена невольная неточность: кафкианской была не сама ситуация, а те мысли, эмоции, то *понимание* ситуации, которому научил Энценсбергера, может быть, даже и не столько сам Кафка, сколько его зарубежные толкователи. Свой опыт был тут *вложен* в заранее данную художником и его критиками схему. И я не думаю, чтобы это было наилучшим вложением для жизненного опыта. Нет, реалистом Кафка не был, но он действительно был художником, в меру своих возможностей ищущим правду. Вот почему у исследователей-марксистов есть все основания спокойно и серьезно разобраться в том, как родился «страшный мир» творчества Кафки и как отражена в нем реальная историческая действительность. Эрнст Фишер говорит в одной из последних своих работ о Кафке (опубликованной в журнале «Зинн унд форм»), что не следует, как это делает Макс Брод, давать творчеству Кафки религиозное истолкование, это, говорит Фишер, «еще более грубое упрощение, чем попытка видеть в произведении искусства только отражение жизни общества, оставляя без внимания своеобразие художника и взаимоотношение этого своеобразия с общественной ситуацией, так же как и со стремлениями, надеждами, разочарованиями рода человеческого, выходящими за пределы исторического мгновения».

С пожеланиями Эрнста Фишера в первой их части несомненно следовало бы согласиться, если бы вторая часть не ставила весь вопрос на голову.

Разделение «вечных» и «временных» стремлений в истории рода человеческого впускает в окно то религиозное истолкование творчества Кафки, которое сам Фишер только что выгнал за дверь. Увы! У вечного, абсолютного нет никакого другого способа воплощаться в жизнь, как через временное, относительное. Вот почему творчество Кафки, если мы хотим дать ему объективную оценку, следует рассматривать в контексте того мгновения вечности, в которое оно родилось и сложилось.

II

Когда читаешь романы и новеллы Кафки, прежде всего поражает какая-то чудовищная, всеобъемлющая неустроенность жизни всех его героев — главных и неглавных, страдающих и приносящих страдания другим. Грязь, теснота жилищ и мест работы, невозможность остаться одному ни днем, ни ночью, бесконечное ожидание в духоте и пыли канцелярий или в ледяном безмолвии дорожных перекрестков, путь к далекому «казенному» дому, где должна решиться участь, бесплодный путь, потому что раньше срока спустится тьма, и ноги увязнут в непроходимых сугробах, и станет все равно.

Герои Кафки спят на заплеванном полу в трактире, вечером на них наступают посетители, ночью через них скачут крысы. Они вынуждены жить в классе школы, где идут занятия, на ледяном балконе, куда их выгнали из комнаты. Дом, свой угол? Это помещение в два шага длиной, ход через окно на крышу, кровать у окна, а так как хозяин, по примеру Поприщина, большей частью лежит на кровати, то гости вынуждены наступать ему на живот.

Не лучше устроены и те «начала, силы и власти», чей таинственный произвол определяет судьбы героев. Потолки канцелярий так низки, что вершители судеб вынуждены сидеть, согнувшись в три погибели, пыль от папок и «дел» стоит столбом, жара и духота от накаленной солнцем крыши доводит до обморока. Полы так прогнили, что ноги чиновников то и дело проваливаются в дыры до самого паха.

Нельзя сказать, что приятнее даже и жизнь миллионеров (в романе «Америка»). Они охвачены тем же беспокойным зудом. Они вскакивают с постели на рассвете, давятся изысканными яствами, водятся с людьми, которые им отвратительны. Дома их недостроены, неудобны, неуютны.

Мир, открывающийся в творчестве Кафки, это мир замордованных людей всех классов и состояний. По свидетельству одного из друзей Кафки, он однажды сказал, рассматривая рисунок Георга Гросса, изображающий капиталиста и рабочего, что настоящей правды художник не достиг: «Толстый человек властвует над бедным человеком в пределах известной системы. Но сам-то он не система. Он даже не властелин, напротив! Ведь и толстый человек носит цепи. Капитализм — это система зависимостей, которые идут снаружи внутрь, сверху вниз, снизу вверх. Капитализм — это состояние мира и душ».

Так, справедливое ощущение бесчеловечности капитализма вело Кафку к представлению о едином, «монолитном», надклассовом и непобедимом общественном устройстве, равно угнетающем эксплуатируемых и эксплуататоров.

Эта концепция «сплошного» капитализма стала роковой для жизненного и творческого пути Франца Кафки, иссушила для него те ключи, влагой которых питалось в первую четверть века великое искусство России и Запада.

Кафка — современник Октябрьской революции. Баварская советская республика, Венгерская коммуна возникли и были потоплены в крови буквально рядом с ним — жителем Праги, нередко посещавшим к тому же и Будапешт. Он бывал в те годы и в Берлине, где на мостовых еще не высохла кровь убитых спартаковцев. И он не увидел, что из окопов первой мировой войны поднялись люди, твердо решившие рассчитаться с прошлым. Гул от падения старого мира слышал не один Александр Блок. Гул этот отозвался в творчестве старших —

мена Роллана, Бернарда Шоу, Томаса Манна. Им полны первые произведения Бертольта Брехта, Иоганнеса Бехера, Луи Арагона — стихи и пьесы той огненной, испепеляющей ненависти к старому миру, которую рождает только любовь к человеку, вера в его силы и его будущее.

Почему же все-таки личность и творчество Франца Кафки вызывают иное чувство, чем наследство, оставшееся после ряда его современников-модернистов, чем творческие потуги многих его эпигонов? Для Кафки всеобщая униженность людей в той юдоли страданий, какой представлялся ему весь мир, была величайшей трагедией. Он не шутил идеями, не нежился в своем пессимизме, не играл салонными ужасами и дешевой мистикой, как Мейринк или Лео Перуц, рядом с которыми его иногда пытаются поставить. Он не издевался над понятием «историзм», не трактовал его как пошлую и догматическую выдумку «социологов», подобно тому как это делают сейчас Эжен Ионеско или лидеры французского «антиромана». Он питал отвращение к миру, страшному своей неподвижностью, частью которого он себя ощущал. Но именно эта своя «неотделенность» и закрывала для него все пути в будущее. За рубежом нашей земли были и есть философы, культурфилософы и беллетристы, которые располагались и располагаются в своем пессимизме, так сказать, со всеми удобствами. Они охотно кокетничают раздвоенностью и отчаянием перед своими поклонниками, и особенно поклонницами. Твердя о неодолимости «зла», выдвигая концепцию, согласно которой история развивается «по кругу», бесконечно и бессмысленно повторяясь, эти деятели культуры, в сущности, ведут проповедь права на социальную безответственность. Нет, для Кафки всесилие зла не было материалом для салонной игры. Любопытно, что Кафка, который аккуратно вел дневник, начиная с 1910 года, ничего не записал в 1918 году, и почти ничего — в 1919—1922 годах. Дело тут не только в болезни. Ведь эти годы были для него годами очень интенсивной творческой работы и обильной переписки. Может быть, разгадку надо искать в другом? В невозможности поверить в то, что вставало перед глазами, в зрелище людей и целых народов, которые не хотят жить по-старому?

В январе 1918 года написан отрывок, название которого «Прометей». Думаю, что в нем, как, впрочем, и в других отрывках, относящихся к этим же годам, запечатлена именно невозможность поверить в изменен-ный мир и активность человека, которая и была трагедией Кафки.

«О Прометее сообщают четыре сказания,— говорит он.— Согласно первому, он, изменивший богам ради людей, был прикован к горам Кавказа, и боги послали орлов, которые пожирали его вновь и вновь вырастающую печень.

Согласно второму сказанию, Прометей, пытаясь умерить боль, которую ему причиняли удары клювов, все глубже вжимался в скалу, пока не слился с нею.

Согласно третьему сказанию, в беге тысячелетий измена его была забыта. Боги забыли, орлы забыли, забыл и он сам.

Согласно четвертому сказанию, все устали от бесцельности происходящего.

Боги устали, орлы устали, и устало закрылась его рана.

Остается лишь необъяснимая горная цепь. И сказание пытается объяснить необъяснимое. Но так как в основе его лежит зерно истины, оно снова должно прийти к необъяснимому»

Образы китайской стены, вавилонского столпотворения, которые вновь и вновь возникают в прозе Кафки этих лет, лишний раз свидетельствуют о том, с какой безнадежностью смотрел он на все трагические и великие события современности. Не проще ли и не логичнее ли сказать: ну, а какое дело нам, гражданам общества, впервые в истории строящего коммунизм, до творчества художника, пусть субъективно честного, но безнадежно оторванного от всего, что составляло основное содержание той эпохи, в которую он жил? Думаю, что такое решение было бы неправильным.

Честность и беспощадность в оценке себя и окружающей среды давали Кафке возможность запечатлеть ряд «боковых», «сопровождающих» процессов, протекавших в обществе, исторически обреченном на гибель. Процессы эти запечатлены в его творчестве иначе, чем в книгах некоторых его современников или эпигонов. Творчеству Кафки совершенно чужд тот цинизм, та снобически-равнодушная констатация униженности человека, распада характера, которые сегодня свойственны творчеству многих модернистов, пытающихся записаться в его наследники.

«Наследство Кафки» — весьма сложный комплекс противоречивых мыслей и ощущений. Кафка — отнюдь не то единое и монолитное явление культуры, каким его пытаются представить некоторые его почитатели. Вот почему за гротескно-фантастическим миром канцелярий, департаментов, судей, шпиков, палачей порою начинает просвечивать та социальная действительность, то цепкое и страшное «зло», которое и сейчас живо в капиталистическом мире, а также и в тех пережитках капитализма, от которых еще до конца не избавился социалистический сектор нашей земли. Внутренние противоречия творчества Кафки объясняют сложность того воздействия, которое он оказывает и на некоторых писателей и на определенные круги читателей.

Читатель Кафки в капиталистическом мире — человек промежуточных социальных групп — видит прежде всего то зерно страшной действительности, из которого вырастают гротескные сны Кафки, вкладывает в восприятие его творчества свою неуверенность в завтрашнем дне, свой страх перед жестокостью и произволом «властей предержащих». Но он и принимает как нужное ему то мучительное сочувствие к страданию «всякой плоти», которым пронизано творчество Кафки.

Мне думается, что в литературном, и особенно литературоведческом, освоении наследия Кафки гораздо больше спекуляции на его огромных и бесспорных слабостях, чем желания объективно разобраться во всей его сложности.

Современный модернизм весьма широко применяет все способы метафизической зашифровки действительности, которые использовал в своем творчестве Франц Кафка.

Но в абсурдных гротесках его подражателей не чувствуется той горечи, самоосуждения, боли за униженность человека, которые и делают творчество Кафки пусть ограниченным, но документом эпохи.

И кафкианские образы в некоторых современных романах и пьесах и толкование его творчества в работах буржуазных почитателей стремятся окончательно вырвать это творчество из его исторического и национального контекста, превратить «маленького человека» Кафки в некий отвлеченный эталон современного человека, носителя атомизированного сознания, обуянного страхом перед грядущей и неизбежной мировой катастрофой.

Вот почему необходимо показать, что «метафизика» Кафки есть лишь искаженное отражение реального в своей диалектике, протекающего во времени исторического процесса, что речь идет не о сомнительном предвидении страшного будущего, а о несомненном отвращении к настоящему и что действует в произведениях Кафки не фантом современного человека, а вполне реальный «маленький человек», живший в буржуазной стране Австро-Венгрии начала нашего столетия.

III

Есть художники, биография которых существует как бы рядом с их творчеством, не отражаясь в нем в существенных своих чертах. Биография Кафки, напротив, чрезвычайно важна для понимания его мироощущения и творческой судьбы. К «общему» он восходил от «частного», личный опыт рождал в нем ложные представления, а также и истинные противоречия, которые и составляют наиболее ценную черту его творческого наследия.

Франц Кафка родился в семье пражского еврея, оптового торговца галантерейными товарами. Родным языком его был немецкий. В годы детства писателя материальное положение его семьи было средним. К его юности дело отца расширилось, благосостояние возросло. Но с ростом благосостояния семья не вышла из мира темного мещанства, где все интересы сосредоточены на «деле», лавке, где с необычайной легкостью, «по-семейному» оскорбляют друг друга, где у детей малых и взрослых нет своего угла, где отец почти как мистер Баундерби у Диккенса непрерывно хвастает теми обидами и лишениями, которые он перенес до того, как *сам* выбился в люди, не в пример детям, все получившим даром. И трудно понять, как в этой среде людей мясистых, шумных, здоровых и грубых мог появиться отпрыск не только хрупкий и слабый физически, но и чувствительный, как андерсеновская принцесса на горошине, ко всякому проявлению несправедливости, неуважения к человеку, пошлости и мещанского корыстолюбия.

Буржуазные исследователи творчества Кафки не скупятся на фрейдистское истолкование отношений его с отцом, который ломал и сломал волю сына — «чудака» и «отщепенца». Фрейд тут, конечно, ни при чем. Буржуазная семья есть первая «застава», первый барьер, который должен взять будущий художник или деятель, ощутивший свою чуждость окружающей среде. Но для того, чтобы стать одним из блудных сыновей буржуазии, которыми, по определению Горького, создано искусство критического реализма, надо ощутить свое право на чуждость среде, свою «непохожесть», как истинную человеческую норму. Только тогда из «отщепенца» может вырасти «властитель и судья».

Франц Кафка не мог переступить даже через первый порог на путях «сопротивления среде». Всем сердцем, всем сознанием преданный своему призванию художника, своим взглядам и вкусам, он вместе с тем вторым зрением до конца жизни видел себя и глазами семьи и среды, ощущал свою непохожесть как уродство, чуждость, как грех и проклятие.

Макс Брод, друживший с Кафкой со студенческих времен, говорит, что, когда появилась новелла Томаса Манна «Тонио Крёгер», Кафка буквально влюбился в нее и с тех пор с нетерпением ждал каждой новой строки Томаса Манна, которого он выделял из всей современной ему немецкой литературы. Это вполне понятно. Ведь речь в новелле шла о художнике, «выломившемся» из среды и семьи и вместе с тем не нашедшем удовлетворения и сознания своей правоты на путях, чуждых миру, из которого он вышел.

Да, Франца Кафку можно было бы поставить рядом с героем Томаса Манна. Но окружающий его темный мир отнюдь не походил на богатый культурными традициями, импозантный даже в своем умирании мир северогерманских купцов — «патрициев», откуда вышли многие герои Томаса Манна и он сам.

Той же двойственностью отмечен и дальнейший путь Кафки. Литература, призвание были в его жизни сознательно отделены от текущей работы и заработка. Причем и здесь, в этом решении, причудливо переплеталось великое, исступленное уважение к делу писателя с «семейным» представлением о серьезной работе и общественном положении.

Кафка долгие годы работал над своими произведениями лишь урывками, преимущественно ночью. Все дневные часы поглощала служба в конторе по страхованию рабо-

чих от производственных травм, а впоследствии еще и дополнительные занятия на фабрике, с которой были как-то связаны материальные интересы его отца и зятя.

И та и другая работа истощали Кафку физически и морально, но вместе с тем приводили его в соприкосновение с жизненным материалом, от которого начисто были отгорожены писатели-интеллигенты его поколения. Кафка непосредственно, каждый день имел дело с рабочим классом Австро-Венгрии. Однако общение это тоже происходило в своеобразных условиях. Кафка соприкасался с рабочими не как с «великой армией труда», не как с создателями всех материальных ценностей цивилизации, а как с толпой существ униженных, изувеченных, потерявших работу и большей частью тщетно добивающихся справедливости в бюрократическом лабиринте имперских канцелярий. В одном из своих писем к Максу Броду Кафка со свойственным ему юмором отчаяния так изображает арену своей деятельности в конторе: «Чем я только не занят! В четырех моих округах, помимо всех других дел, люди, как пьяные, непрерывно падают с лесов в машины, все балки опрокидываются, все подпорки трескаются, все лестницы рушатся, все поданное наверх тут же падает вниз, а о поданное вниз спотыкаются сами рабочие. И просто голова трещит от девушек с фарфоровых заводов, которые непрерывно катятся по ступенькам вместе с целой башней посуды».

Но если в конторе Кафка еще мог утешить себя тем, что он, насколько можно, действует в интересах справедливости, то на фабрике дело обстояло гораздо хуже. Когда под давлением отцовской воли Кафка регулярно бывает на фабрике, в его письмах и записных книжках появляется мысль о самоубийстве, желание выброситься из окна вниз головой на мостовую. Причем дело здесь заключается не только в том, что эта дополнительная и бессмысленная трата времени еще больше затрудняет его творческую работу.

«Вчера на фабрике,— пишет он в записной книжке 1912 года,— девушки в немыслимо грязной и мятой одежде, с волосами, всклокоченными, точно со сна, с лицами напряженными и окаменевшими от непрерывного шума трансмиссий, от неровной работы автоматической машины. Их не воспринимают как людей, с ними не здороваются, перед ними не извиняются, если их толкают, когда их позовут для какой-нибудь мелкой работы, они ее выполняют и тут же возвращаются к машине, и им кивком головы показывают, где они должны начать снова. Они стоят в нижних юбках, отданные на произвол мельчайших представителей власти, и у них даже не хватает здравого смысла, чтобы взглядом или поклоном снискать благорасположение этой власти».

Отрывок этот представляет тройной интерес, потому что в нем отражены и боль за унижение трудового человека, и стыд за пассивное соучастие в этом черном деле, и, самое страшное, пусть полуироническая, но все же мысль о том, что здравый смысл требует приспособления к своему рабскому состоянию.

В статье «Памяти графа Гейдена» Ленин говорит о трех видах рабского положения человека: «Раб, сознающий свое рабское положение и борющийся против него, есть революционер. Раб, не сознающий своего рабства и прозябающий в молчаливой, бессознательной и бессловесной рабской жизни, есть просто раб. Раб, у которого слюнки текут, когда он самодовольно описывает прелести рабской жизни и восторгается добрым и хорошим господином, есть холоп, хам».

Большинство людей в романах и новеллах Кафки — это «просто рабы», страдающие, униженные, принимающие свое унижение как норму. И несмотря на сочувствие автора к их рабскому положению, он все же склонен думать, что найти выход невозможно. У некоторых из героев Кафки порой смутно проступает сомнение в том, что действительность, в которой они существуют, разумна. У других героев, наоборот, рождаются постепенно черты холопства. В самом сильном, на мой взгляд, из произведений Кафки, в романе «Замок», возникают уже и отвратительные ему прямые холуи, хамы, добровольные и корыстные приспешники своих угнетателей.

Ну, а главные герои романов и новелл — Замза («Превращение»), Георг («Приговор»), Карл Россман («Америка»), Иосиф К. («Процесс»), землемер К. («Замок»)? Кто же они, эти люди, своего внутреннего родства с которыми автор не скрывает? Ведь в романе «Замок» рассказ даже велся в начальных вариантах от первого лица. Землемера К. не было, был «я». Недаром Кафка долгое время считал, что основной задачей его жизни и должно стать создание автобиографии.

Я думаю, что в личности, характере, судьбе этих главных героев воплотилось стремление зашифровать, перевести в метафизический план осознание своего рабского состояния, чтобы тем самым заранее признать фатальную невозможность борьбы. Кафка как бы говорит: да, капитализм — страшное «состояние мира и душ», но поскольку он всеобъемлющ, всякая попытка бороться лишь нарушает пусть унизительное, но все же равновесие и делает еще тяжелее и мучительнее положение того, кто ищет справедливости, или тех, кому он хочет помочь. «Справедливость» — это слово и для Кафки, как и для Арнольда Цвейга, и Лиона Фейхтвангера, звучало, «как будто старый Бах сел за орган». Не случайно, что Кафка, который за всю свою жизнь лишь дважды выступал публично, одно из этих выступлений посвятил чтению отрывков из новеллы Генриха Клейста «Михаэль Кольхаас», новеллы, о которой он, по его словам, не мог даже думать без волнения и слез восторга. Речь в ней идет о человеке, который боролся за свое право и справедливость с продажной феодальной юстицией Германии XVI века, защищая правду, стал разбойником и, добившись своих прав, добровольно пошел на казнь, искупая зло, содеянное им в справед-

ливой борьбе. Но эта действенность убеждений и исступленная защита справедливости была для Кафки лишь сказкой. И если современники его без устали говорили о том, что можно и должно добиться справедливости, Кафка с убежденностью отчаяния твердил об обратном, о том, что сегодня в мире капитализма такая борьба хуже чем безнадежна. Попытке борьбы за справедливость посвящена первая глава романа «Америка», озаглавленная «Кочегар». Здесь борьба эта (кочегара океанского парохода обсчитали при выплате жалованья) носит еще почти комический характер. Кочегар, защищая свои права перед судовым начальством, шепелявит, путается, захлебывается от слез. Карл Россман, шестнадцатилетний юноша, высланный родителями в Америку якобы за его «безнравственность», тщетно пытается помочь. Все усилия Карла направить разговор в разумное русло лишь вызывают гнев «подзащитного» и усугубляют путаницу.

За справедливость, правосудие, свое человеческое право пытается вначале вести борьбу и Иосиф К., герой «Процесса». Но, как всегда у Кафки, протест этот косноязычен и касается частных, производных от общего беззакония обстоятельств. Те «двое», которые ранним утром пришли заявить крупному банковскому служащему Иосифу К. о том, что он арестован, вели себя неподобающим образом: они нахально съели его завтрак. Когда впоследствии, жалуясь в одной из бесчисленных судебных инстанций на незаконность ареста, герой упоминает об этом, жалобу его тут же сводят именно к этому мелкому, частному обстоятельству. Рыхлых, глупых исполнителей чужой воли, для которых пожирание завтрака арестованных — основное питание, по жалобе Иосифа К., наказывают кнутом, через палача. И сам пострадавший, видя эту расправу, чувствует себя преступником, втянувшим в общий круг страдания и страха еще два неответственных за свои действия существа. Еще горше отзывается попытка борьбы за справедливость на судьбе землемера К., героя романа «Замок». К. пробует взять на себя ответственность за судьбу Фриды, любимой женщины, невесты, но естественное и логическое стремление оградить ее человеческое достоинство и женскую честь ведет не только к бытовой, но и к моральной катастрофе и заставляет любящих расстаться друг с другом.

Общество, в недрах которого пребывают герои Кафки, больше всего похоже на трясину. Малейшее усилие освободиться, сделать существование свое более сносным и разумным лишь ухудшает положение человека, приближает его к гибели. Взаимоотношения героев Кафки — это действительно диалог глухих, все усилия ведут не туда, куда они направлены, все отношения складываются на основе ложных и трагических недоразумений; и эта глубоко пессимистическая концепция взаимоотношений мира и человека углубляется из года в год. Ее нетрудно обнаружить уже в романе «Америка», первом, над которым работал Кафка. Правда, этот «диккенсовский» роман (как по определению автора, так и по объективной сущности) на фоне всего творчества Кафки может показаться почти идиллией. И сам Карл Россман, брошенный родными в «житейское море», и все приключения его очень напоминают юных героев Диккенса и их судьбы. Даже бродяги Робинсон и Дельмарш, прилипшие к нему и мешающие его продвижению в «нормальном» буржуазном мире, это почти диккенсовские жулики, лишенные черт иррациональности и демонизма, не более страшные, чем мистер Джингль и Джоб Троттер из «Записок Пикквикского клуба».

В романе «Америка» чувство вины, чувство своей чуждости окружающему миру еще лишь подкрадывается к герою, а кроме того, все-таки оно имеет здесь реальные, жизненные основания.

Роман «Америка» остался незаконченным, как и все три романа Кафки, причем свидетельство Макса Брода, с одной стороны, и записные книжки, с другой, сохранили нам прямо противоположные варианты конца. Макс Брод, со слов Кафки, говорит о том, что конец романа должен быть по-диккенсовски счастливым. Карл Россман нашел путь к творческому труду, «надсоциальному» и свободному. Театр, фантастический по своим возможностям, задачам и творческим свершениям — Naturtheater in Oklahoma,— дает герою все — счастье, свободу, даже возвращает ему некогда несправедливо отринувшую его семью. Однако записные книжки Кафки говорят о совсем ином конце: о том, что и виновный К., герой «Процесса», и невинный Карл, герой «Америки»,— оба будут умерщвлены. И такое решение несомненно больше соответствует всему мироощущению художника. Чувство вины, рожденное уже в отрочестве в столкновении с семьей, «непохожесть», неосмысленная и впоследствии как право и долг, вели Кафку все дальше по пути метафизической зашифровки реального исторического и социального зла, придавали все более патологический и кошмарный облик единому и непостигаемому в своей сущности капитализму. Одиночество, враждебность окружающего мира толкали художника к «бегству в себя», к индивидуалистической самоизоляции, к попытке найти убежище в мире искусства, в творчестве. Но, к чести Кафки будь сказано, попытка эта также не удавалась. Непрерывное самонаблюдение вновь и вновь приводило его к выводу, что сам он есть некая первичная клеточка все того же страшного мира, и сознание это отравляло и обесценивало для него его собственный творческий труд. Не случайно ни один из его романов не закончен, не случайно все записные книжки его полны словами отвращения к своим произведениям. Не случайно он завещал сжечь после его смерти все, что осталось ненапе-

---

чатанным, и не переиздавать того, что уже вышло в свет.

Нет, все это не «психологическое объяснение». Психология художника — это всегда социологическая категория. За чувством «чуждости», «вины» и «страха» — такова основа отношения к миру самого Кафки и его автобиографических героев — стоят определенные социальные закономерности. «Призрак-дерево» его «страшного мира» вырастает из реального зерна.

IV

Юный коммивояжер Замза из рассказа «Превращение», покорный сын жадно эксплуатирующей его труд обеспеченной семьи, в одно прекрасное утро превращается в огромное насекомое — то ли в клопа, то ли в таракана. Замза и покорен семье и не похож на нее. И «чуждость» его принимает облик, адекватный не его истинной сущности, а *трактовке* этой сущности окружающей средой. «Замза-клоп» — это овеществленная обывательская мудрость — «в семье не без урода». И так как он заранее воспринят как «урод», все попытки его проявить покорность, скромность, нежность, артистизм воспринимаются как злые и хитрые действия опасного и постыдного «выродка».

Так же «не в своем качестве» все время воспринимают семья и среда Карла Россмана — героя «Америки». Этот честнейший и скромнейший мальчик изгнан родителями «за разврат», дядей-миллионером — за своеволие, администрацией отеля, где он работает лифтером,— за воровство, скандалы и так далее. Ни в чем этом Карл не повинен. Но он «чужой» в стране, в Америке, в большом капиталистическом предприятии, построенном на продажности и эксплуатации, каким является отель-люкс. Однако злоключения Карла Россмана еще достаточно реальны (оболгали, выгнали с работы). Его «чуждость» — почти идиллия по сравнению с той всеобъемлющей метафизической чуждостью, которая определяет судьбу Иосифа К.— героя романа «Процесс». Должно быть, кто-то оклеветал Иосифа К., потому что однажды утром пришли его арестовать. Так начинается роман. Ужас этого ареста — чисто формального — в том, что арестованный, сохраняя свободу, то есть работу, все родственные и деловые связи, вместе с тем оказывается в положении «одного против всех». «Суд», который ведет процесс,— это все население города, в котором проживает Иосиф К. «Суд», соглядатаи суда, участники суда,— это и квартирная хозяйка Иосифа К., и соседи, и родственники, и адвокаты, к которым он бросается за помощью, и любовницы этих адвокатов, прохожие, уличные девки, его сослуживцы по банку и его начальники. Страшная машина этого бюрократического, буржуазного «суда», включающего в себя все общество, «заглатывает» человека медленно, вяло, как бы нехотя. И он сопротивляется так же вяло, точно по обязанности, вместе с тем заранее предчувствуя, что сопротивление бесполезно.

Роман «Процесс» — как бы замедленная съемка человеческой гибели в недрах бюрократической машины. «Суд» встречает человека на всех путях, как черная пасть могилы в известной сказке. Если же человек ляжет, чтобы не двигаться к ней, она сама, обретя подвижность, поползет ему навстречу.

В связи с этой «чуждостью» героев Кафки окружающему миру в зарубежной печати все чаще раздаются слова об «отчуждении», о том, что Кафка в своем творчестве (особенно в трех романах) образно воплотил то явление, сущность которого определена Марксом. Однако само понятие это приобретает порой несколько странную окраску. Термин этот (именно термин, а не социально-историческая сущность понятия) начинает толковаться весьма расширительно. «Отчуждением» называют уже любую форму «неудобства» в отношениях индивида и общества, независимо от социальной структуры общества и классовой принадлежности индивида.

И если, по Марксу, «отчуждение» рождается на определенной — поздней — стадии развития капитализма и сущностью его является «мистическая зашифровка» реальных общественно-экономических отношений между эксплуататорами и эксплуатируемыми, то сейчас нередко «отчуждением» начинают называть некую постоянную «метафизическую» категорию, которая кочует из одной общественно-экономической формации в другую. Это «отчужденное» от конкретно-исторического содержания понятие «отчуждения» порою оказывает влияние и на исследователей творчества Кафки, не стоящих на позициях идеализма.

И оно становится иногда столь универсальным ключиком ко всему творчеству Кафки, что с помощью его порою начинается метафизическая зашифровка именно тех страниц его, где с наибольшей отчетливостью отразилась реальная действительность. Так, в романе «Америка» есть вставная новелла — рассказ машинистки отеля Терезы о своем страшном детстве, о смерти матери. Новелла эта, написанная с большим волнением и страстностью, несомненно связана с традициями мирового, и прежде всего русского, критического реализма. В работе Эрнста Фишера о Кафке гибель женщины — безработной подсобницы на строительстве объясняется не тем, что она больна, бездомна (ее выгнала с квартиры хозяйка), голодна, измучена холодом и бесцельными ночными блужданиями, а тем, что под ногами ее на лесах рассыпался «отчужденный» кирпич и при падении его накрыла «отчужденная» доска. Думается, что Кафка, с раздирающей силой и стыдом ощущавший страдание *«всякой плоти»*, в *такой* зашифровке не повинен.

И все же связь между творчеством Кафки и реальным, марксистским, историческим, классовым понятием «отчуждение» несомненно существует. В основе «чуждости», «чувства вины» его героев лежит реальный страх всех категорий «маленьких людей» буржуазного общества на поздней стадии

его развития перед всевластием крупного капитала, перед разорением и пролетаризацией. Страх этот, «мистифицируясь», отделяется от человека, становится самостоятельной, враждебной ему силой. Не надо забывать также тот уже почти «иррациональный» бюрократизм и продажность, которыми определялась работа государственного аппарата австро-венгерской монархии.

Я думаю, что действительность, реальные общественно-экономические основы всеобъемлющего «зла» отчетливее всего «просвечивают» в романе «Замок». Да, и здесь все фантастично, «как в страшном сне, но наяву» — герои, их судьбы, обстановка. Но землемер К., прибывший в область, бесконечно далекую от его родных мест, чувствует себя там чужим прежде всего потому, что для него неприемлем тот «идиотизм», которым пронизана вся жизнь деревни, выталкивающей чужака, «городского», как инородное тело.

В дневнике Кафки сохранились записи, относящиеся к его пребыванию в Цюрау — маленьком имении, окруженном деревнями столь же глухими, как и та, куда судьба забросила землемера К. Но в дневнике Кафка с той железной точностью, почти сухостью, которая вообще свойственна его стилю, описывает реальных людей и их реальные судьбы. И тогда становится особенно очевидным соотношение, которое в произведениях Кафки существует между жизненным материалом и его художественным воплощением. Точнее всего это соответствует соотношению предмета и его гигантски увеличенной, колеблющейся тени на стене.

Землемер К. стремится проникнуть в «замок» — таинственный «казенный дом», управляющий судьбами крестьян, челяди, чиновников огромной канцелярии, персонала, обслуживающего их, на основе все того же всеобъемлющего бюрократизма. И в стремлении К. добиться у безликой и аморфной силы ответа о своей судьбе сливаются воля к борьбе за свое право на жизнь, работу и страх перед «пролетаризацией», перед нисхождением в разряд «парий», «отщепенцев» — равно презираемых «деревенскими» и «замковыми», таких, как семья Барнабы, «посланца» одной из канцелярий. Образы Барнабы, его родителей и сестер чрезвычайно важны для романа «Замок» и для всего творчества Кафки. Не только потому, что вставная новелла, посвященная этой теме, написана с большим мастерством. Новелла эта — рассказ Ольги, сестры Барнабы, о том, как превратились в парий, отщепенцев все члены ее семьи. Амалия, вторая сестра, защищая свою женскую честь, не пожелала стать любовницей одного из бесчисленных представителей замковой власти — чиновника Сортини. Нет, никаких обвинений вследствие этого против семьи не выдвинули, никаких официальных санкций против нее не применили. Семья была разорена и вытолкнута из круга почитаемых граждан медленно, вяло, постепенно, не руками носителей власти — боже упаси! — а руками сограждан, знакомых, друзей, «верхним чутьем» распознавших вдруг, откуда подул ветер. Самое же страшное в этой новелле и во всей беседе К. с Ольгой заключается в том, что и она, гордящаяся поступком сестры, и он, человек, который тоже не хочет сдаваться,— вместе с тем все время ищут и находят аргументы в пользу не только компромисса, но и прямой сдачи на милость победителя. Так, даже изображая (и как будто прославляя) борьбу, Кафка «в подтексте» проводит мысль о ее бесцельности. В этой двойственности отношения к «власти», к существующим формам общественного бытия проявлялась все та же «неотделенность» Кафки от старого мира, все та же двойственная оценка своей «чуждости» ему. Эту двойственность отметил и Томас Манн в статье, посвященной американскому изданию «Замка». К., по его словам, упрямо пытается устроить свою жизнь в соответствии с указаниями «замка», несмотря на то, что его грубо отталкивают все «замковые бюрократы». «Это приводит его к весьма непочтительному мнению и высказываниям о «замке», который он, однако, все-таки почитает в глубине души. Это и составляет творческую атмосферу — ироническую атмосферу романа».

Печальная ирония, полусмех-полурыдание (по словам Томаса Манна) действительно насыщают почти все произведения Кафки. И несомненно, тот постоянный спор, те бесконечные диалоги «pro» и «contra», которые ведут его герои, почти всегда окрашены авторской печальной и безнадежной иронией. Макс Брод — а вслед за ним и некоторые другие исследователи творчества Кафки — считает, что в контроверзах его героев сказалось влияние еврейской религиозной литературы, в первую очередь — талмуда. Думаю, что в «pro» и «contra» Кафки — если говорить о влияниях — гораздо более повинен Достоевский, многие его герои, и в частности Иван Карамазов, тень которого нередко возникает не только в чисто литературных записях дневника, но и в романах и новеллах Кафки.

И все-таки, при всей своей неуклюжести в преодолении препятствий, рефлексии, неотделенности от того общественного устройства, которое ему отвратительно, землемер К. иной, чем прочие герои романов и новелл Кафки. Кстати, герои романов Кафки несомненно более приемлемы для читателя, чем герои его новелл и отрывков. Несмотря на всю странность событий, судеб и самого внешнего облика их, они все-таки люди.

В новеллах Кафки появляются уже гибриды совсем неожиданного качества — адвокат, который, в сущности, вовсе и не адвокат, а Буцефал — конь Александра Македонского, или очеловеченная обезьяна (в качестве первой человеческой акции она выпила бутылку водки), или собака-философ, или как венец всего — Одрадек, близкий родственник некогда весьма популярной в

кругах русской буржуазной интеллигенции Недотыкомки из «Мелкого беса» Федора Сологуба. Недотыкомка — серая нежить — рождалась из пыли и мусора, которые ветер мел по задворкам уездной России. Од радек похож на комок спутанной пряжи, и кто его знает, то ли он безобиден, как андерсеновские домовые, то ли он несет в себе предвестье новых неурядиц и бед.

В новеллах Кафки в жестокую распрю могут вступить арабы и шакалы. Причем и «угнетенные» — звери и «угнетатели» — люди равно несправедливы друг к другу, равно считают друг друга исчадиями, отравляющими своей вонью чистый воздух пустыни. А в общем, правы и те и другие, потому что обе стороны, подобно капуцину и раввину в «Диспуте» Гейне, одинаково воняют.

В новеллах Кафки, даже в тех случаях, когда они как будто бы говорят о реальных людях и реальных событиях (например, в цикле, озаглавленном «Деревенский врач»), еще острее чувствуется убеждение в полной разобщенности людей, в горькой невозможности не только помочь другому, но хотя бы правильно расшифровать сигнал о помощи.

Возвращаясь к роману «Замок», мы должны сказать, что и там есть персонажи почти гибридного характера. «Помощники» землемера К., например, присланные ему из «замка» Артур и Иеремия — подлипалы и соглядатаи, отравляющие ему жизнь,— уж слишком стройны, уж слишком плавно изгибаются. Они, в своей черной, плотно облегающей длинное тело одежде, подозрительно напоминают гадюк, вставших на свой хвост.

Но при всем этом усилия землемера К. добиться своих прав получают в «Замке» ту моральную санкцию, какой не имеют все другие его герои. Свою дружбу, свое желание помочь приносит ему ребенок, черноглазый мальчик-школьник, отпрыск необычной, также пострадавшей от «замка», деревенской семьи. Мальчик потянулся к «чужаку» именно потому, что тот не похож на других, на окружающих. В «чуждости» мертвому миру «замка» ребенок деревни увидел и воспринял ее истинную сущность. Для него она и есть подлинно человеческая норма.

Этот образ тесно связан с одной из тем, которая проходит сквозь все дневники Франца Кафки. Это тема детства. Она рождена не памятью о своем детстве — страшном, темном, мещанском. Недаром в своих «Письмах о воспитании» Кафка требовал прежде всего бережного внимания и уважения к ребенку. Детская тема для Кафки стоит примерно так же, как стоит она в последнем фильме Феллини «8½», где веселое, дружное, нищее детство в трудовой рабочей семье — это сияющий и утраченный рай для героя, ушедшего в страшный мир буржуазного успеха и буржуазной наживы.

Среди жестоких самообвинений, патологических или поэтических снов, мыслей о самоубийстве, безжалостно точных портретов в дневниках Кафки вдруг, как искра, мелькают образы детей. Никакой сентиментальности в этих записях нет. Скупо и точно, как и все, даны в дневниках детские портреты. Деревенская девочка — милые глаза и белый крольчонок, сидящий на плече; девочка городской окраины — платье в горошек, косички торчком, сумка больше ее ростом — мать послала в лавку; два малыша в синих курточках тащат по охапке сена, итальянские малыши, которым он раздает монетки на площади Равенны; на морских купаньях — его «подружка», четырех лет от роду, «с брюшком, которое осталось еще с тех времен, когда она сосала материнскую грудь», сильная, как медвежонок, которая, сопя, пытается столкнуть с мостков в воду своего старшего, длинного друга. «Патология», «задние мысли», отчаяние, безнадежность — все это остается за порогом детской темы.

Мелочь? Не думаю. Образы эти существенны для понимания всей сложности и противоречивости творческого облика Франца Кафки.

В дневнике есть строки, довольно точно определяющие его ощущение этих объективно существующих противоречий. «То чувство лживости, которое я испытываю, когда пишу,— говорит Кафка,— лучше всего передает образ человека, ожидающего между двух отверстий в земле некоего видения, которое может возникнуть только справа. Но именно правое отверстие замуровано, а из левого одно за другим появляются видения и стремятся привлечь взгляд и добиваются этого, окружая его и совершенно заслонив, наконец, то отверстие, из которого только и могло подняться настоящее».

Память о существовании настоящего, которое лежит за пределами его восприятия мира, его творческих возможностей, несомненно отличает Кафку от его современных поклонников и учеников.

Но эта личная трагическая судьба не меняет того, что путь, по которому шел Кафка, ведет в тупик. И его видения, приобретая все более страшный облик, служат сегодня для борьбы с тем «настоящим», о котором он смутно тосковал.

Нет, Кафка не открыл новых путей для литературы. Мощный ее поток и у нас и за рубежом шел и идет совсем в другом русле. Но у наследников и продолжателей великих реалистических, героических и народных традиций искусства в равной мере нет оснований и превозносить Кафку и с презрением отвергать все, что есть в его книгах.

Кафка — не «отец новой западной литературы», как это полагают модернисты, не «пророк», не победитель. Он — побежденный, жертва, или, вернее, еще одно вещественное доказательство преступлений капитализма против человеческой культуры.

ЛУИС ЭНРИКЕ ДЭЛАНО

СПОРЫ В КАФЕ ИМЕНИ ЛОПЕСА ВЕЛАРДЕ

(Письмо из Сантьяго-де-Чили)

Я хотел бы рассказать вам о том, что сейчас происходит в литературе моей страны, Чили. О каких книгах, о каких авторах, о каких явлениях духовной жизни говорят сегодня в Сантьяго?

Несколько дней назад я заглянул в «Рефухио Лопес Веларде» — «Убежище имени Лопеса Веларде». Так называется кафе, недавно открытое Союзом писателей Чили на улице Симпсон, 7 (кафе это носит имя знаменитого мексиканского поэта-романтика, умершего в 1921 году и оставившего богатое литературное наследие). За соседним столиком расположилась компания молодых прозаиков и поэтов. Потягивая из чашки ароматный чай, я волей-неволей прислушался к их оживленным спорам. Беседа этих ребят, только-только вступивших на поле литературных битв (кое у кого из них уже имеется по одной или по две опубликованные книжки), вращалась главным образом вокруг следующих основных тем: теоретические высказывания Максима Горького о литературе — в нашем издательстве «Аустраль» вышел сборник его статей — и банкротство буржуазной чилийской литературной критики.

Опубликование в Чили горьковской книги «О литературе» вызвало живейший отклик среди молодых писателей, принесших в нашу литературу совсем иные проблемы, чем те, которые волновали, например, мое поколение, начавшее писать в двадцатых годах. Я читал Горького в юные годы и тогда чувствовал, как велик и горек мир «дна», в котором русский писатель искал свои темы и своих персонажей. Но в дни моей юности внимание молодых чилийцев привлекали главным образом произведения таких русских писателей, как Достоевский, Леонид Андреев, Гоголь,— книги их не содействовали формированию оптимистического видения мира. Сумерки наших душ не мог рассеять даже Горький вдохновляющими страницами «Матери» и других своих произведений.

Нынешняя молодежь располагает богатствами литературы социалистического реализма, и, более того, она живет в эпоху величайших свершений и величайших перспектив, в эпоху, когда социализм шествует по земному шару, властно расчищая себе пути, расширяя сферу своего влияния. Естественно поэтому, что наши молодые писатели отличаются от писателей старшего поколения более ясным мировоззрением, более глубоким пониманием своих задач. Они знают, что Горький — творец, сумевший не только описать жестокую действительность «дна», но и показавший это «дно» в свете будущего. Страницы книги Горького «О литературе», которые говорят о сути творчества, произвели большое впечатление на молодых чилийских писателей, нашедших в этой книге ответ на свои вопросы. Почти каждого молодого писателя беспокоит сейчас проблема мастерства. Разумеется, никто из них не считает литературный труд чем-то легким, пустяковым. Они изучают, исследуют новые приемы литературного мастерства, в том числе и «поток сознания», и внутренний монолог, и те новшества, что были введены такими писателями, как Джойс, Пруст, Хемингуэй, Фолкнер или как современный кубинский романист Алехо Карпентьер, вызывающий своим творчеством восхищение нашей писательской молодежи. Однако то, что говорил Горький — например, о типизации в романе,— до сих пор имеет исключительную ценность. Так думают и молодые литераторы,

собравшиеся в кафе имени Рамона Лопеса Веларде.

Они единодушны и в осуждении нашего старого критика Эрнана Диаса Арриэты (более известного под псевдонимом Алоне). По мнению Алоне, эстета и сноба французского толка, простые, «недостаточно рафинированные» люди — например, трудящиеся — недостойны быть литературными героями. Подобная «концепция», естественно, тесно связывается с активным, бешеным антикоммунизмом — духом антикоммунизма проникнуты ежедневные статьи Алоне. Столь велик страх Алоне перед прогрессивными силами Чили, что критик не в состоянии даже маскировать его. Недавно на митинге, организованном Коммунистической партией в парке на улице Бустаманте, Пабло Неруда выступил с резким осуждением реакционной деятельности Алоне. Молодые писатели, собравшиеся за столиком в кафе имени Лопеса Веларде, совершенно справедливо заметили, что реакционное политическое мировоззрение Алоне привело его к литературному банкротству.

Говорили здесь и о публикациях издательства «Зигзаг». Это издательство предприняло выпуск собраний сочинений ведущих чилийских писателей, начиная с лауреата Национальной премии по литературе Мануэля Рохаса. Книги Мануэля Рохаса рассказывают о тяжелой жизни нашего народа, и это дало в свое время основание называть его «чилийским Горьким». Конечно, речь шла не об аналогии политической — просто Рохас, как и великий советский писатель, прошел очень сложный и нелегкий жизненный путь и сумел изобразить все пережитое в своих произведениях. Наиболее популярен роман Мануэля Рохаса «Сын вора», переведенный на многие языки (в известной степени это произведение автобиографично). За собранием сочинений Мануэля Рохаса последовало издание произведений романиста Эдуардо Барриоса, другого лауреата Национальной премии, недавно скончавшегося. Писатель-реалист, Эдуардо Барриос также положил в основу своих превосходных по стилю романов и повестей злоключения юных лет. Успехом пользуются новые издания произведений Гонсалеса Веры, Рубена Асокара и наконец Пабло Неруды, которого, кстати, беспрестанно переиздают, поскольку спрос на его книги неизменно растет. Общий тираж одной из его первых книг — «Двадцать поэм любви и одна песнь отчаяния» — достиг миллиона экземпляров! Судя по всему, это единственный случай в литературе Латинской Америки (а тем более в нашей поэзии).

За последние недели три сборника стихов, принадлежащих молодым авторам, привлекли внимание наших читателей, заставили говорить о себе. Попытаюсь дать представление об их значении и месте в обширной чилийской лирической сельве.

Начну с книги «Монолог искреннего человека» поэтессы Делии Домингес. Делия Домингес родом из провинции, она не заражена софистикой большого города; ей чужда столь обычная для наших поэтесс субтильная лирика, отдающая французскими духами и не выходящая за рамки мелких любовных печалей. Поэтесса большого сердца и большой искренности, Делия Домингес по серьезности, с какой она поднимает важные общечеловеческие темы, приближается скорее к нашей великой поэтессе Габриэле Мистраль. Делия Домингес воспевает юг, где она родилась и где прошли ее детские годы, однако творчество молодой поэтессы не ограничивается проблемами родной провинции. Надо ли здесь повторять общеизвестную истину, что когда художнику удается передать во всей полноте характер человека или краски природы, то его произведение, написанное на локальную тему, приобретает общенациональное, общечеловеческое звучание? Разве бессмертный «Дон-Кихот» не является вместе с тем сугубо локальным, «узкоместным» романом?.. Для Делии Домингес земля ее — это земля всех, семья ее — это мир, мать ее — это лоно вселенной, братья ее — это люди всех стран По-моему, творчество Делии Домингес представляет собой ту женскую поэзию, которой так не хватало в Чили после смерти Габриэлы Мистраль,— поэзию, которая пахнет полями, рекой, чистым воздухом, хлебом, только что вынутым из печи, только что сорванным с ветки плодом.

Мне хочется сказать также и о другом поэте, не похожем по своей литературной манере на Делию Домингес. Речь идет об Энрике Лине. Ему 32—33 года. Его поэтический мир несколько усложнен, и после появления последней книжки стихов этого поэта — «Темная комната» — стали говорить, что в его поэзии господствует скорее умозрительное, чем чувственное восприятие мира Нет сомнения, что в любой настоящей поэзии находят себе место и то и другое. И если Лин читает Никанора Парру, Евтушенко, Жака Превера, некоторых «сердитых» из США, Элиота, то его собственная поэзия бесспорно является не только плодом раздумий, литературной культуры, но и результатом непосредственного, чувственного восприятия мира. Это очень своеобразный поэт, которого, по-моему, скоро будут переводить на многие языки. Он идет своей дорогой. Некоторые критики пытаются утверждать, что на него, как и на многих других молодых чилийских поэтов, оказали влияние «антистихи» чилийского поэта Никанора Парры. Я не стал бы утверждать этого, несмотря на то что мне известно, с каким восхищением относится Лин к Парре (впрочем, сам Парра начинает отказываться от этой временной для него формы, переходя на позиции открыто социальной поэзии).

Нам хотелось бы, чтобы Лин был более оптимистичен, чтобы он стал певцом надежд, но пока в тематике и в общем звучании его стихов преобладает элегичность, он чаще говорит о смерти, об ушедшем.

Однако в последней его книге, о которой я уже упоминал — в сборнике «Темная комната»,— появляются кое-какие новые нотки, проблески рассвета; поэт начинает чувствовать свои обязательства перед временем (как, например, в стихотворении, где Энрике Лин с возмущением и гневом пишет о тех, кто хотел бы уничтожить на Кубе завоевания социалистической революции). Мы надеемся, что в конце концов Лин пойдет именно по такому пути,— не случайно он недавно вступил в ряды коммунистической партии. И мы вправе ожидать от него многого.

Третий сборник стихов, всколыхнувший наших читателей,— «Сонеты бурь» Марио Ферреро. Творчество этого поэта, перевалившего на пятый десяток, многострунно. В своих прежних книгах (на которых лежит заметный отпечаток влияния Пабло Неруды) Марио Ферреро поднимает тему духовных исканий человека, тему социалистической революции. В недавно вышедшей его книге есть и стихотворения социального характера. Быть может, бросая самому себе вызов, Ферреро здесь берет на себя сложную задачу: подобно поэтам испанского золотого века, он следует классической форме сонета. Но это не опыт ради опыта. Такие мастера, как Пабло Неруда, Антонио Кампанья и Виктор Франсани, и раньше прибегали к старой итальянской форме сонета, чтобы в четырнадцати строках излить свои чувства. А Ферреро использует форму сонета и для стихов социального звучания. И надо признать, что в этом «путешествии в XVI век» Марио Ферреро вышел победителем: в старые бурдюки сонета он сумел влить крепкое вино современности.

Огромное впечатление на молодых читателей моей страны произвел один старый роман, впервые появившийся небольшим тиражом в 1934 году и недавно переизданный издательством «Аустраль», выпускающим книги прогрессивных писателей. Автор этого романа, ставшего подлинным открытием для нашей молодежи, учитель начальной школы Карлос Сепульведа Лейтон, умер лет двадцать назад, оставив всего три книги: «Пасынок», о котором идет речь, «Фабрика» и «Товарищ». Мало кто встречал Карлоса Сепульведу Лейтона на литературных собраниях — скромный учитель, он посвятил всю свою жизнь социальной борьбе, став одним из видных руководителей профсоюза работников просвещения. Его преследовали, сместили с поста и, наконец, выслали в отдаленные районы страны. Однако все это не устрашило Сепульведу Лейтона — в последние годы своей жизни он уже сражался в рядах нашей коммунистической партии. Сепульведа Лейтон был писателем-реалистом. В своем романе «Фабрика» он пишет об отвратительной системе подготовки учителей, и фабрикой он называет учительский институт «Эскуэла нормаль», который знал по собственному опыту, где учителей выпускали «сериями». Автобиографичен до некоторой степени и роман «Пасынок» — книга о жизни ребенка, воспитывающегося на улицах пролетарского квартала Сантьяго.

«Второе рождение» «Пасынка» совпало с публикацией книги молодого писателя и литературоведа Хаиме Вальдивиэсо «Штурм традиции», в которой автор подробно анализирует литературное творчество Сепульведы Лейтона. У писателей-реалистов, каким был Карлос Сепульведа Лейтон, практика и творчество тесно переплетаются. Если бы не та жизнь, которую он прожил, если бы не та борьба, которую он вел, не было бы его замечательных книг. Вальдивиэсо проникает в простой и сложный, как сама жизнь, творческий мир Сепульведы Лейтона, изучает тщательнейшим образом литературные влияния, которые испытал писатель, и доказывает, что этот скромный учитель опередил своей литературной техникой многих романистов своего времени.

Все, что было сказано до сих пор, заставляет прийти к выводу: реалистические тенденции бесспорно господствуют в современной литературной жизни Чили. Разумеется, в этом нет ничего нового. Это старая традиция нашей литературы, традиция, которой мы, чилийские писатели, гордимся. Когда в прошлом веке Хосе Викторино Ластарриа создал в Чили жанр рассказа, то был рассказ реалистический. Когда Альберто Блест Гана заложил основы чилийского романа, он творчеством своим определил концепцию реалистического романа. Эта линия развивается в нашей литературе и поныне, теперь ее продолжают молодые писатели. Конечно, были и исключения, и срывы, было время, когда в моду входили произведения, написанные в идеалистическом духе, когда мы увлекались имажинизмом, когда писатели брали маленький кусочек действительности и опутывали его архисложными проблемами фрейдистского толка, когда, поддавшись порочному чужеземному влиянию, они создавали ситуации или героев, отнюдь не типичных для нашей жизни. Это как раз совпало по времени с годами бешеной травли всего прогрессивного. В ту пору по нашей стране прокатилась волна полицейских преследований; в «черное десятилетие» 1947—1957 годов в Чили царил так называемый «закон о защите демократии», запрещавший коммунистическую партию, коммунистическую печать, какую бы то ни было коммунистическую деятельность.

К счастью, период «черного десятилетия» уже остался позади. Здоровый и плодотворный реализм вновь господствует в нашей литературе, и мы гордимся этим, потому что это отвечает не только нашим традициям, но и нашим нуждам.

Когда английский писатель Алан Силлитоу был в Москве, мы попросили его рассказать о том, как он стал писателем и что он думает о долге художника в наши дни. Так родилась эта статья, которая, как нам кажется, представляет интерес для читателей, имевших возможность в минувшем году познакомиться на страницах нашего журнала с последним романом Силлитоу — «Ключ от двери».

АЛАН СИЛЛИТОУ

ЧТО ГОВОРИТ ПИСАТЕЛЬ

К вопросу о том, как я начал писать, и о писательском труде вообще я подойду издалека.

Когда в августе 1948 года я возвратился из Малайи, я был рад уйти со службы в королевских военно-воздушных силах, потому что руководимые коммунистами партизаны начали войну против англичан, а я не хотел принимать в ней никакого участия. Почему-то — я до сих пор не знаю, почему именно,— я чувствовал себя измотанным, утомленным обилием солнца, влаги и своей работой в качестве радиста. Отчасти я считал тогда эту усталость закономерной, видя в ней непосредственный результат тяжелой работы за последние два года, проходившей в условиях какого-то подозрительного душевного спокойствия. Но она оказалась закономерной лишь в том смысле, что мое телесное «я» настоятельно требовало разрыва с жизненной ситуацией, глубоко чуждой моей натуре.

Четыре недели спустя по отплытии из Сингапура наш транспорт прибыл в Англию. Перед увольнением из армии мы все должны были пройти рентгеноскопическое обследование, чтобы убедиться в том, что мы демобилизуемся такими же здоровыми, какими призывались. Мои мысли в то время блуждали далеко от всего этого. Я думал о встрече с родными, о том, найду ли я работу, и пытался рисовать себе какой-то образ неведомого, неопределенного будущего, которое казалось мне таким привлекательным, после того как я три года провел на военной службе, которую терпеть не мог, тяготясь дисциплиной армии, преследующей неправые цели.

Я видел, как моих друзей, уже прошедших обследование, признавали здоровыми и, выдав им железнодорожные билеты и остаток жалованья, отпускали. Происходило это в унылом, потрепанном непогодой, широко разбросанном селении около северо-западного побережья Англии — тоскливом, глухом месте, предназначенном лишь для того, чтобы, подобно тюрьме, пропускать людей из одной жизни в другую. То был транзитный лагерь, шлюз на реке жизни, поднимающий человека с одного уровня на другой.

Военный врач вызвал меня к себе.

— Присядьте,— сказал он, глядя на меня через стол. Это был молодой человек чуть постарше меня. Я сел.— Боюсь, ваша рентгеноскопия не так хороша, как хотелось бы.— Я не понимал и ждал, что он скажет дальше.— На снимке затемнения, и их вид нам не нравится.

«Ладно, ладно,—думал я.— Давай кончай и выписывай увольнительную. Мне некогда надо встретиться с девчонкой и начинать жить. Ничего у меня нет. Я здоров, как любой двадцатилетний парень». Когда по пути домой нас мотало на мертвой зыби в Бискайском заливе, мне пришлось пойти во внеочередной наряд по кухне, потому что других укачало. Терпкий морской ветер вдохнул в меня жизнь. Я работал что было сил, потом выходил на открытую палубу и курил, наблюдая за причудливой игрой фосфоресцирующей пены.

— По всей вероятности, эти рубцы достаточно веско указывают на то, что вам необходимо лечение.

Мне от рождения был свойствен оптимизм, глушивший во мне дурные предчувствия, но теперь реальность мягким шагом пантеры стала вкрадываться в мое сознание.

— Что у меня? — спросил я. Мне не хватало ни образованности, ни гибкости ума, чтобы понять, к чему он клонит.

— Подождем — увидим,— ответил он.—

Статья печатается с небольшими сокращениями.

Вам надо лечь в госпиталь и пройти различные обследования, только тогда можно будет сказать, какая у вас реакция на туберкулез — положительная или отрицательная.

— Сколько времени понадобится на излечение? — поинтересовался я.

Излечение невозможно — таков был смысл его уклончивого ответа.

— Вы можете пробыть в госпитале год, а то и два. На этой стадии долго не задерживаются.

Мне пришло в голову, что я могу умереть. Это была та страшная болезнь, от которой, я слышал, люди умирают в детстве и умирали в войну. Я всегда боялся заболеть ею, хотя мысль о такой возможности не преследовала меня, за исключением тех случаев, когда меня просвечивали на заводе. В такие минуты я действительно волновался, ожидая результатов обследования.

Хотя до этого более или менее важные вопросы и вынуждали меня понемножку шевелить мозгами, однако над житейскими мелочами я никогда особенно не задумывался. Теперь же пришлось не только размышлять о любом пустяке, но и пытаться осознать, что означает для меня этот жестокий удар. Так я убедился, что нет худа без добра.

И, быть может, не так уж и странно предположить, что именно тогда во мне созрело почти безотчетное решение стать писателем. Уже в Сингапуре я написал несколько юношеских стихотворений. В семье меня сызмала считали занятным рассказчиком, особенно когда речь шла о том, чтобы загнать в постель моих братьев и сестер. Но ведь это может всякий. Мне кажется, я начал писать для того, чтобы осознать, что значит для меня моя внезапная болезнь.

У меня не было оснований надеяться на быструю поправку, так как дело оказалось гораздо хуже, чем врач вначале предполагал. Мысль о том, что мне придется два года провести в постели, в госпитале, привела меня в ужас; долгое время, хотя и примирившись с нею, я был словно оглушен, словно в каком-то столбняке. И вот, еще не придя в себя, я принялся читать все, что только попадалось мне под руку. Прочитанное глубоко действовало на меня, и, поскольку я в больших количествах поглощал серьезную литературу, результатом этого запойного чтения было обогащение (хотя и не изменение) моей личности. Таким образом, я начал читать книги и писать их почти одновременно. Но так как раньше я почти не читал, ничего путного из-под моего пера не выходило.

В госпитале я написал несколько десятков виршей, которые впоследствии полностью уничтожил. Мои записные книжки заполнялись стихами, рожденными скорее лихорадкой, чем искусством. Но я писал и прозу, и моим первым творением в этом жанре был рассказ о восхождении в горы в малайских джунглях; после бесчисленных переделок он вошел главой в мой роман «Ключ от двери», который был издан тринадцать лет спустя в Лондоне. Отталкиваясь от этого первого опыта, я написал двухсотстраничный отчет о своей жизни в Малайе, который (опять-таки после многократных переделок и добавлений) стал грубой основой для глав книги «Ключ от двери», посвященных Малайе. Таким образом, мой последний роман является в некотором смысле моим первым романом, и я работал над ним в общей сложности тринадцать лет. Он разросся до семисот страниц, но в окончательном варианте я урезал его до четырехсот — что опять-таки только пошло ему на пользу.

Я формировался как писатель между этим первым наброском к «Ключу от двери» и выходом книги в свет.

В жизни писателя бывают события, которые кажутся ему важными, те же события могут ничего не говорить другим людям или критикам. Можно также сказать, что все важные события в жизни писателя происходят еще до того, как он напишет свою первую страницу; и в некотором смысле его первая страница значит больше, чем любая другая, хотя лишь немногие писатели могут точно вспомнить, когда они написали свою первую страницу и о чем.

С того дня, как я начал писать, до опубликования моей первой книги прошло десять лет, однако почти с самого начала я отдавал себе отчет в том, что хоть я и писатель, но не интеллигент. Если я и мог как-то думать, то только на бумаге: мысли появлялись лишь по мере того, как двигалось перо. У меня не было за плечами трех лет университетской подготовки, меня не учили писать эссе и анатомировать стихи, и я не владел никаким языком, кроме английского, да и тем скверно. В то время я сожалел об этом — сейчас нет. Эссе все еще стоят мне огромного труда. Неспособность заставить мысли плавно перетекать одна в другую, не только думать об аргументации, но и развивать ее, связывать причины и следствия на тонкий и изощренный манер — все это вгоняет меня в кровавый пот, хоть я и пытаюсь время от времени писать такие эссе и статьи. Теперь я вижу, что университетское образование может что-то убить в человеке. Оно может приучить вас так реагировать на произведения литературы и искусства и на саму жизнь, что общество, а не вы лично получит от этого наибольший выигрыш.

Мой первый роман насчитывал сто тысяч слов и был написан за семнадцать дней. Сейчас от него не осталось и следа. Множество стихов и рассказов, написанных в то же время, я сжег. Это следующая ступень становления писателя-самоучки: он вооружается коробком спичек и таким путем сжигает больше слов, чем тот, кто уже научился бережно пользоваться словом, кто избегает страстности и шокирующей горячности выражений, кто заносит на бумагу лишь самое необходимое, чтобы не тратить попусту труд и драгоценное время и чтобы не быть ложно понятым. Я ставил десять прилагательных там, где хватило бы одного, многократно употреблял одно и то же слово

АЛАН СИЛЛИТОУ
ЧТО ГОВОРИТ ПИСАТЕЛЬ

на одной странице, повторялся, снабжал героя карими глазами и светлыми волосами, а через сорок страниц, сам того не замечая, делал его голубоглазым и темноволосым и даже терял сюжетную линию. Это была мешанина из Достоевского и Д. Г. Лоуренса, Конан-Дойля и Виктора Гюго, неукротимая, не поддающаяся расшифровке и никак не связанная с действительностью. Это была смесь различных литературных стилей и культур. И хотя я отослал рукопись издателю (ее возвратили), я отлично сознавал, что мне предстоит долгий путь. Таковы муки роста любого писателя. Тут нет ничего необычного, ничего удивительного.

Еще с мальчишеских лет я мечтал путешествовать, однако теперь я не только испытывал в этом жгучую потребность, но и видел реальную возможность осуществить свою мечту. Мне казалось, что, если я поживу несколько месяцев за пределами Англии, прояснятся не только мои литературные воззрения, но и вообще мои взгляды на жизнь. У меня не было образования, и, возможно, я надеялся таким образом хоть как-то восполнить этот пробел. Помимо чтения я решил изучать какой-нибудь иностранный язык. И еще я говорил себе, что климат где-нибудь на побережье Средиземного моря благотворно повлияет на меня.

Я покинул Англию с намерением вернуться через три месяца. Я вернулся лишь через шесть лет. Такой срок понадобился мне для того, чтобы выработать свои взгляды на жизнь и научиться мало-мальски ясно излагать мысли на бумаге. Зрелость не приходит вдруг ни в жизни, ни в искусстве.

Я жил как в добровольной ссылке. Первый год я провел во Франции, неподалеку от ее средиземноморского побережья, в местности, где жизнь была дорога и где моих скромных достатков хватало лишь на хлеб, фрукты, овощи и прованское масло. Как оказалось впоследствии, это была необычайно здоровая диета. Я все еще считался больным, но такое питание и дальние прогулки в горах положили начало выздоровлению. Я жил так, как будто у меня не было никакого туберкулеза, забывая (или не имея возможности) следовать предписаниям врача. У меня не было денег на табак или спиртное, и я не мог покупать дрова для готовки и отопления. Я рубил в соседней роще кусты мимозы и ходил за водой к ближайшей колонке. Когда надо было что-нибудь купить в городе, я принужден был делать длинную прогулку — спускаться вниз по склону холма. Я играл ва-банк, заставляя себя жить как все здоровые люди, что бы ни случилось.

Я писал рассказы, стихи и работал над двумя другими романами, которые и поныне держу под замком в ящике моего письменного стола в Лондоне и которые никогда не опубликую. В свое время я пытался их опубликовать, и издатели проявили к ним интерес, однако не в такой мере, чтобы их напечатать. И я рад, что они этого не сделали.

Если мои романы почти не имели отношения к повседневной жизни, то с рассказами обстояло наоборот. Их местом действия был промышленный город Ноттингем, где я родился и вырос, а героями — люди, которые там жили,— либо мои знакомые, воспроизведенные с той или иной степенью достоверности, либо создания моей фантазии, изображенные на фоне реальной действительности и представляющие таким образом смесь того и другого. Мой первый рассказ назывался «Дядя Эрнест» и был разослан чуть ли не во все английские журналы. Он увидел свет лишь семь лет спустя и имел большой успех.

Таким образом, пока я учился писать, моя продукция была весьма низкого качества, а то, что можно было напечатать, не отвечало господствующим литературным вкусам. Как я теперь вижу, это тоже было хорошо, хоть и обескураживало меня до такой степени, что я начинал сомневаться, есть ли у меня вообще данные для того, чтобы стать писателем. Тем не менее, когда я получал свой первый заграничный паспорт и меня попросили указать в заявлении род занятий, я легкомысленно начертал: «Писатель».

«Ключ от двери» писался кусками, огромными порциями за раз, без строгой последовательности. Еще раньше я написал ту часть книги, где рассказывается о детстве Брайна Ситона — как о той его поре, которую он провел в городе с родителями, так и о той, которую он прожил у деда в деревне. Каждый раз, переделывая эту часть, я углублял и дополнял ее.

Эстетические вопросы, касающиеся «художественного мастерства» и стиля, меня не волновали, ибо я был слишком занят тем, чтобы научиться как можно полнее выражать себя — свои сокровенные мысли, вложенные в поступки других людей, нимало не похожих на твою особу. Возможно, все эстетические теории стихийно присутствуют уже в этой борьбе за самовыражение, а я тогда этого не замечал. Но и до сих пор я не придаю особого значения теории художественного творчества, ибо все, что я пишу, исходит из той части моего существа, которая нелегко поддается анализу. Писатель в моем представлении сродни шахтеру: глубоко под землей он разрабатывает богатые угольные пласты, и единственный свет, его направляющий, свет лампы на шлеме, освещает очень узкий участок пространства в том направлении, куда он поворачивает голову, но освещает так ярко, что он никогда не ошибается в цвете, текстуре и богатстве материала перед его глазами. Он инстинктивно находит тот уголь, который ему нужен, наиболее богатые жилы земли. Это тот первичный материал, который он использует.

Однако он много работает и при дневном свете, отбирая и отсеивая материал, поднятый из глубин. Это важная часть творческого процесса, но тот, кто начинает писать и хочет почать свой какой ни на есть талант, должен прежде всего прислушаться к глубинам своей собственной души. Чтобы вы-

свободить в себе подлинный талант, он должен заговорить своим подлинным голосом. Его подлинный талант может проявиться лишь тогда, когда его настоящий голос будет найден и усовершенствован техникой и практикой ремесла.

Итак, он должен найти свой подлинный голос, и это нелегкое дело. Во всяком случае, так это было у меня. Множество влияний мешают ему найти свой настоящий писательский голос. Я не хочу сказать, что он должен выявиться инстинктивно. Я хочу сказать, что писатель должен нащупать тот кусок сплошняка, который он носит в себе, прежде чем он сможет исследовать его при дневном свете. Если его подлинное призвание состоит в том, чтобы писать книги о рабочем классе, он встретит множество препятствий на своем пути. Что касается меня, я не мог прочесть ни одного современного романа на эту тему. Если они и существуют, то у меня не было возможности получить их. Далее, люди, которыми я интересовался, изображались в радиопередачах и в журналах либо комедийными персонажами, либо преступниками без иных побуждений, кроме жажды наживы, либо слугами. Предвзятость и предрассудки всегда являются злейшими врагами нового взгляда на вещи. Но тот, кто обладает достаточно крепким голосом, сметает их со своего пути.

Когда из-под моего пера стала наконец выходить ясная английская проза, без излишеств и без повторов, начал звучать и мой подлинный писательский голос. Вместе с ним пришла и тема: я писал о людях, которых знал всю свою жизнь. Я не протоколировал — я выдумывал.

Критики охотно высказывают предположение, что мой первый «рабочий» роман автобиографичен, лелея надежду на то, что автор уже исчерпал себя в этом жанре. Вот когда он возьмется за настоящий роман, говорят они, тогда будет видно, на что он способен. Под «настоящим романом» они подразумевают роман о людях, с которыми автор недостаточно знаком, и тогда они смогут «по-настоящему» изничтожить его. Буржуазным писателям такие требования никогда не предъявляются. Если они и ныряют в гущу рабочего класса (часть общества, которую они не способны понять), это называется «ходить в трущобы», и рабочие у них выглядят какими-то чучелами. Однако их за это никогда не критикуют.

Когда писатель издает свой второй роман, тоже о заводских рабочих, критики воздают должное его безрассудной смелости и укрепляют свои нервы в ожидании третьего. В конце концов они предоставляют ему свободу действий.

Затратив столько времени на то, чтобы научиться писать, я приобрел иммунитет против тех, кто теперь, когда мои книги наконец вышли в свет, может счесть своим долгом объяснить мне, как писать лучше. С 1952 по 1958 год я жил в Европе, вне сферы мертвящего влияния современной английской литературы. Я читал Камю, Сэлинджера, Конрада, Бабеля, Ярослава Гашека, Стендаля и очень немногих английских писателей. Когда только мог, я путешествовал — Франция, Испания, Марокко, Италия,— хотя всегда в автобусе или в вагоне третьего класса. Я спал на палубах пароходов и жил, как последний бедняк. Я много писал, работал над несколькими романами (а также и в других жанрах), которые никогда не будут опубликованы, так как написаны недостаточно хорошо и я не уверен в том, что мне не станет стыдно за них впоследствии.

В 1956 году я написал роман «В субботу вечером — в воскресенье утром». В основу его легли семь рассказов, объединенных одним героем (правда, рассказы мне не удались). Я много раз переписывал роман, и в 1957 году он начал свое путешествие по издателям. Один из них прочел первую половину книги и краткое резюме второй и пообещал напечатать ее, когда я закончу работу и пришлю ему рукопись. Семь месяцев спустя я послал ему роман по почте, но он потребовал, чтобы я изменил концовку. Я отказался. Надо полагать, концовка не соответствовала его представлениям о том, каким должен быть конец романа о рабочих. Таким образом, книга была отвергнута сперва одним, потом другим издателем. Вернулась она ко мне и в третий, и в четвертый раз. Нашелся еще один издатель, который сказал, что возьмет ее, если я сделаю некоторые изменения. Я не согласился и настаивал на том, что книга должна быть напечатана такой, как я написал ее. Теперь я знал, что роман заслуживает того, чтобы его напечатали. В этом меня убеждало не слепое тщеславие, а годы труда. Я был подавлен неудачей, но продолжал писать.

В начале 1958 года я вернулся в Лондон. Деньги кончились, надо было искать работу. Это было печально: во мне жили книги, которые нужно было кончить или начинать писать. Одна посредница тщетно пыталась устроить мой роман, и я пошел повидаться с ней и поговорить об этом. Как раз перед этим я получил пятый отказ. Она посоветовала мне отложить книгу и сесть за новую. «Сейчас рукопись в издательстве,— сказала она,— а когда ее возвратят, отложите ее и забудьте о ней».

Рукопись не возвратили. Издатель вызвал меня к себе. Он был готов рискнуть. Книга имела успех и выдержала несколько изданий общим тиражом около миллиона экземпляров. В ней говорилось о судьбе заводского рабочего в современной Англии, который, имея то, что может быть названо «хлебом насущным» или «материальным обеспечением», все же не имеет какого-либо духовного или культурного стержня в жизни. Эта дилемма неразрешима в капиталистическом обществе.

Я был удивлен небывалым тиражом книги. Вышедший вслед за ней «Ключ от двери» не встретил одобрения у большинства кри-

---

АЛАН СИЛЛИТОУ
ЧТО ГОВОРИТ ПИСАТЕЛЬ

тиков, хотя и разошелся в семнадцати тысячах экземпляров.

Я не хочу ничего, кроме возможности писать. Если писатель имеет возможность написать хорошую книгу — это уже успех. Его успех как художника не обязательно определяется тем, что критики хвалят его книгу. Скорее наоборот. Однако из моего «успеха» (я имею в виду популярность) можно извлечь несколько уроков, и некоторые из них заслуживают того, чтобы их сформулировать или снабдить комментарием.

Чтобы творить, писателю нужен мир, то есть свобода от войны и от угрозы войны. Искусство требует терпения, но трудно быть терпеливым, когда во время мирового кризиса страх написан на всех лицах и когда, начиная книгу, не имеешь достаточной гарантии, что сможешь закончить ее. Если хочешь мира, помоги сохранить его. Писатель делает это своим творчеством, но он может играть и более активную роль.

Если писатель хочет мира и тем или иным способом борется за мир, тогда он — революционер. Наша планета пережила столько войн (и все еще живет под такой серьезной угрозой войны), что установление прочного мира на земле явилось бы подлинной революцией, величайшим шагом вперед, который когда-либо делало человечество. С другой стороны, ни одна страна не выиграла бы во всех смыслах больше от установления мира на земле, чем Советский Союз, на территории которого в нашем столетии велось больше разрушительных войн, чем на территории любой другой страны.

Писатель является революционером, если он борется за мир во всем мире, за широкое развитие контактов между различными странами. Он революционер не в том, что он говорит, и не обязательно в том, что он пишет, а в том, каким образом он говорит и каким образом пишет, что он за мир. Если художник помогает сохранить мир между народами, он в конечном счете служит мировой революции.

В Англии писатель редко бывает «общественным деятелем», а если он и является таковым, то обычно служит рупором правых — стоит на стороне правительства, быть может, даже подпирает его. За последние десять лет появился новый тип писателя, который видит, какие обманщики сидят в правительстве—разложившемся, узколобом, лицемерном правительстве, которое делает одно, а имеет в виду другое, которое обещает что-то и не делает ничего. Эти новые писатели в большинстве своем поддерживают движение за ядерное разоружение, некоторые из них уже сидели в тюрьме за свои убеждения — это первые в Англии политические заключенные за послевоенный период. Многие из них не верят, что вообще какое-либо правительство может быть искренним.

В этом смысле эти новые писатели (и ряд других) стали общественными деятелями. Они не пользуются у прессы тем уважением, которым должны пользоваться общественные деятели, а если такое вдруг и случается, это настораживает. Обычно это означает, что кто-то из них невольно забрел во враждебный лагерь. Таким образом, враждебность прессы — первый отличительный признак.

Я убежден, что личная борьба — направлена ли она к тому, чтобы стать писателем, или к тому, чтобы отстоять свою веру в необходимость сохранения мира,— неизбежно выливается в борьбу политическую. В противном случае она не имеет никакого значения в историческом плане. Применительно к прошлому можно также сказать, что личная борьба выливалась в борьбу религиозную, но для меня это невозможно, так как я не верю в бога. Тот, кто хочет мира, не может признавать авторитет правительства и верить в бога. Ибо кто-то из двух повинен во всех войнах, которые пережило человечество на своем веку, хотя их непосредственные поводы были самые различные.

Не знаю, таким ли полагается быть литературному очерку, ученому эссе, предназначенному для толстого журнала. Как-то само собой вышло, что он свелся к рассказу о трудностях, которые приходится испытывать в Англии писателю (в частности, мне), и особенно левым писателям, новым писателям. Они живут в атмосфере, где каждый норовит подставить другому ножку, при человеконенавистнической, основанной на безжалостной конкуренции системе свободного предпринимательства, где литература и искусство могут быть как угодно «свободны», пока не затрагивают ничьих интересов. Но как только они начинают угрожать чьим-либо интересам, критики убивают их наповал, причем отнюдь не по предварительному сговору или заранее обдуманному плану, а в силу коллективного инстинкта, достойного самого высокоорганизованного животного стада. Если же писатели становятся опасны, приходят в движение суды, которые интересуются не только данным произведением, но и личностью автора. В такой-то атмосфере и работает, растет, а иногда и процветает писатель.

Именно эта атмосфера послужила для меня толчком к написанию романа «Ключ от двери». За то время, что я работал над ним, я сформировался не только как писатель, но и в значительной мере как личность. В этой книге рассказывается о том, как некто реагировал на ситуацию, с которой капиталистическое общество то и дело сталкивает человека. Пройдя детство и юность, когда он был приучен видеть в работе не право, а особую привилегию, герой романа был втянут в антикоммунистическую войну в Малайе и отказался воевать, осознав, что ему эта война не нужна и что, если уж на то пошло, он воюет за неправое дело.

Как разумный человек, мог ли он думать иначе?

ОБОЗРЕНИЕ ЗАРУБЕЖНОЙ ПРЕССЫ

«ДОЛЖНА ЛИ ЛИТЕРАТУРА ВОСПИТЫВАТЬ?»

Так называлась статья чешского писателя Ивана Климы, опубликованная на страницах газеты «Руде право» и открывшая дискуссию о воспитательной роли литературы и искусства в социалистическом обществе. Эта дискуссия имела особенно важное значение в связи с тем, что после разоблачения культа личности чехословацкая печать стала еще глубже и с еще большей инициативой изучать и обобщать опыт масс.

Уже сам заголовок статьи Ивана Климы носил дискуссионный характер, являлся как бы вызовом на спор, предлагал ответить на поставленный автором важнейший вопрос современного искусства. Иван Клима рассказал о своем понимании задач литературы и искусства в обществе, выступил против упрощенного понимания общественной миссии искусства, против узкопрактического подхода к нему, говорил о специфическом месте искусства среди человеческих ценностей, «как источника познания и эмоциональных переживаний, импульса для размышлений, а не просто руководства для подражания».

Статья Ивана Климы вызвала настолько большой отклик среди деятелей искусства и широкой читательской общественности Чехословакии, что в течение нескольких месяцев дискуссионная страница газеты «Руде право» была грибуной, где высказали свои мнения о воспитательной роли искусства не только писатели, литературные критики, историки и теоретики, но и работники просвещения (преимущественно учителя литературы), а также люди, непосредственно не связанные с литературой и искусством.

Итоги этой широкой и важной дискуссии подведены в статье **Иржи Гонзика «В заключение дискуссии об общественной роли литературы и искусства».** Гонзик отмечает, что большинство выступивших в дискуссии правильно оценили основные вопросы воспитательной роли литературы и искусства, но некоторые все же еще слишком прямолинейно смотрят на воздействие литературы на жизнь. Участники дискуссии выразили несогласие с рядом спорных положений статьи И. Климы, они проявили высокую требовательность к художественной стороне литературного творчества, стремление к литературе глубокоправдивый, отражающей все противоречивое многообразие сегодняшнего мира, к искусству, которое стремилось бы своими специфическими средствами проникать в жизнь, активно бороться за ее изменение.

Дискуссия в основном положительно ответила на вопрос Климы «Должна ли литература воспитывать?»

> «О том, что она может и должна воспитывать, в сущности, не было спора...— пишет Иржи Гонзик.— Если и были высказаны различные мнения, то по вопросам: как и чем должна и может литература воспитывать, в чем заключается ее воспитательная задача? Здесь отчетливо проявилось тяготение литературных работников вообще и писателей в частности к более общему пониманию этой задачи. Наряду с обоснованным отрицанием «дешевого дидактизма» и «прозрачной назидательности», они, в частности, вследствие печального опыта времен схематизма были склонны переоценивать значение специфичности искусства, как бы забывая, что настоящее искусство уже не однажды в прошлом и в настоящем проявило способность без ущерба для своего качества и с немалым успехом служить и временным целям».

В своих выступлениях многие читатели, в особенности учителя, обращали внимание на то, как посредством художественных произведений оказать влияние на формирование морали и характера молодежи, однако некоторые из них проявили нетворческое отношение к искусству, считая его только «занимательно изложенным руководством к жизни» или «особо привлекательной иллюстрацией исторических и экономических процессов».

Различие мнений в дискуссии основывалось главным образом на том, как понимать слово «воспитывать». Об этом, по мнению Иржи Гонзика, очень хорошо сказал доцент Горваи, который отметил, что слово

> «воспитывать» можно понимать, с одной стороны, очень узко (по существу, как «стремление дать читателю прямые образцы мышления и поведения героя, которые надо копировать, и жизненные рецепты, которые должны служить руководством к действию»), с другой стороны, значительно шире (в сущности, понимая под воспитанием стремление «всеми средствами общества создать как можно больше гармонических личностей, обладающих высокими этическими и моральными качествами, глубокой интеллигентностью, жаждой деятельности, самоотверженностью, чистотой эмоций, богатой творческой фантазией, наделенных всеми качествами, которыми наше знание и порой еще не совсем конкретное воображение одарили человека будущего коммунистического общества»).

Тут же Горваи объясняет, что

> «литература при определенных обстоятельствах может очень хорошо выполнять воспитательную функцию и в том смысле, какой вытекает из первого толкования слова «воспитание», не переставая быть «литературой», но что «наиболее свойственные ей воспитательные возможности она полнее всего проявляет во втором смысле этого слова: там, где она имеет свободное поле для беспрепятственного раскрытия своей способности активно участвовать в формировании отношений, взглядов и чувств отдельных людей, а через них и всего общества».

И. Гонзик подчеркивает, что ценность и общественно-воспитательное значение произведения искусства нельзя определять по отдельным его признакам, например, по распределению положительных и отрицательных героев в произведении, по тому, хорошо или плохо оно кончается, ясно ли оно выражает какую-либо программу, является ли проблема социалистического строительства его непосредственной темой. Решающим, по мнению Гонзика, является вся концепция жизни и мира, заключенная в произведении, точка зрения писателя на действительность и ее развитие и степень его способности обогащать человека новым опытом, переживаниями и чувствами.

> «Это значит, что воспитательная сила литературного, изобразительного или музыкального произведения прежде всего пропорциональна его художественной силе и что воспитательное воздействие оказывает всякое по-настоящему большое искусство, совсем не обязательно такое, в котором это видно с первого взгляда, идейный смысл которого можно определить несколькими краткими и ясными формулами».

Гонзик признает необходимость подходить к искусству с пониманием своеобразия его проявлений и специфичности средств отдельных его видов, чтобы к лирическому стихотворению, например, или к камерной фортепьянной пьесе не предъявлялись те же требования, что и к широко разветвленному историческому роману или к массовой политической песне. Чтобы от искусства не требовали того, что не соответствует его возможностям или что некоторые другие виды человеческой деятельности — например, публицистика в узком смысле этого слова, прямая агитация, наука — могут выполнить лучше. Что же касается требований к деятелям искусства, то здесь важно прежде всего, чтобы

> «они могли и хотели сказать в своем произведении людям и времени нечто действительно важное, чтобы они в нем боролись за что-то действительно значительное».

Дискуссия, как отмечает далее Гонзик,

> «несомненно помогла более глубоко и по существу объяснить многие спорные проблемы, и, что особенно важно, ей удалось привлечь к высказываниям по ключевым вопросам литературы и искусства простых читателей в необычно широких для нас масштабах. Этим она ясно показала, какое место принадлежит литературе и искусству в жизни социалистического общества и его отдельных членов».

Гонзик подчеркивает в заключение своей статьи, что

> «этот широкий обмен мнениями, организованный и проведенный редакцией газеты «Руде право», явился прежде всего проявлением большой и искренней любви к социалистической литературе. Он помог

снова показать, как глубоко в подсознании нашего общества коренится убеждение в необходимости настоящего искусства для полного завершения строительства социализма в нашей стране и его конечной победы во всем мире».

ГРЭХЕМ ГРИН НА КУБЕ

Грэхем Грин снова посетил Кубу. Его роман «Наш человек в Гаване» был написан еще в 1958 году, во время правления диктатора Батисты. С тех пор Грин не возвращался в страну, которая стала называться «островом свободы». Он побывал здесь лишь совсем недавно и свои впечатления изложил в письме, опубликованном в реакционном еженедельнике **«Фигаро литтерер»**. Письму предпослана редакционная врезка, в которой подчеркнуто, что «все, увиденное Грином в определенных областях жизни Кубы, резко отличается от того, что обычно рассказывают путешественники».

Что же так поразило французских журналистов?

Грин прежде всего пишет о блокаде, организованной США вокруг Кубы. Он попал туда через Мексику, которая взяла на себя неблагодарную роль полицейского кордона, задерживающего и обыскивающего путешественников, отправляющихся на Кубу.

«В Мексике я видел блокаду в действии,— пишет Грин.— На улицах Кубы я увидел ее результаты». Писатель рассказывает о трудностях, которые испытывает кубинский народ, и прямо называет виновников этих трудностей — североамериканских организаторов блокады. И все же не эти трудности определили для Грина лицо сегодняшней Кубы. Писатель все время сравнивает настоящее с тем, что было здесь во времена Батисты, и это сравнение всегда в пользу «острова свободы».

«Гавана, о которой я храню наиболее живые воспоминания,— это Гавана Батисты; от той печальной поры остались лишь большие отели вдоль Маликона, красивой автострады, огибающей Мексиканский залив, да элегантные и вполне респектабельные ночные рестораны. Тогда Гавана была большим городом, открытым для холостых кутил. Теперь «Мамбо», публичный дом, встречавший туриста на пороге гаванского аэропорта, превращен в ресторан; «Голубая луна» закрыта; закрыто и другое подобное заведение более высокого пошиба — сверхчеловеку негде больше совершать свои ночные обряды, наверно, он нашел себе убежище в Майами; закрыт и скоро будет разрушен театр «Шанхай», где за 1,25 доллара вы могли посмотреть ревю с голыми женщинами и три немых фильма, причем для особо ненасытных клиентов в фойе имелась еще библиотека порнографических изданий.

Вместе с публичными домами исчезли из отелей рулетки и азартные игры. Ведь Гавана была колонией не просто Америки, она была колонией Лас-Вегас*. Уехали гангстеры — значит, исчезла и полиция. В 1958 году ее роль здесь была такой же, как в Чикаго; ее вездесущие агенты стояли на всех углах, во всех барах, вестибюлях отелей и казино.

Теперь, чтобы найти хоть одного одетого в форму полицейского, надо все утро рыскать по городу.

Я лишь наскоро перечисляю некоторые изменения, которые сразу бросаются в глаза. Когда вы едете по направлению к «Загородному клубу», приходится проезжать мимо домов миллионеров; сквозь открытые двери гаражей можно видеть крестьян, сидящих на школьных скамьях перед черными классными досками (70 тысяч получают в Гаване образование).

На террасе аристократического клуба завтракают учащиеся школы драматического искусства, причем завтрак — бесплатный; а на мягком травяном склоне, где некогда были площадки для гольфа, расположилась новая Академия музыки, балета, народных танцев и изобразительных искусств. Мастерские художников, скульпторов и фресковой живописи созданы молодым архитектором Рикардо Порро и внешне напоминают выстроенную из кирпича африканскую деревню. Крыши домов здесь такие же, как у краалей; сложные извивы узких дорожек соединяют одно учебное помещение с другим; перед пешеходом неожиданно начинают бить веселые фонтаны и на каждом повороте вас встречает новый ландшафт. Это похоже на деревню, спрятанную среди холмов, и напоминает путешественнику, что Куба в такой же мере африканская страна, как и испанская, и что африканец наконец получил свободу... Сегрегация кончилась».

---

* Город штата Невада, который славится как увеселительное место, где царят самые распущенные нравы.

Каждому, прочитавшему этот отрывок, становится ясно, что смущает буржуазных журналистов в письме Грина: писатель не только не клевещет на новую Кубу — он приветствует социальные преобразования и, прежде всего ту культурную революцию, которая совершилась здесь за последние пять лет.

С уважением и теплотой говорит он о кубинском народе и его руководителях:

> «Все речи Кастро создают впечатление, что это человек самых высоких помыслов. Он дает объяснение всем своим поступкам, признает все свои ошибки, делится всеми трудностями — вы чувствуете, что он уважает своих слушателей, и если и повторяет трижды одно и то же положение, то лишь для того, чтобы еще более прояснить его для самого себя.
>
> Есть что-то в сегодняшней Гаване, напоминающее древние Афины: республика эта настолько мала, что ее граждане встречаются в народном собрании».

Трудно согласиться с Грэхемом Грином во всех его оценках, он, например, склонен придавать слишком большое значение церкви в жизни Кубы и совершенно фантастически толкует марксизм. Однако нельзя не видеть, что писатель искренне приветствует великие освободительные преобразования, происшедшие на острове, и чутко улавливает дух революционной романтики, которой овеяны дела молодого социалистического государства.

ЧЕТЫРЕ ОТВЕТА ГАБРИЭЛЯ СЕЛАЙИ

«Либера стампа», итальянская литературная премия за лучшее социально значимое произведение, в 1963 году присуждена Габриэлю Селайе, выдающемуся испанскому поэту, чьи стихи, статьи и очерки — всегда яркие, наступательные, заостренные — сделали его одним из любимых писателей Испании.

Известный испанский критик и публицист **Рикардо Доменеч** поздравил **Габриэля Селайю** от имени читателей и задал ему ряд вопросов: о месте поэта в обществе, о долге писателя перед народом, о связи поэзии с действительностью. Запись беседы была опубликована в журнале **«Инсула»**, и из скупых ответов Габриэля Селайи перед нами во весь рост встает фигура поэта-гражданина, воодушевляемого высокими идеалами служения народу.

Свое представление о роли литературы он сформулировал еще десять лет назад: «Поэзия стоит в одном ряду с теми средствами, которые переделывают мир».

> «Это высказывание, смысл которого глубоко запечатлелся в умах молодежи,— напомнил ему Рикардо Доменеч,— можно считать твоим поэтическим кредо, выражением позиций поэта и интеллигента по отношению к определенной исторической действительности. Именно с этих позиций, которые я целиком разделяю, мне и хотелось бы вести нашу беседу».

Доменеч начинает с того, что представляется ему самым важным,— с проблемы воздействия поэзии на народ. Прогрессивные поэты Испании отвергли мертвящую теорию «искусства для искусства», они создали поэзию, которая ставит перед собой высокие и важные цели. И все-таки они ощущают трагическое противоречие в том, что «развитие поэзии сковано узкими рамками меньшинства», что «связь с народом неосуществима еще в полной мере».

> «Оказывает ли поэзия воздействие на сознание народа? И что делать поэту, коль скоро он не может непосредственно обращаться к народу?» — спрашивает Доменеч.

В ответе Селайи не слышно сомнений. В нем звучит гордая уверенность в том, что поэт необходим народу. Селайя опровергает известную точку зрения, что «сегодня поэты Испании могут лишь служить народу, а не писать для народа».

> «При тех социально-политических условиях жизни, которые существуют для широких масс,— говорит Селайя,— нелепо было бы желать, чтобы они как по волшебству или благодаря смене литературных традиций ревностно принялись за чтение наших стихов. С другой стороны, искать популярности ценой «снижения», упрощения поэзии — значит изменить народу, которому мы решили служить.
>
> Мой учитель говорил, что народу надо отдавать самое лучшее. Как же быть поэтам Испании в этих условиях? Мне кажется, мы должны продолжать дело, начатое пятнадцать лет назад. Мы должны глубоко проникнуться тем, что волнует большинство людей, изучать трудности, с которыми они сталкиваются, сделать так, чтобы немые обрели голос и выразили наконец свои сокровенные думы и чаяния».

Молодым поэтам, по мнению Селайи, удалось уже кое-чего добиться. Их творчество пробудило социальное сознание и у других литераторов.

> «Но мы еще не пришли к народу и не придем к нему до тех пор, пока не свершатся перемены, зависящие целиком от нас, причем скорее как граждан, чем как **поэтов»**.

Что такое «новая социальная поэзия»? — ставит следующий вопрос Рикардо Доменеч и опять высказывает сомнения, которые беспокоят всех честных поэтов.

«Можем ли мы утверждать,— спрашивает Доменеч,— что поэзия последнего десятилетия, точнее, поэзия, которую мы... называем «социальной», зарождается и зреет в недрах народа? Стала ли эта поэзия подлинным и стихийным выражением народного духа? Или она всего лишь результат стремления поэтов приблизиться к массам?»

В ответе Селайи отмечается сложность затронутой Доменечем проблемы.

«Мы, современные поэты,— говорит он,— почти все вышли из рядов буржуазии. И печать эту нелегко вытравить. Тут бессильны самые решительные изменения в нашей идеологии. Оттого-то я и называю себя поэтом переходного времени. Мне думается, что самая насущная наша задача — преодолеть, перейти классовый барьер... Но когда действуют магические силы, а поэзия — сила магическая, переход этот чрезвычайно труден. В каждом из нас скрыто иррациональное зерно буржуазного происхождения, буржуазной культуры. Мы не в состоянии почувствовать это, но оно дает о себе знать в самые неожиданные мгновения, в самых неожиданных условиях.

Вот почему я, буржуазный писатель, посвятивший себя служению народу, при всем желании никогда не смогу писать просто и непроизвольно, черпая из глубин народной жизни. Я могу понять правоту народа, могу встать на его позиции, но писать «изнутри», из недр народа — как, по правде сказать, не писал еще никто, ни Сервантес, ни Мачадо,— сможет лишь поэт, рожденный в бесклассовом обществе».

И Габриэль Селайя и Рикардо Доменеч согласны в том, что путь к такой поэзии, путь к поэту бесклассового общества, вышедшего из гущи народной, лежит через сегодняшнюю социальную поэзию, которая отражает помыслы и мечты народных масс.

Но Доменеч и здесь нащупывает противоречия, вытекающие из сложности общественного развития. Критик подчеркивает, что в сегодняшней Испании социальная поэзия одержала верх над салонным и эстетским стихоплетством.

«Прошли те времена,— говорит он,— когда впервые возникли разговоры о социальной поэзии и многие поэты (Селайя был одним из первых) объявили о своем решении вывести Музу на улицу, овеять ее свежим ветром, полностью обновить содержание. В ту пору социальная поэзия считалась своего рода эстетическим вывертом, с годами она превратилась в модное литературное направление».

Вот это-то и тревожит Доменеча: всегда ли истинна эта поэзия, всегда ли служит она защите общественных идеалов?

«Конечно, социальное содержание творчества многих поэтов — вовсе не дань моде: оно определяется мировоззрением и общей концепцией искусства. Но немало найдется и таких, которые, родись они чуть раньше, охотно подписались бы под сюрреалистическими манифестами... Для этих людей социальное — лишь поветрие моды.

Без сомнения, время жестоко расправится с ними и сметет память о них, как сметает все ложные ценности. Ну, а пока? Насколько им удастся ввести в печальное заблуждение читателей?»

И снова спокойный, уверенный в победе прогрессивных сил, звучит голос поэта:

«Да, сегодня в социальную поэзию набилось множество всяческих эпигонов и подражателей, но творчество их немногого стоит... Тот, кто лишен органической связи с жизнью общества, кто считает, что поэзию, чуждую корысти и фальши, можно приспособить к целям любой идеологии, тот неизбежно попадает в смешное положение псевдореволюционеров и оказывается в лагере правых. Тут уж никого не обманешь, а меньше всего поэзию, которая всегда верна себе.

Несмотря на пригок оппортунистов и хамелеонов, я твердо верю, что совершенный нами когда-то поворот к реализму оказался действенным и плодотворным для поэзии.

Лучшее свидетельство тому — творения новых, ярких поэтов, таких как Хайме Хиль де Бьедма, Анхель Гонсалес, Карлос Альварес».

В ответ на вопрос о будущем испанской поэзии Габриэль Селайя выражает твердую уверенность в том, что голоса поэтов все громче и громче будут звучать в Испании и за ее пределами. Он не боится конкуренции радио, телевидения, кино и звукозаписи. Наоборот.

«Я считаю,— говорит он,— что средства массовой информации способны произвести в поэзии революцию более глубокую, чем какие-либо литературные школы и направления Поэзия снова — как до изобретения книгопечатания — станет устной и, без сомнения, завоюет толпы слушателей... Пусть меня обвинят в излишке фантазии, но я готов утверждать, что жанр декламации приведет нас к поэзии, адресованной широким массам народа».

Убежденностью и спокойной силой дышат скупые журнальные строки, силой тем более поразительной, если вспомнить, откуда доносится к нам голос поэта и каким мужеством надо обладать, чтобы в сегодняшней Испании громко и уверенно отстаивать прогрессивные идеалы.

НОВАЯ АФРИКА — НОВАЯ ЛИТЕРАТУРА

За последние годы появилось немало новых имен писателей-африканцев, во многих независимых африканских государствах возникли творческие организации писателей.

Проблемам, стоящим перед африканской литературой в новых исторических условиях, посвящена статья **И. А. Рахмана «Африканская литература»**, опубликованная в ганском журнале **«Войс оф Африка»** («Голос Африки»).

Автор подчеркивает, что современная африканская литература не возникла на голом месте, что своими истоками она уходит в глубокое прошлое:

«Вопреки голословным утверждениям империалистов неопровержимо доказано, что африканцы создали свою собственную культуру за много столетий до появления на континенте европейцев. Как и другие народы, африканцы умели в художественной форме выразить свои мысли и представления о конкретных и абстрактных вещах... На самых различных языках народов Африки существует громадное количество мифов и легенд, рассказов о животных и сказок, поговорок и песен, стихов и других произведений.

Даже в период колониального владычества империалистам не удалось задушить африканскую культуру и литературу. Даже в этот период раздавались голоса поэтов и писателей, таких как южноафриканский поэт Мгхайи, которые в своих произведениях сумели вскрыть бесчеловечную сущность империализма, подлинный характер заокеанских «благодеяний».

Так, в одном из своих стихотворений Мгхайи писал о Великобритании:

Она посылает нам священников,
Она посылает нам бутылки.
Она посылает нам библии,
Она посылает нам бочки брэнди...
О, кипучая Британия,
Чему должны отдать мы предпочтенье?
Ты говоришь нам о правде,
А посылаешь нам ложь;
Ты говоришь нам о жизни,
А сама отнимаешь у нас эту жизнь;
Ты говоришь нам о свете,
Мы же живем в темноте.

И. А. Рахман подчеркивает, что африканские писатели в настоящее время внимательно изучают культурное наследие предков, как бы «заново открывают» историческое прошлое своих народов, чтобы на основе выработанных веками традиций народного творчества развивать современную африканскую литературу.

«Основная задача сегодняшней африканской литературы,— как отмечает автор статьи,— заключается в том, чтобы создавать глубокосодержательные, нужные народу произведения, в которых бы действовал положительный герой. Творчество писателей окажется бесполезным, если оно не будет поставлено на службу народам в их борьбе против колониализма, если оно не будет выражать надежд и чаяний нового африканского общества».

Не все африканские писатели сумели в полной мере осознать эти задачи. Нельзя забывать о том, что империалисты посредством специальной системы образования стремятся по-своему формировать мышление африканской интеллигенции и, к сожалению, добились некоторых успехов, оказав воздействие на часть писателей и поэтов Африки.

Представителями реалистической школы в африканской литературе автор называет камерунца Фердинанда Ойоно, сенегальских писателей Абдулайе Саджи и Сембена Усмана, молодого писателя из Нигерии Киприана Эквенси, ангольских поэтов А. Нету, В. Круза, Мариу ди Андради и других.

В произведениях писателей и поэтов реалистического направления автор видит «первую искреннюю попытку проложить новые пути для африканской литературы и создать образ молодого африканца, который порывает со смирением и покорностью, тяготившими его в прошлом, молодого африканца, который начинает верить в свои силы, в силы своего народа, своей страны, молодого африканца, который не только в состоянии нена-

видеть империализм, но и может обратить свою ненависть в действие. Образ такого молодого африканца хорошо нарисован в романе Сембена Усмана «Родина моя, прекрасный мой народ».

Отмечая растущее влияние писателей-реалистов в культурной жизни страны, автор говорит:

«В произведениях, написанных с реалистических позиций, возможно, есть немало недостатков, однако радостно сознавать, что пионеры реалистического направления в африканской литературе хорошо понимают роль африканской литературы, заключающуюся в правдивом показе новых сил в Африке, в освободительном движении африканских народов».

«СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ЕЩЕ АМЕРИКАНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА?»

Вопрос этот может показаться странным. Тем не менее он возник на страницах французского еженедельника **«Экспресс»** не случайно, а в связи с опубликованием ряда бесед с американскими писателями.

Автор этой публикации, Марк Сапорта, задумал «оценить состояние американской литературы устами самих деятелей современной литературы». С этой целью он «встречался с издателями, университетскими преподавателями, романистами и драматургами, узнавал мнения и знаменитостей и тех, кто еще только подает надежды». Его интересовало, как его собеседники определяют современный период развития американской литературы, есть ли сейчас писатели масштаба Фолкнера и Хемингуэя и чего можно ждать от молодого поколения.

«Экспресс» поместил пять из этих интервью. Рядом с поэтом **Луисом Унтермайером** стоит имя **Эдварда Олби**, молодого драматурга, автора нашумевшей пьесы «Кто боится Вирджинии Вулф?». На анкету отвечают также глава битников **Л. Ферлингетти**, романист **Б. Маламуд** и профессор Калифорнийского университета **У. Стегнер.**

Все это люди разных поколений, вкусов и общественного положения, но в их ответах есть, видно, что-то общее, нечто такое, что позволило журналу поставить вместо заглавия полный недвусмысленного сомнения вопрос: «Существует ли еще американская литература?»

«Не существует»,— решительно заявляет Л. Унтермайер. Не существует, несмотря на «многочисленные и многоразличные» памятники «письменности», по его выражению.

«Нет ничего общего между Синклером Льюисом, описывающим пороки буржуазии, и Стейнбеком, изображающим отдельные стороны жизни самых обездоленных классов...» Творчество Апдайка и О'Хары «создает иное впечатление обо всей литературе ...как о продукте общества богатого и разлагающегося... Битники выражают муку, гнев, бунт, злобу... Они представляют идеалы определенной группы, передают определенную ступень отчаянья... На противоположном полюсе — неоклассицисты, которые заботятся только о формальном совершенстве... Есть еще ученики Роберта Фроста, стремящиеся передать точные наблюдения как в области формы, так и в области содержания».

Не одному Унтермайеру американская литература представляется осколочной и дробной:

«У нас нет ни одной группы, ни одной тенденции,— утверждает модный драматург Э. Олби.— Вот говорят о битниках, о «еврейском возрождении» или о «хипстерах», но для американских писателей эти названия ничего не обозначают... Образцом американского литератора служит Герман Мельвиль — человек-одиночка...»

«Битников больше не существует,— подхватывает Л. Ферлингетти. Я остался один, остальные разъехались. Это вполне естественно, но они рассеялись по всему свету: Гэри Снайдер — в Японии, переводит японских поэтов... Берроуз — в Лондоне, Керуак — в Нью-Йорке. Это разъединение объясняется прежде всего тем, что союз битников в Сан-Франциско был случайным».

В атомистической картине американской литературы Унтермайер находит лишь одно объединяющее начало — это некая «энергия и порыв, страсть первооткрывателей, идущих нехоженными тропами», унаследованная современными писателями «от Фолкнера и Хемингуэя». Увы, он тут же должен признаться, что эти порыв и энергия его современников лишены глубокого общественного смысла, который вкладывали в них великие художники 30-х годов:

«Бурлящего оптимизма 30-х годов больше не существует. Ведь всех писателей того времени вдохновляли социальные чаяния и надежды. Страна страдала, надо было помочь побороть страх, заста-

вить поверить в завтрашний день... Сегодня основное настроение — это жажда безопасности».

Даже у молодых, по утверждению Б. Маламуда,

«бунт носит чисто литературный характер, они утратили дух подвига. Их эскапады ограничиваются автостопом. Писательскую молодежь тревожат не столько социальные проблемы, сколько «личные трудности, любовные приключения, разводы и т. п.»

Во всех ответах слышится сожаление, что в сегодняшней Америке нет такой группы, которая шла бы по стопам писателей 20 — 30-х гг. и искала бы новых путей: «Именно этого-то и нет»,— сокрушенно подтверждает Б. Маламуд.

Некоторые утешают себя тем, что «после великих литературных революций всегда наступают передышки». Такая точка зрения вполне удовлетворяет Унтермайера, который считает, что когда-нибудь все образуется, а пока «мы на пути к ассимиляции революционных преобразований, совершенных в предшествующем романе».

Более активную позицию занимает Бернард Маламуд, хотя и он не может не согласиться, что

«сегодня в США нет писателей масштаба Фолкнера и других крупнейших художников предыдущего поколения». Но он считает, что «американское общество переживает эволюцию», причем «литература также развивается и идет к тому, чтобы сильнее и глубже соприкасаться с жизнью народа». В частности, он полагает, что представители национальных меньшинств, «еврейские и негритянские писатели находятся на пути к созданию значительных произведений, если только им удастся избавиться от своего провинциализма, замыкающего их в круг узких проблем нацменьшинств».

В отличие от других собеседников Марка Сапорты, Маламуд говорил о том, что литература тесно связана с жизнью общества и должна стремиться к глубине содержания, а не к формальным исканиям.

«Мы не можем быть рабами писательской техники... Предыдущая эпоха оставила нам больше открытий, чем мы в состоянии переварить. Задача писателя — не игра с формой, а поиски средств к спасению человека в современном мире, спасение его ума и души. Одна истина в этой области стоит дороже, чем все эксперименты «авангардистов». Надо защитить человека от техники, от того, что называется «обществом изобилия», особенно в Америке... Изобилие имеет и положительные стороны, но оно наносит вред духовной жизни. Обладание благами парализует тех, кто боится потерять эти блага. Прибавьте к этому, что технический прогресс несет угрозу атомной войны. Эти опасности привели к творческому бесплодию целый ряд талантливых писателей».

В этих замечаниях звучит механическое понимание технического прогресса как внесоциальной, враждебной человеку силы. Тем не менее Б. Маламуд — единственный из участников анкеты, кто ищет выхода для американской литературы в общественном содержании.

Если верна картина, нарисованная американскими литераторами, то закономерен и вывод еженедельника «Экспресс», что «послевоенная литература Америки впала в состояние какой-то летаргии...»

Но советский читатель, знакомый с историей, помнит, что в свое время буржуазная критика с таким же унынием оценивала состояние литературы 20—30-х гг., не желая замечать прогрессивных писателей, имена которых стали потом гордостью Америки. Может быть, нечто подобное происходит и теперь?

ЭВОЛЮЦИЯ, ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ «ГРУППЫ 47»

Не так давно на страницах итальянской печати развернулась дискуссия по проблемам, связанным с творчеством писателей так называемой «Группы 47» в Федеративной Республике Германии. Поводом для обсуждения этих вопросов послужило пятнадцатилетие «Группы 47» и выход в свет в этой связи альманаха группы. В 19 номере журнала **«Эуропа леттерариа»** итальянский критик **Чезаре Казес** откликнулся на эти события статьей, полемически озаглавленной **«Группа 47» после пятнадцати лет — группа, но не литература».** Но прежде чем перейти к материалам дискуссии, напомним читателям вкратце историю возникновения «Группы 47».

Как известно, писатели, объединившиеся в ней в 1947 году, положили в основу своего творческого содружества «идеологический аскетизм». Пятнадцатилетнее господство фашизма в Германии, как считали эти писатели, настолько разрушило всю гуманистическую преемственность немецкой культуры, настолько дискредитировало все идеалы демократии, что новая литература должна была «отталкиваться от нуля». В запальчивом стремлении одним рывком освободиться от груза ненавистного прошлого они даже не

попытались найти точек соприкосновения с той частью немецкой литературы, которая действительно продолжала гуманистические национальные традиции,— с творчеством немецких писателей-антифашистов, живших в эмиграции. Однако писателей «Группы 47» объединяла искренняя ненависть к нацизму, и принципиальное отрицание идеологии было формой отрицания прежде всего нацистской идеологии, стремление противопоставить лживой демагогии Третьего рейха правду непредубежденного взгляда на жизнь.

В своей статье Казес, говоря о возникновении группы, именно в этом справедливо видит сильную сторону программы «идеологического аскетизма».

> «Эта идеология неидеологии,— пишет Казес,— имела ту заслугу, что звала к беспристрастному изучению прошлого и настоящего Германии, исходя из гуманистических и антинацистских позиций».

Однако, как пишет далее Казес, дальнейшая эволюция «Группы 47» все дальше уводила ее от этих исходных позиций. Напоминая о том, что еще в 1951 году многие участники группы протестовали против присуждения премии Бёлю, так как его католические убеждения представлялись им несовместимыми с «идеологическим аскетизмом», Казес отмечает, что сегодня именно Бёль оказался ближе всего к первоначальным позициям группы:

> «Сегодня книги Бёля кажутся гораздо более близкими к военным романам Рихтера, чем к последним открытиям группы: Вальзеру, Йонсону, Грассу... «Группа 47» утратила ту силу разоблачения, то стремление смотреть в корень вещей, которые были присущи идеологии неидеологии».

Основную причину этого Казес видит в специфике общественного развития Западной Германии в послевоенные годы:

> «Виновата в этом не только воля самих писателей, но прежде всего тяжелая пелена, обрушившаяся на диалектику общественной жизни вследствие «экономического чуда», с одной стороны, и разделения Германии, с другой. Это привело к позициям, колеблющимся между абстрактным протестом и цинизмом».

Казес пишет, что отход от политической и идеологической актуальности на позиции чистой формы в конце концов весьма отрицательно сказался и на художественных качествах произведений. Он напоминает, что гражданские традиции сейчас все больше и больше продолжаются вне группы такими писателями, как Кристиан Гайслер, Хорст Леберт, Ингеборг Вендт, в то время как сама группа выпускает подчеркнуто эклектический «Альманах», «устраивает ассамблеи, носящие полусветский характер», и не может добиться единства мнений «даже в таком скромном деле, как выражение солидарности с журналом «Шпигель» (Казес с возмущением пишет об отказе Гюнтера Грасса подписать письмо с выражением солидарности).

В статье Казеса цитируются также высказывания западногерманского критика Фрица Раддаца о «Группе 47». Раддац обвинил группу в том, что она чуждается политической проблематики, что писатели группы, за редчайшими исключениями, даже не вспоминают о том, что существовал Гитлер, о нацистах, об атомной бомбе и т. п.

Такую оценку Казес считает не совсем справедливой. По его мнению, хорошо, что ключевые позиции во многих журналах и издательствах, на радио и телевидении занимают именно участники группы — антиконформисты и антифашисты, а не их противники, «разные Зибурги и Кремер-Бадони», опора боннского «демократического режима».

На статью Казеса ответили **Альфред Андерш** и **Ганс Магнус Энценсбергер** (№ 20 **«Эуропа леттерариа»).** Андерш защищает группу от обвинений в растущей аполитичности.

> «Если группа не выступила с литературной программой,— пишет он,— то ее политическая программа была вполне ясной с самого начала: те немногие литераторы, которые поддерживали правительственную политику ФРГ, даже близко не подпускались к группе. Отказ от официальной политики Бонна из-за ее тенденций воинствующего империализма — это молчаливое (хотя и совершенно очевидное) исходное положение для всех писателей, участвующих в собраниях группы... После того как социал-демократия из тактических соображений отказалась от всякой принципиальной критики, «Группа 47» является почти единственной антиправительственной силой, существующей в Германии».

Иначе оценивает роль «Группы 47» Ганс Магнус Энценсбергер в своем письме Чезаре Казесу. Напоминая о том, что до сих пор «Группу 47» атаковали справа и хвалили слева» (последнее он считает, правда, лишь «тактическим приемом»), Энценсбергер пишет:

> «И то и другое — официальное осуждение Запада и официальные похвалы Востока — создало легенду, что «Группа 47» является якобы организацией левых интеллектуалов. Твоя статья кладет конец этой легенде, и я благодарен тебе за это. Ибо в действительности группа политически безвредна до такой степени,

что просто вызывает жалость: она состоит преимущественно из стопроцентных либералов и умеренных социал-демократов».

Энценсбергер, однако, возражая Казесу, говорит, что эта легенда возникла не случайно:

«Как и во всех мифах, в ней есть доля истины. В глазах правящих кругов Западной Германии «Группа 47» является врагом именно потому, что она состоит из буржуазных демократов. В Боннской республике достаточно того, чтобы кто-нибудь последовательно боролся за буржуазные свободы, и его тотчас же обвинят в «левом экстремизме». Только этим можно объяснить слепую ярость правительственной партии из-за того, что «Группа 47» действительно заняла важнейшие позиции в культурной индустрии. Официальная терминология определяет этот процесс как «инфильтрацию», «коварное проникновение», «заговор» — лишнее доказательство параноического мышления правящего класса. Это явление легче объяснить, если учесть, что не существует сколько-нибудь значительной группы интеллектуалов, расположенной отстаивать позиции правящих кругов. Культурная политика ХДС в своих незначительных проявлениях определяется прелатами и «благородными» фашистами... Именно поэтому мы нуждаемся в «Группе 47», и поэтому я желаю ей жить дольше, чем проживут ее враги».

В своем ответном письме Энценсбергеру Казес соглашается с тем, что итальянцы, возможно, «недооценивают партизанскую войну, которую вынуждена вести немецкая интеллигенция». Однако Казес считает основную мысль своей статьи справедливой.

«Существующее в ФРГ государство,— пишет он,— изображает себя как единственно возможное государство, и беда в том, что писатели «Группы 47» не выступают против этого тезиса со всей силой и сознанием своей моральной правоты». Казес призывает «Группу 47» к «решительному утверждению высокого гражданского сознания во всем ее творчестве и культурной деятельности».

К таким же выводам приходит и итальянский критик **Карла Марци** в еженедельнике **«Фиера леттерариа»** (13.10.1963). В своей статье **«Писатели «Группы 47» на распутье между реальностью и бегством от нее»** Марци пишет:

«Экономическое чудо создало разрыв между писателями, стремившимися сохранить верность своим революционным идеалам, и читателями, предпочитающими наслаждаться материальным благосостоянием». Марци считает, что в творчестве писателей «Группы 47» действительность отражается все более отвлеченно, все более абстрактно — интеллектуально... **«Группа 47» не замыкается в башне из слоновой кости, но порою ее представители отрываются, отталкиваются от действительности, пусть даже и из чувства протеста по отношению к ней».**

Дискуссия о «Группе 47» на страницах итальянской печати должна заставить западногерманских писателей серьезно задуматься над тем, по какому пути они пойдут дальше: либо они действительно утвердят в своем творчестве высокое гражданское сознание, либо они — об этой опасности пишет Карла Марци — «сознательно или бессознательно станут сообщниками в систематическом процессе фальсификации реальности и истории». Конечно, им приходится работать в трудных условиях — с этим согласны все участники дискуссии, и итальянские критики, и немецкие писатели. Против «Группы 47» не прекращаются официальные акции, правительственные литераторы не брезгуют никакими средствами, чтобы оклеветать даже столь «безвредную», как говорит Энценсбергер, платформу группы—достаточно вспомнить многочисленные газетные выступления Рудольфа Кремер-Бадони или последний пасквиль нациста Курта Цизеля «Литературная фабрика». Однако это не снимает с писателей «Группы 47» их гражданской ответственности. Напротив — это только увеличивает ее.

ДНЕВНИКИ, ВОСПОМИНАНИЯ

К сорокалетию со дня смерти В. И. ЛЕНИНА

АЛЬБЕРТ РИС ВИЛЬЯМС

Уроки марксизма

Молодым журналистом, увлекающимся социалистическим учением, узнал Альберт Рис Вильямс о падении царизма в России и поспешил в нашу страну, чтобы своими глазами увидеть развитие событий. В России он стал очевидцем крушения старого, буржуазного строя и победы Октябрьской революции. Здесь он увидел реальное соединение социалистического учения с практикой революции. Вильямс не был простым очевидцем, он участвовал в революции на стороне восставшего народа, и защищал его завоевания и с оружием, и с пером в руках.

Вильямс несколько раз встречался с Лениным, выступал с ним с одной трибуны. Над воспоминаниями о Ленине Вильямс работал до последних дней своей жизни.

Публикуемые ниже воспоминания писателя-публициста написаны автором незадолго до его кончины и являются своего рода новой главой его знаменитой книги о Ленине и Октябрьской революции. Значение этой главы тем более велико, что в ней Вильямс сообщает о фактах, до сих пор неизвестных в литературе о Ленине.

Воспоминания любезно предоставлены для публикации вдовой Вильямса — Люситой Вильямс.

История одного предложения

Из всех моих встреч с Лениным именно тот эпизод, который, думалось мне, представлял наименьший интерес для посторонних, вызвал наибольшее количество вопросов, причем объяснений от меня требовали с возмущением, негодующе или — в лучшем случае — с презрительным удивлением. Это не обижало меня — реакция могла быть любой, лишь бы не пустая вежливость, не равнодушие!

Не все мои разговоры или случайные встречи с Лениным нашли отражение в первой книге, создававшейся мной в спешке после возвращения из России. Не вошли они и во вторую книгу * и в два десятка первых моих статей. Об этом эпизоде я не упоминал в своих работах до второй мировой войны даже кратко. Он действительно кажется непримечательным. Во всяком случае, так я говорил себе. Ведь не произошло ничего конкретного. А рассказывать о том, чего не было, значило бы излагать план несостоявшегося сражения, да еще устами простого солдата!

Вот почему об этом эпизоде, вызывавшем такие оживленные толки на протяжении многих лет, в напечатанных моих произведениях вы найдете лишь краткое упоминание в книге «Русские: страна, народ и за что он сражается»:

«Сам постоянно читая и занимаясь, он (Ленин) всегда побуждал других делать то же. Весной 1918 года я сказал ему, что собираюсь уезжать домой. Ведь самое важное сейчас — объяснить Америке, что происходит в России. Так считал я, но не Ленин. «Почему бы вам не остаться еще на некоторое время,— сказал он,— и узнать поглубже нашу историю, прин-

* Имеются в виду книги «Ленин-человек и его дело» и «Сквозь русскую революцию». Обе книги в последнем издании вышли на русском языке в одном томе под названием «О Ленине и Октябрьской революции» (1960 г.).

ципы и цели». Позже он предложил Борису Рейнштейну (американец русского происхождения, который помогал Джону Риду и мне в работе), чтобы мы организовали небольшую группу для занятий. «Если вас соберется четыре-пять человек, я постараюсь найти время, чтобы раз в неделю заниматься с вами».

Вот все, что я написал. Но охотно признаю, что эпизод этим не исчерпывается. Линкольн Стеффенс и многие друзья, которые еще живы, настойчиво требовали, чтобы я сообщил неизвестные подробности этой истории. Поэтому я намерен, ничего не утаивая, рассказать здесь все об этом связанном с Лениным эпизоде, которому мои друзья придали столь большое значение.

Вскоре после моего возвращения в США, в 1918 году, друзья, которые не переставали расспрашивать меня о революции и особенно о Ленине, выведали и тот факт, что Ленин предложил создать группу для изучения марксизма под его руководством, а я (в чем впервые признаюсь печатно) не воспользовался этим предложением. Непосредственная реакция тех, кто слышал об этом впервые, всегда была одна и та же: безмолвное изумление. Затем на меня обрушивалась лавина упреков. Как! Я упустил возможность изучать марксизм под руководством Ленина? Невероятно, необъяснимо! Это сразу ставило меня в разряд глупцов и тупиц — к тому же неблагодарных или по меньшей мере полоумных.

Я пытался объяснять, но все мои доводы с раздражением отметались. Ума я решился, что ли, упустив такой случай? Какая это была честь для меня! Да ведь это все равно что учиться теории относительности или квантовой теории у Эйнштейна! Равносильно возможности беседовать с Сократом в Афинах!

Это говорилось в те дни, когда меня, как и других корреспондентов, возвратившихся в Америку раньше, как Джона Рида, его жену Луизу Брайант, Бесси Битти и даже некоторых официальных лиц, которые были в России во время революции, например полковника Реймонда Робинса из американского Красного Креста, часто приглашали выступать по всей стране от восточного до западного побережья. И где бы я ни выступал, повсюду находились американцы, хотевшие пожать руку, которая пожимала руку Ленина. Но со временем все большему числу людей становилось известно, какую возможность я упустил из-за необъяснимого упрямства. Ко мне подходили, отзывали меня в сторону и спрашивали, так ли это, и мое «да» производило ошеломляющее впечатление. Как я мог?!

Да, как я мог поступить так? Толстая пачка заметок, часть которых пожелтела от времени, и машинописный вариант моих первоначальных набросков с карандашными поправками, и собранные совсем недавно материалы свидетельствуют о моих усилиях заглушить этот безрассудный голос раскаяния. Безрассудный потому, что ведь и тех встреч, которые я имел с Лениным, было достаточно, чтобы обогатить мою жизнь. Так почему надо жалеть о тех встречах, которых не было? Часть заметок озаглавлена «Ленин и время», другая — «Учебная группа» и «Группа по изучению марксизма». В наброске «Ленин как учитель» рассматривается более широкий круг проблем, связанных с Лениным, однако он заканчивается словами: «Примечание. Почему я не принял предложения Ленина о занятиях?» — и далее следует изложение первой и второй причин. Другие наброски называются «Социализм как система или теория» и «Отнятое у Ленина время».

Поскольку для меня это единственное (за исключением еще одного) воспоминание о Ленине, которое окрашено сожалением, а также и потому, что я в долгу перед моими критиками, я чувствую, что должен побороть этот преследующий меня призрак. А для этого нужно вернуться ко времени события, о котором в печати я до сих пор упоминал всего один раз и в довольно завуалированной форме.

Хотя в книге «Русские: страна, народ и за что он сражается» я писал, что Ленин предложил создать группу для изучения марксистских идей весной, теперь я в этом не так уверен. Несомненно, это было после 1 января 1918 года, так как в этот день после митинга в Михайловском манеже я в первый раз встретился с Лениным не в официальной обстановке, и между нами состоялся живой и интересный разговор. Скорее всего, это произошло где-то между 1 января и 18 февраля, когда немцы начали наступление в России.

Надо сказать, что в течение сорока с лишним лет, которые прошли со времени моего последнего разговора с Лениным, я постоянно дополнял свои заметки о Ленине, вспоминая то какой-нибудь жест, то обстоятельства, при которых произошел тот или иной случай или были сказаны те или иные слова, то реакцию окружающих в связи с каким-нибудь действием Ленина, совершенным в моем присутствии.

Поэтому мне нет необходимости напрягать память, чтобы слова Ленина, которые я не приводил в своих произведениях, пришли мне на ум. Ленин был таким живым, он говорил так ярко, что каждое его слово было запечатлено не только в моих заметках, но и в моей памяти — значительные слова, которые с годами приобрели еще большее значение. Однако что касается дат, то я их всегда плохо запоминал.

Странно, что человек, почти лишенный способности запоминать ход времени, как это было со мной, умеет с такой безжалостной остротой ощущать его ценность. Вот главная причина, помешавшая

мне воспользоваться возможностью стать учеником Ленина. В первую очередь это было бы злоупотреблением временем Ленина.

Я доволен тем, что никогда не отнимал у Ленина лишней минуты. Хотя после нашего разговора в Манеже я мог бы иметь доступ к Ленину почти в любое время, я избегал этим пользоваться. Почти все мои встречи с Лениным, порой даже неожиданные, были связаны с выполнением моих корреспондентских обязанностей, а раз или два — с моими публичными выступлениями. Я никогда не стремился взять интервью просто ради интервью, никогда не заговаривал с ним сам, за исключением одного раза в коридоре Таврического дворца, никогда не начинал разговора просто так, исключая случай, когда он оказался ничем не занятым и скучал на заседании Учредительного собрания.

И не могу сказать, что такая ненавязчивость была присуща только мне. Среди иностранцев, и особенно журналистов, я, пожалуй, был исключением, но многие русские также избегали докучать Ленину. К примеру, Корней Чуковский. Мы, конечно, говорили о Ленине, когда моя жена Люсита и я в 1959 году провели в гостях у этого старейшего советского писателя день на даче в Переделкино, окруженные его юными почитателями. «Да,— задумчиво сказал Чуковский,— я часто видел Ленина. И имел много возможностей поговорить с ним. О, у меня-то время было! Но у Ленина его не было. Так как же я смел искать встречи с ним?»

Если бы я стал заниматься в этой группе, то я непрестанно думал бы, с какой стати Ленин должен тратить на меня свое время и энергию? У него на плечах весь земной шар, так какое же право я имею его утруждать?

Кроме того, и у меня времени было мало. Я твердо решил покинуть пределы России к весне. А пока я колебался, не зная, что ответить Рейнштейну на предложение о занятиях, ход событий укрепил мою решимость уехать на родину.

Ленин и время

С тех пор я не раз поражался собственной самоуверенности: **у меня** не было времени на изучение Маркса, когда Ленин полагал, что **он** сумеет его найти, чтобы заниматься с нами!

Ленин и время — эта тема всегда привлекала меня и казалась мне непостижимой. Как он мог, словно никогда не торопясь и не уставая, успевать делать так много? Добиться встречи с Лениным было нелегко, но уж если он принимал человека, то отдавал ему все внимание, и время, казалось, останавливалось. Как сказал Боб Майнор, в ту пору более известный как карикатурист и журналист, Ленин умел делать так, что говорил собеседник, а сам он слушал.

Я словно вновь вижу, как Ленин пододвигает свой стул поближе к моему, а затем, задав какой-нибудь вопрос, пододвигается еще ближе! Обмениваясь впечатлениями с другими, знавшими его людьми, я обнаружил, что это была его обычная манера. Он умел заставить собеседника рассказать все, что тот знал по интересующему его вопросу,— а чем он только не интересовался! И нередко собеседники, к своему удивлению, обнаруживали, что знают больше, чем они сами подозревали. Мы были репортерами-профессионалами, но Ленин был величайшим репортером всех времен.

Значение занятий

Теперь я понимаю, что настойчивое желание Ленина создать эту группу меня просто поразило. Впрочем, не в первый и не в последний раз меня поражало, какое огромное значение большевики придавали знаниям. Вместе со снарядами на фронт посылались печатные станки. Это я еще мог понять. Но некоторым вещам я мог только дивиться, настолько они были непостижимы.

И в нашем доме книги играли очень важную роль и оказали значительное влияние на мое духовное развитие. Мы с братом Говардом, когда еще были школьниками, за мытьем посуды наперебой читали друг другу стихи. Однако мое американское воспитание не подготовило меня к этому, очевидно специфически русскому, стремлению приобретать знания даже в тот момент, когда на собраниях и на полях сражений решались судьбы революции.

Но разве не фантастичным было для страны, прежде искусственно удерживаемой в невежестве, выдвигать на другой же день после революции программу коренных реформ в области просвещения, изложенную Луначарским в его отчете за год, закончившийся 7 ноября 1918 года? Несмотря на саботаж интеллигенции, которая прежде пользовалась неправомерной привилегией на образование и слыла в России народолюбивой, были открыты новые учебные заведения для подготовки учителей. В стране, разрушенной и голодающей, детям предоставляли бесплатное питание и выдавали бесплатно все учебники, отменили плату за обучение, а заработную плату учителям повысили в июле наполовину. И он предупредил, что увеличение бюджета за последние полгода на сумму, равную полумиллиарду долларов, является только началом, ибо только высокий уровень народного просвещения может обеспечить умелое правление народа. Сотни миллионов рабочих и крестьян, которые первые в мире взяли власть в свои руки, не сумеют сохранить ни политиче-

ской власти, ни экономического управления страной, если кроме того народ не овладеет знаниями, говорил Луначарский.

Почему Ленин хотел, чтобы я занимался в этой группе

На первых порах я не хотел рассказывать друзьям в Америке о предложении Ленина заниматься в группе главным образом потому, что опасался, как бы это не показалось бахвальством. Я даже старательно объяснял, что, как ни лестно было это приглашение, хорошо зная Ленина, мы не должны проникаться слишком высоким мнением о своих персонах. С его любовью к самому процессу обучения, он с охотой стал бы заниматься с любой группой.

Мысль о создании такой группы не была у Ленина случайной: он не раз напоминал о ней Рейнштейну.

Однажды, когда Рейнштейн докладывал Ленину о тех, кого он надеялся увидеть членами группы по изучению марксизма, было названо и мое имя. Очевидно, тогда я еще не сказал Рейнштейну «нет», а возможно, и не говорил этого никогда. Я просто откладывал для себя решение этого вопроса — я собирался вернуться к нему позже. Рейнштейн рассказывал мне потом, что Ленин говорил ему тогда — Вильямсу, возможно, недостает полного понимания большевистских принципов и идей. Очевидно, поэтому я был подходящим кандидатом, и уж во всяком случае это не являлось препятствием для моих занятий в группе; отсюда я делаю вывод, что Ленин с интересом занялся бы обучением не слишком закаленного в политическом отношении американского радикала.

Конечно, он был прав — мне действительно не хватало теоретической подготовки. О марксизме я имел лишь самое поверхностное представление. Если бы я знал основы теории марксизма, я был бы в большей мере гарантирован от проявлений слабости и нерешительности. Ведь свои познания о социализме я получил только из вторых рук.

Ленину нравились небольшие группы. Интересно, что человек, который умел воодушевлять многотысячные митинги, человек, за которым в Советской России пошли миллионы, который стал теперь легендарной личностью для сотен миллионов людей во всем мире, относился к небольшим группам с таким вниманием и заботливостью.

Но почему он хотел, чтобы именно я был в этой группе? Стеффенс, на которого идея организации группы для изучения марксизма произвела особенное впечатление, любил размышлять об этом, так же как и профессор Каун.

Конечно — говорили не они, а другие — Ленин интересовался мной потому, что он хотел, чтобы всякий, кто вступает в ряды воинов революции, был хорошо подготовлен. Я слышал и другие предположения того же порядка. Но я убежден, что это было просто обычное проявление его привычки давать людям именно то, в чем они нуждались больше всего. И в этом не было ни малейшего оттенка благотворительности. Он не говорил: «Я делаю доброе дело», он просто делал его. Еще раньше он заметил, что мне мешает недостаточное знание русского языка, и посоветовал, как лучше взяться за его изучение. Теперь, видимо обдумывая наши прежние разговоры, он пришел к выводу, что мне не хватает теоретических знаний. Хотя он был вполне доволен моей деятельностью (мы с Джоном Ридом писали тексты к иллюстрированным газетам, которые затем сбрасывались с аэропланов, чтобы ветер разнес их по немецким окопам), он понимал, что марксизм я знаю недостаточно. Как он был прав! В этом отношении меня можно считать типичным американцем — и, в частности, типичным американским социалистом.

Я, возможно, знал больше среднего члена партии, но это не такая уж большая похвала. О диалектике, о теории, я нахватался кое-каких сведений, но не больше. По темпераменту, как и большинство моих соотечественников, я предпочитал практическую деятельность.

Но это еще не значило, что я недооцениваю теорию,— по крайней мере, так казалось мне. Так почему же я отказался от возможности учиться у этого гения в разгар революции?

Когда в минуты самоанализа я сам задавал себе этот вопрос, я до подробностей припоминал, как Ленин, пододвигая свой стул поближе, задавая вопросы, казалось, постигал даже те мельчайшие частицы истины, которые еще не открыли его собеседники, словно он обладал способностью видеть их мысли и читать их. И в такие минуты я начинал сомневаться, насколько в действительности мое решение не заниматься в этой группе было порождено благородным нежеланием затруднять Ленина. А может быть, я подсознательно хотел уклониться от этого своеобразного просвечивания мозга и души рентгеновскими лучами! «Человеческий ум — великий мастер самообмана!»

«Без революционной теории,— начинается ленинская фраза, ставшая широко известной в социалистических странах,— не может быть и революционного движения». Это безусловно так. Но американцы не любят теорий. Они чураются всего, что отдает теорией.

Меня покорил гуманизм революции, ее благородная цель. Встречаясь с Лениным и его женой Крупской, я убеждался, что они олицетворяют всю глубину гуманизма революции. С другой стороны, политические доктрины трогали мое сердце не больше, чем церковные догмы.

Не доктрины и теория революции, а живая революция, революция, которую я видел своими глазами, пробудившая и встряхнувшая долго дремавшего колосса, народ,— вот что влекло меня. Восстание бедных и угнетенных, массы в движении, всеобъемлющий дух борьбы. К чему было узнавать еще что-то, полагал я, когда именно об этом я хотел рассказывать народу Америки, который думал, что революция — это насилия и убийства, творимые «красными».

В эти минуты критического самоанализа я признал, что не мог заставить себя принять четкую **систему мышления.** Виною этому я считал свое американское воспитание, прагматизм и леность ума.

Во искупление я прочел много того, чего иначе не стал бы читать, и нашел много доказательств, что Ленин никогда не стал бы навязывать начинающим марксистам застывшие догмы, и мне стоило лишь оглянуться вокруг, чтобы увидеть, как его теории воплощаются в жизнь.

Когда спустя много лет я вспоминал ленинское предложение и старался понять, какой логикой я руководствовался в своей нерешительности, мои размышления нередко прерывались внезапно нахлынувшими волнами воспоминаний более властных, чем логика. Мне вспоминался разговор, который во время моего второго приезда в Советский Союз в 20-х годах был у меня с сестрой Ленина Анной, уверявшей, что занятия с группой не голько не утомляли бы Ленина, а, напротив, стимулировали бы его энергию, так как он очень любил передавать знания другим. Вспоминалось, что в одном из двух пропавших во Владивостоке писем, которые Ленин передал через меня в Америку, шла речь об этой группе по изучению марксизма. Вспоминался и случай, когда Ленин сам говорил мне, что занятия с небольшой группой были бы для него «разрядкой и отдыхом».

Позже я говорил себе: «Если он отдыхает таким способом, то есть и другие, более полезные для революции занятия, которые могут служить ему отдыхом». Но теперь я просто слышу эти слова и вижу Ленина, его чуть откинутую и склоненную набок голову, его улыбающиеся и пытливые глаза.

Еще более живо воспоминание о последней встрече с Лениным в Кремле перед моим отъездом во Владивосток,— он заговорил о том, что я уже не смогу заниматься в группе, и в его голосе я уловил искреннее сожаление. Значит, он так никогда окончательно и не отказался от этой мысли, и сознание этого особенно трогательно и дорого мне.

Даже в то время, когда я со всей самонадеянностью молодости не сомневался в своей правоте и считал, что Ленин проявил большую наивность, полагая, будто идея таких занятий осуществима на практике, я все же был растроган: это еще более подчеркивало человечность Ленина.

Он посоветовал мне поторопиться с отъездом, чтобы не встретить в Сибири американскую армию, и тут же дал понять, как он сожалеет, что я не стану его учеником.

Спустя годы, всякий раз, когда я читал воспоминания Горького о том, как Ленин, гостя у него на Капри, спорил с известным меньшевиком А. А. Богдановым, употребляя «острые и тяжелые слова», а затем, оборвав язвительные нападки, «азартно играл с Богдановым в шахматы и, проигрывая, сердился, даже унывал» я восстанавливал в памяти последнюю встречу с Лениным. Вспоминал его нежелание признать, даже в апреле 1918 года, когда немцы занимали Харьков и Крым, японцы и англичане высадились во Владивостоке, что создание этой учебной группы придется отложить.

Но тогда в словах Ленина не было и тени упрека в мой адрес. При всех наших встречах он обходился со мной как с равным, давал мне почувствовать, что я играю свою роль, важную роль в революции.

Да, я очень сожалею, что упустил замечательную возможность заниматься у Ленина -- пусть бы даже состоялось не больше двух занятий. Но и простые встречи с ним вселили в меня желание служить революции, и я до сих пор считаю, что, уехав тогда на родину, я сослужил революции наилучшую службу, какую только мог. Я надеялся вернуться и вновь увидеть Ленина. То, что я не принял предложения заниматься в этой группе, не изменило наших отношений. Ленин уважал убеждения каждого человека и никого не принуждал идти дальше, чем тот сам того хотел.

Перевел и подготовил к публикации
П. С. ПЕТРОВ

КНИГИ, ЗАМЫСЛЫ, ТЕМЫ

(Международная анкета)

Читатели «Иностранной литературы» уже не раз имели возможность познакомиться на наших страницах с творческими планами видных литераторов и деятелей искусства многих стран мира.

Следуя этой традиции, редакция снова обратилась к широкому кругу писателей, художников, деятелей театра и кино с просьбой ответить на вопросы:

Над чем Вы работаете в настоящее время?

Каковы Ваши творческие планы на будущее?

В этом номере мы начинаем публикацию полученных нами ответов.

АВСТРАЛИЯ

Катарина Сусанна Причард

Я всегда испытываю чувство благодарности, когда получаю письма от советских читателей, особенно потому, что ясно представляю себе, какие широкие перспективы и возможности культурного развития дает им советская литература.

Я только что закончила читку корректуры книги «Дитя урагана», которая будет опубликована в ближайшие месяцы.

Это часть биографии, рассказывающая о моей юности, о начале моего писательского пути. Друзья убедили меня написать эту вещь, чтобы создать реальную основу для понимания моих книг, написанных в зрелые годы, и чтобы рассеялось мнение, будто причиной моих коммунистических убеждений, как намекали некоторые критики, был всего лишь фрейдистский комплекс.

В сущности эти взгляды сложились у меня на почве того, что я видела и узнала в детстве, а став старше, я пришла к убеждению в необходимости социальной системы, которая давала бы людям, угнетенным несправедливостью, бедностью и религиозными предрассудками, надежду на возможность лучших условий жизни.

Я опасаюсь, однако, что ценность этой книги снижается ее слишком личным характером. Ведь сегодня есть вещи, гораздо более значительные, чем личные мотивы, и больше заслуживающие того, чтобы писатель отдавал им свое время и энергию.

В будущем году я собираюсь начать работу над романом, посвященным некоторым из проблем, недавно вставших перед человеком. Это ответственная тема; не знаю, буду ли я в состоянии разработать ее так, как она того заслуживает; если это мне удастся, то вполне вероятно, что роман никогда не увидит света. У нас косо смотрят на каждое произведение с ярко выраженной социальной тенденцией, а симпатии к коммунистам или антивоенные настроения лишают книгу надежды на издание. Хотя официальная цензура существует здесь только для романов, считающихся богохульными или непристойными, неофициальная цензура издателей распространяется на произведения тех писателей, чьи герои говорят полнозвучным голосом.

Katharine Susannah Prichard

АНГЛИЯ

Джон Брейн

Ответить на ваши вопросы куда труднее, чем это может показаться с первого взгляда. Сами по себе они, разумеется, очень просты и очень уместны, но, как известно, один из парадоксов творческой работы заключается в следующем: то, что на первый взгляд кажется простым, на деле оказывается сложным, а то, что кажется сложным, на деле оказывается простым. На вопросы, касающиеся литературной техники, отвечать легко, но любой вопрос о литературных планах писателя затрагивает также и его будущее как человека.

В ответ на первый ваш вопрос могу сообщить, что сейчас я работаю над своим четвертым романом. Надеюсь закончить его не позднее марта этого года. С этим романом у меня уже было два фальстарта: идеи, которые казались мне весьма плодотворными, пока я не сел за письменный стол, на самом деле не зажгли во мне никакой творческой искры. Но сейчас я уже всерьез взялся за работу и чувствую, что получается описание жизни реальных людей. Действие в этом романе, как и в предыдущем, происходит на севере Англии, но в нем больше отражена духовная жизнь, чем материальная. Пока ничего к этому добавить не могу, так как слишком распространяться о романе, который только еще пишется, весьма опасно, во всяком случае, для меня. Стоит подробно рассказать сюжет книги, и возникает такое ощущение, что вроде бы незачем ее и писать. Надеюсь, что когда роман будет закончен, он понравится советскому читателю. Для меня это работа совершенно нового типа. Писатель, который постоянно повторяет себя, по существу уже мертв.

Что касается второго вашего вопроса, то я и впредь собираюсь писать романы. Мне хотелось бы нарисовать панораму мира, в котором мы сейчас живем. Я умею писать лишь о том, что знаю сам, так что едва ли когда-нибудь возьмусь за исторические романы. Однако у меня есть один замысел: написать два больших романа — о войне 1914 года и о войне 1939 года.

Ни один из этих романов — даже тот, в котором будет говориться о войне 1914 года,— нельзя будет считать историческим в собственном смысле этого слова, так как в историческом романе описываются события, свидетелем которых не мог быть ни один из ныне живущих людей. Если исходить из этого определения, то ясно, что великое произведение Толстого «Война и мир» не может быть названо историческим романом. На мой взгляд в этом сила «Войны и мира». Я не собираюсь сравнивать себя с Толстым, но считаю, что если писатель хочет чего-то достичь, он должен брать себе в пример величайших художников слова.

Удастся ли мне осуществить все эти замыслы, не знаю. Остается одно — делать свое дело, не жалея сил, и стараться все время узнавать что-нибудь новое.

У меня сохранились самые отрадные воспоминания о встречах в Москве, и я горячо надеюсь на новую встречу в будущем.

John Braine

Грэхем Грин

На оба ваших вопроса можно, в сущности, дать один общий ответ: я начал писать пьесу под названием «Как высекалась статуя» и собираюсь приступить к работе над новым романом «Человек крайностей», действие которого происходит на Гаити. Это будет трагикомедия — видимо, в том же духе, что и «Наш человек в Гаване».

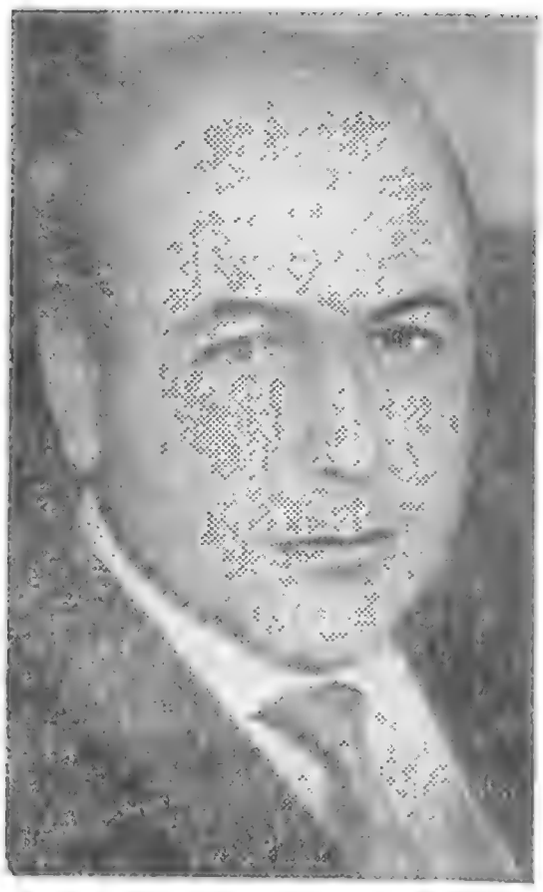
Graham Greene

БИРМА

Мин Шин

Я читал много произведений известных бирманских писателей, которые еще до второй мировой войны вносили своим творчеством большой вклад в дело освобождения страны из-под английского колониального гнета. Под влиянием этих произведений во мне росло и крепло желание стать писателем. В 1943 году, во время оккупации Бирмы Японией, я простым солдатом боролся за независимость родины. После победы над японцами учился в университете и одновременно писал. Был членом редколлегии журнала «Тая» и «Шумава». Потом главным редактором журнала «Мьявади». В то время я писал рассказы и новеллы. Как участник войны против японцев, писал военные рассказы. Большое внимание также уделял жизни бедных бирманских крестьян и рабочих. Эти рассказы были включены в книги «На дороге» и «Когда-то мы были товарищами», которые вышли совсем недавно. В дальнейшем буду писать рассказы и повести, которые, как я надеюсь, помогут крестьянам, рабочим и всему народу Бирмы идти по верному пути. Буду правдиво отображать жизнь своего народа.

БОЛГАРИЯ



Ивайло Петров

Вышла из печати небольшая книжка моих рассказов (зарисовки карандашом) «Маленькие иллюзии».

Скоро закончу повесть «Малишко» с подзаголовком «Веселая хроника». Размер ее не превысит ста или ста двадцати страниц. Одновременно пишу и рассказы, пять или шесть из которых уже опубликовал. В начале этого года надеюсь подготовить новую книжку.

Мои планы на следующий год весьма скромны: несколько рассказов и небольшая повесть «Далеко от земли». Половину этой повести я написал давно, но на время отложил ее. Сейчас мне кажется, что она может вылиться в небольшой роман.

Ивайло Петров

Людмил Стоянов

Ваше письмо натолкнуло меня на размышления не совсем обычные. Новые творческие планы — что может быть прекраснее этого? Но если писатель работает на литературной ниве около шестидесяти лет, то кроме своих творческих планов он должен подумать, мне кажется, и о своем литературном наследстве, оставшемся, из-за ряда общественных и социальных обстоятельств, незавершенным и распыленным, чтобы собрать, как говорится, плоды своего долголетнего труда в наиболее полном виде.

Произведения наших писателей старшего поколения, работавших в период фашизма, носят печать жестоких цензурных ограничений. Среди них находятся и мои работы, и это очень тяжелое бремя для писателя, творчество которого тесно связано с темами современности.

Мне предстоит подготовить новое издание «Избранных произведений» (по случаю моего 75-летия), куда кроме известных читателю я намереваюсь включить и некоторые «забытые» или не допущенные к печати сочинения, как, например, пьесу «Пенелопа, или Верная жена», поэмы «Боян Магесник» и «Земля», пьесы «Томирис» и «Аполлон и Мидас», отрывки из запрещенной при фашизме книги «Шестая часть земли» и из книги «Современная Европа» (1936), большое количество стихотворений, очерков, общественных и критических статей. Все это, разумеется, не может быть сделано без моего участия.

Бесспорно, мое внимание направлено также и на новые, современные творческие проблемы. Писатель, пока он жив, тесно связан с тревогами, надеждами и спорами творцов своего времени. Кроме произведений, которые я завершу к концу года, мне предстоит заняться новым сборником моих стихотворений за последние два-три года — «Итог», а также книгой «Диалоги», написанной в жанре, удобном в том смысле, что он ставит вопросы одновременно «за» и «против», в жанре, использованном многими писателями прошлого.

Я предполагаю вернуться также к «малым» литературным жанрам — стихотворениям, рассказам, очеркам, если великий Хронос окажется благосклонным и подарит мне побольше дней.

Людмил Стоянов

БОЛИВИЯ

Хесус Лара

Сейчас я пишу последнюю часть трилогии, открывающейся романом «Наша кровь», опубликованным в 1959 году и вышедшим в Советском Союзе в 1962 году. Тема этого романа — аграрная реформа, проведенная нашим правительством в 1959 году. Вторая книга трилогии вышла в 1963 году под названием «Мужество». В ней говорится о том, что на деле означал закон об аграрной реформе, о разочаровании крестьянства и его вооруженной борьбе за землю. В третьей части, у которой пока еще нет названия, описаны продолжение крестьянского движения и меры, предпринимаемые правящими классами, чтобы разгромить его и свести на нет закон, изданный ими самими.

В ближайшем будущем я думаю написать роман о жизни шахтеров в моей стране, где постараюсь поставить вопросы не менее важные, чем аграрная проблема, а также собираю материалы для будущей книги о жизни и деятельности индейского поэта и партизана Хуана Вальпарримачи, погибшего в начале XVIII века в борьбе против испанского господства.

Хесус Лара

БРАЗИЛИЯ

Жоржи Амаду

Сейчас я работаю над романом «Пастухи ночи» о жизни простых людей города Салвадор в штате Баия. Я хочу показать в этом романе, который посвящен обездоленным и нищим слоям населения, как в самых страшных и драматических обстоятельствах люди могут раскрывать прекрасную свою сущность, свое человеческое величие. Эпиграфом к книге служат слова Горького «Человек — это звучит гордо».

На одной из бразильских киностудий снимается фильм по моему роману «Земля золотых плодов». Я сделал диалоги к сценарию и принимаю участие в постановке фильма. Фильм рассказывает о крестьянской семье, которую помещики-латифундисты лишили земли и крова и которой пришлось проделать тяжкий путь с севера Бразилии через пустыню и реку Сан-Франсиску в Сан-Паулу. В этой картине реалистически описана жизнь тружеников земли, и ее считают значительным вкладом в дело борьбы за аграрную реформу в Бразилии.

Кроме того, я приготовил серию статей для журнала «Темпу бразилейру» о борьбе ангольского народа за освобождение от португальского ига.

Часть своего времени я посвящаю путешествиям на северо-восток Бразилии — предполагаю написать давно задуманный мною роман, героем которого будет шофер грузовика, фигура очень значительная в современной жизни Бразилии, особенно на северо-востоке.

Таковы мои рабочие планы на ближайшее будущее.

Дина Силвейра ди Кейрос

Еще перед приездом в Советский Союз мною было собрано много исторических материалов для романа «Захватчики», работу над которым я намеревалась окончить в Москве. В этом романе мне хочется воссоздать эпизоды борьбы моего народа против французских интервентов во главе с Дюклерком и Дюгэ-Труэном, которые пытались захватить Рио-де-Жанейро в 1710 и 1711 годах. Работа над романом, правда, несколько задерживается из-за утраты кое-каких исторических карт и реляций, но поиски их я продолжаю.

Эта тема не оставляет меня. Недавно я получила от одной бразильской театральной компании предложение написать историческую пьесу в связи с празднованием четырехсотлетия со дня основания города Рио-де-Жанейро (в январе 1965 года). В основу пьесы я решила положить фрагмент из неоконченного романа, рисующий трагическую гибель главаря французских интервентов Дюклерка.

В моих планах — книга о Советском Союзе. Кроме того, я должна завершить работу над романом «Молчание тела» — о судьбе женщины.

Очень благодарна журналу за внимание к бразильской литературе.

Dinah Silveira de Queiroz

ВЕНГРИЯ

Антал Гидаш

Не так давно я завершил трилогию, первый том которой «Г-н Фицек» известен советскому читателю. Второй и третий тома — «Мартон и его друзья» и «Другая музыка нужна!» — надеюсь, тоже скоро попадут к нему в руки. Пусть даже с перерывами — иногда вынужденными,— но писал я эту трилогию около тридцати лет. Потому, видно, так приятно, но вместе с тем так трудно оторваться от нее, считать законченной. Где-то в глубине души все надеешься, что герои романов не позволят так просто, произвольно оборвать их существование, захотят и дальше жить, тем более что их «ждут» еще более напряженные, более решающие годы. Как оно будет, выяснится в дальнейшем и во многом будет зависеть от читателя, которому мне хочется сказать заранее, что написал я «традиционный» семейный роман; «традиционный» роман-эпопею, в котором попытался представить широкие социальные сдвиги начала

века — мятеж, нараставший в умах и душах людей; «традиционный» сатирический роман (до чего же многообразны эти традиции) и «традиционный» лирико-психологический роман (без лирики мне, как поэту, невозможно обойтись). Словом, роман традиционный потому, что он стоит в ряду тех многообразных и каждый раз новых по мировоззрению и мироощущению, а стало быть, и по форме выражения, прозаических произведений, какие сочинялись вот уже несколько веков подряд. «Модерновый» в том смысле (если уж кому-то непременно нужен этот маловразумительный термин), что, невзирая на историческую отдаленность событий, он всеми нитями связан с нынешним днем, вырос из него и то перекликается, то спорит с ним.

Прислушиваясь иногда к разговорам о том, умрет ли роман или еще поживет на свете, я каждый раз думаю, что спорят по сути не об этом, что разговорами о невинной жанровой проблеме стараются подменить гораздо более существенный спор о материализме и идеализме, о рационализме и иррационализме, о роли искусства в обществе и в конечном итоге о том, способно ли человечество создать разумное, справедливое, гуманное общество, то самое, что мы, марксисты, называем коммунизмом.

Как известно, традиционный роман широкого плана говорит всегда о взаимодействии внешнего и внутреннего мира человека, о закономерностях этого процесса.

Настоящие большие произведения искусства всегда тенденциозны — сознательно или бессознательно. Это бесспорно, это утверждали и утверждают не одни лишь марксисты, но провозглашали и такие великие писатели, как Лев Толстой и другие, причем в первую очередь своими творениями, в которых стремились не только объяснить и отразить мир, но и содействовать его изменению.

Итак, возвращаюсь к тому, над чем я работаю сейчас.

Заканчиваю нечто вроде воспоминаний или литературного портрета Александра Фадеева.

Сначала думал, напишу десять-пятнадцать страниц. Но по ходу работы выяснилось, что тридцать лет дружбы обязывают к большему, да и люди могут спросить с меня больше.

И вот уже семьдесят страниц лежат передо мной, осталось еще несколько строк, слов и поставить точку. Опять надо расставаться с Фадеевым.

В этих воспоминаниях я рассказываю не только о Фадееве — человеке, по-моему, удивительном и очень незаурядном,— но и о том, что мы пережили с ним вместе в той стране, которая тридцать четыре года была и моей родиной и до конца жизни останется неотъемлемой частью моего существа.

Я писал о сложном времени и о человеке, не уступавшем ему в сложности.

Когда я пишу, то мысленно чаще всего обращаюсь к молодежи. Мне хочется, чтобы она узнала как можно больше о жизни нашего поколения, наших поколений и судила о ней со знанием дела, а не скоропалительно. Чтобы по возможности не повторила наших ошибок, чтобы научилась ценить трудную и славную жизнь предыдущих поколений и продолжала их революционное дело.

Каковы мои дальнейшие планы?

Готовлю к печати более полное собрание своих стихотворений, в которое в числе прочего, думаю, войдет уже и цикл стихов «Трудные времена».

В начале 1964 года, вернее, к весне собираюсь сдать в печать сборник статей, эссе и литературных портретов.

После всего этого примусь за новый роман. Напишу его в первую очередь для молодежи. Это будет роман о венгерской революции 1919 года, о молодых людях первых десятилетий XX века, которые теперь, уже убеленные сединой, вспоминают о самой прекрасной, самой романтической поре своей жизни, о молодости века революции и своей.

ВЬЕТНАМ

Нгуен Конг Хоан

В 1962 году я завершил работу над романом. В нем говорится о темной личности, орудовавшей в период, когда в моей стране существовал грязный режим — хозяйничали империалисты и феодалы. Мой «герой» на пути к богатству и известности не брезгует ничем, начиная с элементарной подлости и кончая предательством. Называется этот роман (объемом около полутора тысяч страниц) — «Куча старого мусора». Он выпущен в 1963 году Издательством художественной литературы Союза вьетнамских писателей.

В настоящее время я готовлю материалы для нового романа.

В нашей стране после империалистов, феодалов и реакционной буржуазии, выметенных прочь народом и сваленных в мусорную яму, осталась еще одна социальная группка, с которой надо сорвать маску. Это — грязные людишки в сутанах католических священников.

В прошлом столетии они помогали колонизаторам поработить нашу страну. В период господства колонизаторов во Вьетнаме они использовали свое положение для того, чтобы захватывать земли, эксплуатировать наш народ, насиловать. Именно они подрывали единство нашего народа, сея религиозную рознь.

Во время войны Сопротивления грязная сущность этих людей стала еще очевидней. Для того чтобы подорвать среди своей паствы доверие к правительству, они нарочно мешали осуществлять свободу вероисповедания. Они устанавливали пулеметы на колокольнях церквей, чтобы бороться против народа, тайно завязывали связи с врагом, находившимся в Ханое, чтобы с тыла поддерживать вражеские войска при их приближении.

После установления мира (1954) именно они помогали угонять и сманивать северовьетнамских католиков на Юг. Многие семьи были при этом разделены и разрушены.

Вот об этих страшных злодеяниях людей, укрывшихся под сутанами, я и буду писать в 1964 году.

ГВАТЕМАЛА

Мигель Анхель Астуриас

В данный момент я работаю в соавторстве с Марко-сом Маданесом над адаптацией для театральной постановки романа «Сеньор Президент», который был переведен на русский язык и, как говорят, с интересом принят советским читателем. В нашей адаптации пьеса будет поставлена в театре Буэнос-Айреса в марте этого года, а затем в Нью-Йорке, Париже и Лондоне. Если вы помните, роман в острой критической манере повествует о трагических последствиях, к которым приводит возведение человека в сан бога на земле. К несчастью, в Латинской Америке еще не перевелись «сеньоры Президенты».

Кроме того, я собираю материалы для моего будущего романа «Незаконнорожденный». Это будет четвертая книга так называемой «банановой эпопеи», которую составляют пока три романа: «Сильный ветер», «Его зеленое святейшество», «Глаза погребенных». В романе «Незаконнорожденный» ставится проблема мелкой буржуазии Латинской Америки, которая, предавая свой народ, входит в сговор с феодалами и империалистами, надеясь таким образом спастись от банкротства. На самом же деле она обрекает себя на гибель, так как крупный капитал беспощадно расправляется со своими мелкими конкурентами в торговле и промышленности, и на внутреннем рынке, который с каждым днем расширяется, сократился спрос на продукты ремесленного производства.

Только что появилась вышедшая в издательстве «Лосада» (Буэнос-Айрес) последняя моя книга «Эта мулатка». Сюжет романа основан на народных гватемальских легендах и мифах, в нем борются злые духи индейцев племени майя-киче против христианских демонов, пришедших в страну вместе с испанскими конкистадорами. Тузем-

ные злые духи ратуют за уничтожение человека, злого и недостойного создания, христианские дьяволы, наоборот, стараются всеми силами увеличить народонаселение, дабы иметь возможность отправить в ад как можно больше людей.

Надеюсь, я написал достаточно, чтобы вы могли представить меня и мое творчество советским читателям. Пусть добрые друзья из журнала «Иностранная литература» примут мой сердечный дружеский привет вместе с крепким рукопожатьем.

ГДР

Дитер Нолль

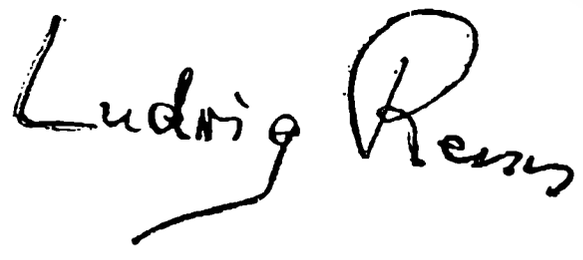
Несколько недель назад я закончил второй том «Приключений Вернера Хольта» и готовлюсь к работе над третьим томом. Вот я и ответил на ваш второй вопрос: мои творческие планы на ближайший год связаны исключительно с завершением трилогии о Вернере Хольте.

Людвиг Ренн

Только что в Детском издательстве вышел мой небольшой иллюстрированный рассказ «Камило», действие которого происходит на Кубе.

В ближайшее время будет опубликован мой новый роман «Инфляция», в котором рассказывается история магазина художественных изделий во время инфляции 1923 года и показано моральное банкротство нескольких дворянских семей. За эту тему, насколько мне известно, до сих пор взялся только Ремарк в своем «Черном обелиске», который, кажется, был напечатан в Советском Союзе. Однако в то время, как он изображает революционеров одичавшими бюргерами или люмпен-пролетариями и умалчивает о великих битвах 1923 года, я ввожу их в свое повествование.

Сейчас я пишу продолжение этой книги, которая показывает сложный путь радикальной интеллигенции.



ФРГ

Гюнтер Вайзенборн

С удовольствием отвечаю на вашу анкету, которая меня особенно обрадовала потому, что свидетельствует о не ослабевающем в СССР интересе к нашей литературе.

На вопрос «над чем я в настоящее время работаю» ответить легко, так как работа почти окончена, то есть окончена для писателя. На столе лежит том в 500 машинописных страниц, над которым автор трудился четыре года и к которому тем не менее каждый день возвращается вновь.

То автору кажется, что вот эта сценка получилась туманно-чувствительной (осветим-ка ее холодным светом разума...). То, приглядевшись внимательнее к одной из героинь, он замечает, что она обладает всего лишь двумя-тремя качествами. А персонажу книги полагается иметь более богатый характер, сверкать целым калейдоскопом качеств, порой противоречивых, ибо некоторые качества тоже могут поблекнуть и отмереть или же болезненно развиться и задушить все остальное... То вдруг автор находит в одной главе длинноты, а в другой — отсутствие переходов... Короче, автор ежедневно листает рукопись и вписывает то, что ему кажется необходимым. Издатель уже ждет, так как книги у нас большей частью продаются весной или осенью, а эта книга должна выйти из печати весной.

Книга называется «Горизонт... горизонт...» (записки путешественника). Это не роман, скорее путевой дневник. Краткие очерки о двух мирах — Востоке и Западе — сменяют друг друга, восточные напечатаны шрифтом антиква, а западные — курсивом. Таким образом, за описанием встречи в Шанхае следует сцена в парижском кафе, затем снова эпизод на Востоке и т. д. Книга проникнута чувством дружбы, охватывает период с 1945 по 1963 год, место действия Варшава—Рим—Москва—Париж—Ленинград—Лондон—Пекин—Нью-Йорк—Рио-де-Жанейро—Рангун—Прага—Кантон—Калькутта—Шанхай—Буэнос-Айрес и далее.

Что касается моих ближайших творческих планов, то сейчас я работаю в соавторстве с Эрвином Пискатором над одной пьесой.

Кроме того, заканчиваю сценарий телевизионного фильма «Мститель» по одноименному роману, который уже переведен на 11 языков, в том числе на русский *.

Günther Weisenborn

ИРЛАНДИЯ

Шон О'Кейси

Что я сейчас делаю? В основном прихожу в себя после всяческих ужасов — ужасов зимы и ужасов лета. Зима у нас выдалась страшная — зловещая, беспощадная: свирепые ветры, беспрестанный снег. Все было сковано толстым слоем льда. Мороз проникал всюду, не добрался разве только до мертвецов: их глубокие могилы оказались для него недоступными. Рогатый скот и овцы гибли во множестве — сбившись в кучку, они замерзали в долинах и на вересковых пустошах, превращаясь в трагические скульптурные группы. Наш дом, стиснутый объятиями льда, походил на какой-то фантастический обитаемый и цивилизованный айсберг. С его крыши свешивались гигантские сосульки — целые башенки, футов шестнадцать. Зрелище чудесное и необычное, но, чтобы им наслаждаться, надо окружить себя целым кольцом костров.

Птичье племя в наших краях вымерло больше чем наполовину; дятел в лесу или зимородок в приречном кустарнике теперь большая редкость. Отопление не работало — электростанции давали слишком мало энергии. С газом тоже дело было плохо, и дома наши превратились в ледяную пустыню.

---

* «Иностранная литература» № 1, 1963 г.

Лето у нас тоже было никудышное: выдалось всего четыре славных погожих денька, когда можно было посидеть в нашем палисадничке.

Что касается моих занятий, то я просматриваю вместе с д-ром Краузе свои письма, которые он собирал последние два года, и готовлю их к печати.

Кроме того, я готовил к печати вышедшую не так давно в издательстве Макмиллан книгу «Под цветной шапкой», состоящую из «грустных и веселых статей с комментариями и песней». Возни было порядочно: гранки, верстка и т. д.

В общем, сейчас книга уже на прилавках и, как мне сообщают, раскупается хорошо.

В-третьих, у меня немало дел в связи с предстоящей экранизацией первых четырех книг моего автобиографического цикла. Фильм будут ставить два молодых американца — президент компании «Секстент филмз» Роберт Графф и вице-президент этой же компании Роберт Джинна в сотрудничестве с известной голливудской фирмой «Метро-Голдвин», которая взяла на себя прокат фильма. Я написал для сценария часть диалогов, добавил новую сцену. Однако я слишком хорошо знаю кино, и мне ясно, что в ходе съемок сценарий будет неоднократно подвергаться переделкам, так что ни один из написанных мною кусков не останется на прежнем месте, да, возможно, и вообще не попадет в фильм.

Занят я еще и тем, что стараюсь приспособиться к своему новому физическому состоянию. Ведь мне уже восемьдесят четыре, и годы заставляют меня сбавлять темпы. Я уже не могу ни читать, ни писать, потому что почти ослеп. Впрочем, пытаюсь писать на машинке, как вы это видите из моего письма. Записываю на магнитофон песни, которые встречаются в моих автобиографических романах; иной раз мне подпевает и жена. Между нами говоря, я надеюсь, что после моей смерти ей удастся выручить за мои записи несколько фунтов, и это послужит ей подспорьем. Когда эти песни будут записаны, я, может быть, вместе с женой напою и те, которые встречаются в моих пьесах. Таким образом, я смогу сам удостовериться, что еще жив, и дать другим услышать свой голос.

Наконец, я занят еще и тем, что пишу много писем — по большей части молодым американцам и многочисленным друзьям, рассеянным чуть ли не по всему свету.

Так вот, дорогие друзья, что вы скажете об этих моих занятиях? Дают они мне право на место в нашей вселенной? Пусть даже вселенная эта не так обширна, как та, покорителями которой стали ваши бесстрашные космонавты и очаровательная, беспредельно храбрая Валентина!

Я считаю, что Московский договор о частичном запрещении испытаний ядерного оружия — серьезный шаг к разумному решению проблем, безусловно открывающий путь к весело зеленеющей обетованной земле мира. Атмосфера будет очищена от отравляющих ее смертоносных веществ, прекратятся красно-черные взрывы, при виде которых так часто с испугом меркло солнце. Все мы жаждем полного разоружения, и все можем содействовать достижению этой цели. Где-то и когда-то должен быть сделан первый шаг, и Московский договор именно является таким первым шагом. Он не избавил нас от взрывов внизу, у нас под ногами, зато мы избавлены от взрывов наверху, у себя над головой. Мы должны быть благодарны за это. Ведь ядерная война была бы последним ужасом, выпавшим на долю человечества: от нашей милой Земли осталась бы лишь зловонная пелена, рассеивающаяся меж звезд.

Шлю наилучшие пожелания всем моим друзьям в Советском Союзе.

КАНАДА

Джо Уоллес

Стрелки моих часов показывают половину семьдесят третьего; и теперь в любой момент может зазвенеть будильник. Но мой интерес ко всему окружающему силен, как всегда, особенно мой интерес к кипучей жизни в странах социализма.

Я надеюсь, что искры этого интереса вспыхнут и в моих произведениях, которые будут написаны после долгого периода молчания.

ПАКИСТАН

Фаиз Ахмад Фаиз

Я уехал из Пакистана в августе 1962 года и с тех пор занимаюсь тем, чем время и обстоятельства никогда не позволяли мне заниматься раньше — то есть по существу ничего не делаю. Это, конечно, не совсем верно, потому что не делать абсолютно ничего человеку дано только тогда, когда прекратится его жизнь. Даже у смертельно больных бывают периоды, когда они не могут не мыслить, когда они даже говорят, а это уже не значит ничего не делать.

Поэтому, когда я говорю, что ничего не делаю, то имею в виду, что больше нет учреждения, куда мне надо обязательно приходить, нет газеты, которую необходимо редактировать, нет организации, которой надо руководить, нет неоконченной книги, укоряющей меня белизной не написанных еще страниц. В этом свободном, ничем не связанном состоянии, таком редком и непривычном, я побродил по многим приятным местам, побывал в Советском Союзе, на Кубе, в Венгрии, на Цейлоне, в Алжире, ОАР, Ливане, доставляя себе удовольствие навещать старых друзей и приобретать новых, присутствовать на чудесных торжествах — на празднике годовщины кубинской революции в Гаване, на юбилее Маяковского в Москве, на празднествах в Дагестане, посвященных вручению Ленинской премии моему другу Расулу Гамзатову, на симпозиуме Европейского сообщества писателей в Ленинграде.

Были у меня многочисленные публичные выступления, было множество бесед среди друзей о вопросах мира, свободы и справедливости, о муках и славе, смерти и возрождении стран Африки и Азии, о проблемах жизни и творчества. В промежутках между разговорами и размышлениями, между поездками и празднествами я написал несколько стихотворений, кое-какой политический репортаж и два эссе о пакистанской литературе. Кроме того, я недавно помог товарищам в Гослитиздате в Москве составить антологию рассказов пакистанских писателей.

Вот, пожалуй, и все, что я делал, если не считать того, что я непрерывно тоскую по родине, вспоминаю смену времен года там, отблески света на листьях деревьев и прикосновение ветерка в моем родном Лахоре, вижу перед собой лица друзей, думаю об их героизме и утратах в великой борьбе, которую они вместе с миллионами других ведут за то, чтобы над всей землей встало наконец светлое мирное утро.

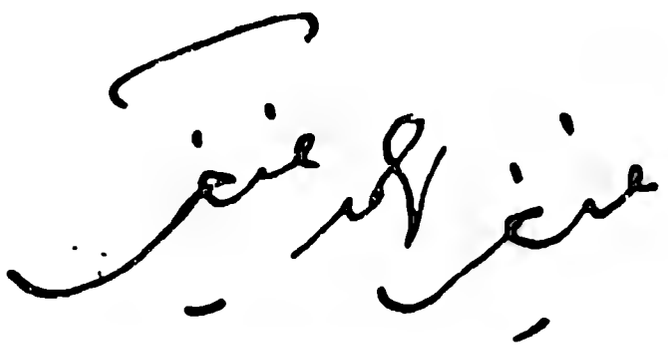
Я очень часто жалел о том, что вместо поэзии, а тем более лирики я не выбрал для себя (вернее, что мне не дан был талант, чтобы выбрать) более дисциплинированный, более послушный вид литературного творчества, такой, который можно было бы заранее планировать, который поддавался бы контролю, за который можно было бы засесть и сделать. Романист, драматург, критик или эпический поэт всегда может (по крайней мере, многие с завистью так думают) заявить, что сражается с началом, серединой или концом романа, пьесы, рецензии или поэмы или что он хотя бы обдумывает ее. Но лирика — это нечто такое, с чем ты живешь постоянно, над чем трудишься непрерывно, что составляет неотъемлемую часть твоего сознания. А результаты в конечном итоге настолько трудно предвидеть, что никогда нельзя с достаточной долей вероятности утверждать, что ты вообще над чем-то работаешь. В любой данный момент результатом твоей работы может оказаться целая книга, горсточка стихотворений, несколько случайных строк или вовсе ничего. Поэтому, когда меня спрашивают о моих планах на будущее, я никогда поэзию в эти планы не включаю. Я безусловно надеюсь, что напишу хотя бы несколько стихотворений, но вряд ли это можно считать «планом».

Кроме того, не единой поэзией жив человек, во всяком случае за пределами социалистических стран. У него еще очень много дел, даже если не считать такой мелочи, как необходимость заработать на хлеб насущный.

Каковы же все-таки мои планы на будущее? Откровенно говоря — не знаю. Не знаю не потому, что у меня нет планов, а потому, что их так много. Во-первых, недавно во многих странах и со многими людьми я обсуждал вопрос о возможности издания журнала, в котором бы печатались главным образом новые оригинальные произведения, написанные на различных языках Азии и Африки, и освещались проблемы культуры и литературы, стоящие перед молодыми государствами. Во-вторых, с друзьями в Лондоне, где я сейчас временно живу, мы много внимания уделяем вопросу издания еженедельника, посвященного проблемам, интересующим пакистанских и индийских рабочих и студентов, которых в Англии насчитывается большое количество, проблемам их социального и политического образования. В-третьих, когда мне надоест путешествовать, я вернусь к своей журналистской и прочей работе в Паки-

стане. Кроме того, меня ожидают киносценарий, который я должен сделать для одной из прогрессивных пакистанских организаций, несколько статей, обещанных агентству печати «Новости» и журналу «Иностранная литература», и, я надеюсь, новые стихи. А еще мне предстоят новые беседы, новые встречи с друзьями.

Впрочем, я хорошо понимаю, как я уже сказал раньше, что все это вряд ли можно назвать планами.



ПОЛЬША

Игнацы Виц

Над чем я работаю в настоящее время?

Каковы мои ближайшие творческие планы?

В своем ответе я объединяю эти два вопроса. Потому что сейчас я нахожусь на том этапе моей жизни, когда я стремлюсь, чтобы настоящее моего труда художника неуклонно превращалось в будущее.

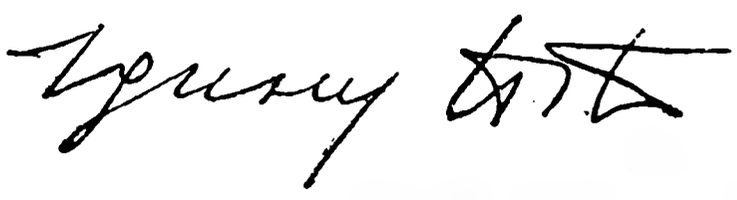
Что же я делаю?

Пишу и рисую. Несколько раз я уже выставлял свои работы. Осмысливая прошедшие выставки, я решил продолжать и развивать начатое, принимая во внимание новые идеи и оценки и вытекающие из них выводы.

Что я пишу и рисую?

Всегда одно и то же. Человека. Человека, которого я хочу воссоздать чисто пластическими средствами. Как? Наиболее эмоционально, поэтически. Это программа на долгие годы, если не на всю жизнь. Это сотни картин и тысячи рисунков. Я буду счастлив, если мне удастся создать несколько людей, достойных того, чтобы на них смотрели. А это совсем не так просто.

В последнее время живопись чуть ли не полностью отвлекла меня от иллюстраций и целиком — от карикатуры и плаката. Я знаю, что буду все более погружаться в живопись. Но я ни в коем случае не хочу отказываться от литературной деятельности. Я ожидаю выхода нескольких моих книг на темы искусства. Одна из них, посвященная творчеству любителей, должна выйти в ближайшее время. Что касается моих дальнейших планов в этой области, то я думаю приступить к книге очерков на темы современной живописи.



РУМЫНИЯ

Мария Бануш

Во-первых, я работаю над длинной поэмой «Алмаз», отрывки из которой начала публиковать в журналах.

С длинными поэмами у меня отношения очень сложные, напоминающие страсть. В том смысле, что ненависть, разъедающая капля ненависти всегда сопутствует им.

Всякий раз, не успею я сесть за длинную поэму, дьявол тут как тут и уже нашептывает мне на ухо:

— Кому в наши дни нужны большие поэмы? Неужели ты думаешь, что современный читатель станет в промежутке между телевизионными передачами, спортом, кино и джазом окунаться в поток твоих слов?

— Но что же делать? — защищаюсь я.— Ведь я не виновата. Я не хотела этого. Поток сам настиг меня. Он был слишком стремителен, этот поток, и он захватил меня. Я должна писать.

Поэма насчитывает более 2000 строк, и рассказывает она о том, как под натиском многих противоречивых влияний формировалось гражданское сознание румынского интеллигента перед первой мировой войной.

«Алмаз» — это своего рода «Bildungspoem» (поэма о воспитании), лирический рассказ о неотвратимом пути.

Параллельно с поэмой кончаю работу над составлением и переводом антологии. Антологии стихов о любви всех времен и народов. Начиная с Гомера и кончая, скажем.... Жаком Превером.

Это было длинное, тяжелое и увлекательное путешествие.

Скоро в магазинах появится моя книга стихов о любви — «Метаморфозы» и книга Пабло Неруды «Новые стихи» (из сборников «Оды простым вещам», «Estravagario», «Плавание и возвращение») в моем переводе.

Marie Banu

США

Филлип Боноски

Я рад был получить ваше письмо — хотя бы уже потому, что оно заставило меня вспомнить чудесное лето, когда я побывал в Советском Союзе. Полагаю, у меня достаточно здравого смысла, и потому, направляясь в СССР, я вовсе не ожидал найти там Утопию. Зато я обнаружил нечто получше Утопии: простые трудовые люди, совсем такие, как те, с которыми я привык общаться здесь, создают новый образ жизни, прекрасный и гуманный. Вот потому-то ваша страна по-прежнему служит путеводной звездой для угнетенных всего мира и даже для тех, кому не так уж плохо живется в материальном отношении, но чья жизнь, при всем том, пуста и бедна в смысле духовном.

Такое признание вызвано вашим письмом. Ограничусь им, хотя и мог бы сказать еще очень многое.

Однако попытаюсь ответить на ваши вопросы. Да, я с головой ушел в работу. Пишу попеременно роман и пьесу.

Роману я пока дал условное название: «Я улыбаюсь, хоть и слеп». В нем показана жизнь американского художника в Нью-Йорке, и боюсь, что картина получается довольно страшная. Для меня это, пожалуй, тема новая, и не исключена возможность, что книга отпугнет некоторых читателей, привыкших к определенной тематике моих произведений. Впрочем, поживем — увидим.

Пьеса будет называться «Пиранья». Знаете, что такое пиранья? Это хищная рыба со множеством острых зубов, обитающая у берегов Южной Америки. Стая таких рыб может обглодать человека до костей за каких-нибудь несколько секунд. Название это в известной мере раскрывает тему моей пьесы. А тема ее, коротко говоря, сводится к следующему: есть определенный тип общества, которое, подобно пиранье, быстро обгладывает человека.

Боюсь, что обе эти темы — «неприятные». Выбор их подсказан всем опытом моей жизни в Нью-Йорке. Я прожил здесь последние 13 лет не потому, что жаждал этого, а потому, что не могу жить там, где хочу. Я выпустил четыре книги, но ни одна из них не получила публичного признания в буржуазной печати у меня на родине. Меня здесь бойкотируют решительно все, за исключением левых.

Каковы мои планы на будущее? Прежде всего выжить, вместе с населением всего земного шара. Подобно миллионам людей во всем мире, я возлагаю большие надежды на глубокое и искреннее стремление Советского Союза к миру. Это прочный и надежный фундамент для твердой веры в будущее. Он-то и дает возможность строить творческие планы, работать, мечтать. Я рассчитываю написать новый роман, как только закончу свою нынешнюю работу. А потом собираюсь приступить к автобиографии (все эти годы я пишу рассказы, статьи и рецензии — разумеется, большей частью бесплатно).

Я надеюсь также снова побывать в Советском Союзе и в других социалистических странах. Полагаю, что у меня там по-прежнему есть добрые друзья.

Phillip Bonosky

Уолтер Лоуэнфелс

Письмо, где вы просите сообщить, над чем я сейчас работаю и каковы мои планы, я получил как раз в тот момент, когда закончил новый цикл песен, который назвал «Любовная песнь Сопротивления». Некоторые произведения этого цикла недавно напеты на пластинку Питом Сигером (это лучший исполнитель народных песен в США).

В прошлом году мною закончены следующие книги:

«Смерти» (избранные стихи и мысли).

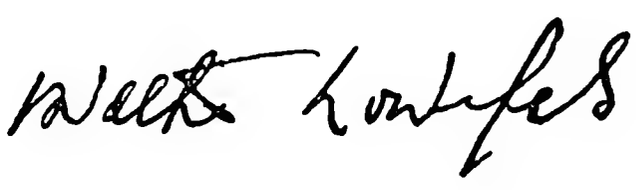
«По ту сторону стены» — книга в 150 страниц; в основу ее положены беседы со многими людьми в Германской Демократической Республике.

«Современная поэзия XX века» — антология авангардистской поэзии в США.

Эти три книги уже подготовлены к печати. Кроме того, я подготовил большой сборник стихотворных переводов (главным образом с французского и с испанского), озаглавленный «Стих, который не остановишь». Название это позаимствовано из поэмы Поля Элюара «Неумолчная поэзия».

Что касается еще не завершенных работ, то сейчас я заканчиваю автобиографический труд «Вторая биография. Жизнь одной идеи». В этой книге прослеживается мой путь как поэта с конца двадцатых годов, когда я жил в Париже в окружении экспатриированных интеллигентов, до наших дней.

Я работаю также над составлением сборника под названием «Любовь в жизни Уолта Уитмена». В пространной вводной статье я выдвигаю новую точку зрения на роль любви в жизни и творчестве поэта. В соответствии с этим новым подходом к теме мною и были отобраны стихи Уитмена для этого сборника.



ФРАНЦИЯ

Пьер Гамарра

Я только что закончил роман (если только слово «роман» здесь применимо, ибо, как вы знаете, оно может обозначать произведения самые разные), который называется «Пиренейская рапсодия». Он вышел этой осенью в издательстве «Эдитер франсе реюни». Местом действия этой истории является деревня в моих родных Центральных Пиренеях, возле курортного города Люшон, недалеко от испанской границы.

Я придаю очень большое значение местному колориту и изображению местных обычаев людей, которые на этой земле живут, эту землю любят и обрабатывают, на этой земле страдают и надеются. Мне хочется верить, что такому изображению местных черт и нравов можно придать значение всеобщее (удалось ли мне это — вопрос другой). Вот почему я не придаю эпитету «областнический» пренебрежительного оттенка. Разумеется, областной, региональный роман может оказаться ограниченным, неинтересным, но это значит, что писателю не хватило не только вдохновения и таланта, но и хорошего зрения и хорошего слуха. С любого уголка земли можно услышать отголоски великих сотрясений. Сотрясения, услышанные в «Пиренейской рапсодии»,— это события, опалившие и изменившие мир в тридцатые и сороковые годы, начиная с трагической и незабываемой войны в Испании.

Я попытался дать читателю возможность почувствовать эту землю, ее скалы, ее снега, ее цветы и найти на ней человеческие дороги. Герой книги — старый пастух и охотник на медведей. Ибо у нас в горах еще водятся медведи. И, немножко приоткрывая секреты моего романа, добавлю: медведи разных пород.

Каковы мои планы?

Я не люблю говорить о том, что еще как следует не отстоялось. Сейчас я работаю над своего рода многотомным романом с продолжением; действие его начинается во Франции около 1860 года.

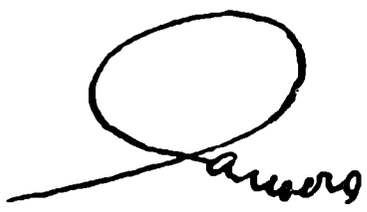
И, как всегда, продолжаю писать для детей. Собираюсь опубликовать роман для юношества — «Капитан Весна». В нем речь идет о последней войне и о Сопротивлении — опять-таки в Пиренеях.

Pierre Gamarra

Арман Лану

Я только что опубликовал свой новый роман «Когда море отступает», завершающий трилогию, начатую «Майором Ватреном» и «Свиданием в Брюгге». Он очень хорошо принят во Франции.

В настоящее время я работаю над книгой стихотворений, которая будет называться «Лубочные картинки», а потом собираюсь опять взяться за биографию Мопассана. Кроме того, я недавно закончил инсценировку моего «Майора Ватрена» для телевидения.



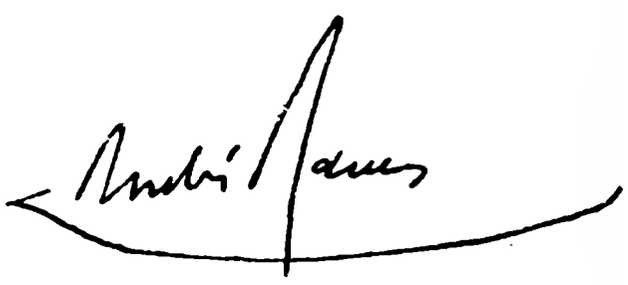
Андре Моруа

В настоящий момент я работаю над большой книгой «Жизнь Бальзака».

Книг о Бальзаке написано много, но все они очень неполны; много документов обнаружено за последние 25 лет, и я надеюсь, что моя книга будет совершенно новой и, надеюсь, полной.

Строить какие-то планы было бы с моей стороны, пожалуй, слишком смело, потому что мне 78 лет и работа над Бальзаком займет у меня два года.

Но, если это будет возможно, мне бы хотелось написать мемуары и небольшую книжку о философии действия.



ЧЕХОСЛОВАКИЯ

Адольф Гофмейстер

Уважаемые читатели «Иностранной литературы»!

Свои творческие планы человек составляет, к сожалению, не всегда по своему усмотрению. Так, например, наши чешские издатели, теоретики и историки литературы, а также многие мои читатели желают, чтобы я написал мемуары. Они не слишком тактично напоминают мне о том, что я чуть ли не последний живой памятник

революционных традиций чешской и словацкой литератур и изобразительного искусства, оставшийся после первой мировой войны из авангарда зачинателей. Я воздерживаюсь от написания мемуаров, поскольку мемуары, как правило, пишет автор, подытоживая свой творческий путь. А я — быть может, это самонадеянно — полагаю, что сумею создать что-то еще и даже привнести что-то новое в литературу и изобразительное искусство. Поэтому, идя навстречу любителям мемуаров, я пишу вступительные статьи к своим избранным сочинениям, в которых частично воспроизвожу историю развития чешской и словацкой литератур, будучи участником тех или иных событий.

Мои читатели, редакции чешских обозрений, журналов и газет, а также критики желают, чтобы я, по окончании всех своих репортажей из различных стран, написал также репортаж о Чехословакии. Признаюсь вам, что писать о стране, в которой ты родился и которую знаешь свыше шестидесяти лет, значительно труднее, нежели писать о стране, которую посещаешь в качестве туриста или гостя. Однако не исключено, что я когда-нибудь напишу репортаж о Чехии для чехов.

Недавно в Москве на Кузнецком мосту состоялась выставка моих «шаржей» на великих людей культурной и политической жизни. Одно чешское художественное издательство просит меня рассказать в форме забавных историй, каким образом я встретился с людьми, которые служили мне натурой, и как я их рисовал. Именно такими короткими текстами я снабжу альбом моих «шаржей». Эта книга должна выйти на нескольких иностранных языках в нашем издательстве для заграницы.

Наряду с этим я готовлю к изданию книгу своих эссе и критических статей по вопросам изобразительного искусства и книгу репортажей о своих непродолжительных, но частых поездках в европейские страны. Часть этой книги будет посвящена и моим поездкам в СССР.

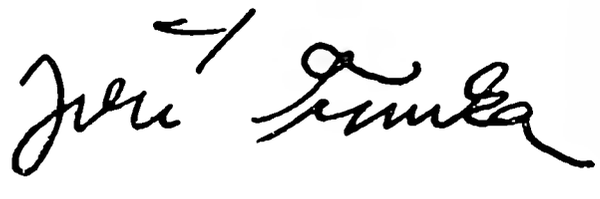
Но ваша анкета, по-видимому, предполагает, что автор приоткроет и свои тайные замыслы, которые никому еще не известны, но давно выношены. Поскольку мы с вами давние друзья, признаюсь, что я хотел бы написать театральную пьесу. Она уже целиком мною выношена, но не хватает времени написать ее, так как у меня много иных обязанностей и задач: блуждаю по свету, да и наряду с литературой половину своего времени посвящаю живописи. Полное собрание моих картин я покажу в октябре этого года в Праге. Но пьеса, собственно, уже закончена, нужно только ее написать. Это комедия с политическим уклоном, в рамках борьбы против догматизма. Думаю, что сейчас она нужна.

Примите мой дружеский привет и мою книжку, которая в будущем году должна выйти в русском переводе у вас в Москве.

Иржи Трнка

В настоящее время работаю над иллюстрациями для детских книг. Фильм пока не снимаю, но готовлюсь к постановке.

Подготавливаю иллюстрации к «Бабушке» Божены Немцовой, над чем придется немало потрудиться. В дальнейшем собираюсь начать работу с Б. Ливановым над оформлением постановки «Короля Лира» для МХАТа. Это потребует еще больших усилий.



ЧИЛИ

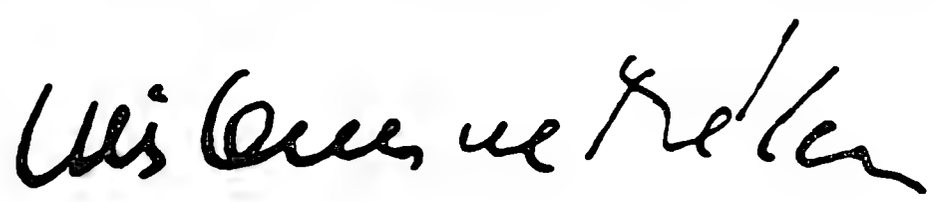
Луис Энрике Дэлано

В настоящее время я работаю над тетралогией под общим названием «Двадцать лет», в которую войдут четыре романа. Один из них — «Шум битвы», действие которого протекает в 1938 году и в котором отражено значение испанской войны 1938 года для политического формирования чилийского народа и победы прогрессивных сил Народного фронта 25 октября 1938 года. Другой роман — «С вечера до ночи» рассказывает о новом народном способе разрешения жилищной проблемы путем захвата населением территорий, принадлежащих государству и частным лицам, и постройки на них домов. Третья книга — «Тяжелые дни» охватывает период 1947—1950 годов, время жестокой расправы над народом, учиненной силами правящей олигархии, которой не удалось, однако, сломить стойкость и боевой дух революционных масс. Наконец, последняя часть тетралогии — «Новое поколение», действие которой восходит к 1958 году, рассказывает о судьбе детей героев первой книги, продолжающих дело отцов, но уже не в союзе с крупной буржуазией, как это было во времена Народного фронта, а под руководством рабочего класса, ставшего во главе движения.

Я начал писать эту тетралогию в 1959 году. Два ее первых тома уже написаны окончательно (возможно, первый выйдет в этом году). В настоящее время я работаю над третьей книгой, которая уже готова более чем наполовину.

В 1962 году я написал десять рассказов, которые войдут в сборник под названием «Антропофагия».

Вот и все, дорогие друзья. Поскольку я должен еще работать над газетными статьями, а также над статьями для радио, у меня нет возможности посвящать все свое время литературному творчеству. Но кое-что я все-таки делаю.



(Окончание следует)

ВЕЛИКИЙ РЕФОРМАТОР

К 100-летию со дня смерти Вука Стефановича Караджича

По дороге из Белграда в Сараево, почти на самой границе между Сербией и Боснией, расположен небольшой городок Лозница. На одной из его центральных площадей, где средневековые торговые ряды — чаршия — причудливо сочетаются с современными зданиями, стоит небольшой памятник. Возле него играют дети; сидя на скамейках, беседуют пожилые люди. И кажется, будто человек на невысоком пьедестале тоже присел отдохнуть среди друзей. У него проницательные и по-детски жадные глаза, мохнатые брови и усы точь-в-точь как у беседующих стариков.

Не случайно один из памятников Вуку Стефановичу Караджичу стоит именно в Лознице. Более полутора столетий назад в один осенний день он впервые, восьмилетним деревенским мальчонкой, приехал в этот городок, чтобы учиться в только что открывшейся здесь школе. А через два года здесь же, в Лознице, фактически закончилось образование будущего доктора философии, члена многих научных обществ и нескольких европейских — в том. числе и русской — академий.

Вклад Вука Караджича в национальную культуру народов Югославии по своему значению и своим последствиям можно без всякого преувеличения сравнить с ролью Ломоносова в России. Он вошел в историю прежде всего как реформатор и создатель современного сербохорватского языка, как собиратель произведений устного народного творчества, получившего благодаря его деятельности мировую известность, как историк и этнограф, переводчик и литературный критик. Гений глубоко национальный, Вук усвоил лучшие достижения мировой культуры. Он был тесно связан с выдающимися учеными и писателями своего времени. Его переписка с современниками, изданная в восьми томах, представляет собою интересный материал для историков и литературоведов.

Вук Караджич родился в то время, когда территория современной Югославии была разделена на части и родственные народы — сербы, хорваты, боснийцы и герцеговинцы — находились под иноземным гнетом: турецким на востоке и в центре страны, австро-венгерским и немецким на севере и западе. Но это была эпоха больших социальных сдвигов и революционных национально-освободительных войн (культурно-просветительное движение в Воеводине, крестьянские и гайдуцкие бунты в Боснии, широкое вооруженное восстание в Сербии, общественно-политическая борьба в Хорватии), и именно она породила великого реформатора и революционера.

В 1813 году, после поражения первого сербского восстания, участником которого был Вук, он переехал в Вену. Здесь в 1814 году Караджич издает грамматику сербского языка. А через четыре года выходит в свет его «Сербский словарь». В предисловии к словарю и в приложенной к нему новой грамматике Вук сформулировал основные принципы своей языковой реформы. Он предложил заменить современный ему искусственный литературный язык новым языком, основанным на народной речи.

Уже в первых своих работах Вук Караджич провозгласил основу нового литературного языка — «пиши, как говоришь». Он привел азбуку в соответствие со звуковым составом языка. Предложив фонетический принцип сербского правописания, Караджич полагал, что он облегчит таким образом усвоение грамоты широкими народными массами.

Демократическая и революционная в своей сущности деятельность Караджича в области языка встретила резкое сопротивление со стороны консервативной верхушки тогдашнего общества. Реакционные силы во главе с митрополитом Стратимировичем использовали все средства, чтобы сломить

«хромого антихриста», «крылатого» Вука и физически и нравственно. Но этот творец нового обладал, по выражению одного из историков сербской литературы, «боевым духом всех великих разрушителей».

Мировую известность приобрела деятельность Караджича — собирателя и издателя сербской народной поэзии. В то время, когда небольшая балканская страна мужественно боролась за национальную независимость, внимание Европы было привлечено появлявшимися периодически, начиная с 1814 года, сборниками сербских народных песен. Покоренный художественной силой сербского эпоса, Якоб Гримм приветствовал каждую новую книжку статьями в «Геттингенском ученом указателе», а сборник сербских сказок, собранных Караджичем, он снабдил своим предисловием. Сербский эпос пленил Гёте и Пушкина, Мериме и Мицкевича, посвятившего ему ряд лекций в Коллеж де Франс. Энгельс, изучавший сербский язык, сообщал в одном из писем Марксу, что читает песни Караджича.

Многие из песен, особенно те, которые составили первый сборник, Караджич записал по памяти — «принес с собой в Вену в голове». В дальнейшем, во время своих многочисленных поездок по Сербии, он разыскал талантливых народных сказителей и поэтов, таких как, например, известный Филип Вишнич. Собрание произведений народного творчества послужило плодотворной основой для развития новой сербской литературы, отказавшейся от подражания чужеземным образцам и порвавшей с ложноклассическим направлением.

В 1815 году в нескольких номерах венской газеты «Српске новине» Вук напечатал развернутую рецензию на роман «Одинокий юноша». Рецензия имела сенсационный успех. Во-первых, это был первый случай, когда сербская газета печатала отклик на современный роман, а во-вторых, Караджич выступал здесь с критикой одного из самых популярных и читаемых публикой авторов — Милована Видаковича. Пафос рецензии был направлен против искажений сербского языка, против эпигонства, фальши в изображении национальной действительности и проповеди смирения. Караджич требует от писателей высокого мастерства и ответственности за свое дело. «Ни один мастер,— пишет он,— не берется за ремесло, если не знает, что он должен делать и как делать... Так следует поступать и писателям».

В своем оригинальном творчестве — исторических и этнографических очерках, в жизнеописаниях знаменитых современников — он дал образцы прекрасной реалистической сербской прозы.

Лучшие представители новой сербской литературы — Бранко Радичевич, Йованович-Змай, Джура Якшич — были верными учениками и страстными последователями Вука Караджича.

С самого начала своей деятельности Караджич получил поддержку и признание в России. Отсюда пришла и первая материальная помощь: в 1826 году ему в России была назначена пенсия. В 1819 году Вук приехал в Россию, где был встречен очень дружелюбно и тепло. Он присутствовал на заседаниях Российской Академии, познакомился с Жуковским, Карамзиным.

Вук Караджич прожил долгую жизнь. Он умер в 1864 году, окруженный верными и талантливыми последователями. Целое поколение «вуковцев» продолжало дело своего учителя. Общий литературный язык послужил сплочению и духовному единству народов Югославии, создавших богатую и самобытную национальную культуру. И в этом прогрессе культуры большая роль принадлежит Вуку Стефановичу Караджичу, который был, по словам сербского литературоведа И. Скерлича, одной из «самых оригинальных и самых сильных личностей всей сербской литературы».

Т. Попова

ЛЮБИВШИЙ МИР ПОЭТ

К 40-летию со дня смерти Иржи Волькера

Думая о Волькере, я никогда не забываю, что он умер, не дожив до двадцати четырех лет. Значит, был он чуть старше тех моих товарищей-поэтов, что ушли на войну и не вернулись — Кульчицкого, Когана, Майорова. И хотя они разминулись и во времени, и в пространстве — он был чешским поэтом двадцатых годов, они — русскими поэтами начала сороковых,— их роднит в моем сознании та чистая нота юности, готовой к гражданскому подвигу, которая звучит в их поэзии и трогает, может быть, более всего.

Если вдуматься, не так уж случайно это сравнение поэтов, разделенных двумя десятками лет. Они принадлежали одной эпохе всемирной истории — между первой и второй мировой войной. Волькер жил в начале этой эпохи, мои друзья — в конце.

Волькер говорил: «Основной признак нового искусства — его революционность». Мои друзья жили с этим же сознанием. Для них Великая Отечественная война была революционной войной против фашизма.

Общность главных понятий порождает сходство между поэтами столь разными. И еще — та непосредственность и прямота молодости, с которой эти понятия выражены в поэзии.

В поэзии Иржи Волькера все молодо. Молодо даже разочарование. Однако он не был поэтом разочарования и печали.

Для него гениальный поэт — Солнце, пишущее свои поэмы золотым пером.

Мужчины без пиджаков,
женщины в красных платочках,

дети возле матерей —
только и знают,
что день-деньской эту поэму запоем
читают.

(Перевод В. Журавлева)

Он сам запоем читает жизнь, как яркую солнечную поэму. Он слышит, как солнце зовет его, своего ученика, «бронзовым голосом»:

Парень,
все ты умеешь, что надо уметь в двадцать
лет!
Белый свет
брось в объятья мои,
а чтоб он не разбился,
ты в сердце его заверни!

(Перевод Л. Мартынова)

«В сердце его заверни!» Вторая излюбленная аллегория Волькера — сердце. Он — поэт, обожающий солнце и не жалеющий сердца. Ибо поэт ценен для человечества потому, что он может весь белый свет «завернуть в сердце». Это образ человеческой, социальной чуткости поэта. Но в этом образе у Волькера нет расплывшейся в слезах сентиментальности. Поэт нежен. Однако сердце Волькера — сердце воина. А воин «молится саблей».

Волькер нежен и мужествен. Он не для того отворяет сердце, чтобы прислушаться к собственной боли и позабыть о мире. Он отворяет сердце, чтобы принять в него весь мир со всеми вещами, со всеми острыми углами:

я люблю вещи
и люблю весь мир.

(Перевод Л. Мартынова)

Волькер мечтает слиться с миром, «я» заменить на «мы», слиться с тем миром, который он считает подлинным миром своей поэзии:

Я средь вас, и мне хорошо, я — кусок,
вам положенный в рот,
поглощайте меня, пусть мое существо
в ваши жилы
и в кровь вам войдет.
Нет уж вас, нет меня, есть лишь мы —
жизнь единая,
двадцатирукая...
мы голубоглазый рабочий, ежедневно
идущий молиться
на фабрику «Мариенталь»,
мы твердоликие, точно скалы, мы
дровосеки, пружинистые, как сталь,
мы бледный Бертин, тот
переплетчик, который два месяца
как женат,
мы загорелый батрак, что под солнцем
и белому свету в поле не рад...

(Перевод Л. Мартынова)

Вот что такое волькеровское «мы». «Мы» — не только мировоззрение, но и мироощущение Волькера, существо его поэзии, основа его образной системы. Недаром он, поэт по сути лирический, упорно защищает эпические начала поэзии, субъективизму лирики противопоставляя классовую целенаправленность эпоса.

К счастью, суровое отношение Волькера к лирике часто противоречило его поэтической практике. Да и не так уж важно, был ли он лириком или эпиком. Важно, что в поэзии всегда присутствует возвышенная личность Волькера, пришедшего «строить жизнь по велению сердца». По велению сердца он стал коммунистом. Трагизм времени он воспринимал не как свойство, присущее мирозданию, а как трагедию социальную. Он воплотил эту трагедию в своих балладах. Баллады, может быть, самое сильное из того, что он написал. В них острота переживания сочетается с удивительной энергией стиха. В них юноша Волькер — мужчина и воин, ясно увидевший устройство мира, отвергающий иллюзии, призывающий «убить сны»,

ибо жить надлежит!
Руки — оружье,
сердце — щит.

(Перевод Л. Мартынова)

Баллады — расцвет его поэтического таланта, сильного и мужественного. Они же — вершина социального ясновидения. Они включены в книгу «Час рождения».

В 1923 году Волькер заболел чахоткой и через год умер. В поэзии он научился ясно видеть жизнь. Так же ясно видел он, что умирает.

Смерти я не боюсь, смерть не зла, в ней
нас много, я знаю.
Умиранья боюсь я, в котором каждый
один,— а я умираю.

(Перевод И. Гуровой)

Нужно огромное мужество, чтобы сказать это в двадцать три года. Поэт — это не только стихи, это и биография. Он не думал о славе, которую навсегда завоюют его стихи, не думал о бессмертной ценности того, что создал.

Я пасть хотел в бою, а должен умереть,—

вот его последнее сожаление. Он умер сорок лет назад, юношей, но навсегда остался одним из лучших поэтов нашего века для чехов, для нас, для всего мира.

Д. Самойлов

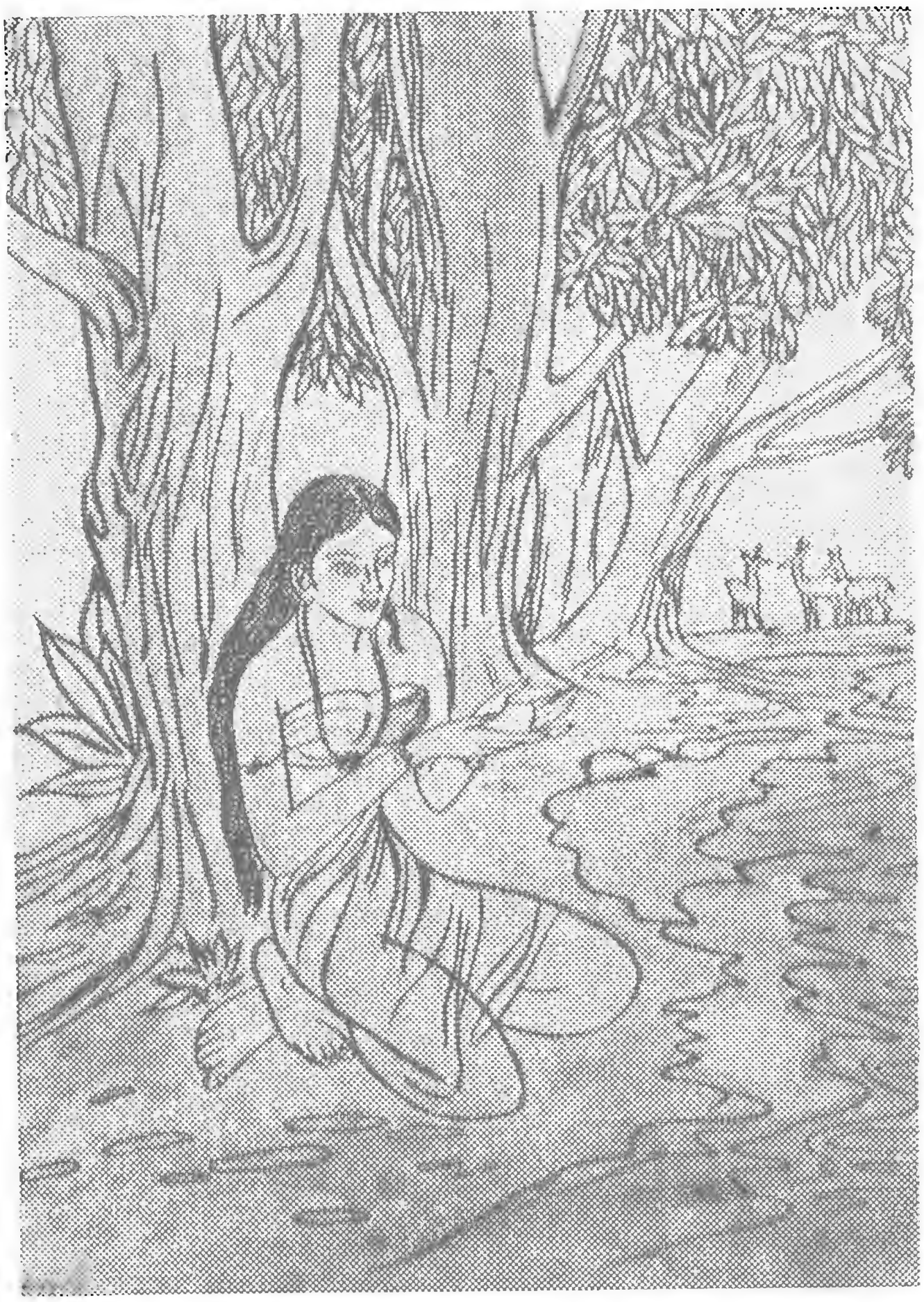
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
За рубежом

ВИТАЛИЙ ГОРЯЕВ

ХУДОЖНИК СОЛНЕЧНОГО ОСТРОВА

Разговор происходил в Коломбо. В большом зале была развернута выставка Объединения национального фронта искусств Цейлона. Среди выставленных работ я обратил внимание на серию акварелей и гуашей Джаянтха Премачандры. Художник экспонировал большое количество пейзажей, а вообще на выставке пейзажей почти не было. Поэтому, естественно, возник вопрос к художникам, почему они мало изображают родную природу. «Мы знаем, что наш остров очень красив,— ответил один из художников,— но слишком привыкли к его всегда одинаково зеленой гамме и не можем восторгаться обычным. Красиво, но обычно. У вас на севере есть весна с ярко выраженной идеей рождения, радости ожидания расцвета, потом цветущее лето, за ним вероятно, немного грустная осень, так нам представляется по русской поэзии и репродукциям картин, и, наконец, совсем уже для нас необычная русская снежная зима. Вы счастливые, за вашим окном пейзаж меняется почти как в кинематографе».

Мираж



Странно было это слушать мне, художнику, который считает природу Цейлона красивейшей на земном шаре. Но зерно истины в ответе моего друга несомненно было, и это объяснило мне многое в искусстве цейлонских художников. Я понял, почему так сдержанна их серебристо-серая палитра, где отсутствуют кричащие краски, почему превалируют легкие, как бы выцветшие тона в одежде: лилово-серый, зелено-серый, простая мелкая клетка. Все это гармонично сочетается с изумрудно-зеленой и салатной расцветкой природы и как бы смягчает ее, смягчает всегда бирюзовую глубь неба, яркость цветов и нестерпимый блеск океана. Видимо, поэтому несколько пейзажей Премачандры сделаны в гамме черного и коричневого, которого даже и нет в природе Цейлона.

СВОБОДА

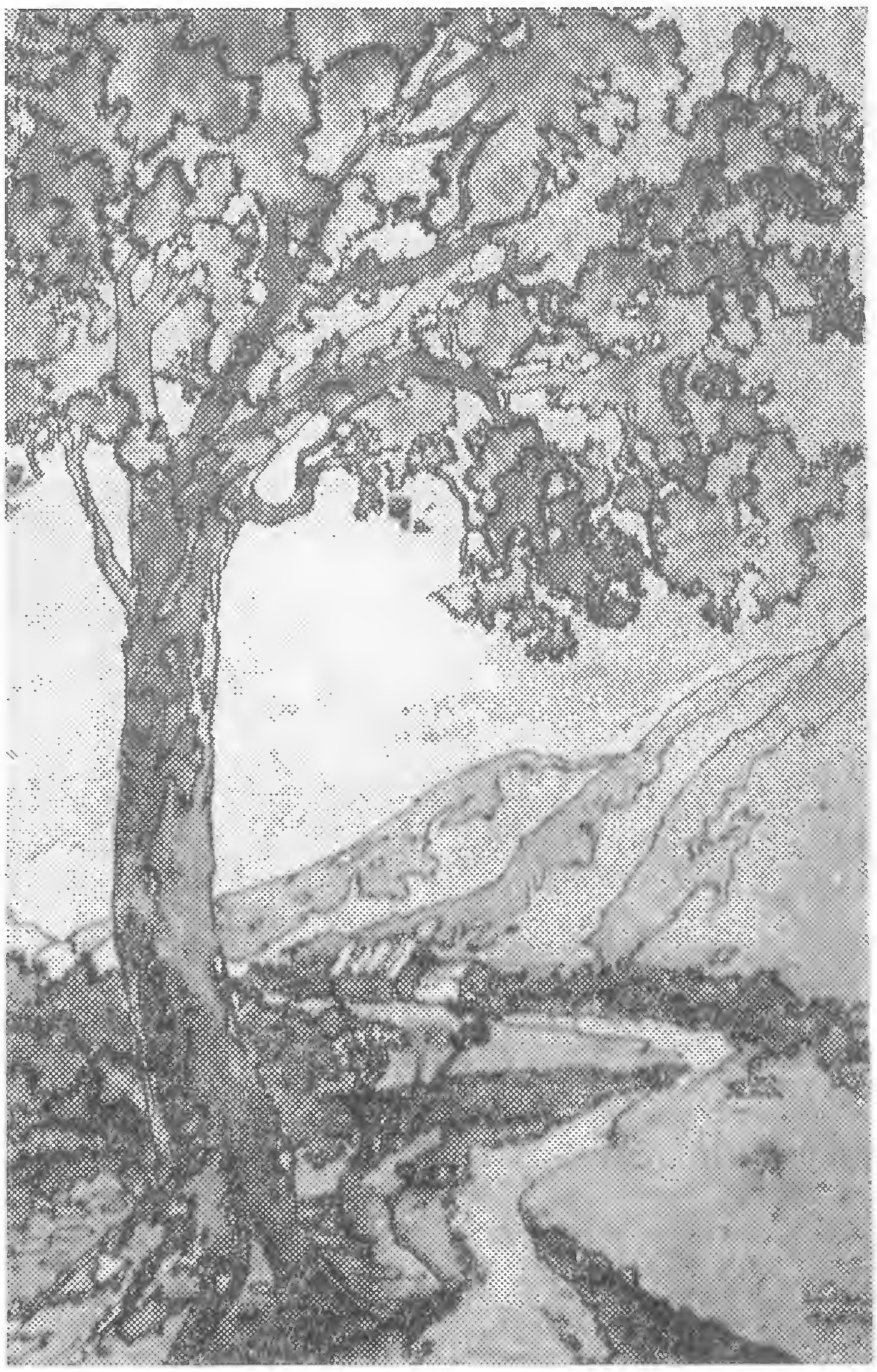
КАНДИЙСКИЙ ТАНЕЦ

На обороте

ТРУДНЫЙ ПУТЬ

КРЕСТЬЯНИН
И ЕГО ЖЕНА ЗА ОБЕДОМ

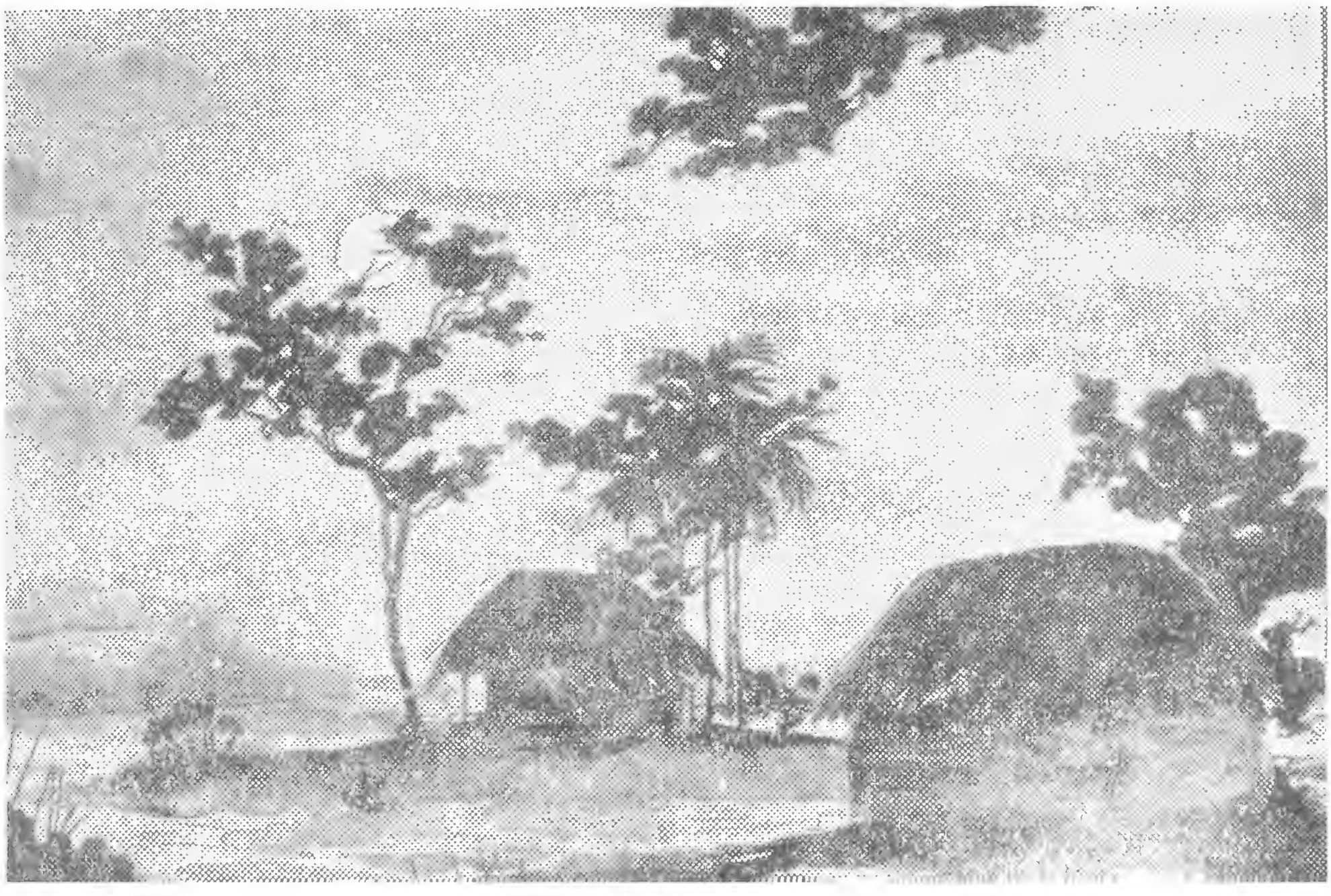
Цейлонский пейзаж



Работы Премачандры привлекают и цейлонцев и нас, европейцев, как новое явление в изобразительном искусстве современного Цейлона; художник как бы сам родился вместе с преобразованиями, которые свершились в государстве после свержения колониализма.

Наиболее характерное в новом течении, к которому он принадлежит,— прежде всего возврат к коренным национальным традициям одного из древнейших и прекраснейших искусств на земном шаре. Сейчас памятники этого искусства буквально вырубаются из вековых оков джунглей, обнаруживаются давно заброшенные города с прекрасной архитектурой, скульптурами, очаровательными барельефами. Все эти сокровища, получившие второе рождение, оказали большое влияние на творческое формирование художника Премачандры. А кроме того, для современного искусства Цейлона характерно воссоздание образа жизни народа в

Цейлонский пейзаж



Цейлонский пейзаж

наши дни. Рядовой труженик на рисовых полях, на кокосовых плантациях, в темном лесу каучуконосов привлекает художника. Тяжелый труд под экваториальным солнцем находит своих поэтов в красках. Премачандра — один из них. Поэтому молодой художник уже известен в своей стране.

В чем сам Премачандра видит смысл своего творчества? На открытии своей небольшой выставки в Москве он очень проникновенно сказал об этом: «Я счастлив показать свои работы в Советском Союзе. Мы, цейлонцы, миролюбивы и хотим жить дружно со всеми народами. Я очень люблю свою Родину, и, если мои рисунки помогут советским зрителям полюбить мою страну, мне больше ничего не нужно!»

Писатель Мартин Викрамасингхе

ФИЛЛИП БОНОСКИ

РАДИ ЧЕГО ИДЕТ БОРЬБА

В девятнадцать лет я навсегда ушел из дому.

Это случилось в 1935 году, в разгар экономического кризиса. Двумя годами раньше я окончил школу. Но денег для поступления в колледж не было; не было и работы. Два года я просидел дома без дела. Мой отец, рабочий-металлист, пришел в отчаяние. Я был молод, здоров и все же ни на что не пригоден. А ведь отцу надо было как-то кормить, одевать, посылать в школу и других своих детей. Для меня места в семье не было. Оставалось лишь одно решение—уйти из дому, одно направление — подальше от родных мест, один способ передвижения — товарный поезд. Когда он, грохоча, проносится мимо, надо рискнуть жизнью — и прыгнуть. Мой старший брат остался без ног как раз после такого прыжка.

В те годы десятки тысяч юношей и девушек моего возраста путешествовали на товарных поездах. Иногда целыми семьями. И я, уходя из дому, из детства в свое неизвестное будущее, воспользовался этим транспортом «зайцев».

Передо мной раскинулась моя родина — три тысячи миль от Атлантического океана до Тихого. Богатая страна. Страна народа, известного всему миру своим трудолюбием и одаренностью, страна, лежавшая в прострации. Повсюду ее огромные заводы, такие же как и сталелитейные предприятия там, где я родился, не работали. Пятнадцать миллионов человек остались без дела и вели полуголодную жизнь на пособие. Если и находилась работа для немногих, то она никогда не доставалась самым молодым. У них не было будущего Никакого будущего. Вот слова, которые я слышал так часто, что запомнил их как свое собственное имя: *ничего, нигде, никакой, нет.* Давящее безмолвие нависло над страной. Земля, люди, их одежда, их мысли — все было серо. Эти годы кажутся мне выкрашенными серой краской. Вероятно, и тогда лето сначала зеленело, потом желтело, а зима — белела. Но все эти цвета, казалось, были растворены в одном мрачном, лишенном жизни,— мертвенно-сером цвете. Слова *ничего, никакой, нет* — все были серого цвета.

Если у человека в 19 лет нет надежды, значит, у него нет ничего. И, глядя на страну, которая владела огромными богатствами, на ее сильный, умный и талантливый народ и на ее замечательные заводы, все, даже дети, не могли не спрашивать себя: почему?

В западных штатах фермеры выливали молоко на землю или отравляли его, а у нас не было молока. Кофе сжигали, а мы любили кофе. Кукурузу уничтожали, а у нас не было кукурузы. Картофель поливали ядовитыми растворами, а ведь картошка — пища бедняков.

Причина этого бессмысленного уничтожения продуктов в стране, где были люди, умиравшие с голода, состояла в том, что цены упали слишком низко. Те, кто распоряжался продуктами питания, не могли допустить, чтобы торговля не приносила им прибыли. Они предпочитали уничтожать продукты. А миллионы голодных так и оставались без пищи.

Мы ехали в товарном поезде в Сан-Франциско — через всю страну с востока на запад — и по пути встречали множество людей, которые двигались с запада на восток. «Куда вы идете?» — «Искать работу. А вы?» — «Мы тоже».

Они собирались искать работу в тех местах, откуда мы уехали, потому что ее там не было. А мы шли туда, откуда уехали они, и по той же причине. Встретились на

полпути, махнули друг другу рукой и затерялись в тумане безнадежности.

Мы приехали в Вашингтон — столицу нашей страны. Белые мраморные здания Вашингтона вызывают в памяти древнюю Грецию. На холме стоит огромный белый Капитолий, в котором заседают и разговаривают — и теперь, как в те годы,— сенаторы и конгрессмены. Они разговаривают и заседают, а на галерею для публики приходят простые граждане Америки, чтобы посмотреть на законодателей, которые разговаривают и заседают, заседают и разговаривают.

Я тоже пришел посмотреть на них В тот день — почти 30 лет назад — сенаторы обсуждали, стоит ли проводить закон, запрещающий суд Линча. Суд Линча — на самом деле расправа без всякого суда, когда жертву — обычно негра — вздергивают на суку перед озверевшей толпой, а потом сжигают труп, а иногда и еще живого человека. Таким образом негров ставят «на свое место», на место, где нет ни прав, ни привилегий, ни удовольствий. На этом месте, на котором негры «стоят» уже два столетия и которым они должны быть довольны, они получают за работу половину того, что получают белые, живут в плохих домах и дорого платят за жилье, не могут участвовать в выборах, не могут посылать своих детей в хорошие школы; их можно оскорбить, оплевать, избить по желанию или капризу любого белого, взрослого или даже ребенка. Это происходит на «далеком Юге» — в штатах, темным жгутом перепоясывающих южную часть страны, где негры долгие годы страдали, восставали и умирали.

Сенаторы, «избранные» от этих штатов,— джентльмены, цивилизованные варвары,— как раз в тот момент, когда я смотрел на них, объясняли своим глупым коллегам, которые дремали в креслах или потихоньку ускользали в курительную комнату, почему нет никакой необходимости в законе, запрещающем линчевание негров. На Юге убийство тоже считается преступлением, но убийство не негра, а только белого. Поэтому закон, если бы его приняли, отнял бы у белых южан право вешать и жечь негров.

Мне, молодому и неопытному, казалось странным то, что я слышал, сидя на галерее для публики. Это казалось странным и сенаторам-южанам, но совсем по другой причине. Они считали, что проведение закона против суда Линча ущемляет их демократические права. Они говорили, будто в рассказах о линчевании негров факты сильно преувеличены и искажены, что коммунисты умышленно распространяют ложные слухи, в то время как каждый, побывавший на Юге, может видеть, что негры живут счастливо и безмятежно, вдыхая ароматы жимолости и жасмина.

Сенаторы-южане устроили обструкцию: они говорили и говорили до тех пор, пока остальным не надоело слушать, и тем самым прекратили и без того слабые попытки провести этот законопроект. Законопроект против суда Линча был похоронен. Суды Линча продолжались.

Я ушел с галереи в сенате, удивляясь тому, что в моих школьных учебниках ничего не говорилось о таких вещах. Я отправился погулять по городу. Был жаркий день. Я шел пешком — не только потому, что мне хотелось пройтись: в кармане у меня лежало всего 10 центов.

Я уже не надеялся найти работу. Но если бы даже мне посчастливилось найти ее — все равно я еще не знал, что значит работать. Я знал только, что значит быть 19-летним американским парнем, который никогда не работал и не понимал, что это значит, потому что во всей стране для него не нашлось работы.

Гуляя вдоль красивых улиц столицы, я почувствовал жажду. На углу бил фонтанчик питьевой воды. Это был общественный фонтанчик. Здесь каждый смело мог пить. Если он, конечно, белый.

У фонтана я увидел старого седого негра. Заметив, что я тоже хочу пить, негр отступил и стал ждать, чтобы я напился первым. Потом он спросил:

— Я могу пить здесь, мистер?

— Что? — я решил, что ослышался. Ведь это был общественный фонтан, открытый для всех. Всякий мог здесь пить, не спрашивая разрешения,— даже птицы.

Он снова спросил:

— Цветным можно здесь пить?

Кровь бросилась мне в лицо. Я ощутил физическую боль — произошло нечто ужасное. Я сердито сказал ему:

— Иди пей! Почему ты спрашиваешь меня? Кто я такой?

Он поблагодарил и, осторожно оглядываясь, направился к фонтанчику. Я двинулся дальше, в висках у меня стучало. Лицо мое горело, но не от солнца. Неожиданно я засмеялся. Разве не забавно, подумал я, что, хотя у меня всего десять центов, нет работы и никакой надежды ее получить,— все-таки в нашей огромной стране есть кто-то, кто стоит еще ниже меня; у кого еще меньше надежды, еще меньше прав, кто слышал «нет» еще чаще, чем я. Моя белая кожа делает меня богаче его. Я могу пойти туда, куда его не пускают. Потом я узнал, что если бы даже доктор Дюбуа — великий ученый, человек безграничной мудрости — хотел напиться из этого фонтанчика, он должен был бы уступить место мне, мальчишке, невежественному и нищему, потому что я — белый.

Был ли я виноват в том, что почувствовал на минуту известное удовлетворение и в то же время еще неосознанный стыд? Была ли знаменательной эта встреча между безработным сыном металлиста и негром — рабочим или издольщиком? Или она осталась простой случайностью.

Увы, встреча эта была весьма знаменательной. Потому что даже в разгар экономического кризиса, обрекшего на нищету миллионы белых рабочих,— даже тогда наше прекрасно организованное общество, не способное обеспечить народ работой и пищей, сохранило за белыми одну привилегию, одно драгоценное право: как бы низко они ни стояли, они все же стояли выше других.

Они были белыми, а белый всегда прав. «Другие» были черными — если ты черный, уступи место! В голову каждого американца буквально с колыбели вбивали мысль, что он имеет право гордиться своей белой кожей, даже если у него и нет больше никаких прав. Это создало тот барьер, который и сегодня во многом разделяет белых и черных в нашей стране.

Когда вы видите, как в южных штатах белые дети плюют в лицо маленьким негритятам, которые пробиваются с учебниками в руках сквозь строй улюлюкающих мальчиков и девочек,— разве это не напоминает вам Германию 1935—1939 годов? Когда вы читаете о негре, поступившем в университет «только для белых» и идущем на лекции под вооруженной охраной и с пистолетом в кармане,— разве это не похоже на то, что случилось со мной в Вашингтоне тридцать лет назад, когда сначала я слушал в конгрессе цивилизованных варваров, рассуждавших об убийстве, а потом неожиданно встретил на улице одного из убитых, хотя тот двигался и разговаривал, как живой? Что-то произошло в моем сознании. Передо мной встал вопрос: должен ли я признать человеческие права этого негра и тем самым отказаться от преимущества, которое, как всякому белому, дает мне наше общество. Или я должен кичиться своим превосходством, поддавшись соблазну? Когда стоишь низко, гордость помогает подняться. Вступить ли таким образом в соглашение с нашим обществом, принять ли его условия, чтобы убивать, притеснять и эксплуатировать, отравляя свою душу ядом гниения? Это соглашение предлагают не опереточные злодеи с закрученными усиками, а джентльмены, люди, которые от твоего имени управляют страной.

Миллионы американских детей, едва ли знающих, что именно так в человеческой душе поселяется микроб гниения, побуждаются самим ходом жизни капиталистического общества занять антинегритянскую позицию. Два белых мальчика, застреливших 16-летнего негритянского юношу, с которым они не были даже знакомы и который вообще впервые встретился им в тот день,— не преступники. Это бойскауты, аккуратно посещавшие воскресную школу. Но они жили в Бирмингеме в штате Алабама, и их родители, и учителя, и правительство штата — словом, все, кто заслуживал доверия, говорили им, что жизнь негра ничего не стоит, и они убили негра. Ни бог, в которого они верили, ни организация бойскаутов, которая обучала их гражданским добродетелям, не удержали их руку. Они сидят на скамье подсудимых, чистенькие и гладко причесанные, и совершенно искренне недоумевают: неужели они сделали что-нибудь недозволенное?

Но 19-летний сын рабочего-металлиста отказался от взятки, которую общество предлагало ему. К несчастью для себя, общество не могло предложить ему — ни тогда, ни потом — ничего, кроме сомнительного удовольствия видеть, как человек, которому он по возрасту годился в сыновья или внуки, просит у него разрешения попить воды. Не это было ему нужно. Ему нужна была работа, образование, а больше всего ощущение своей принадлежности к разумному обществу, идущему по разумному пути.

Мне не дано было испытать такое ощущение. Я не испытываю его и сегодня.

Описанная встреча между рабочим, еще никогда не имевшим работы, и негром-издольщиком повторялась множество раз с множеством людей. Она повторяется и до сих пор. Но к чести миллионов демократически мыслящих американцев надо сказать, что, оказавшись перед выбором, они отвергают предложенную им роль рабовладельцев и бастуют вместе с неграми во имя свободы для всех.

Две великие проблемы стоят перед нашим обществом сейчас, как стояли и в те дни,— уничтожение безработицы и борьба за равные права для негритянского населения. Они тесно связаны между собой. Потому что суть негритянской проблемы — в проблеме работы. Перед белыми тоже постоянно стоит тот же вопрос — работа, уверенность в завтрашнем дне. В этом существо главного противоречия, раздирающего капиталистическое общество: производя колоссальное количество продукции руками своих рабочих, оно отказывает им в результатах этого труда. Рабочие — и белые и черные — обретут настоящую свободу лишь после того, как будет ликвидирован, устранен, разрешен этот основной конфликт капиталистической системы.

Более ста лет назад человек, сидевший в своей комнате в Лондоне и пытавшийся работать в то время, как дети ползали у его ног, поднял львиную голову с развевающейся бородой и, осмыслив то, что происходило тогда в Америке, написал глубокие и пророческие слова о том, что труд не может быть свободным для рабочих с белой кожей там, где для рабочих с черной кожей он заклеймен.

Сегодня эта истина не потеряла своего первостепенного значения. Сегодня, как и прежде, освобождение американских белых рабочих связано со свободой рабочих-негров — не только в самой Америке, но и во всем колониальном мире, который обескровлен всесильной Америкой, изо дня в день выкачивающей его богатства, как и 100 лет чазад. Свобода колониального мира, огромная часть которого находится во власти всесильной Америки, зависит как от борьбы угнетенных масс в колониях, так и от их борьбы в метрополии. Это прежде всего борьба классовая, какие бы формы она ни принимала. Именно рабочий класс метрополии должен поддержать движение порабощенных народов, чтобы их общая борьба за свободу была победоносной. Весь мир знает или узнает вскоре, что нигде на земле борьба не стала бы успешной, если бы рабочий класс России не разорвал свои цепи, не

установил власть трудящихся и — самое важное — не показал миру, что эта власть оправдала себя, что она действует, что она может защитить себя, что она идет вперед и может служить образцом для рабочего класса всех стран. Образцом, надеждой, руководством к действию.

Негры в Соединенных Штатах могут надеяться на успех своей освободительной борьбы еще и потому, что импульс, пришедший из России в 1917 году, никогда не ослабевал, никогда не затухал. Черные народы Африки получили свободу, по крайней мере в политическом отношении, потому, что существует мир социализма.

Есть, наконец, еще один фактор, благодаря которому негры Америки могут добиться успеха в своей борьбе: американские империалисты не решатся потерять влияние в странах Африки, что непременно произойдет, если африканцы увидят, как живут в самой Америке их черные братья, вывезенные когда-то с африканского континента. Когда на негритянских детей в США натравливают полицейских собак, тысячи людей в Гане содрогаются и говорят: «Мы этого не хотим в своей стране». Это повторяют в Гвинее, в Алжире, в каждом уголке Африки, Азии и — об этом нельзя забывать — Латинской Америки.

Все это предвидел и объяснил простой, прозорливый и безгранично преданный делу трудящихся человек — Ленин.

Двадцать миллионов чернокожих американцев, борющихся сегодня за свободу, могут не знать имени Ленина — его замалчивают в нашей стране. Но им известно имя доктора Дюбуа, который знал Ленина, изучал его труды и верил ему.

Когда 300 тысяч демонстрантов в молчании стояли, опустив головы, перед памятником великому сыну рабочего класса Аврааму Линкольну в Вашингтоне и слушали скорбные слова о смерти Дюбуа, они отдавали дань уважения не только Дюбуа, но и его великим учителям, и прежде всего Ленину и Марксу.

Борьба негров за право пить из одного источника с белым нищим мальчиком — долгая, горькая и кровавая борьба. Но если этот мальчик понял, что должен отказаться от фальшивой приманки расового превосходства,— это произошло потому, что он вырос в семье, где нужно было работать, чтобы есть; он знал, что никакая кожа не черна так, как души тех, кто в дни мира, как и в дни войны, жертвует во имя прибыли жизнями людей — белых и черных. Он увидел в цвете кожи негров цвет достоинства, борьбы, песен, смеха и великой новой надежды.

Это случилось не потому, что он был человеком особого душевного склада или особых умственных способностей. Нет. Это случилось потому, что его жизнь, его собственная борьба дали ему тот же урок, который впервые был преподан Америке сто лет назад человеком в тесной лондонской квартире: моя свобода, свобода молодого рабочего, невозможна до тех пор, пока не свободны дети негров.

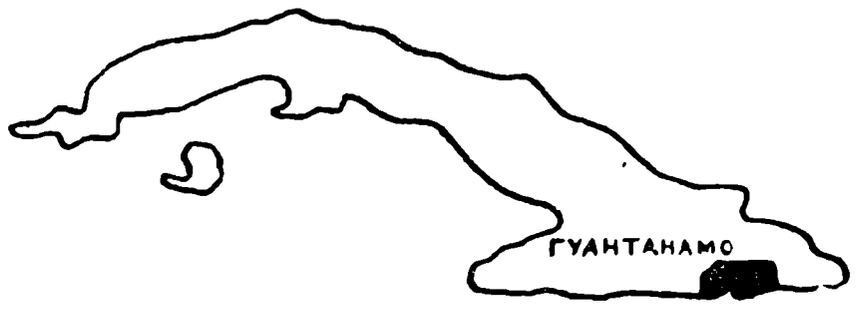
Вот ради чего идет борьба сегодня в Америке.

Вам, советские люди, это легко увидеть. Нам — труднее. Но и нам становится легче понять это с каждым новым днем.

г. Нью-Йорк

ЭРНЕСТО
ГОНСАЛЕС
БЕРМЕХО

ОЧЕРКИ



КОЛЮЧАЯ ПРОВОЛОКА МЕЖДУ ДВУМЯ МИРАМИ

Типичный «marine» — солдат морской пехоты США — стоит всего в нескольких метрах от нас. Из-под светлой каски с красными и желтыми полосами едва видны нос и равномерно двигающиеся губы: он тщательно пережевывает резинку.

У солдата в форме хаки отнюдь не щегольская выправка — он небрежно прислонился к стене караульного поста, над которым надпись: United States Base — Guantanamo Bay, Cuba,* — двенадцать тысяч гектаров, окруженных колючей проволокой на стальных столбах.

— Теперь он ведет себя смирно. Еще бы, у нас посетители,— заметил, обращаясь ко мне, Матос, боец Повстанческой армии, который уже полтора года несет здесь, на кубинской стороне, пограничную службу.

«Marine» просовывает руку в дверцу будки и что-то там делает, а что именно — я не могу разглядеть.

— Это он фотографирует нас,— снисходительно поясняет Матос.— Вон, видите, нет двух реек в жалюзи окна? Там — фотоаппаратура. Ваш снимок и мой пополнят коллекцию CIA и FBI **. Хотя,— добавляет он с усмешкой,— мое фото у них уже есть примерно в сотне различных вариантов.

— Они, очевидно, интересуются и другими данными?

— Еще бы, в последнее время, когда они ругают меня, то обращаются по имени и фамилии!..

Матос коренаст, у него решительные черты лица, загорелая кожа. Он чистой воды гуахиро, который до революции знал только работу на плантациях и нищету: надо было прокормить восьмерых детишек. Теперь его жизнь в корне изменилась — дети не только «едят каждый день», но и учатся, и сам он отлично понимает, зачем у него винтовка за плечом.

— В другом месте они не осмелились бы так оскорблять меня. Ну а зажигательные бутылки и подавно не стали бы бросать и стрелять из автомата тоже не рискнули бы. Потому что они уверены, что здесь мы не ответим на их провокации... ведь революция для нас — прежде всего.

И, помолчав, добавляет уже более спокойным тоном:

— По правде говоря, мы уже привыкли к их фокусам и смотрим на них, как на каких-то двуногих животных!

«Marine» выплевывает жевательную резинку, поправляет каску и влезает в будку.

Рай с бомбами

Около трех тысяч таких вот «marines» оккупируют южную половину бухты Гуантанамо. Защищенная высокими горными цепями, по которым то взбирается, то спускается ограда из колючей проволоки, эта укрепленная американская зона по прежним «соглашениям» должна была остаться лишь «угольной базой или морской пристанью».

---

* База Соединенных Штатов -- бухта Гуантанамо, Куба *(англ.)*.
** Разведывательные и контрразведывательные органы США.

Здесь, разделенные колючей проволокой, соприкасаются два мира. Справа — американский флаг над военной базой Гуантанамо на кубинской территории; слева — государственный флаг Кубинской Республики над островом свободы.

Но это настоящий город. На его строительство израсходовано более семидесяти миллионов долларов. На базе около десяти тысяч жителей, в том числе оккупационные воинские части, кубинские рабочие и охрана. Кроме подземных пороховых складов, двух аэродромов и оружия на сто миллионов долларов, база располагает шестью площадками для бейсбола, шестнадцатью теннисными кортами, двадцатью кегельными полями, девятью баскетбольными и восемью волейбольными площадками, девятью бассейнами и несколькими пляжами.

Два больших универмага — военно-морских сил и морской пехоты,— продовольственные склады, четыре магазина сувениров, фотоателье, парикмахерские, восемь кинотеатров под открытым небом, кафетерии и пункты проката лошадей, лодок и рыболовных принадлежностей дополняют, наряду с широкими проспектами, окаймленными пальмами, эту своеобразную военную базу, откуда янки собираются вести войну со всевозможным комфортом.

Но для кубинцев эта база означает совсем другое. Один из часовых Повстанческой армии говорит мне:

— Видите ли... для нас там — очаг заразы... но вы не беспокойтесь... мы избавимся и от него.

Молодой пограничник

До меня доносится громкий предупредительный окрик:

Кубинский часовой у границы базы Гуантанамо: «Если они сунутся, буду говорить не я, а вот этот автомат».

— Пригнитесь!.. С того поста стреляют!

Это Барреда, ведающий боеприпасами. Он говорит мне:

— Во время кризиса они приволокли опытных берлинских провокаторов и почти всегда ставят их тут.

Он указывает на американский караульный пост на вершине ближней горы. У них там «стратегическая позиция», оттуда легче стрелять.

Внизу — база: огромный аэропорт, жилые строения для летчиков. А в бухте стоят на якоре два авианосца — «Энтерпрайз» и «Констеллейшн».

Реактивный самолет, оставляя за собой огненный след, поднимается с аэродрома, пролетает над нашими головами и, описав широкую дугу, уходит в сторону моря.

— Они постоянно нарушают нашу границу,— говорит Барреда.— Каждый день по шесть-семь самолетов... никакой совести у них нет.

Мы находимся в нескольких десятках метров от колючей проволоки. Кубинский часовой — серьезный, с задумчивым видом мужчина — внимательно следит за каждым движением американцев, которые рассматривают нас в бинокли из-за мешков с песком.

— Ну, а как проходит время? — спрашиваю я его.

— Здесь-то... вот, в ожидании... сунутся ли.

— А если сунутся?

— Тогда не я буду говорить, а вот он...— часовой похлопывает рукой по автомату,— он будет говорить.

Барреда улыбается. Мы идем дальше.

— Это испытанные гуахирос,— показывает он на своих товарищей.

Все они очень молоды. Юноши от пятнадцати до двадцати с небольшим лет — вот кто охраняет границу с кубинской стороны. Помощнику командира Ларе двадцать один год, а начальнику караула Мантекону нет еще и двадцати.

Вечером все уголки обширного помещения клуба заняты молодыми бойцами, склонившимися над тетрадками: идет проверка грамотности.

Прервав ненадолго занятия, они собираются в кружок. Помощник командира Лара рассказывает о «пограничных трудностях».

— Они развязали здесь психологическую войну: хотят, чтобы мы попались на какую-нибудь их провокацию, чтобы на нас напасть. Но они просчитаются, если думают, что смогут вынудить нас переступить рубеж,— наши ребята хорошо подкованы политически и знают, что делать.

Собравшиеся кивают в знак согласия. Они знают, какая ответственная задача возложена на них — охрана границы в одном из наиболее напряженных районов мира. Здесь, как мне рассказали, что ни день — то новая провокация.

Кубинским бойцам непонятно отсутствие дисциплины по ту сторону колючей проволоки. Сами кубинцы очень строго относятся к выполнению воинского устава. Речь идет не о механическом подчинении какой-то рутине — они сознательно выполняют то, что способствует достижению общей цели.

Чувствуется коренное различие между пограничниками, которые стоят по одну и по другую сторону колючей проволоки: они стоят друг против друга и по-разному видят мир.

— Видишь ли, парень,— сказал мне один боец,— у этих людей ум Тарзана и американские побрякушки... а что касается дисциплины... так что вы от них хотите? Они там служат за деньги, а не ради революции, как мы.

Солдат гарнизона Гуантанамо — типичный представитель морской пехоты США, печально известной своими «подвигами» во многих странах мира.

Каждую минуту можно ожидать провокации: американцы держат под прицелом кубинских солдат, охраняющих территорию республики у Гуантанамо.

Кайманера: две истории одного поселка

— Теперь это поселок такой же высокой нравственности, как и любой другой в нашей республике, а раньше вы встретили бы здесь на каждом углу лишь проституток и пьяных.

Я беседовал с Бенигно Милья, старожилом Кайманеры — селения с пятитысячным населением, раскинувшегося неподалеку от морских ворот базы.

— Экономическая жизнь Кайманеры, — говорит Милья,— зависела от отпусков этих «marines».

Из-за отсутствия собственных источников производства вследствие низкого уровня развития всей страны — на это обрекли ее хозяева базы — Кайманера существовала лишь на то, «что оставят солдаты морской пехоты». Так что когда городские отпуска временно отменялись, главным образом из-за массовой вспышки венерических заболеваний, местные «столпы общества» — коммерсанты, члены масонской ложи, церковники — назначали комиссию, которая отправлялась в паломничество на базу, вымаливая возобновить отпуска.

В Кайманере была «зона терпимости», в которой насчитывалось более шестидесяти «веселых заведений» с восемьюстами проститутками. Длинный квартал без переулков протянулся чуть ли не на полкилометра, с барами и притонами по обеим сторонам. Этот квартал начинался от «Моста Опасностей» и оканчивался у остановки под названием «Стой, Джо!».

Вместе с Мильей мы направляемся в этот квартал — теперешнюю школьную зону. Большая часть помещений закрыта. Некоторые дома переделаны под жилье для одиноких. В других зданиях, переоборудованных соответствующим образом, размещены средние школы, механические мастерские.

Входим в один из бывших ночных клубов. На стене салона для танцев краской выведен лозунг: «Работать и учиться». Я окидываю взглядом библиотеку: «Дон-Кихот Ламанчский», «Основы социализма на Кубе», избранные произведения В. И. Ленина, сборник речей Фиделя Кастро... Поодаль — классные доски и ряды скамеек.

С первого января 1959 года ни один «marine» не ступал сюда ногой.

На соляных разработках Кайманеры насчитывается уже сто семьдесят рабочих. А на Народной ферме имени Фабио Роселль неподалеку от поселка — более тысячи служащих. Земли фермы принадлежали некоему Аурелио Ослэ, крупному латифундисту, который владел также и зоной, занятой базой. Управляющий фермой мне говорит:

— Мы не можем примириться с тем, что вражеская база находится на территории нашей фермы... Представляете, сколько людей могло бы там работать?

Кубинцы на базе

Один кубинец — бывший рабочий базы — сказал мне: «Мы, кубинцы, прекрасно знаем, с каким презрением относятся к нам американцы на базе, особенно, если мы негры... Рабочие пока что идут туда наниматься. Революция еще не успела создать нужное количество предприятий. Но когда Фидель позовет их, они все вернутся. Они вернутся, так же как во время вторжения на Плайя-Хирон девяносто шесть рабочих по своей воле покинули базу и вернулись на кубинскую территорию. Янки вторглись на Кубу, а мы сказали им: мы, кубинцы, понимаем, что означает «Родина или смерть».

А пока, если вы на базе отстаиваете революцию, вы — труп... можете не сомневаться, что на следующий день вы будете упомянуты в печати: о вас сообщат в хронике происшествий...»

Однако, не став трупом, тридцатичетырехлетний Мануэль Приэто появился в печати. На фотографии голову его поддерживает ортопедический аппарат: на базе Приэто подвергли жестоким пыткам, объявив, что он коммунист.

Вначале американцы пытались подкупить Приэто. «Они гарантировали мне,— рассказывает он,— выезд из страны, обещая, что я с семьей смогу спокойно и в достатке жить за границей». Взамен янки хотели, чтобы Мануэль Приэто выдал им тех кубинцев, работающих на базе, которые симпатизируют кубинской революции.

Убедившись, что подкупить Приэто им не удастся, они всю ночь пытали его. «У меня сломаны два позвонка,— говорит Мануэль Приэто,— а огромный кровоподтек на спине долго не проходил».

Случай с Приэто не единственный. И не из худших. Рубен Лопес Сабариего, рабочий-революционер, у которого жена принимает активное участие в работе «Федерации женщин», а дети помогают ликвидировать неграмотность, был убит на базе. После ливней, размывших почву, его тело всплыло в заливе.

Вся тяжелая работа — на кубинцах, и за это они получают жалованье, порой не превышающее третьей части заработка американца, выполняющего более или менее похожую работу.

Кубинцам запрещен доступ на пляжи и в места развлечения на базе.

Что же касается подкупа, то на это у американцев есть доллары. Подкуп, однако, не достигает желаемых результатов.

Занавес из колючей проволоки

Какой-то человек подходит к джипу. Вокруг него группа бойцов Повстанческой армии. Командир Барреда спрашивает:

— Что случилось, товарищи?

— Так вот, похоже на то, что этот приятель заблудился, переплыл бухту и расспрашивает, как называется та деревушка.

Мы всего в нескольких сотнях метров от колючей проволоки. Человек молчит, время от времени его губы растягиваются в какой-то бессмысленной улыбке.

— Как тебя зовут? — спрашивает Барреда.

— Рафаэль Родригес,— отвечает незнакомец.

Сидя за рулем, Барреда оборачивается и, глядя на меня, улыбается. Затем он обращается к незнакомцу:

— Чересчур слабое воображение у ваших, братец мой! Только и придумывают — Рафаэль Родригес, Хосе Фернандес или Хуан Гонсалес...

Барреда снова спрашивает:

— Откуда ты?

— Из Манижарагуа, Лас Вильяс.

— Что ты там делал?

— Работаю киркой и лопатой в...

— Покажи руки! — прерывает Барреда.

Человек показывает ладони. Кожа огрубелая, но без мозолей. Барреда смотрит на него искоса. Потом поворачивается к одному из бойцов Повстанческой армии:

— Покажи мне свои руки, товарищ.

Боец протягивает руки. Его ладони в мозолистых узлах, иссечены еще не совсем зажившими рубцами.

— Вот руки от кирки и лопаты,— говорит Барреда незнакомцу.

И, не повышая голоса, предлагает:

— Садись-ка сзади, ты, Рафаэль Родригес.

Вечером я узнал, что подозрения Барреды насчет так называемого Рафаэля Родригеса подтвердились. Он оказался агентом американской разведки, который перешел границу, очевидно, для того, чтобы доставить с кубинской территории на базу сведения военного порядка.

Почти каждый день случается подобное. Совсем недавно была захвачена целая банда, которой было поручено осуществление далеко идущих планов, в том числе саботаж, убийства и организация шпионажа в провинции Ориэнте.

Барреда говорит:

— Янки их держат здесь для того, чтобы использовать в провокационных вылазках против наших караульных постов... чтобы засылать их в нашу страну... чтобы включить их в свою армию, если они решат напасть на нас...

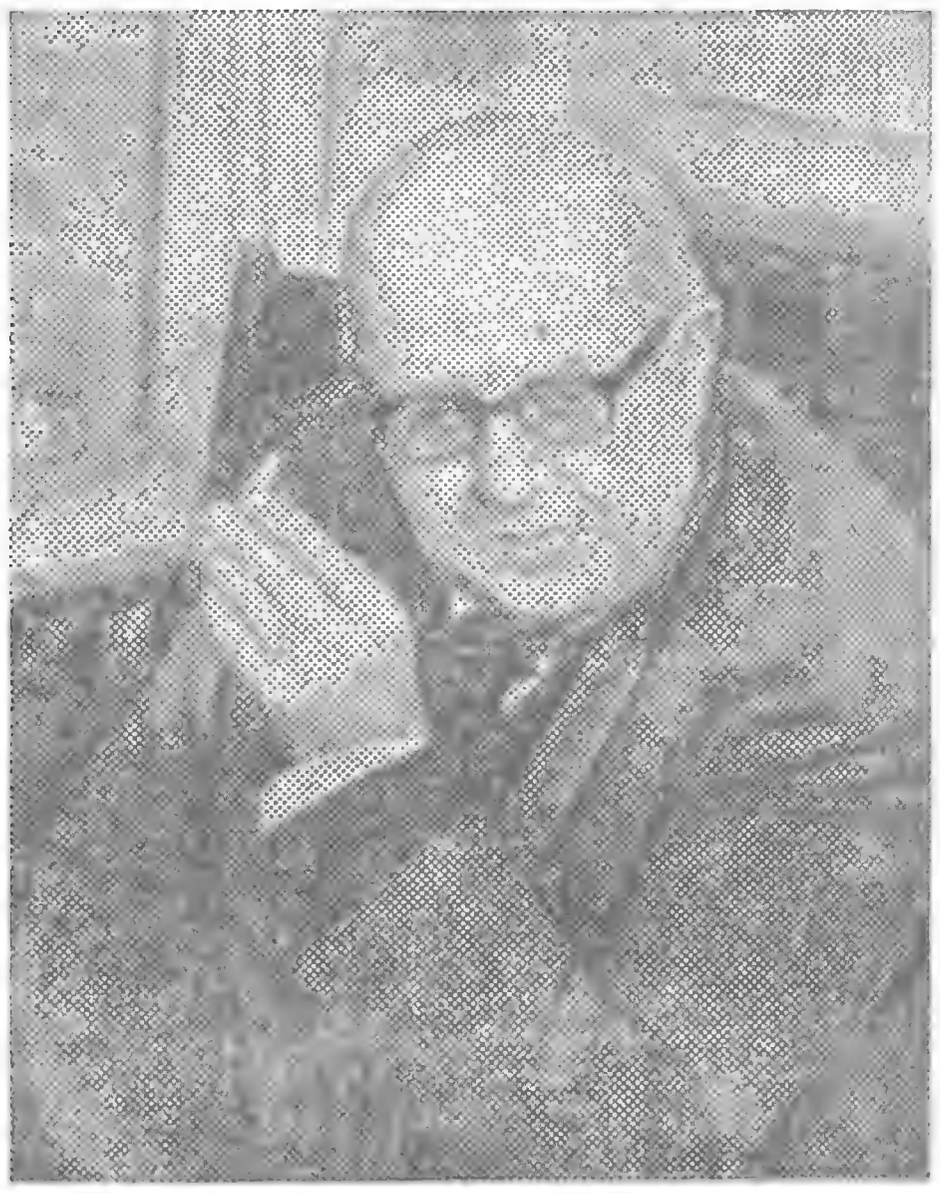
Пусть сунутся, пусть попробуют... но они напрасно надеются, что мы попадемся на их провокации...

Джип катится по дороге. Позади остается колючая проволока, а немного поодаль — воды бухты, горные цепи, пальмы. Кусочек кубинской земли за тюремной решеткой. За занавесом колючей проволоки.

Речь идет не о государственной границе. По обе стороны колючей проволоки простирается кубинская территория. Здесь скорее демаркационная линия между диаметрально противоположными понятиями. Это — граница, да, граница, но между двумя мирами.

НАШИ ГОСТИ

СНОВА В МОСКВЕ



Чарльз П. Сноу

Мы всегда рады побывать у вас в редакции,— говорит Чарльз П. Сноу, приехавший к нам со своей супругой Памелой Джонсон уже во второй раз и готовый, как всегда, к долгой обстоятельной беседе.— Ведь со страниц журнала я впервые обратился к русскому читателю.

Первое — заочное — знакомство состоялось еще в 1957 году, когда Чарльз Сноу предложил редакции свою статью об английской литературе и журнал опубликовал ее. С тех пор прошло шесть лет. За это время советский читатель узнал Чарльза Сноу и Памелу Джонсон как видных писателей — на русский язык переведены романы Ч. П. Сноу «Дело», «Пора надежд» и роман П. Джонсон «Кристина»,—познакомился с ними как с критиками и публицистами, которых волнуют самые разные вопросы литературной, научной, общественной жизни, и, наконец, увидел их воочию на экране телевизора. За эти годы английские писатели также узнали много нового о Советской России, и таким же широким, как круг их интересов, стал круг их дружеских связей. Современная русская проза и литературоведческие исследования классического прошлого, развитие науки в Советском Союзе и дискуссия о «физиках и лириках» в «Комсомольской правде» — все их интересует; Чарльз Сноу и Памела Джонсон ищут контактов с писателями и с критиками, с учеными-физиками и со студентами.

О своих творческих планах гости говорят скупо, Чарльз Сноу завершает работу над романом «Коридоры власти», герои которого — ученые и политические деятели, а главная проблема — ответственность перед людьми,— «но ведь вскоре вы сами сможете судить о книге». В скором времени должно выйти в свет также новое издание его курса лекций о соотношении гуманитарных и точных наук в современном мире, а также статья, где важным моментом исследования являются социальные взгляды Достоевского.

— Как критика, меня всегда привлекал Марсель Пруст,— говорит Памела Джонсон.— Издательство одного из американских университетов публикует сборник моих эссе о нем. Сейчас я задумала книгу о влиянии Бальзака на Пруста.

Разносторонней становится беседа в стенах нашей редакции, однако, при всем разнообразии тем, у беседы есть свой невидимый стержень — проблема современного романа, ставшая едва ли не самой острой в литературных спорах наших дней.

Еще при первой встрече два года назад Чарльз Сноу и Памела Джонсон рассказывали нам о той борьбе, которую они ведут «за то, что вы назвали бы направлением критического реализма в английской литературе». «Мы стараемся найти и поддержать в нашей литературе именно те явления, которые, исходя из этих критериев, считаем наиболее ценными».

— Мы ведем борьбу против того, что вы называете формализмом,— говорила тогда Памела Джонсон.— В английском искусстве и литературе к концу первой мировой войны была опасность ухода в бесплодное эстетство. В это время в Англии большое влияние на умы оказывало творчество таких писателей, как Вирджиния Вулф, Джеймс Джойс, Дороти Ричардсон. В их творчестве был момент экспериментирования в поисках новых форм. Что касается техники письма, то они внесли в нее свой вклад, за который писатели нашего направления им благодарны: Вулф научила нас лучше видеть, Джойс — лучше слышать. Мы признаем это и не хотим выплескивать из ванны ребенка вместе с водой. Но некоторые писатели, объявившие себя их последователями, уже ничем, кроме формы, не интересовались. Большая часть их книг напоминала прекрасную фигуру без головы. Между тем стиль произведения рождается из его содержания, а не наоборот.

«Роман либо является реалистическим,

Памела Джонсон

либо ничего не стоит» — этот афоризм Чарльза Сноу можно было бы поставить эпиграфом ко всему его художественному и критическому творчеству.

— Наши взгляды будут, очевидно, отличаться от взглядов тех английских писателей, которые присутствовали на симпозиуме в Ленинграде,— говорит Чарльз Сноу.— То течение в литературе, которое принято называть критическим реализмом, и по сегодняшний день — главное в английском романе. Конечно, существуют другие течения, которые нам лично не нравятся, хотя среди представителей этих течений есть талантливые люди и пишут они талантливые книги. Из писателей того направления, которое мы называем «символическим романом», самый талантливый — Уильям Голдинг.

Но, по мысли наших гостей, «символический роман» никогда не имел глубоких корней в Англии в отличие, например, от Франции; в Англии сильны классические традиции, и вряд ли символический роман получит здесь широкое развитие — «англичане для этого слишком трезвые и практичные люди». Французским «новым романом» интересуется лишь небольшая группа интеллигенции: «Мы шутим по этому поводу, говоря, что у нас есть книги, которые никто не читает, но о которых много пишут».

Чарльз Сноу и Памела Джонсон рассказывают о тех молодых писателях, кто, по их мнению, продолжает сейчас реалистическую традицию; они тепло говорят о хорошо известных нашему читателю романистах Алане Силлитоу и Джоне Брейне, драматургах Арнольде Уэскере и Шейле Делани, поэте Филиппе Ларкине, советуют глубже заинтересоваться творчеством Геды Чарльз.

— А кого из английских писателей можно было бы назвать властителем дум английской молодежи? — спрашиваем мы.

— Я считаю, что в Англии сейчас нет такого писателя. У нас бывает так, что вдруг какой-нибудь писатель становится очень модным, скажем на полгода, а потом его почти совсем забывают, а в моду входит кто-нибудь другой. И в этом непостоянстве литературной моды есть и своя положительная сторона: сейчас, когда так остро идет борьба за умы людей, лучше не иметь одного властителя дум, который мог бы повести молодежь и по ложному пути.

Речь заходит о книге Оруэлла «1984 год», утопическом романе, в зловеще искаженном виде представляющем социалистическое общество, — оказывает ли эта книга влияние на читателя сегодняшней Англии, есть ли у Оруэлла последователи?

— Хотя подобных книг в Англии, по-моему, больше не появлялось, до сих пор многие писатели, в том числе и некоторые молодые, считают этот роман чуть ли не верхом политической мудрости. В моем курсе лекций «Две культуры», кстати сказать, есть небольшое примечание, где я писал, что Оруэлл хочет лишить человечество будущего.

Небольшое примечание это, вспоминает Сноу, вызвало возмущение многих литераторов, тех, кто иронически называет Сноу «советским реалистом»; писателю вменяется в вину не только отказ от «всяческих экспериментов в области формы», но и многолетняя борьба публициста и ученого против пессимизма, настроений безысходности.

«По образованию ученый, по призванию писатель», как сказал сам Сноу, он уже около сорока лет разрабатывает проблему, которую он называет «пропастью между двумя культурами» (первую публичную лекцию об угрожающем разрыве между гуманитарной интеллигенцией и учеными — представителями точных наук Сноу прочел в Кембриджском университете в 1925 году). «Те, кто не понимает проблем науки, похожи на глухих — им недоступна музыка,— писал Сноу в 1956 году.— Ученые знают, что условия существования личности трагичны, несмотря на все победы и радости, что основа ее бытия — одиночество и в конце концов смерть. Но они не хотят делать из этого вывод, что и социальные условия тоже должны быть трагичными. То, что человек в конце концов умирает, не должно служить оправданием преждевременной смерти и рабской жизни».

— Как я говорил уже не раз, на мой взгляд, основы современной науки должны быть освоены писателями как материал для их произведений, как часть нашего умственного опыта. Без этого невозможно правильное отражение действительности XX века. Но в нашей стране образование настолько узко специализировано, что трудно представить себе, как это может произойти. Большинство наших писателей ничего не понимает в науке, и это не может не сказываться на интеллектуальном климате и в

свою очередь способствует тому, что многие из них пятятся к примитивизму, уходят в модернизм. Некоторые из наших писателей — если взять, скажем, два последних поколений — даже активно противостоят науке. Под пером Д. Лоуренса, например, наука приобретает облик некой черной магии. Молодые писатели, к сожалению, пожалуй, еще меньше интересуются научным прогрессом, чем многие писатели нашего поколения. Один из талантливых молодых критиков, Дж. Гросс, организовал как-то по телевидению выступление четырех известных ученых-физиков, которое заключил таким обращением к публике: «Когда вы слушаете этих людей, не чувствуете ли вы себя деревенскими увальнями, попавшими на званый обед?» Я слышал, что и у вас были свои дискуссии о «физиках и лириках», но, на мой взгляд, разрыв этот в Советском Союзе намного меньше, чем у нас.

Традиции английского классического романа близки, по-моему, русским традициям, это многое объясняет и в развитии наших современных литератур,— говорит Сноу о другом предмете своих исследований, об увлечении, которое также прошло через всю его жизнь,— о русской литературе. Когда, впервые приехав в Советский Союз, Чарльз Сноу и Памела Джонсон входили в здание Союза писателей — описанное в «Войне и мире» как дом Ростовых,— то вспоминали о том, как готовилась Наташа к своему первому балу; а из Москвы в Ленинград супруги решили ехать поездом — дорóгой Анны Карениной.

— Стоит вспомнить о том, что наш великий романист Диккенс, человек неуемных страстей, имел несомненное влияние на Достоевского,— вступает в разговор Памела Джонсон,— и мне кажется, что творческий темперамент Достоевского и Диккенса во многом сходны.

По вашему, Диккенс более гармоничен, более трезв? — продолжает Сноу.— Вам это , может быть, покажется странным, но в Англии его читают несколько иначе, чем у вас, и некоторые его произведения, на мой взгляд, не отличаются такой здоровой трезвостью, как вам кажется. По-моему, величайший из романистов на земле — это Лев Толстой. Он смотрел на мир глазами нормального человека, но в десять раз интенсивнее видел и чувствовал. Ви́дение Толстого никогда не было искаженным, смещенным, в то время как ви́дение Диккенса, также обладавшего сильным и глубоким зрением, было смещенным и поэтому в какой-то мере искаженным. Конечно, и ваших русских классиков у нас в Англии читают иначе, чем у вас; очень немногие англичане знакомы с социальным анализом творчества писателя. Я недавно написал статью, где говорю, что социальные взгляды Достоевского достойны презрения, но история, простит ему это, он останется в веках, как великий писатель. Согласны ли вы со мной?

Тема эта, несмотря на ее видимую академичность, у всех вызывает интерес; социальные взгляды Достоевского, как говорят участники беседы, заслуживают не презрения, но прежде всего исторического подхода, и если именно так подходить к его воззрениям, то нельзя не увидеть в них и справедливое, человечное, а главное, убеждаешься в том, насколько трагичны были искания писателя, насколько мучительны противоречия. У нас сейчас о Достоевском много пишут, в скором времени должна выйти в свет книга воспоминаний о Достоевском.

— Я почти уверен,— говорит Сноу,— что нам захочется издать эти воспоминания в Англии.

О современной русской литературе Чарльз Сноу и Памела Джонсон также говорят со знанием дела, какое не часто встретишь у иностранных писателей.

— Мы — стреляные воробьи,— отрекомендовался Сноу при первой встрече,— и любим узнавать разные точки зрения. Ведь это уже стало у вас традицией: как еще в старой России, так и сейчас русские люди относятся к чтению книг более серьезно, более драматически, если можно так сказать, чем в любой другой стране на Западе. Поэтому у вас бывает больше столкновений мнений, чем где бы то ни было.

А в 1961 году в Англии вышел составленный ими однотомник, включивший шесть рассказов советских писателей: «Судьба человека» М. Шолохова, «Печники» А. Твардовского, «Телеграмма» К. Паустовского, «Боб» С. Залыгина, «Свет из чужих окон» Н. Евдокимова, «Ухабы» В. Тендрякова. Во вступительной статье Чарльз Сноу писал: «Очень важно, чтобы английский читатель понял и художественный метод и ту интуицию художника, что лежат в основе русской беллетристики, начиная с творчества Гоголя и до произведений молодых писателей».

— На этот сборник было много рецензий,— рассказывают Ч. Сноу и П. Джонсон.— Поборники «холодной войны» пытались использовать и эту книгу в своих целях. Зато совершенно другим было мнение широких кругов литераторов и читателей, К тому же некоторые из авторов, напечатанных в сборнике, были до тех пор в Англии почти неизвестны, а после выхода этой книги ими стали интересоваться. За последнее время у нас стало больше переводиться советских произведений. С успехом прошел роман К. Симонова «Живые и мертвые», хорошо была принята книга Г. Бакланова «Пядь земли». Творчество А. Солженицына вызвало широкий отклик. В общем, интерес к советской литературе в Англии растет.

— Ну а мы,— прощаясь, обещают нам наши гости,— мы постараемся по мере сил, чтобы английский читатель еще лучше узнал вашу литературу.

Л. Т.

ИЗДАНО В СССР

Джеймс Олдридж. Последний изгнанник. Перевод с английского Н. Галь, Р. Облонской, Е. Голышевой. Редактор Е. Калашникова. Предисловие Б. Изакова. Послесловие П. Балашова. Москва, Издательство иностранной литературы, 1963. Т. I — 448 стр., т. II — 415 стр.

КАПИТАН СКОТТ ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ

Роман «Последний изгнанник» вводит нас в круг идей и проблем, знакомых по известным в Советском Союзе книгам Джеймса Олдриджа «Дипломат», «Герои пустынных горизонтов», «Не хочу, чтобы он умирал». Это — проблемы национально-освободительного движения на Востоке, неуклонно разваливающего некогда могущественное здание английской колониальной системы; это — связанные с ними — проблемы выбора пути теми англичанами, кого не сумели развратить экономические, а еще более, пожалуй, нравственные «сверхприбыли», выкачиваемые «матерью»-метрополией из теперешних и бывших колоний, кто оказался стоек к воздействию мещански традиционной британской великодержавности, ее привычек и предрассудков. Картины бурлящего Востока становятся у Олдриджа своеобразным биноклем, повернутым и на «невозмутимую» Англию.

Ясно увидеть размежевание сил «старой» и «новой» Англии, бескомпромиссно встать на позиции Англии демократической, проверить своих английских героев на таком сложном «плацдарме», как национальный вопрос сегодня («Политика угнетения национальностей есть политика *разделения* наций. Она вместе с тем есть политика систематического *развращения* народного сознания» — подчеркивал Ленин),— все это пришло к писателю не вдруг. Рост Олдриджа, марксистски мыслящего писателя и публициста, четко и — при всей конспективности изложения — разносторонне прослежен в первой вышедшей у нас монографии о писателе, принадлежащей перу вдумчивого исследователя и пропагандиста его творчества П. Балашова *. В этой работе убедительно показано, как все глубже постигал Олдридж социальный механизм действительности, как все осознаннее стремился он к тому, чтобы разобраться в ее реальной сложности, все полнее и объективнее воспроизводя эту сложность.

Писатель непрестанно вглядывается в новые области жизни, в новые повороты истории. Может быть, поэтому, кстати, Олд-

---

* П. Балашов. Джеймс Олдридж. Критико-биографический очерк. Москва, Гослитиздат, 1963, 246 стр.

ридж так часто представал перед читателем в «неожиданном виде»: политический роман («Дипломат») совершенно не похож на философско-моралистическую повесть «Охотник» или гротескную пьесу «49 штат»; в чем-то намеренно усложненный и, я бы сказал, просветительский роман «Герои пустынных горизонтов» — на прозрачные, непосредственные новеллы о «мальчике с лесного берега».

П. Балашов показал и внутреннее родство этих произведений, объединяющий их авторский пафос и своеобразие каждого. Правда, менее всего, пожалуй,— своеобразие «Последнего изгнанника». А это произведение, весьма оригинальное по замыслу и форме,— закономерный этап для английского писателя.

«Последний изгнанник» продолжает историю капитана Скотта, начатую романом «Не хочу, чтобы он умирал». Как мы помним, британское командование за честность и прямоту поломало капитану Скотту «биографию». После окончания войны Скотт остается в Египте. Он одинок, подавлен; его «обветренное, хмурое, точно каменное, лицо» внешне бесстрастно, но «глубоко посаженные глаза» будто «вглядываются в беспредельную пустоту своей жизни, не видя там и признака цели или смысла».

Скотт знает, чего он *не хочет*. Он не хочет подводить друзей, которых нашел среди египтян, влезать в «политику», которая, как научил его личный опыт, дело нечистое, не хочет быть солдатом; Скотт видит корыстные цели своих соотечественников в Египте, их узколобое высокомерие. А позитивной программы жизни у Скотта нет. И хотя он состоит на службе пограничных войск Египта, бывший капитан не решил, *с кем* он и *за что*.

Но никакая скорлупа «внутреннего аполитизма» не спасает человека от ударов жизни. Близился Суэцкий кризис. В предвиденье возможных, мало того, тайно готовящихся осложнений, Скотта хотят «купить» его соотечественники: грубой лестью действует генерал Черч, изощренной логикой — шпион Дьюкс, Люси Пикеринг зовет укрыться от всех жизненных бед в любви Самые опасные доводы (опасные для натуры Скотта) находит генерал Уилсон. Это, можно сказать, призыв к гуманности. Но раздается он уже среди развалин разбомбленного Порт-Саида, когда Скотт увидел всю бездну бесчеловечия английских агрессоров. Доводы не действуют. Но нам интересно к ним приглядеться.

Уилсон уговаривает Скотта, попавшего в руки к оккупантам, пойти к египетским снайперам и убедить их (еще бы, он—«тот самый» капитан Скотт, друг Насера...) прекратить безнадежное сопротивление, чтобы избежать ненужных жертв среди англичан. Уилсон нащупывает слабую струнку Скотта: «Ведь тут же не политика, дорогой, тут простая гуманность», «...я прошу вас спасти жизнь десяткам молодых солдат. Они-то уж ни в чем не виноваты, кто бы тут, по-вашему, ни был прав». В соответствии с этим коварным «гуманизмом» «гуманно» то, что нам выгодно, и Уилсон апеллирует к «английской совести» Скотта: «Я требую у вас помощи, просто как у англичанина».

Вот на этом-то «просто как у англичанина» и пытаются спекулировать в борьбе за душу Скотта и Черч, и Дьюкс, и Люси Пикеринг. Но Скотту вполне ясно (а вторжение 1956 года со всей своей бесчеловечностью наглядно убеждает Скотта снова), что за «просто английской» сущностью этих людей скрывается холодный лик великобританской великодержавности.

Англия — враг Египта, и самое естественное, самое распространенное мнение египтян: «пора уж им оставить нас в покое», «всем англичанам одна цена».

Но всем ли? И здесь Скотт выступает не только как противник официальной Англии, но и как живой укор узконационалистическому экстремизму некоторых своих египетских друзей. Есть люди, поступками и мыслями которых повелевают не акции компании Суэцкого канала и не британское подданство, а человеческая совесть, которая чем более человечна, тем больше *подлинно* национальна. Вот излюбленная мысль Олдриджа, высказанная в «Дипломате», углубленная в «Героях пустынных горизонтов» и ставшая еще острее, резче, политически злободневнее здесь, в «Последнем изгнаннике».

В книге П. Балашова об Олдридже справедливо сказано (речь идет о «Последнем изгнаннике»): «В романе прослежена эволюция человека, рвущего со старым общественным укладом и решительно идущего навстречу будущему». В редактуре здесь нуждается, пожалуй, лишь одно слово — «решительно».

Нет, капитану Скотту *прозрение, претворяемое в дело*, дается с большим трудом. Капитан Скотт позже открывает для себя истину о подлинной цене «лояльности британскому флагу», чем, скажем, высокоинтеллектуальный скептик-индивидуалист Гордон из «Героев пустынных горизонтов». Но Скотт верит в новый свой путь истовей и самоотверженней. И путь этот противоположен анархическому бунту одиночки Гордона. Это путь приобщения к народной борьбе, путь *разоблаченного аполитизма*.

Роман — это история личности, через которую «просвечивает» история общества. Сейчас ничто не формирует человеческую личность так властно и глубоко, как именно вопросы политики, то или иное, *народное или антинародное* их решение. Вне этих вопросов нет вопросов гуманизма; вне правильного отношения к политике нет правильной морали. Нет и подлинной личной дружбы, из которой Скотт пытался построить для себя некую башню из слоновой кости. Жестоким ударом является для Скотта признание его друга Сэма Хассуна, которого он с таким трудом вытащил из рук египетской полиции,— признание в том, что он, Сэм, вынужден был на самом деле

передать английской разведке сведения о египетском аэродроме. И вот теперь на этот аэродром падают напалмовые бомбы, убивая невинных людей, убивая детей, убив их общего друга, пилота Али Зарифа.

Гневный возглас Скотта — что они, эти политики, делают с людьми! — необходимо дополняется теперь мыслью: человек всегда ответствен за себя и за то, что делается вокруг него.

Кульминация романа — сцены в Порт-Саиде. Бежав от Уилсона, Скотт встречается с патрулем оккупантов. Молодые парни считают, что по отношению к «этим проклятым египтяшкам» они могут позволить себе любую наглость. Молнией проносится в мозгу Скотта:

«Что избавляет человека от ответственности? Мундир? Молодое, наивное лицо? Неужели весь мир должен прощать людям с наивными лицами и в мундирах то, что они творят? Разве солдат никогда не бывает виноват, а его глупый язык не отвечает за то, что говорит? Разве англичане не обязаны отвечать за свои действия друг перед другом?»

И Скотт, который так не хотел быть снова солдатом, бросается на врага:

«Я не проклятый египтяшка,— исступленно кричал он,— я проклятый англичанин, такой же, как и вы. Но вы мне противны... Это вы ни в чем не виноваты? Ну да, как же! — кричал он, колотя обломками автомата по камню.— Как же! Пойдите и скажите это вашему генералу. Скажите это египтянам, которые стреляют в вас с крыш. Крикните им: «Это я виноват...»

А вот размышления Скотта уже на последних страницах книги:

«...Достаточно ли человеку быть порядочным? Мне кажется... что все эти годы я жил, дорожа только одним: дружбой; только ей я и доверял. Но даже и дружба — это еще не все. А что делать, если ты не в силах помочь своим друзьям, а они тебе? Разве ты вытянешь всю тяжесть жизни на своей спине один? Нет, не вытянешь. Значит, есть какие-то другие ценности, какое-то другое единодушие, другое взаимопонимание, действенное, благородное, ответственное. Если же его нет — значит, ты живешь только сегодняшним днем, по воле капризных, неведомых тебе сил. А это, по-моему, животное существование».

Так приходит конец аполитизму капитана Скотта, так началось приобщение его к той политике, что отвечает интересам народа. И в этом приобщении Скотт, расставаясь с одиночеством и неприкаянностью, обретает себя, свое человеческое достоинство.

За личной судьбой капитана Скотта встает огромной важности процесс роста *самосознания «низовой» английской демократии*. Устами своего второго «я», Куотермейна, Олдридж объяснил этот процесс в своем романе. Изменение соотношения сил социализма и капитализма — вот источник этого роста. Сейчас *демократическое* борется в душах таких, как Скотт, с *мелкобуржуазным*. Демократия выступает — осознанно или неосознанно — союзником социализма; мелкобуржуазное сознание порождает на этом пути преграды-иллюзии: анархиствующее бунтарство гордонов, аполитичный гуманизм скоттов (до их прозрения), скептическое, бесплодное отрицательство «всего» у «счастливчиков Джимов» (из одноименного романа Кингсли Эмиса), парадоксальные повороты мысли, в том числе иногда и «опасные повороты» в сторону снобизма, у героев Моэма и Пристли. Во всех этих иллюзиях есть демократическая сторона, но она внутренне враждебна самой иллюзии. И не случайно, что раскрыть Скотту глаза на эту внутреннюю противоречивость «системы иллюзий» помогает коммунистически настроенный Куотермейн. И не случайно то, что отделить зерно протеста от плевел мелкобуржуазных иллюзий в произведениях «сердитых» молодых писателей оказалась способной именно марксистская критика Англии. В частности, сам Олдридж отлично сказал: «Не слишком ли мы требовательны и суровы, желая, чтобы наши молодые писатели руководствовались не инстинктами и сугубо личными взглядами, а занимали правильную и четкую **социальную позицию?** Мне кажется, было бы опасным думать, что мы требуем от них слишком многого... Такая ответственность потребует гораздо большего, чем инстинкт и чувство. Она потребует всей души писателя, а также такого кругозора, который выходит далеко за пределы горизонта одиночки»*.

«Горизонт одиночки», мелкобуржуазность преодолимы. Тем полнее и глубже, чем глубже и основательнее меняется мир, меняется время.

А оно меняется сейчас, как никогда, быстро и очевидно. Меняя содержание и смысл многих и многих, некогда бывших однозначными, понятий.

Ну, скажем, все та же проблема «английской совести», проблема «английской вины» перед угнетенным Востоком.

В конце прошлого века поэт Уилфрид Блант в лирической поэме осудил английскую интервенцию 1882 года в Египет. Поэт писал:

Мне есть о чем сказать, но как скажу я?
Мне есть что защитить, но кто поймет?
И трону ль тех печальными словами,
Кого не тронул плачущий народ?

Горькие слова. Ныне устаревшие слова. Ибо теперь у того, кому есть что сказать, есть иная, не связанная с «властительными лжецами» аудитория, и она ждет обращенного к ней боевого слова.

Время движется быстро. В годы второй мировой войны и среди английского «высокого света» были люди вроде полковника Пикеринга, «чудаки», способные «бросить

---

* См. статью Джеймса Олдриджа «Писатель и общественная мораль» («Иностранная литература» № 9, 1963, стр. 217).

вызов чисто английскому» консерватизму, «ужасу перед всем, что выходит за рамки привычного», люди, являющиеся «воплощенным отрицанием чего-то». Олдридж внимателен — он замечает и их. Но он реалист: эти люди бессильны против черчей и дьюксов. При этом он реалист, умеющий видеть движение времени: черчи не всесильны ныне. А все бóльшую и бóльшую силу самосознания набирают те, кто подобен Скотту — Люси Пикеринг называет его «скромным работягой», Куотермейн—«инженером, прокладывателем путей, лоцманом». «Такие вот пасынки, как вы, построили Британскую империю... для Черча и компании».*

Эти пасынки, которые когда-то в лучшем случае были «чудаками», «воплощенным отрицанием чего-то», теперь могут, если захотят, стать борцами, ниспровергателями своей злой «мачехи».

Вот почему, в частности, мне кажется, что вряд ли верно (как это сделано в предисловии и послесловии к русскому изданию романа) сводить смысл киплинговских стихов — эпиграфа, открывающего роман «Последний изгнанник», к злой авторской иронии по поводу «бремени белых». Вдумаемся в стихи Киплинга:

Несите бремя белых,
Пошлите сыновей
В изгнание — на службу
К рабам страны своей...
Несите бремя белых —
Далек покоя миг,
Усталость задушите,
И шепот свой, и крик;
Все, что свершить смогли вы,
И все, что не смогли,
Пристрастно взвесят люди,
К которым вы пришли.

В том, что эти строки стоят эпиграфом к книге, есть, я думаю, не только ирония. «Бремя белых», говорит Олдридж, вовсе не было бременем. Но для кого не было? Конечно, не для скоттов и аткинсов, этих «пасынков империи»! Имперские «сверхприбыли» развращали и их, конечно. Но ее явные социальные контрасты, несправедливости и преступления — все это пробуждало в лучших из них гражданскую, подлинно английскую совесть.

Олдридж не только иронически отрицает идею «бремени белых», он вкладывает в эти слова совсем другой смысл.

В отсталости Востока виновен империализм, более всего, пожалуй, британский империализм. Но и они, скотты и аткинсы, виноваты, дав ему возможность «развратить народное сознание» (вспомним ленинские слова), действовать от имени всей английской нации. И ныне они, скотты, аткинсы, куотермейны, способны спасти доброе национальное имя своей страны, помогая Востоку в борьбе против остатков английского господства,— и в этом подлинный интернационализм писателя и его положительных героев.

Эта гема — тема долга английской демократии, тема подлинно английской национальной политической традиции — чрезвычайно важная сторона романа «Последний изгнанник».

В журнале «Лондон мэгэзин» роман Олдриджа получил в целом положительную оценку, но назван был «трудно преодолимой книгой». Можно было бы пройти мимо этого замечания, противопоставив ему суждения других органов печати, но мне хочется «зацепиться» за это высказывание, чтобы поговорить о своеобразии «Последнего изгнанника».

Не сразу поймешь, почему, собственно, по мысли рецензента, «Последний изгнанник» «трудно преодолим» — то ли у книги просто слишком большой объем (с тем, что в книге есть некоторые длинноты, мы могли бы и согласиться), то ли в том, что книга «принадлежит к жанру, смешивающему фантазию и историю», из-за чего, мол, «остается сотня недоумений относительно того, что же здесь вымысел и что — факт». Я полагаю, что оснований для такого рода недоумений этот роман не дает, поскольку в авторском предисловии Олдридж прямо говорит: сюжетная канва — «плод моего вымысла».

Другое дело, что автор романа «Последний изгнанник» делает историю как бы *непосредственным предметом* своего изображения,— при этом его произведение не становится историческим романом в узком смысле этого понятия. Балашов верно замечает, что Олдридж «ясно видит грань, которая отделяет... историческую хронику от жанра романа, хотя он и опирается на конкретно-исторические факты и события и выводит на сцену реальные исторические личности».

Олдридж всегда историчен. Его герои всегда социально детерминированы. Но здесь сама задача, которую поставил перед собой писатель, была иной, чем, скажем, в «Дипломате», «Охотнике», «Героях пустынных горизонтов». Там — отдельный «кусок» действительности, связи с историческим целым упоминаются, предполагаются, но не изображаются. Здесь же дается как бы вертикальный разрез самого исторического потока, во всей сложности составляющих его «течений», «слоев», «струй».

Вот почему он так густо населен, этот роман; и в каждом из персонажей, буквально в каждом, автор стремится найти нечто свое, характерное — в общественном и в индивидуальном смысле.

Только Скотт выделяется широтой, чуть ли не символичностью авторского обобще-

---

* Разумеется, не случайно эта характеристика, данная в романе «Не хочу, чтобы он умирал», почти дословно перекликается с эпиграфом-посвящением автора к философской повести «Охотник»: «Рою — такому, каков он есть,— пролагателю новых троп, пионеру, человеку среди людей, который, как все ему подобные, в конце концов одерживает победу над человеческим отчаянием». Так что, конечно, не **профессию** инженера имеет в виду Куотермейн, а трудовую, демократическую сущность таких людей, как Скотт и Рой.

ния, давая понять, что он — главный герой этой книги, что к нему стягиваются все нити повествования.

А сколько проблем затронуто в этом романе: экономических, политических, нравственных. Пути и судьбы национальной антиколониалистской революции на Ближнем Востоке; внешнеполитические взаимоотношения арабских стран, Израиля и стран Запада; дипломатическая борьба вокруг строительства Ассуанской плотины; огромная помощь Советского Союза в разрешении Суэцкого кризиса и в обуздании притязаний «неоколониализма»; внутриполитическая дифференциация в Египте; сильные и слабые стороны политики Насера — каждая из этих проблем тщательно изучена автором, претворена в живые человеческие образы. Огромный труд, тяжелая задача! Для поверхностного чтения эта книга действительно не годится, действительно «трудно преодолима».

На Западе развитию этого типа романа— «движущейся панорамы», по удачному определению Луначарского,— мешают и модернистские эстетические школы, стремящиеся монополизировать так называемый «современный роман»; и вкусы мелкобуржуазного читателя, привыкшего к произведениям, о которых хочется сказать крылатой фразой Гамлета: «More mather, with less art» (побольше содержания, поменьше искусства); и, наконец, предрассудки многих писателей, боящихся исчезновения «искусства» в «излишней» его политизации.

Но тем более, мне кажется, существенно значение таких книг, как «Последний изгнанник», их опыт.

Главная, стержневая задача этой книги — новаторская, потому что заключается она не в том, чтобы показать просто поток жизни, поток истории, открыв в ее сложности «простые», ясные закономерности, а в том, чтобы эти закономерности, в свою очередь, воплотить в неисчерпаемое богатство и многообразие человеческих характеров и судеб.

«Последний изгнанник» — умная, честная, политически страстная книга. Эти качества обеспечат ей успех у советских читателей, которым дорого творчество нашего друга, Джеймса Олдриджа.

Завершая свою книгу об Олдридже, П. Балашов нашел, на мой взгляд, верные слова, определяющие основное значение творчества английского писателя:

«Его романы — закономерное явление нового этапа развития передовой английской литературы, которая формируется и растет, отражая широкие интересы народа, исторические перемены нашего времени».

ЮРИЙ СУРОВЦЕВ

ДВА СБОРНИКА КУБИНСКИХ РАССКАЗОВ

А. Эрнандес-Ката. Жемчужина. Перевод с испанского. Предисловие С. Мамонтова. Москва, Гослитиздат, 1962. 167 стр.

Онелио Кардосо. Коралловый конь. Перевод с испанского под редакцией Р. Линцер. Предисловие О. Савича. Москва, Гослитиздат, 1962. 158 стр.

Рассказ — излюбленный и, пожалуй, самый распространенный вид творчества кубинских писателей. Вышедшие на русском языке сборники «Жемчужина» А. Эрнандеса-Каты и «Коралловый конь» Онелио Кардосо знакомят советского читателя с этим жанром кубинской литературы.

Эрнандес-Ката вступил в литературу в начале XX века. Это были тяжкие для Кубы годы. Только что отгремевшая победоносная освободительная война против колониального ига Испании завершилась трагическим финалом —вторжением нового колонизатора, США.

Эрнандес-Ката более всего тяготел к изображению сложных порывов человеческой души, к психологическим зарисовкам. Почти все рассказы в сборнике «Жемчужина» построены на остродраматическом сюжете, движимом обычно не силой внешних обстоятельств, а внутренней пружиной человеческих чувств. В тех произведениях, где в личные человеческие драмы вплетаются общественные силы, особенно ощутимы горечь и тревожные чувства от сознания неустроенности того мира, в котором живут герои Эрнандеса-Каты.

Писатель беспощадно разоблачал людей, скрывавших под цивилизованной внешностью примитивные, зоологические инстинкты, вместе с тем он был глубоко чужд пессимистическому неверию в светлые порывы человека. Во многих его рассказах возникают образы людей, чья доброта, честность, бескорыстие служат примером для тех, кто потерял себя, кто нуждается в помощи.

Вся жизнь героя рассказа «Жемчужина», название которого дало заглавие сборнику, подчинена маниакальной страсти — стать

обладателем редчайшей драгоценности. Ради нее он совершает преступление. Но вот наступает неожиданный финал. Мучимый угрызениями совести, он сам хладнокровно уничтожает свое богатство—источник порока и терзаний. В рассказе об этом таинственном человеке (автор даже не дает ему имени) все необычно; и вместе с тем в его исповеди явственно звучит протест против нравов современного ему мира, в котором есть только два пути—либо «пожирать других, либо себя отдать на съедение».

Эта тема общественной несправедливости не раз проходит в рассказах Эрнандеса-Каты.

«— Вон тот парень украл в лавке банку консервов, его и сцапали».

— Правильно сделали!»

Эту реплику в рассказе «О ворах» произносит почтенный господин, сидя в нарядном лимузине. Вместе с другими своими коллегами он возвращается с тайного совещания банкиров, где был выработан план махинации, ведущей к разорению массы мелких акционеров: «Было ясно, что прольется немало слез, а иной неудачник, потеряв всякую надежду, предпочтет доверить свои невзгоды револьверному дулу, приложив его к виску».

Новелла Эрнандеса-Каты «Цвет кожи» — самое большое произведение в сборнике. События этой новеллы автор переносит на Таити, но не трудно догадаться, что действие могло происходить и на его родном острове. В сложном переплетении предстают здесь психологическая драма мулата, страдающего от расовых предрассудков, и драма страны, где «один тиран сменял другого, банда голодных воров сменяла банду воров пресыщенных».

Герой новеллы Эулохио Вальдес, сын негритянки и белого, человек образованный, думающий, остро ощущает на себе проклятие цветной кожи. Используя популярность Вальдеса среди негров, стоящие у власти интриганы втягивают Эулохио в политическую борьбу. Они хотят с его помощью подчинить себе партию негров. Не способный к сопротивлению, раздираемый внутренними противоречиями герой гибнет, став жертвой происков влиятельной иностранной компании.

Параллельное развитие драматических общественных событий и личной судьбы героя придают этой новелле особую остроту. И хотя мотивировка внутренней раздвоенности и обреченности Эулохио не может не вызвать возражения (автор считает, что смешение крови неизбежно влечет за собой психологический комплекс неполноценности), разоблачение растленной морали, беспринципности политических лидеров достигает в этой новелле большой эмоциональной силы.

Рассказ этот написан давно, но он и сейчас звучит современно. на скольких островах Карибского, да и других тропических морей все еще господствуют чужеземные монополии!

Автор второго сборника рассказов — Онелио Хорхе Кардосо — представитель новой эпохи в кубинской литературе. Он начал свой путь писателя в начале 30-х годов, когда весь остров сотрясался от мощного народного протеста против тирании и империализма. Выходец из народа, человек, для которого университетом была жизнь, Кардосо внес в литературу свое особое ви́дение кубинской действительности. Его рассказы пропитаны духом кубинской земли, тропическим зноем сахарных плантаций, запахом морского прибоя. Герои Кардосо — рыбаки, пеоны, крестьяне.

Быть может, потому, что мне довелось побывать в кубинской «глубинке», в маленьких глухих местечках, рассказы Кардосо как-то особенно взволновали меня. В памяти встает множество людей, загорелых, с кожей, загрубевшей от солнца, то застенчивых, то с бьющим через край темпераментом. Как много общего в их горьких судьбах (каждый рассказывал свою историю просто и мужественно) с судьбой героев Кардосо! Пожалуй, больше всего это чувствуешь, читая рассказы о сломленных женских жизнях: о тех, кто погибал от непосильного труда («Эстела»), кто становился жертвой ханжеской морали («Леонела») или о растленных нравах буржуа («Моя сестра Висия»). Какой контраст с сегодняшним днем освобожденных женщин Кубы!

Герои Кардосо — прежде всего яркие индивидуальности; жестокая жизнь не убивает в них человечности. Писателю особенно дороги люди, сохраняющие и в беде душевную стойкость, честь, совесть («Сердце кубинца», «У горной дороги»). Прекрасен старик в рассказе «Старое железо». На войне гибнет его единственный сын. Но человек превозмогает отцовское горе и находит в себе силы бороться против убийц всех чужих сыновей, за братство всех солдат на земле.

Какой бы беспросветной ни была жизнь, людям нужна мечта, нужны крылья воображения. И во время опасного и трудного лова рыбы («Коралловый конь»), и в грязном бараке, где живут измученные резчики тростника («Рассказчик»), рождаются фантастические истории, в которых люди ищут забвения от жестокой прозы жизни, черпают силы для сопротивления, для борьбы.

В сборник Онелио Кардосо пока не вошли рассказы писателя, созданные после революции, а меж тем книга его новых произведений уже вышла в свет на Кубе. Думаю, что знакомство с новыми героями Кардосо будет для нас встречей со старыми друзьями. Ведь строители новой Кубы, о которых Кардосо пишет в последних своих рассказах,— это те же самые мужественные и честные труженики Кубы, а с ними мы уже познакомились в его книге «Коралловый конь».

В. КУТЕЙЩИКОВА

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

КОГДА ЧЕЛОВЕК ОСОЗНАЕТ СВОЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Armand Lanoux. Quand la mer se retire. Paris, Julliard, 1963.

На фоне неба, объятого багровым апокалиптическим заревом, среди чудовищ, нетопырей, кошмарных уродов, пожирающих друг друга, порождающих существа еще более странные и страшные, под лязг копий, под вопли алчной толпы, принимающей экскременты за золото, мчится с мечом в руке Безумная Грета. Воительница, ополчившаяся на силы ада, она сама одержима бесом, охвачена нечеловеческой яростью, сама несет в себе безумье окружающего мира. Этот фантастический образ знаменитого нидерландского художника шестнадцатого века Брейгеля дал имя триптиху Армана Лану. В цикл «Безумная Грета» входят романы «Майор Ватрен»,* «Свидание в Брюгге» и «Когда море отступает», вышедший в свет в 1963 г. и удостоенный Гонкуровской премии. Сюжетно они не связаны. В них действуют разные люди. Объединяет их, по мысли автора, тема безумия жизни: сумасшествия как болезни («Свидание в Брюгге»), социальных уродств, предельным выражением которых является война.

В романе «Когда море отступает» Арман Лану вновь возвращается на поле сражений, но на этот раз не непосредственно, как в «Майоре Ватрене», а как бы глядя на войну из сегодняшнего дня, извлекая уроки для сегодняшнего дня.

Авель Леклерк, канадец французского происхождения, приезжает через шестнадцать лет в Нормандию, в те места, где он, участник высадки союзников, сражался юношей, где он потерял своего лучшего друга Жака Лефлера. Вместе с Авелем приезжает невеста Жака — Валерия, оставшаяся верной его памяти. Валерия хочет посетить могилу жениха. Чего хочет Авель, он поначалу и сам не понимает.

Авель работает на радио в Квебеке: он диктор, читающий рекламные объявления, «продавец ветра». Жизнь его безрадостна и как-то нелепа. Контраст между физической мощью Авеля и ничтожностью его деятельности поражает.

В маленьком курортном городке Арроманше 6 июня 1960 года, в шестнадцатую годовщину высадки, любезный гид водит посетителей по мемориальному музею: здесь и диорама сражения, и отличный манекен женщины-солдата в отутюженной форме цвета морской волны, и портрет в натуральную величину генерала Паттона — героя высадки. Здесь война выглядит «стерильно чистой, отпрепарированной». Авель, однако, постепенно вспоминает войну настоящую. Генерала Паттона, выбросившего лозунг «Литр бензина дороже литра крови». Кровавого генерала Паттона, который, как гневно думает Авель, вполне мог бы командовать фашистской армией: его презрение к жизни солдат, его воинствующая милитаристская демагогия не отличались по духу от принципов нациста Роммеля.

Сначала с Валерией, потом без нее Авель ездит по Нормандии в поисках тех мест, где он сражался. Он узнает, наконец, и песчаный пляжик, куда высадился с десантной баржи; и дот, из которого выскочил и тут же был объят пламенем канадского огнемета немецкий солдат, хотевший сдаться (канадцы слишком поздно поняли, что в руке у него белая тряпка); и Арменвиль, на подходах к которому погиб Жак.

Правда о смерти Жака — Авель шестнадцать лет не решался рассказать эту правду Валерии — совсем не похожа на эпизод из лубочно-героической, «стерильно чистой, отпрепарированной» войны. На понтонной дороге, проложенной среди болот, затопленных наводнением, немецкий снаряд попал в грузовик, которым управлял Жак. Офицер-сапер, отвечавший за переправу, требовал, чтобы колонна немедленно двинулась. Некогда было оттаскивать грузовик с раненым, зажатым в перевернувшейся машине и умолявшим, чтобы его прикончили. Авеля даже не подпустили к другу; когда он отказался выполнить приказ и сесть в свой грузовик, сержант оглушил его ударом приклада по голове. А искареженную машину с живым еще водителем бульдозер столкнул с дороги. И трясина поглотила Жака.

Нет у Жака могилы, на которой могла бы поплакать Валерия. Но на солдатском кладбище, геометрически правильном, безмолвном, пустынном, могилы тянутся длинными рядами. Надписи: «Пал за родину», «Не забудем, что он погиб ради того, чтобы другие жили в мире, не зная страха», и под каждым именем — возраст: 18 лет, 22 года, 25 лет, 20 лет, 19 лет, 21 год.... Авель идет мимо могилы Ж. Леклерка. 21 год. Авель думает, что этот Леклерк — может быть, Жорж? — вполне мог бы быть его старшим братом. Авель думает, что, будь Жак Лефлер похоронен, под его именем стояло бы: 20 лет. А будь тут он сам — 19 лет.

А между тем жизнь — и его собственная, и та, что он видит в Нормандии,— отнюдь не воплощение счастья. Отнюдь не осуществление радужных надежд. Значит, кровь была пролита напрасно? Значит, война была нелепым кровопролитием? Значит, мальчики погибли зря? И Авель осоз-

---

* Роман печатался в журнале «Иностранная литература» №№ 8—10, 1957 г.

нает, что на нормандский берег его привела именно потребность ответить на этот вопрос.

Известный французский буржуазный критик Пьер де Буадефр посвятил роману Лану весьма хвалебную рецензию. Однако заканчивает он ее упреком: «Даже если абсурдность войны стала прописной истиной для целого поколения, можно только пожалеть, что писатель, столь одаренный, счел необходимым внести и свой вклад в эту тему».

Здесь ни с чем нельзя согласиться. Ни с тем, что разоблачение абсурдности войны — тема исчерпанная и искусству не стоит к ней возвращаться, ни с тем, что идея романа «Когда море отступает» ограничена констатацией этого абсурда.

У полузатопленной десантной баржи играют дети. Их отцы были бы рабами, если бы фашизм не был разгромлен.

Коммунист Вотье, участник Сопротивления, искалеченный в гестапо, твердо говорит Авелю, что, если бы пришлось все начать сначала, он без колебаний пошел бы тем же путем, даже зная, что послевоенная Франция — де Голль у власти, оасовцы, война в Алжире — совсем не будет страной свободы. Несмотря ни на что, он не считает, что воевал напрасно.

На памятнике погибшим в Вервиле кто-то ночью рисует свастику. И Авель думает: «Значит, есть еще охотники сжигать евреев, цыган, заключенных, детей, которые укрылись в церкви... Эйхман... И сколько было бы эйхманов, которые, считая себя правыми, в бюрократическом рвенье уничтожали бы людей, если бы Гитлер одержал победу?.. Коричневая чума. Нацистская чума. Безумье войны... Нет, нельзя оставлять эту свастику!»

Так антивоенная тема перерастает в антифашистскую. Сначала — правда о войне, о ее крови, о ее грязи, о ее жертвах, об ее апологетах. Но это только первая ступень. Ограничься Арман Лану этим, «Когда море отступает» стал бы еще одним, пусть и незаурядным, пацифистским романом, каким была, к примеру, первая книга Робера Мерля «Уик-энд на Южном берегу». В романе «Когда море отступает» нашла выражение та же общественная эволюция, которая побудила Робера Мерля в «Острове» * подвести своего героя к необходимости с оружием в руках защищать справедливость: Арман Лану заставляет Авеля Леклерка понять горькую, однако неизбежную необходимость войны против фашизма — самого гнусного, самого античеловеческого проявления безумия.

Такова диалектика внутреннего развития героя) романа Лану. Она вытекает не из умозрительных выкладок, не из абстрактных рассуждений. Это органический результат столкновения Авеля Леклерка с живой действительностью. Даже любовь к француженке Беранжер возвращает его все к тому же кругу проблем, потому что жизнь Беранжер тоже изуродована войной.

Роман построен как чередование, переплетение музыкальных тем, средоточие которых — Авель. Это тема сегодняшней Нормандии в ее столкновении с темой войны, контраст зримого и вспоминаемого. Это противопоставление условного, внешне здорового, но обедненного предельным рационализмом мира Валерии и искалеченного, чувственного, жадного к жизни мира Беранжер. Это тема детства, которому необходимо сохранить здоровье — физическое и нравственное — и ради которого стоило бороться. Это, наконец, поэтическая, окрашенная в фольклорные тона тема «судьбы — лесной розы», воплощающая неистребимую потребность человека в любви и красоте. Эта тема пронизывает роман, как антитеза крови, грязи войны. Точно дикие розы, оплетающие стены старых дотов, эта тема прорастает сквозь мрачные толщи воспоминаний, сквозь горечь сегодняшних разочарований и победно торжествует в финале, утверждая силу жизни, органичность прекрасного и светлого начала в человеке. Арман Лану — поэт явно сотрудничал здесь с Лану — прозаиком.

В интервью, которое Арман Лану дал корреспонденту «Леттр франсез» Морису Марку, он сказал, что в цикле «Безумная Грета» выражено его отношение к жизни. Лану сказал также, что считает свой художественный метод «близким к пролетарскому реализму; очень близким к тому, что ищут сейчас молодые советские писатели». «Чтобы быть оптимистом,.. нужно действовать,— считает автор романа; и он подводит своего героя к тому же выводу.— В начале книги Авель свободен, но не понимает своей ответственности, в конце — он свободен и осознал свою ответственность». Авель Леклерк осознал свою ответственность, и в этом оптимизм — не розовый, лакировочный, а суровый и честный — романа Лану. «Когда море отступает» — книга, написанная человеком, который, подобно лейтенанту Субейраку, майору Ватрену и солдату Авелю Леклерку, сознает свою ответственность.

Л. ЗОНИНА

* Рецензия на роман Роберта Мерля «Остров» была опубликована в «Иностранной литературе» № 1, 1962 г.

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ СОБРОНА АЙДИТА

Sobron Aidit. Derap Revolusi. Bagian. Penerbitan Lembaga Kebadajaan Rakjat. 1963.

Индонезийская революция была в самом разгаре, на Яве и Суматре шли тяжелые бои частей Национальной армии с голландцами, жители городов и селений уходили в партизаны; патриоты гибли в неравных боях. И только на острове Белитунг (Биллитон), который известен всему миру запасами олова, пока все было

спокойно. Забот у коменданта голландского гарнизона было мало, и хотя его солдаты привычно бесчинствовали, никто из коренных жителей не поднимал голоса в свою защиту — еще не дошла до них правда о той борьбе, что развертывалась на больших островах, и привычен был страх перед голландскими солдатами — «тентара Бланда».

На окраине небольшого городка Танджунгпандан жил Абу — человек малообразованный, но не без смекалки. Был он мастером на все руки, но за всю жизнь никакого добра не накопил. Делал всякую работу, кому что понадобится,— лишь бы кормили. Колол дрова, подметал двор, ходил на базар за покупками, лазил на кокосовые пальмы за орехами, чистил колодцы. Казался всегда веселым и простоватым, однако сказать, что он глуп, было нельзя. В его хитроватом юморе много от Си Кабаяна, популярного в Индонезии героя сунданского народного эпоса. И жил бы Абу так же бездумно, как раньше, если бы не свела его судьба с борцами за национальную независимость.

Его историю рассказал молодой индонезийский писатель Соброн Айдит в повести, которая так и называется по имени героя — «Абу». Повесть напечатана в недавно вышедшем сборнике С. Айдита «Поступь революции».

С. Айдит (родился в 1934 г.) известен в Индонезии прежде всего как поэт. Он начал писать стихи, когда ему не было еще и двадцати лет, и почти сразу же стал видным представителем «поколения 1950 года», поколения, которое выросло в атмосфере революции и национально-освободительной борьбы, не училось в голландских школах и не испытывало на себе — в отличие от своих более старших товарищей — непосредственного влияния голландской культуры и литературы.

Айдит пришел в поэзию почти прямо с фронта. Позднее, вспоминая свое детство, он писал: «Весь день шел бой, и всю ночь шел бой. Джунгли тонули в дыму, в огне. Я был совсем мальчишкой, но всюду шагал со взрослыми наравне». Тогда же Соброн Айдит стал членом Общества народной культуры — ЛЕКРЫ.

Перу Соброна Айдита принадлежит большое количество стихов, но почти все они разбросаны по газетам и журналам, и только часть из них собрана в сборниках «Встреча в пути» (куда вошли также стихи А. Росиди и С. М. Ардана) и «Возвращение с боем» (1959). У него сравнительно мало чистой лирики — тема протеста, борьбы, революции привлекает писателя гораздо больше. Стихи С. Айдита очень разные; он искал и ищет, старается следовать народной песенной традиции (недаром сборник его стихов имеет подзаголовок «Народная поэзия»).

То, что С. Айдит перешел к прозе, не удивительно. Он и раньше писал рассказы, которые печатались в различных журналах, и особенно часто на страницах газеты «Хариан Ракьят». Но этим рассказам, очень важным по теме, порой не хватало художественной законченности. Удивительно другое — зрелость писателя в этой новой книге.

В книге «Поступь революции» две повести и пять рассказов. Почти все они посвящены событиям, происшедшим на родине Соброна Айдита — на острове Белитунг — во времена национально-освободительной борьбы.

Тема революции 1945 года привлекала индонезийских писателей разных направлений и взглядов. Естественно, что и подход к освещению событий был разный. Лучшие писатели отдавали все свои силы борьбе за освобождение. Другие, приветствовавшие на первых порах провозглашение независимости, стали видеть затем в революции лишь жестокость и бессмысленные страдания. Это были сторонники распространенных одно время в Индонезии идей «универсального гуманизма». Ощутимый отпечаток этих идей лежал на произведениях таких известных писателей, как Прамудья Ананта Тур, Нугрохо Нотосусанто, Трисноювоно, которые много писали, да и сейчас пишут о войне за освобождение. Были и такие писатели, которые вообще не приняли революцию,— их, правда, было немного.

Недавно писатели-лекровцы выпустили сборник коротких рассказов под названием «Пламя 26 года», посвященный одному из важных этапов национально-освободительной борьбы.

По характеру решения проблем, поставленных в его рассказах, С. Айдит продолжает линию, наметившуюся в сборнике «Пламя 26 года».

Особенно удались С. Айдиту повести. Первая из них — «Абу» — кончается трагически. Абу, не столько умом, сколько сердцем, принимает борьбу и ее цели и, примкнув к партизанам, участвует в неудачной попытке захватить голландскую крепость. Он гибнет в бою, но перед смертью успевает убить голландского коменданта, у которого работал последнее время и которого всегда боялся.

«Повесть о капитане» переносит нас в современную Джакарту Впрочем, между этими повестями существует глубокая внутренняя связь — ведь судьбы индонезийской революции, начавшейся в 1945 году, решаются и сейчас, когда особенно остро встают вопросы борьбы с коррупцией, взяточничеством, вопросы воспитания нового, патриотического поколения. Писатель создает несколько анекдотичный, почти гротескный и в то же время очень живой образ армейского капитана — человека эгоистичного, вздорного, падкого на все заграничное, удержу не знающего в своем фанфаронстве. Есть такие офицеры и сейчас в Индонезии. Любопытны и другие образы повести: сын капитана — Хасан, воспитывающийся в доме дяди — профсоюзного активиста; соседи капитана, лурах (староста) и другие. Хасан поступает учиться на русское отделение

Джакартского университета, а затем, несмотря на сопротивление отца, уезжает в Москву в Университет дружбы народов. Со временем капитан примиряется с тем, что сын изучает «язык коммунистов», и даже в душе гордится им. Капитан, выросший во времена голландского владычества, воспринимает революцию, войну с голландцами и впоследствии борьбу с мятежниками только как путь к обогащению и продвижению по службе. Хасан принадлежит к другому поколению индонезийцев не только по возрасту, но и по своим взглядам на жизнь.

Великолепны языковые характеристики героев «Повести о капитане» — иностранные словечки и обороты в устах капитана, сочный и выразительный джакартский диалект его соседей и т. д. И даже в самых серьезных положениях чувствуется улыбка писателя, его мягкий юмор.

В рассказах, объединенных общей темой революции, политическая тенденциозность обнаженнее. Рассказ «Праздник и забастовка» точнее было бы назвать очерком — там есть цифры, проценты, пункты требований забастовщиков и т. д.

Интереснее рассказы «Басима» и «Матсах», которые, по мнению индонезийской критики, принадлежат к лучшим произведениям сборника Басима — так звали нестарую еще вдову, жившую на окраине кампунга (деревни). Об ее доме ходила дурная слава, и жители кампунга с возмущением отворачивались, когда видели, как мужчины со всей округи по одному, по двое прошмыгивали в ее ворота Потом Басима погибла, и все узнали, что она выполняла задания партизан, а дом ее был явочной квартирой.

В рассказе «Матсах» Соброн Айдит еще раз открыто утверждает свое понимание гуманизма Он говорит о двух братьях, сражающихся на разных сторонах фронта. Брат Матсаха — верный слуга голландцев, и много горя принес он людям. Случается так, что однажды в плен к партизанам попадает группа голландских солдат и среди них брат Матсаха Сам Матсах командует этим партизанским отрядом, и судьба брата целиком зависит теперь от него. Много передумал Матсах за ту короткую ночь в горах, а наутро отдал приказ о расстреле брата.

Индонезийская критика подчеркивает, что образ несгибаемого партизанского руководителя Матсаха — одна из больших удач Соброна.

Высоко оценивая произведения С. Айдита, индонезийская критика отмечает, что его прозе свойственны пока еще натурализм, длинноты, повторения.

Действительно, вполне можно было бы обойтись без некоторых натуралистических подробностей в рассказе «Народ и революция» — о поимке и казни голландского шпиона-доносчика. Подобную же ситуацию описал когда-то Прамудья А. Тур в рассказе «Месть», опубликованном более десяти лет назад. Однако П. А. Тур, подробно описывая истязания, преследовал определенную цель — отдавая дань «универсальному гуманизму», он лишний раз стремился подчеркнуть бессмысленность и ужасы насилия вообще. В рассказе С. Айдита, стоящего на иной позиции — осуждающего самосуд, выступающего за революционный суд над предателями такого рода натуралистические детали представляются неоправданными.

Впрочем, длинноты, повторения в произведениях Айдита и других писателей-индонезийцев не всегда признак слабости автора — иногда это дань традиции.

В заключение хочется отметить, что выход в свет сборника «Поступь революции» — заметное явление в современной литературе Индонезии.

А. ПАВЛЕНКО

НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ

Английское издательство «Сентрал букс» выпустило в свет автобиографическую трилогию Максима Горького — «Детство», «В людях», «Мои университеты», а также роман «Трое».

Собрание сочинений Максима Горького в шести томах подготовило к печати издательство «Тиден» (Осло).

Отрывки из поэмы В. Маяковского «Владимир Ильич Ленин» в переводе Людмила Стоянова опубликованы болгарскими еженедельниками «Литературен фронт» и «Народна култура».

Сборник стихотворений Владимира Маяковского в переводе Боры Цосича выпущен белградским издательством «Нолит».

Дюссельдорфское издательство «Э. Дидерихс-ферлаг» (ФРГ) выпустило антологию детского рассказа, составленную как из произведений русских классиков — Л. Н. Толстого, И. С. Тургенева, М. Е. Салтыкова-Щедрина, А. П. Чехова, В. Г. Короленко, так и советских писателей — Александра Серафимовича, Лидии Сейфуллиной, Веры Инбер

Сборник произведений Алексея Толстого под названием «Сердце на весах» вышел в издательстве «Ферлаг дер национ» (ГДР). В сборник включено пять повестей, относящихся к различным этапам творчества писателя.

Рассказ Михаила Шолохова «Судьба человека» выпущен чехословацким издательством «Наше войско».

Отрывки из поэмы Александра Твардовского «Теркин на том свете» опубликованы в словацком еженедельнике «Культурни живот».

Произведения советских писателей выпустило лондонское издательство «Сентрал букс». Среди них — «Золотая роза» Константина Паустовского, которую рецензент журнала «Марксизм тудей» называет «увлекательной книгой о писателях и писательском мастерстве», а также роман Михаила Стельмаха «Кровь людская не водица» (в английском переводе книга называется «Пусть не проливается кровь человека»).

Роман Леонида Леонова «Барсуки» выпущен издательством «Лухтерханд» (ФРГ).

Сборник стихотворений Эдуардаса Межелайтиса под названием «Человек» выпустило чехословацкое издательство «Млада фронта».

Сборник «Избранные стихотворения и поэмы» Петруся Бровки вышел в болгарском издательстве «Народна култура».

«Дневные звезды» Ольги Берггольц выпущены берлинским издательством «Культур унд фортшритт» (ГДР).

Повесть Григория Бакланова «Пядь земли», по сообщению норвежского журнала «Горизонт», выпущена в Осло издательством «Каппелен».

В варшавском издательстве «ПИВ» вышла книга избранных стихов Николая Асеева под названием «Надежда».

Чехословацкое издательство «Свет Совету» выпустило книгу стихов разных лет Миколы Бажана под названием «Годы» в переводе В. Данека.

Повесть Владимира Максимова «Жив человек» вышла в издательстве «Культур унд фортшритт» (ГДР). «Повесть «Жив человек»,— пишет журнал «Бёрзенблатт фюр ден дейчен бухандель»,— покоряет читателя своим глубоким гуманизмом».

Повесть Евгения Воробьева «Капля крови» вышла в чехословацком издательстве «Наше войско» в переводе Яна Забраны.

Шведское издательство «Вальстрём о Видстранд», как сообщает журнал «Свенск букхандель», выпустило рассказы А. Солженицына «Матренин двор» и «Случай на станции Кречетовка».

Государственное издательство художественной литературы в Братиславе выпустило повесть Георгия Владимова «Большая руда». Игорь Руснак в еженедельнике «Культурни живот» пишет, что «Большая руда» Владимова «хороший пример творческих успехов молодых советских писателей-прозаиков».

Под названием «Пчелы и люди» итальянским издательством «Эдитори риунити» выпущен сборник рассказов Михаила Зощенко. Еженедельник «Ринашита», рекомендуя сборник читателям, пишет, что в нем собраны «лучшие рассказы большого советского юмориста».

Издательство «Эуропа» (Венгрия) выпустило роман Аркадия Васильева «Понедельник — день тяжелый».

Издательство «Культур унд фортшритт» (ГДР) выпустило книгу Даниила Данина «Неизбежность странного мира». «В этой научно-популярной книге, посвященной проблемам современной физики, Данин открывает читателю область знания еще мало известную многим людям»,— пишет рецензент газеты «Нейес Дейчланд».

Книга для юношества «Черемыш — брат героя» Льва Кассиля вышла в издательстве «Смена» в Братиславе (Чехословакия).

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

АВСТРАЛИЯ

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПРОГРЕССИВНЫХ ИЗДАНИЙ

Важное место в распространении произведений прогрессивных австралийских и зарубежных авторов принадлежит новым книжным магазинам в промышленных центрах страны. В организации этих магазинов непосредственное участие принимает Коммунистическая партия Австралии.

Недавно такой магазин, третий по счету, открылся в Уоллонгонге, индустриальном центре на юге Австралии. Он разместился на привокзальной площади, в здании, которое хорошо знают рабочие: раньше здесь находилось руководство профсоюза горняков Южного побережья, боевой штаб рабочего движения.

На торжественном открытии магазина присутствовал известный писатель Фрэнк Харди, который сказал: «Книжные магазины подобного рода сыграют огромную роль в рабочем движении. Продаваемые в них книги и газеты помогут читателям разобраться во лжи капиталистической прессы, они будут способствовать защите демократических австралийских традиций».

Как сообщает газета «Трибюн», в стране будет открыто еще несколько таких книжных магазинов.

АВСТРИЯ

НА СЦЕНЕ — ПЕРВАЯ ПЬЕСА БРЕХТА

Свою первую пьесу Бертольт Брехт написал сорок пять лет назад, назвав ее по имени сирийского бога Ваала. Это было мятежное произведение, главный герой которого выражал настроения автора тех лет, сурово осудившего презираемое им буржуазное общество. Если в стихотворениях времен первой мировой войны Брехт дал выход антимилитаристским настроениям, то в пьесе «Ваал», написанной вскоре после начала ноябрьской революции 1918 года в Германии, писатель откровенно и резко высказал отрицательное отношение к среде, в которой он вырос. С этой пьесы, подчеркивает газета «Фольксштимме», начался большой путь художника, приведший его на позиции социализма.

Малоизвестная ранняя пьеса Брехта ныне привлекла внимание венского театра «Ателье». Постановка ее заинтересовала венскую общественность и вызвала оживленную дискуссию в прессе.

Театральный обозреватель газеты «Фольксштимме» пишет, что, несмотря на несколько спорную трактовку исполнителем главной роли артистом Вейтом Релином задуманного Бертольтом Брехтом образа Ваала, спектакль весьма интересен и дает представление о раннем творчестве Брехта.

Актер венского театра «Ателье» Вейт Релин, исполняющий заглавную роль в пьесе Бертольта Брехта «Ваал».

(Газета «Фольксштимме»)

НЕДЕЛЯ КНИГИ

Как и в прошлые годы, недавно в Вене и других городах Австрии состоялась традиционная Неделя австрийской книги. По сообщению газеты «Фольксштимме», во время этой Недели

было открыто несколько книжных выставок. В одной только Вене на Неделе книги были представлены 83 австрийских издательства, выставивших до четырех тысяч книг. Обозреватель «Фольксштимме» с сожалением отмечает, что многие книги современных австрийских авторов изданы не в Австрии.

Среди издательств, представленных на выставках, обозреватель выделяет «Глобус», которое выпускает в дешевой серии произведения австрийских классиков.

Событием Недели была выставка детской и юношеской книги, проведенная под девизом «Мир и дружба народов». Особый интерес посетителей этой выставки вызвали мастерские переводы произведений для юношества писателей многих европейских и скандинавских стран, а также Бразилии, Индии и Пакистана.

«К сожалению,— пишет обозреватель «Фольксштимме»,— на выставке не были показаны детские и юношеские книги социалистических стран, хотя они продаются в венских книжных лавках и, по отзывам специалистов, очень содержательны и красиво изданы».

АНГЛИЯ

СИЛЛИТОУ ХОЧЕТ ПОКИНУТЬ АНГЛИЮ

Английский писатель Алан Силлитоу, автор романа «Ключ от двери» (опубликован в «Иностранной литературе», №№ 5—7, 1963) заявил корреспонденту парижского еженедельника «Леттр франсез», посетившему его в Лондоне, что он намерен покинуть Англию.

— Я чувствую себя здесь пленником, заключенным,— сказал Силлитоу.— В течение долгих лет я писал в одиночестве и потому не могу привыкнуть к известности.

Хочется писать так, чтобы всем было легко понять меня,— продолжал писатель.— Надо, чтобы люди с заводов увидели в литературе отражение и своей собственной жизни, чтобы это поднимало их дух.

ПОВЕСТЬ О ЛАНКАШИРСКИХ ТЕКСТИЛЬЩИКАХ

В Лондоне издана повесть Брайана Элмонда «Позолоти медную монетку», посвященная борьбе ланкаширских рабочих с владельцами текстильных фабрик в тридцатые годы — в разгар мирового экономического кризиса.

...Рабочие, как обычно, приходят утром на свой завод и останавливаются перед закрытыми воротами. Один из главных героев книги, Джэк Кеньен, член профсоюзного комитета, идет объясняться с хозяевами. Он приносит своим товарищам печальное известие — завод закрыт, хозяева собираются сворачивать и другие предприятия. «Боже мой! — восклицает одна из женщин.— Что же теперь со всеми нами будет?..»

Джэку Кеньену вначале тоже кажется, что положение безнадежно. Но сила солидарности рабочих, их твердость и умение противостоять голоду и полицейским репрессиям приводят их к желанной победе. В конце книги в борьбу включается уже молодое поколение рабочих, в том числе сын Кеньена — Маленький Джэк. Он говорит, что рабочим предстоит бороться не только за повышение заработной платы и улучшение условий труда, но и против угрозы фашизма, за создание рабочего правительства.

Рецензент газеты «Дейли уоркер» пишет, что одна из несомненных удач автора этой талантливой книги заключается в умении показать читателю, чем вызваны решающие перемены в сознании рабочих, как рабочие пришли к единству и осознанию своей силы.

БОЛГАРИЯ

ПЯТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС СЛАВИСТОВ

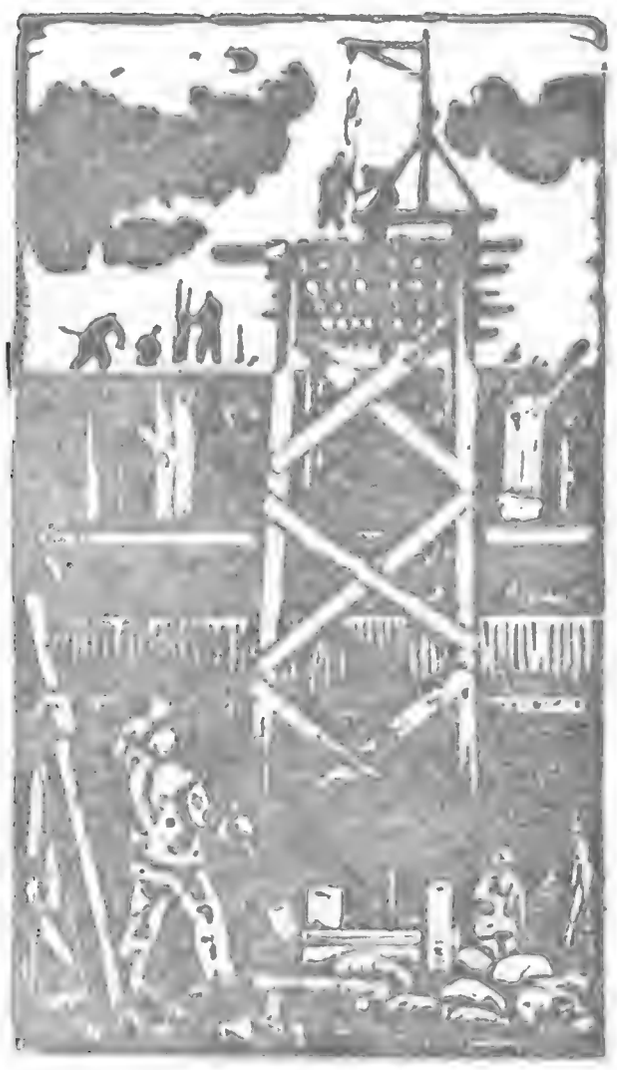
Международные конгрессы славистов уже имеют свою историю. Более тридцати лет назад слависты различных стран мира решили периодически встречаться для обсуждения разнообразных научных проблем. Первый международный конгресс славистов состоялся в 1929 году в Праге.

После окончания войны резко возрос интерес мировой общественности к проблемам славянской культуры и литературы, славянского языкознания, ко всей культурной истории славянства. Славистика стала объектом серьезного внимания в таких странах, как Румыния, Франция, США, Италия, Англия, Швеция, Канада, Голландия.

В 1958 году в Москве собрался Четвертый международный конгресс славистов, получивший широкий международный резонанс.

В настоящее время международные конгрессы специалистов по славистике организуются и проводятся Международным комитетом славистов, включающим представителей 28 стран.

Не так давно в Софии проходил Пятый международный конгресс славистов. Конгресс совпал с 1100-летней годовщиной создания славянской и болгарской письменности.



В Софии состоялась выставка работ дипломников Высшего института изобразительного искусства. На снимке: гравюра Милю Христова «Стройка».

(Журнал «Пламк»)

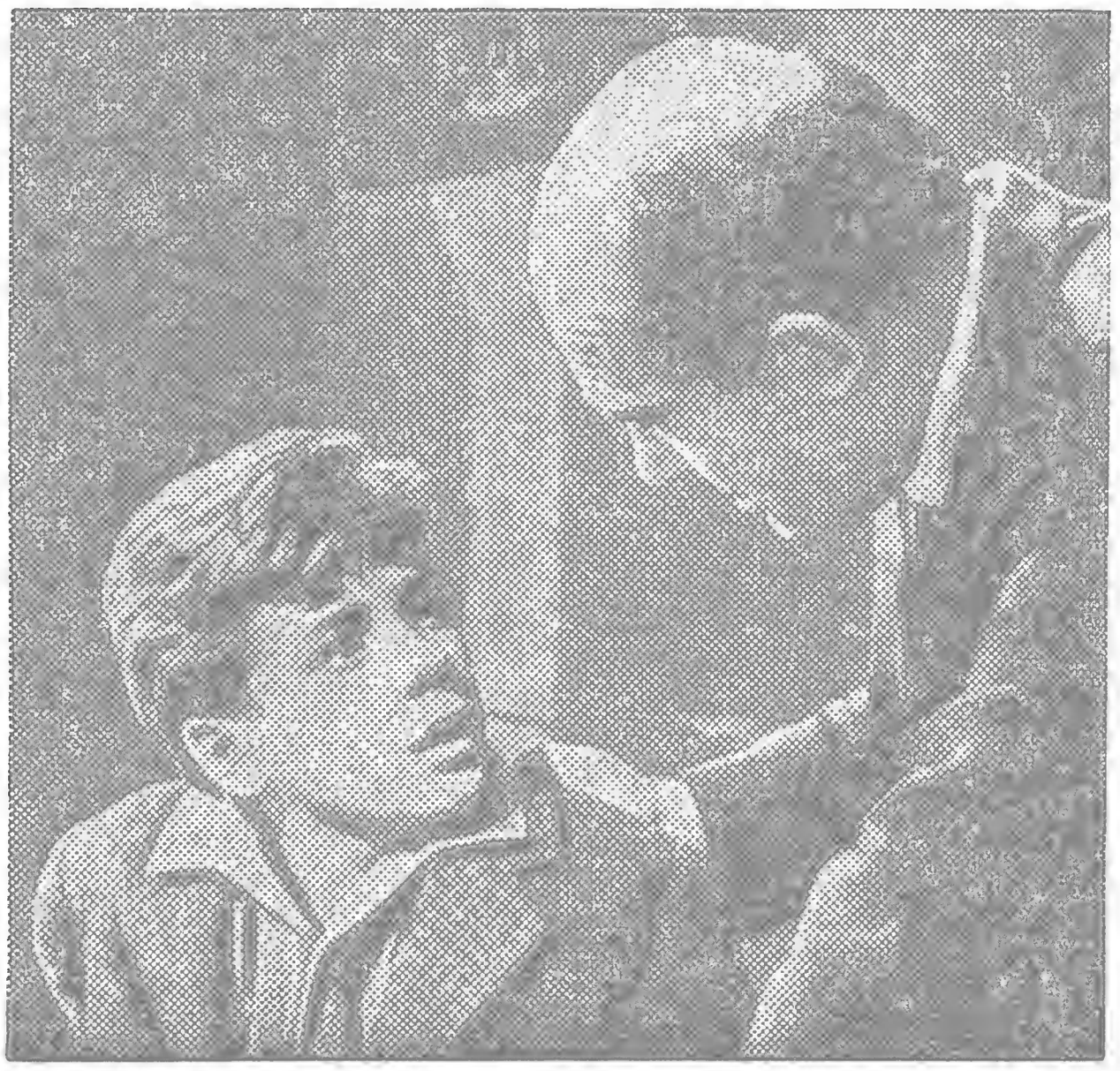
Для участия в работе конгресса в столице Болгарии собралось более тысячи ученых из многих стран мира. Из Советского Союза на конгресс прибыло свыше ста славистов, в том числе академик В. В. Виноградов, член-корреспондент Д. Д. Благой, член-корреспондент М. Б. Храпченко, академик Н. К. Гудзий и другие. В конгрессе принимали участие видные слависты из других стран: академики Хавранек и Долански из Чехословакии, академик Лер-Славинский и Дорошевский из Польши, профессоры Якобсон и Эджертон из США, профессор Вайян из Франции. Болгарские слависты также активно участвовали в научной работе конгресса. Среди докладчиков были академики Т. Павлов и Вл. Георгиев.

На конгрессе было сделано свыше пятисот докладов и сообщений, затрагивающих различные проблемы славистики. Литературоведы из стран социализма выступили с докладами, посвященными методу социалистического реализма.

В связи с работой конгресса в Болгарии были изданы десятки томов научных исследований и материалов по славистике. Вышел также сборник, посвященный великим славянским просветителям Кириллу и Мефодию.

В своем приветствии на приеме в честь Пятого конгресса славистов товарищ Тодор Живков сказал, что конгресс внес существенный вклад в науку и в борьбу народов за мирное сосуществование и культурное международное сотрудничество.

На конгрессе было принято решение созвать следующий, Шестой, конгресс славистов в 1968 году в Праге.



Кадр из фильма «Какие мы, молодые?».
(Журнал «Филм-синхаз-мюжика»)

ГДР

Фильм рассказывает о венгерских школьниках — новом поколении социалистической Венгрии. В школе у них вырабатывается принципиально новое отношение к жизни. Однако дома им иногда приходится сталкиваться с отсталыми взглядами своих родителей, еще живущих по старинке. Побеждает новое, побеждают дети, побеждает школа.

Сценарий фильма написан писателем Шандором Шамоди-Тот, режиссер — Дердь Ревес.

ГАНА

«ГАНАСАК»

В Гане создана местная секция Африканского общества культуры — сокращенно — «Ганасак». Задачи секции — сохранение и развитие национальной культуры Ганы, а также пропаганда ее как внутри страны, так и за рубежом. Руководство секцией поручено Нана Кобина Нкетия, возглавляющему Комитет по делам культуры при правительстве Ганы.

ВЕНГРИЯ

«КАКИЕ МЫ, МОЛОДЫЕ?»

Газета «Непсабадшаг» пишет об успехе нового венгерского фильма, выпущенного под таким названием.

АРХИВЫ ИОГАННЕСА Р. БЕХЕРА

Недавно еженедельник «Зоннтаг» опубликовал отрывок из повести Иоганнеса Р. Бехера «Банкир на поле битвы», найденной в бумагах писателя. Литературный обозреватель еженедельника Эберхард Хильшер пишет по поводу этой повести: «Она была опубликована в 1926 году и с тех пор ни разу не печаталась... Известно, что для широкого круга читателей творчество Бехера полностью еще «не открыто», как и эта повесть... Работники архива при домемузее Бехера в Берлине до сих пор обрабатывают двадцать пять тысяч страниц оригинальных рукописей поэта, рабочих заметок, писем, вырезок из газет и журналов и других принадлежавших ему материалов... Научные сотрудники архива готовят к изданию полное собрание сочинений Бехера в восемнадцати томах и уже сделали достоянием широ-

кой читательской общественности восемь ранее не опубликованных работ Бехера и несколько исследований о нем...»

ПРЕМИИ СВОБОДНЫХ НЕМЕЦКИХ ПРОФСОЮЗОВ

Газеты «Нейес Дейчланд» и «Берлинер цейтунг» сообщают о присуждении литературных премий Свободных немецких профсоюзов писателям ГДР. Среди лауреатов — Юрий Брезан, премия которому присуждена за повесть «История одной любви» (опубликована в журнале «Иностранная литература» № 9, 1963). Премиями награждены писатели Макс Вальтер Шульц за роман «Мы не пыль на ветру», Вернер Шмоль за книгу «В семнадцать лет ты еще не герой». Отмечены премией, кроме того, литературный рабочий кружок имени Эриха Вайнерта и некоторые другие творческие коллективы и писатели.

В ТВОРЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ ВИЛЛИ БРЕДЕЛЯ

Вилли Бредель поделился с читателями еженедельника «Зоннтаг» своими творческими планами и, в частности, сообщил, что новый роман, над которым он сейчас работает, покажет первые «семимильные шаги» развития демократической Германии с 1945 по 1952 год. «Мне давно хотелось создать памятник первым строителям нашего государства,— сказал писатель.— Их славные дела не должны быть преданы забвению».

По замыслу писателя, это будет трилогия, первый том которой, названный автором «Новая глава», вышел в свет четыре года назад. Рукопись второго тома полностью закончена, готовы и две трети последнего. Оба произведения тесно связаны друг с другом тематически и должны появиться одновременно в издании «Ауфбау-ферлаг».

Во втором томе трилогии отражены трудности, стоявшие перед партийными работниками, которые первыми взялись за преобразование своей родины. Как пишет литературный обозреватель еженедельника «Зоннтаг», в одной из глав этого тома автор рассказывает о том, как восприняла Германию 1946 года жена главного героя трилогии, партийного работника Петера Бойзена. Прибыв из эмиграции, она настороженно отнеслась к Германии того времени и немцам. Но когда она ближе узнала трудности и проблемы, вставшие перед немецким народом сразу же после окончания войны, ее настороженность постепенно исчезла. Еженедельник «Зоннтаг» опубликовал отрывок из второй части трилогии Бределя.

Последний том трилогии автор посвящает демократическим преобразованиям в деревне. Действие заключительных глав романа развертывается в Берлине.

И еще над одной книгой работает Вилли Бредель. К осени 1964 года, то есть к тридцатилетию выхода в свет романа «Испытание», он хочет закончить повествование о том, как создавался этот роман. Автор скромно называет это «отчетом», но, по мнению корреспондента «Зоннтаг», вместо отчета следует ожидать от Вилли Бределя своего рода романа о романе.

Новый фильм студии ДЕФА «Свадьба на Леннекене» поставлен режиссером Гейнером Каровом совместно с Гербертом Нахбаром по одноименному роману Нахбара (опубликован в «Иностранной литературе» № 11—12, 1961). На снимке: кадр из фильма «Свадьба на Леннекене».

(Журнал «Фильмшпигель»)

ФРГ

КИРСТ И МИЛИТАРИСТЫ

Мюнхенское издательство «Деш-ферлаг» анонсировало выход в свет новой книги Ганса Гельмута Кирста «08/15 сегодня». А пока этот «первый роман о бундесверовской казарме», как его характеризует пресса, печатается на страницах журнала «Квик».

«Не нужно обладать богатым воображением,— пишет рецензент еженедельника «Ди андере цейтунг»,— чтобы представить себе реакцию некоторых кругов на

появление книги Кирста: ведь автор, обнаружив в сегодняшней действительности опасные параллели с прошлым, предупреждает об этом своих сограждан».

Писатель еще раньше вызвал гнев милитаристов своим романом-трилогией «08/15», направленным против возрождения «нацистского боевого духа» и насаждения реваншистских настроений в армии. И хотя Кирст отнюдь не требует ликвидации армии вообще, министерство обороны ФРГ в своем информационном вестнике призвало бойкотировать роман «08/15», как «вредный» и «искажающий прошлое»...

Роман «08/15 сегодня» вызвал еще более яростные нападки блюстителей «боевых традиций». Так, орган одного из солдатских союзов, газета «Зольдат им фольк», с целью дискредитации писателя не постеснялась даже обвинить его в... плагиате. «Пока что,— замечает рецензент «Ди андере цейтунг»,— Кирсту удалось отбить все атаки».

По мнению рецензента, новая книга Кирста отражает критические взгляды автора на сегодняшнюю западногерманскую действительность, очень остро ставит актуальные вопросы.

ПОЕЗДКА ПИСАТЕЛЯ ЯКОБСА

Как сообщает демократическая печать, писатель из ГДР Карл-Гейнц Якобс недавно посетил ФРГ. В одном из литературных клубов Франкфурта-на-Майне Якобс прочитал отрывки из своего известного романа «Описание одного лета».

Аудитория клуба, состоявшая в большинстве из молодежи, с напряженным вниманием слушала писателя. Затем последовали многочисленные вопросы, касающиеся как стиля произведения, так и взаимоотношений героев романа. Оживленная дискуссия развернулась по затронутому одним из слушателей вопросу о личных отношениях героев — Тома и Грит.

ГРЕЦИЯ

КОНКУРС ИМЕНИ ЛАМБРАКИСА

В редакцию прогрессивного литературно-художественного журнала «Эпитеориси технис» пришло письмо из Америки. Это было одно из бесчисленных излияний гнева и возмущения злодейским убийством выдающегося борца за мир Григориса Ламбракиса. Греческий рабочий Костас Карапанос, эмигрировавший за океан в поисках работы, вложил в письмо чек на 10 000 драхм. «Деньги, которые я вам посылаю,— пишет Костас Карапанос,— составляют три четверти моих сбережений. Я прошу вас организовать на них поэтический конкурс памяти нашего великого брата Григориса Ламбракиса. Пусть книги, которые будут признаны лучшими, получат премию — премию мира имени Ламбракиса! Пусть мой вклад будет венком на могилу нашего замечательного героя, отдавшего свою жизнь за торжество мира. Пусть такого рода венок будет первым, но не последним. Я обращаюсь ко всем организациям, ко всем деятелям искусства и культуры. Ламбракиса забывать нельзя! Пусть каждый год, чего бы это ни стоило, будет отмечен новым венком Ламбракису — во имя мира! Каждый бедняк, как бы он ни голодал, отдаст для Ламбракиса последнюю крошку!»

Редакция журнала «Эпитеориси технис» опубликовала это письмо и тут же сообщила читателям, что принимает предложение Костаса Карапаноса. В следующем номере она оповестила об условиях конкурса. Результаты его будут объявлены в первую годовщину со дня гибели Ламбракиса — 27 мая 1964 года. Первую и вторую премию имени Ламбракиса получат два лучших поэтических сборника, вышедших в 1963 году. Кроме того, журнал объявил поэтический конкурс для молодежи. Тема его — идеалы, во имя которых погиб Григорис Ламбракис.

«ВИЛЛА ОРГИЙ»

Тема новой пьесы Герасимоса Ставру, опубликованной под таким названием, пожалуй, не нова. Сводничество и разврат в кругах высшей греческой аристократии послужили сюжетом для многих сатирических произведений. Однако на этот раз старая тема получила новое, резко обличительное звучание.

В основу пьесы «Вилла оргий» лег недавний скандал, который мог бы разрастись до размеров «дела Профьюмо», если бы кто-то не сумел ловко замять его и смешать карты в руках дотошных журналистов. Был раскрыт дом тайных свиданий, посещаемый самыми высокопоставленными особами греческого государства, но имена этих особ так и не были оглашены.

Ставру решил приподнять завесу над этой темной историей. Он вывел на сцену целый сонм греховодников-политиканов, промышленных тузов и аристократов и свершил над ними безжалостный суд. Действие пьесы разыгрывается вокруг блокнота с фамилиями и телефонами посетителей тайного дома. За обладание этим блокнотом борются посетители дома и журналист, обнаруживший приют разврата. Финал пьесы весьма эффектен: в тот

Сцена из спектакля «Вилла оргий» Герасимоса Ставру в постановке театра «Аналити».

(Газета «Авги»)

момент, когда миллионер Тавалос со вздохом облегчения уничтожает злополучный блокнот, выясняется, что найден еще один такой же блокнот, в котором фигурирует его фамилия, и теперь уж разоблачение неминуемо.

ДРВ

ДЕСЯТИЛЕТИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО КИНО

В Демократической Республике Вьетнам торжественно отмечено десятилетие национальной кинематографии. За истекшие годы деятели вьетнамского кино создали двенадцать художественных фильмов, свыше четырехсот киножурналов, более ста документальных, а также мультипликационных и кукольных фильмов. Реконструкция народного хозяйства, борьба за национальное воссоединение, за мир и дружбу между народами, героическое прошлое вьетнамского народа, его самоотверженная борьба против колонизаторов — вот темы, волнующие вьетнамских кинематографистов.

В республике сейчас имеются студии по производству художественных, документальных, мультипликационных и кукольных фильмов, специальная школа по подготовке кадров для национальной кинематографии. С помощью Германской Демократической Республики близ Ханоя строится новая большая студия по производству художественных фильмов, оборудованная по последнему слову кинематографической техники.

Фильмы ДРВ заслужили высокую оценку не только в своей стране, но и на международных фестивалях.

Индия

ПАМЯТНИК ТРУДОВОМУ НАРОДУ

Тысячи людей заполнили центральную площадь деловой части Бомбея. Здесь, в

Памятник рабочему и крестьянину, установленный в Бомбее.
(Еженедельник «Нью эйдж»)

самом сердце индустриального города, славящегося боевыми традициями своего рабочего класса, состоялось торжественное открытие монумента, воздвигнутого в память о тех, кто отдал жизнь за демократические права народа.

Скульптурная группа изображает рабочего и крестьянина. Крепко держат они горящий факел, устремляясь вперед. Памятник символизирует единство рабочего класса и крестьянства Индии в борьбе за национально-демократические преобразования.

«Это, пожалуй, единственный монумент в Индии, где два великих класса — основа основ нашей страны, трудовое большинство нашего народа, создатели всех богатств и истинные творцы жизни — изображены вместе»,— пишет в газете «Нью эйдж» председатель Коммунистической партии Индии Ш. А. Данге. Памятник стоит в самом центре района большого бизнеса и, по словам Данге, «напоминает всем о той победе, которую одержали трудящиеся, и о той борьбе за социалистическое будущее, которая тоже непременно закончится победой».

Ирландия

ДУБЛИНСКИЕ РАССКАЗЫ БРЕНДАНА БИЭНА

Ирландская и английская печать поместила похвальные отзывы на сборник рассказов известного ирландского писателя Брендана Биэна «Повремени немного и закажи еще одну» (имеется в виду кружка пива). Все сорок шесть рассказов, вошедшие в сборник, были написаны более десяти лет назад молодым, еще неизвестным и очень нуждавшимся Биэном для газеты «Айриш пресс». «Эти рассказы молодого Биэна — подлинная сокровищница дублинского народного говора, дублинского юмора и оптимизма,— пишет в связи с выходом книги рецензент «Айриш пресс». — Сколько остроумия в этих рассказах! Биэн умеет подметить жизнь так же тонко, как Джойс, и воспроизвести увиденное так же ярко, как Шон О' Кейси.

В книге 191 страница, и на каждой читатель улыбнется по меньшей мере один раз».

Книга талантливо иллюстрирована Беатрисой Биэн, женой писателя.

Италия

«ГРУППА 63»

Так называет себя группа молодых — и не слишком молодых — итальянских пи-

сателей-модернистов (Арбазино, Сангуинетти, Джулиани, Мараини, Анчески и еще несколько человек), устроивших недавно «встречу» в Палермо параллельно с происходившей там Четвертой международной Неделей новой музыки. Как подчеркивает прогрессивная печать, «встреча» эта носила ярко выраженный рекламно-издательский характер: организована она была крупным миланским книгоиздательством Фельтринелли и журналом «Верри». Участники «встречи» — писатели, поэты, драматурги и критики — в своих выступлениях полностью отрицали значение таких явлений, как неореализм, традиционный роман, творчество писателей-реалистов для развития современной итальянской литературы. «Группа 63» призывала «освободить литературу от социологии» и посвятить все внимание «анализу концепции авангардизма и проблем языка», в частности, связи между литературой, с одной стороны, и музыкой и живописью — с другой. Не избежал резких нападок и присутствовавший на «встрече» Альберто Моравиа, который, хотя и говорил о своем сочувствии и интересе к обсуждавшимся проблемам, осудил модернизм «Группы 63».

На «встрече» писателей-модернистов не все прошло гладко. В частности, возмущение и недоумение представителей печати и публики вызвало неожиданное решение участников «встречи» обсуждать проблемы «авангардизма» при закрытых дверях.

Пьеро Далламано, Эразмо Валенте и другие обозреватели прогрессивных изданий пишут о «встречах» итальянских модернистов — и писателей и музыкантов — с нескрываемой иронией, подчеркивая их связь с заправилами так называемой «культурной промышленности».

ДЖОВАННА БОРЕТСЯ

В издательстве Мондадори вышла повесть Джованны Дзангранди «Настоящие дни». Книга повествует о первых антифашистских организациях и партизанских отрядах итальянского Сопротивления, объединившихся затем в бригаду Кальви. Героиня повести — девушка Джованна, связная в бригаде. Она неутомимо работает в подполье: устанавливает связь между партизанскими отрядами, собирает данные о вооружении противника, о его дислокации. Сдержанным, суровым языком рассказывает автор о людях бригады, об их боевых буднях. Вместе с итальянцами сражается против фашистов русский парень Иван. Оказавшись в руках врагов, он восклицает перед расстрелом: «Да здравствует свободная Италия!»

Горечь и недоумение испытывают партизаны после прихода «освободителей» — американцев и англичан. Действительность во многом отличается от тех идеалов, за которые они сражались.

Положительно оценивая повесть Дзангранди, рецензент журнала «Вие нуове» выражает удивление по поводу того, что на литературных конкурсах эта книга была обойдена молчанием. «Настоящие дни» — прекрасная и сильная книга»,— пишет рецензент.

КАНАДА

О «РУССКОМ ЧУДЕ»

«Правдивой историей XX века» называет критик газеты «Кенэдиен трибюн» фильм «Русское чудо». «Не всегда современникам известны и понятны исторические события,— пишет корреспондент. — Многие миллионы людей в капиталистических странах ослеплены и оглушены антикоммунистической клеветой, а фильм «Русское чудо» раскрывает им глаза на то, как нищая и отсталая Россия совершила революцию в 1917 году, как в битвах и труде построила социалистическое общество, как триумфальным маршем идет к коммунизму, как из тьмы веков вырвалась к звездам... Фильм правдиво показывает наш век, век величайших преобразований в истории человечества, пионером которого является советский народ, своей кровью и потом, энтузиазмом и мужеством создавший Русское Чудо».

«СПРОСИТЕ ИМЯ ЛЬВА»

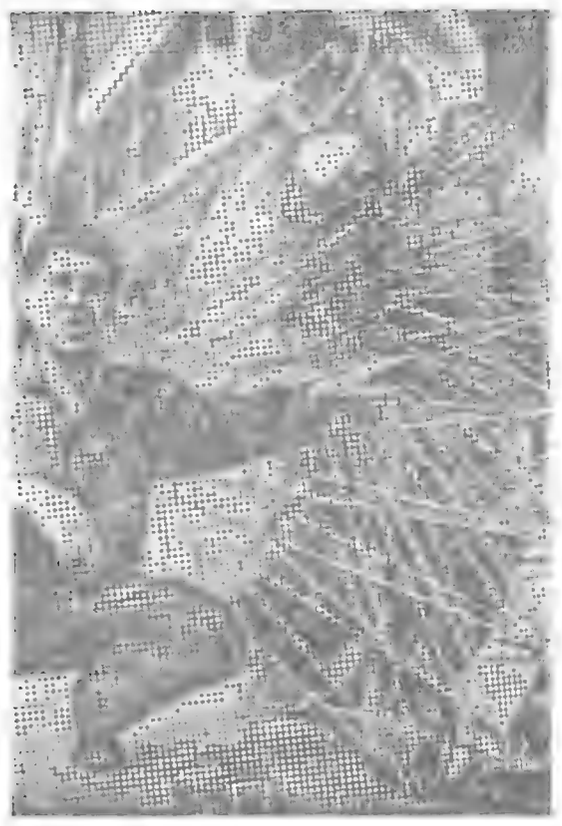
Трагедия, в которую колонизаторы и их ставленники вовлекли народ Конго, привлекает внимание писателей многих стран мира. В числе первых попыток творчески осмыслить события в этой многострадальной стране можно назвать роман канадского литератора Ральфа Аллена «Спросите имя льва».

Действие книги развивается в бывшем Бельгийском Конго. Судьба героев показана на фоне трагических событий, связанных с борьбой империалистических монополий за решающую роль в экономике Конго.

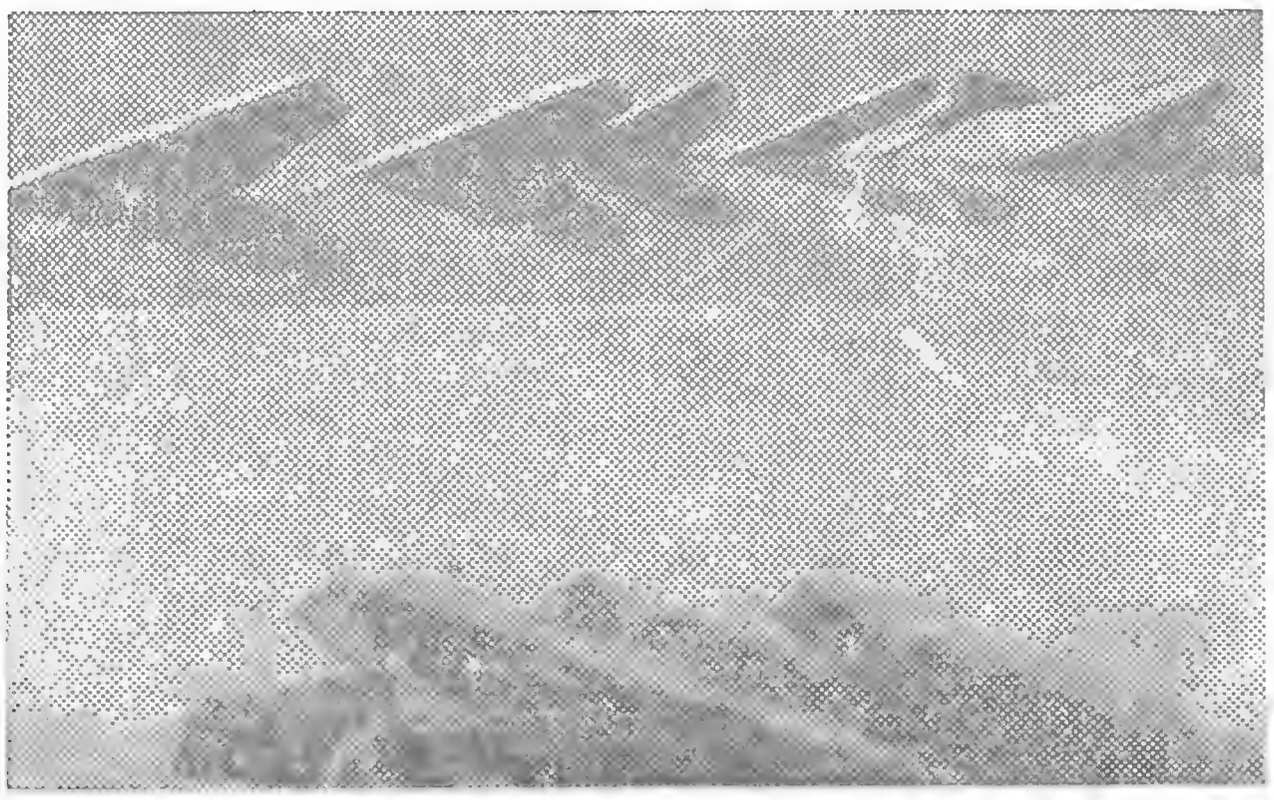
Однако, по мнению рецензента журнала «Уэст Африка», автор показал лишь внешнюю сторону событий и не сумел вскрыть причин национальной трагедии Конго.

Что это? Металлический каркас летательного аппарата будущего?.. Нет, это «скульптура», которую находящийся рядом автор Джеральд Глэдстоун назвал «Солнечной сеткой». Ныне она «украшает» территорию университета в городе Торонто...

(Газета «Кенэдиен трибюн»)



КУБА



...Из моря, близ побережья, поднимаются угрожающе наклоненные вперед темные каменные плиты, однако ближе к берегу они уже лежат разбитыми... А на самом берегу высится несколько белых массивных камней — несокрушимых монолитов. Так будет выглядеть монумент в честь победы на Плайя-Хирон. Авторами проекта этого монумента являются польские скульпторы и архитекторы Гражина Бочевская, Марек Будзыньский, Анджей Доманьский, а также инженер Веслав Шиманьский. Им была присуждена первая премия на международном конкурсе по созданию монумента в честь победы, объявленном Национальным Советом культуры революционного правительства Кубы. На конкурс было представлено 277 проектов из разных стран мира. Откликаясь на присуждение первой премии, газета «Нотисиас де ой» пишет, что проект польских авторов верно и с большой художественной выразительностью передает идею подвига кубинского народа, выступившего на защиту своей родины и разгромившего орды наемников иностранного агрессора. На снимке: проект монумента Победы на Плайя-Хирон.

(Газета «Нотисиас де ой»)

ЛИБЕРИЯ

НАРОДНЫЕ ПОСЛОВИЦЫ

Изучение устного народного творчества различных племен Либерии, по мнению местной печати,— одна из важнейших задач деятелей культуры страны. Не случайно в числе первых изданий «Службы информации Либерии», в ведение которой по решению правительства были недавно переданы вопросы культуры, вышел сборник «Пословицы народов Либерии».

НИГЕРИЯ

ИЗУЧАТЬ НАЦИОНАЛЬНУЮ ЛИТЕРАТУРУ

Проблемы народного образования глубоко волнуют общественность Нигерии. Особенно серьезную тревогу вызывает в стране преподавание литературы. Нельзя более мириться с тем, заявляет обозреватель газеты «Уэст африкен пайлот», что в школах Нигерии почти исключительно изучается английская литература.

В Нигерии, как и во всей Африке, подчеркивает обозреватель, существуют произведения художественной литературы, а также большое количество записанных произведений фольклора. Нет причин пренебрегать ими в угоду зарубежной литературе. Каждому ученику необходимо глубоко изучать родную литературу.

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

КОНКУРС МОЛОДЫХ АВТОРОВ

Новозеландский журнал «Лэндфолл» объявил конкурс на лучшее произведение в области прозы. Конкурс ставит своей целью популяризацию литературного творчества среди новозеландской молодежи; в нем могут принять участие только новозеландские авторы в возрасте до 25 лет.

НОРВЕГИЯ

СКАНДИНАВСКИЙ ПОЭТИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК

Газета «Фрихетен» сообщила о выходе первого «Скандинавского поэтического ежегодника 1962 года». Эта книга — плод сотрудничества между издательствами пяти северных стран: Швеции, Норвегии, Дании, Финляндии и Исландии. Она вышла рекордным для поэтического сборника тиражом в десять тысяч экземпляров.

«Поэтический ежегодник» — это антология, в которой представлено творчество почти пятидесяти лириков северных стран. Главный редактор сборника Пол Брекке заявил, что подобные антологии отныне будут выпускаться ежегодно. Они будут знакомить читателей не только с выдающимися произведениями, но и с первыми опытами еще неизвестных поэтов. Ежегодники помогут любителям лирики следить за поэтическими новинками в пяти странах Скандинавии.

ОАР

ВОЗРОЖДЕННЫЕ ЖУРНАЛЫ

В свое время «Ар-Рисаля» и «Ас-Сакафа» считались крупнейшими литературными журналами Египта, однако впоследствии они были закрыты. Из печати известно, что после долгого перерыва издание их возобновляется. По сообщению журнала «Аль-Адиб», редактирование журналов поручено крупным египетским писателям: Ахмад Хасан аз-Зайят будет редактором «Ар-Рисаля», а Фарид Абу-Хадид — «Ас-Сакафа».

ПОЛЬША

ПИСАТЕЛИ ВТОРГАЮТСЯ В ЖИЗНЬ

Два года назад Союз польских писателей организовал для своих членов первую поездку по промышленным предприятиям и стройкам Польши. Теперь это стало хорошей традицией, творческие поездки писателей по стране организуются ежегодно (сообщение о такой поездке см. в «Иностранной литературе» № 10, 1963 г.)

Недавно еженедельник «Культура» поместил информацию о том, что министр культуры и искусства Польши Тадеуш Галинский сообщил об учреждении постоянных стипендий писателям, пожелавшим выехать в длительные творческие командировки в различные районы страны.

Одними из первых откликнулись молодые польские писатели. Поэт Станислав Гроховяк отправляется в деревню Платерувек, Згожелецкого повята. Прозаик Богдан Дроздовский едет в Силезию, на шахту «Дембеньско», где будет собирать материал для книги о польских шахтерах. Автор многих интересных репортажей Ремигиуш Напюрковский решил обосноваться в Солине, где идет большое строительство.

Малгожата Хиллар, автор нескольких сборников лирических стихов, решила искать новые темы на варшавском заводе легковых автомобилей в Жерани. В Жешувское воеводство отправляется писательница Крыстына Непомуцкая, которая хочет написать повесть — репортаж о польской деревне. Вспоминая о последней поездке писателей по стране, она сказала: «Помню, наш автомобиль спускался по чудесному серпантину дороги в Бещадской Петле. В деревнях, которые мы проезжали, цвели яблони. Детишки из-за заборов приветливо махали нам испачканными ручонками. Свыше десяти лет назад здесь не было ни дорог, ни деревень. Не было садов, не было детей. Были могилы, контрреволюционные банды, по ночам выли волки. И тогда я вдруг подумала, что нашему трудному и с такой заботой выращенному детищу, которое носит имя Народной Польши, скоро исполняется двадцать лет. И что ему нужно сделать какой-то подарок. И что каждый из нас должен подарить что-то, пусть самое скромное».

О ЛЮДЯХ ПЯТИЛЕТКИ

Издательство «Искры» выпустило из печати сборник литературных репортажей «Землю лихорадит» о людях, претворяющих в жизнь стройки польской пятилетки — энергокомбинат в Турошове и промышленные предприятия в Бещадах. Двенадцать репортажей, вошедших в сборник,— результат конкурса на лучший репортаж о строителях, объявленного недавно издательством «Искры» и редакцией молодежного журнала «Вспулчесность» («Современность»).

О выходе сборника сообщает газета «Жице Варшавы», рецензент которой Беата Совинская пишет: «Со страниц книги говорят простые люди, говорит их труд, их достижения и неудачи, их хорошие и плохие дни на строительстве... Авторы не ограничились поверхностными наблюдениями, но решили заглянуть в глубину, раскрыть всю сложность производственных отношений». В числе лучших литературных репортажей Совинская называет «Коричневую лихорадку» Януша Красинского о турошовском комбинате, «И была ночь» Ремигиуша Напюрковского о строительстве в Бещадах, «Ожида-

---

Молодые польские писатели, отправляющиеся на предприятия и в отдаленные районы страны собирать материалы для своих будущих произведений: (слева направо) Станислав Гроховяк, Малгожата Хиллар, Богдан Дроздовский.

(Еженедельник «Культура»)

ние» Казимежа Боска и другие репортажи, по словам рецензента, отличающиеся свежестью и большой выразительностью.

Совинская пишет и о второй книге репортажей, вышедшей в том же издательстве,— «Мазовецкая прелюдия» Целины Кулик. Если в первой книге речь шла об окраинных землях, то Кулик рассказывает о преобразованиях в центральной Польше, о людях, строящих большой химический комбинат возле города Плоцка. Для автора репортажей строительство плоцкого комбината — это не только рождение еще одного предприятия. С вводом его в строй в Мазовецком крае произойдут большие экономические, общественные и культурные перемены — начнется новая глава в истории польского города Плоцка.

И еще об одной книге сообщает Совинская — о сборнике рассказов Леона Вантулы «Обвал». Автор книги — непрофессиональный литератор, шахтер — создает безыскусные рассказы о своих товарищах. Возможно, замечает Совинская, язык автора еще не всегда гладок, но главная ценность рассказов Вантулы заключается в том, что он пишет о реальных людях польской пятилетки.

ТУРГЕНЕВ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ

В последние годы произведения И. С. Тургенева стали популярны на польском телевидении. Первой была поставлена «Провинциалка» с известной актрисой Каролиной Лубенской в главной роли. И тут обнаружилось, что Тургенев необыкновенно «телегеничен». По отзывам печати, произведения Тургенева как нельзя лучше соответствуют специфике «голубого экрана», камерному характеру телевизионной постановки.

На «Провинциалку» откликнулись тысячи телезрителей из разных концов Польши. Не меньшим успехом пользовался и поставленный недавно центральным телевидением «Нахлебник».

Лодзинское телевидение осуществило инсценировку романа И. С. Тургенева «Дым».

РУМЫНИЯ

КНИГА О ДЕРЕВНЕ

Вышла из печати книга «Кордованы» молодого прозаика Иона Лэнкрэнжана. Это история одного румынского села с момента освобождения страны до полного завершения коллективизации. Одновременно автор рассказывает историю семьи жителя этого села, середняка Лае Кордована. Герой Лэнкрэнжана возвращается с фронта и застает дома ссорящихся братьев, жаждущих разделить его земельный надел.

Повествование ведется от лица героя. Автор прослеживает нелегкий путь крестьян от индивидуалистического миропонимания до избавления от предрассудков и приобщения к идеям социализма. В романе красочно описан быт румынской деревни.

Рецензент еженедельника «Контемпоранул» пишет, что этот роман можно сравнить с «Тихим Доном» Михаила Шолохова. Роман написан с правильных, партийных позиций, отмечает рецензент, и это, наряду с художественными достоинствами, делает его опубликование событием в литературной жизни Румынии.

«ПОХВАЛА ВЕЩАМ»

Известный писатель Джордже Кэлинеску, автор романов «Загадка Отилии» и «Черный секретер», недавно выпустил сборник стихов «Похвала вещам».

Как отмечается в рецензии, опубликованной еженедельником «Контемпоранул», автор дал название сборнику, исходя из убеждения, что в мире нет вещей непоэтичных. Поэт воздает хвалу человеку, его будничным делам. Гуманизм Кэлинеску проявляется в живом восприятии действительности, природы. Его стихотворениям чужда условность, все они — взволнованный гимн жизни на земле.

США

НОВЫЙ НЕГРИТЯНСКИЙ ЖУРНАЛ

Вышел первый номер журнала молодых негритянских поэтов Америки — «Умбра». «Журнал создан для того,— говорится в редакционной статье,— чтобы дать возможность молодым поэтам, борющимся за социальное и национальное равноправие негров, откровенно высказывать свое мнение». «Умбра» призван проливать свет на нынешнюю действительность США, где совершаются страшные преступления против негритянского населения.

Еженедельник «Уоркер», рецензируя вышедший номер «Умбра», отмечает свежесть, живость и целеустремленность многих опубликованных в нем произведений, разнообразие стилей — от песен протеста до юмористических куплетов. Песни свободы, песни борьбы занимают видное место в первом номере журнала. Газета обращает внимание читателей на талантливые стихи поэта Джулиана Бонда.

«Мы говорим «добро пожаловать» этому маленькому журналу,— пишет рецензент «Уоркер»,— в котором выступают молодые негритянские поэты. Журнал объединяет честных, сильных и смелых людей».

ЗА «РЕПЕРТУАРНЫЙ ТЕАТР»

Артур Миллер, выступая в Миннеаполисе на симпозиуме, созванном университетом штата Миннесота, выразил глубокую тревогу по поводу состояния дел в американском театре. Пресыщенная, узколобая буржуазная публика, заявил драматург, диктует Бродвею свои законы. Она приходит в бродвейский театр и придирчиво требует: «А ну-ка, покажите мне, даст ли эта пьеса полный кассовый сбор?»

Театр должен ориентироваться на публику, которую волнуют большие общественные проблемы, сказал Миллер. Образцами такого нового театра драматург

считает труппу «Линкольн-центра» в Нью-Йорке и театр Тайрона Гатри в Миннеаполисе. Только такие, «репертуарные театры», по его мнению, могут спасти драматургов от бродвейской «диктатуры чистогана» в искусстве.

Нам нужны пьесы, заявил Миллер, со зрелыми взглядами на жизнь. «Однако зрелость драматурга,— иронически заметил писатель,— вовсе не определяется его способностью по приказу театрального бизнесмена переделывать любую сцену в пьесе за каких-нибудь полчаса... Я не думаю, чтобы Чехов, например, преуспел в драматургии подобного рода».

Сцена из спектакля «Три сестры», поставленного Тайроном Гатри в руководимом им театре Миннеаполиса.

(Журнал «Тиэтр артс»)

ПОСТАНОВКИ ПЬЕС РУССКИХ КЛАССИКОВ

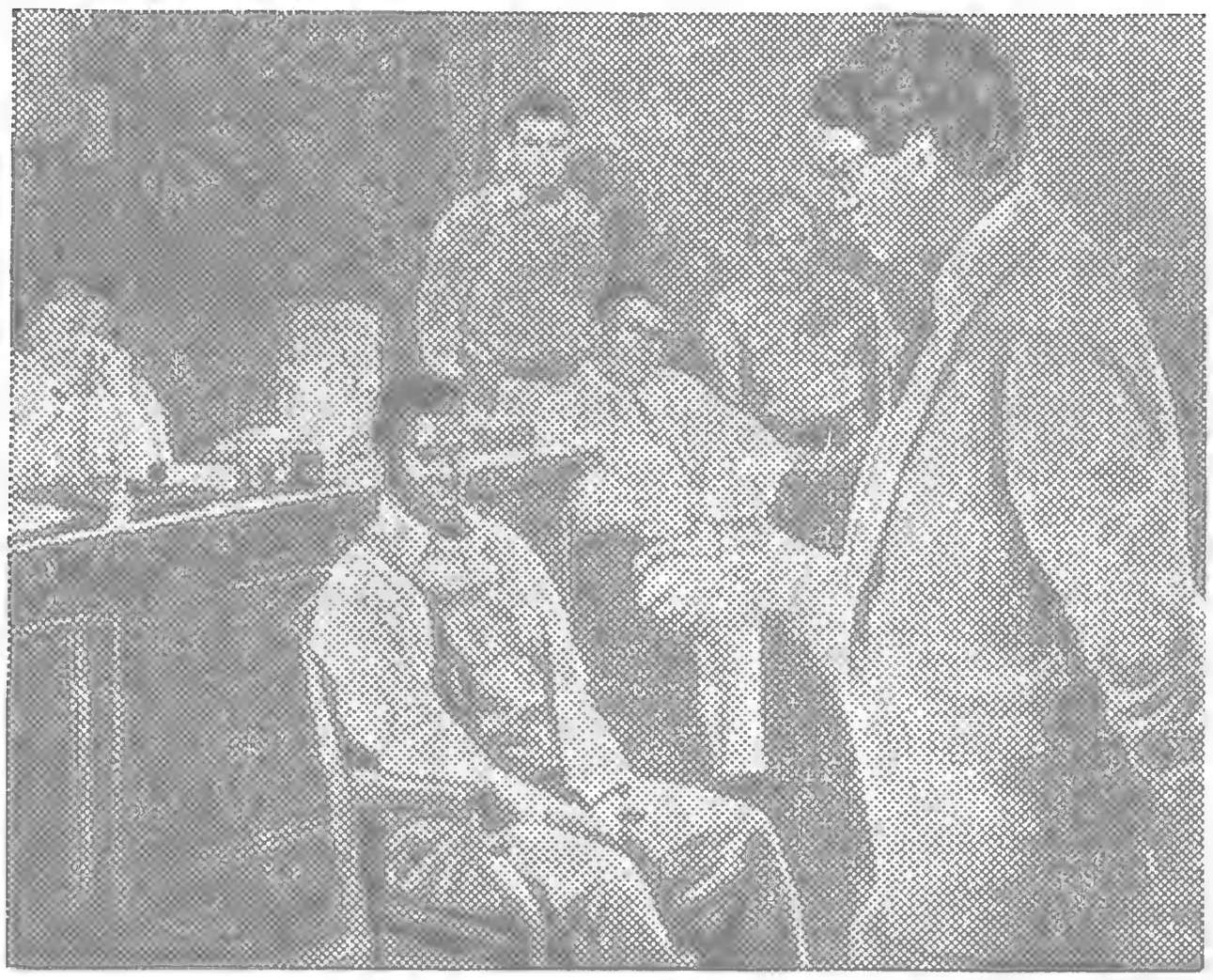
В нынешнем театральном сезоне американские зрители имеют возможность ознакомиться с постановками двух пьес русских классиков — «Месяц в деревне» И. С. Тургенева и «Три сестры» А. П. Чехова.

Первая постановка осуществлена нью-йоркским театром «Мейдман плейхауз» под руководством режиссера Дэвида Росса. Отмечая успех постановки, рецензент журнала «Тиэтр артс» пишет, что режиссеру удалось полностью передать оригинальный блеск этой тонкой тургеневской пьесы.

«Три сестры» поставлены в театре города Миннеаполис, руководимом Тайроном Гатри. Рецензент «Тиэтр артс» подчеркивает духовную близость этого театра Фестивальному театру в Стратфорде (Онтарио) и Новому чичестерскому театру в Англии.

«Чехов очень труден для постановки,— пишет рецензент,— и нужно отдать должное дальновидности и художественному чутью Тайрона Гатри, которые обусловили триумфальный успех спектакля. В правильной интерпретации чеховской пьесы режиссеру в значительной мере помогли талантливые актеры».

Большим успехом у зрителей пользуется фильм по роману писательницы Харпер Ли «Убить пересмешника» (опубликован в «Иностранной литературе» №№ 3—4, 1963). Фильм получил несколько национальных и международных премий. Здесь мы воспроизводим кадр из фильма «Убить пересмешника»: Грегори Пек в роли адвоката Аттикуса Финча и Брок Питерс в роли обвиняемого, негра Тома Робинсона.



ГЛАВНОЕ... ЗАГОЛОВКИ!

Уильям Сароян опубликовал автобиографическую книгу «Не умирать», которую газета «Сан-Франциско кроникл» называет «автобиографической интерлюдией».

В ней писатель не столько рассказывает о себе, сколько делится с читателем своими мыслями о жизни, о литературе, о том, как и что писать.

Сароян предвидит, что ему будут задавать вопросы, почему он дал именно такое заглавие книге, и пускается в обширные и не лишенные интереса рассуждения о придуманных им заголовках романов, к которым осталось лишь... написать романы. Так, например, давным-давно писатель придумал название для романа «Последняя ночь». «Всю

жизнь,— пишет он,— я мечтаю написать этот роман. И даже ясно представляю его себе. Еще я, может быть, напишу книгу под названием «Да». Нужно только найти время».

Познакомиться с суждениями одаренных писателей о литературном творчестве всегда любопытно, однако рецепты Сарояна, вероятно, покажутся многим хоть и интересными, но спорными.

ФРАНЦИЯ

ПЬЕСА О СОВРЕМЕННОЙ ИСПАНИИ

Парижский театр «Ля Брюйер» поставил новую пьесу Жоржа Сориа «Противоречивые страсти». Она посвящена трагедии сегодняшней Испании, задыхающейся под гнетом фашистской диктатуры в атмосфере страха, подозрительности, ненависти, порожденных кровавым полицейским режимом.

В 1936—1939 гг. Жорж Сориа был на фронте в Испании. Он тяжело пережил поражение республиканцев и долгие годы вынашивал планы написать пьесу об Испании. Ныне его замысел претворен в жизнь.

Пьеса «Противоречивые страсти» рассказывает о том, как живет Испания через двадцать пять лет после гражданской войны. Прошлое довлеет над героями пьесы.

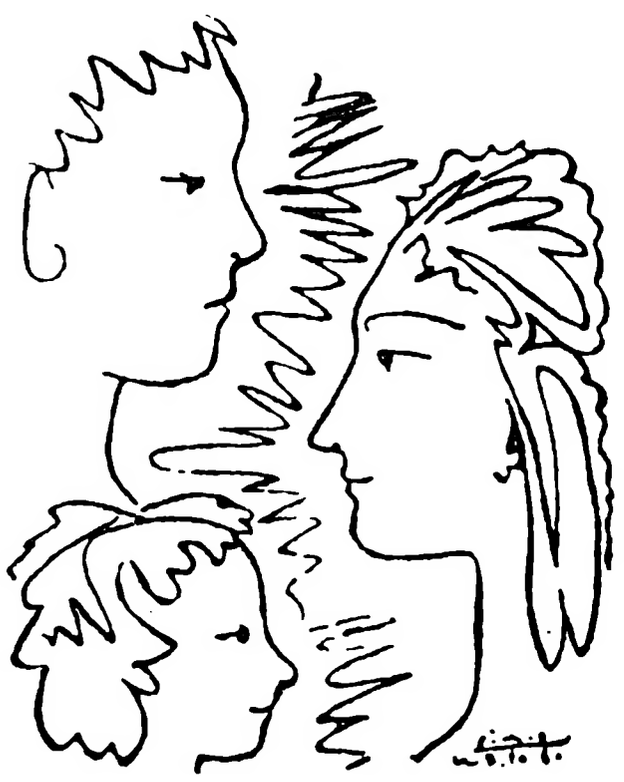
Основные события пьесы разворачиваются вокруг судьбы бывшего республиканца Антонио, вернувшегося домой после восемнадцатилетнего тюремного заключения. Из-за попустительства властей он снова подвергается аресту, и только благодаря связям его родственнику Андресу удается освободить Антонио. Чувствуя, что он не может жить в обстановке постоянной слежки и подозрительности, Антонио решает бежать из Испании. Андрес берется помочь ему. Но жена Антонио из ревности выдает его полиции. Антонио схватывают на границе. Андрес, помогавший ему перейти через Пиренеи, гибнет от пули полицейского.

Критик Жан Эмиль Дюбуа отмечает в еженедельнике «Франс нувель» гуманизм и психологичность пьесы Жоржа Сориа. Как сообщает печать, занавес для авансцены специально к постановке этой пьесы в театре «Ля Брюйер» расписал Пабло Пикассо.

ВОЗВРАЩЕНИЕ БЕРНАРА

Известный кинорежиссер Ален Рене совместно с Жаном Кейролем создал свой третий полнометражный фильм «Мюриэль, или Возвращение». После фильма «В прошлом году в Мариенбаде», отмеченного рафинированным интеллектуализмом, в этом фильме, по свидетельству прессы, Ален Рене совершил резкий поворот к реализму.

Герой фильма — молодой француз Бернар, возвратившийся домой после участия в алжирской войне. Он не может вернуться к нормальной жизни, так как слишком потрясен пережитым. Самым страшным для него было то, что однажды ему пришлось принимать участие в допросе с применением пыток. Жертвой палачей была алжирская девушка по имени Мюриэль. Она ни разу не показана в фильме, но имя Мюриэль является воплощением душевной муки Бернара.



Недавно в Версале состоялись традиционные торги, во время которых были распроданы произведения искусства, переданные художниками организации «Глоток воздуха для детей Парижа». Среди них был воспроизводимый здесь рисунок Пабло Пикассо. Еженедельник «Франс нувель», поместив этот рисунок, выразил надежду, что дар художников позволит самым бедным детям Парижа сносно провести каникулы в 1964 году.

Фильм Алена Рене, пишет рецензент еженедельника «Франс нувель», раскрывает трагедию молодого француза, душу которого изуродовала алжирская война. В нем недвусмысленно признается факт применения пыток французскими войсками в Алжире. Глубокое проникновение в реальные проблемы сегодняшней Франции, подчеркивает рецензент,

Кадр из фильма «Мюриэль, или Возвращение». В роли Бернара — Жан Батист Тьер.

(Еженедельник «Франс нувель»)

сделало этот фильм произведением, которое характеризуется подлинным реализмом.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

ЮБИЛЕЙ ТЕАТРА

Исполнилось тридцать лет театру «Д-34», основанному Э. Ф. Бурианом. Славному юбилею этого революционного театра посвящена в газете «Руде право» статья Владимира Шмераля.

Театр «Д-34» родился в тяжелый период истории Чехословакии, пишет Шмераль. Страну душил экономический кризис, по дорогам бродили голодные, бездомные люди. В соседней Германии к власти пришел Гитлер, оттуда доносились бредовые вопли о мировом господстве. Именно в такой момент Буриан сгруппировал вокруг себя наиболее передовых деятелей театра. Основанный ими новый театр получил название по предстоящему театральному сезону 1934 года — «Д-34», подчеркивая тем самым устремленность в будущее.

Революционные идеалы, вдохновлявшие труппу театра, не могли прийтись по вкусу реакционным силам внутри страны. С самого начала театр «Д-34», создатели которого не считали нужным скрывать свои взгляды, подвергся нападкам желтой прессы, над ним постоянно витала тень буржуазной цензуры. Но у театра было и множество друзей — его внимательная и благодарная аудитория.

Необыкновенное мужество проявили работники «Д-34» и в годы фашистской оккупации страны. Театр продолжал существовать, но он не поставил ни одной немецкой пьесы. Чтобы отвести от театра обвинения, Буриан выдвинул принцип: «Д-34» ставит только новые чешские пьесы. Во многих из них фашисты высмеивались в завуалированной форме. Так долго продолжаться не могло: в 1941 году театр был закрыт, а Буриан попал в концентрационный лагерь.

Новый период в истории «Д-34» начался после разгрома фашизма и образования Чехословацкой Народной Республики. В первые годы им по-прежнему руководил Буриан, вернувшийся из неволи в 1945 году.

Театр продолжает свою творческую жизнь. У него по-прежнему много друзей, широкая аудитория. Много у него и последователей среди театров различных стран мира.

ВЫСТАВКА СЛОВАЦКОГО ИСКУССТВА

В манеже пражского кремля открылась выставка словацкого изобразительного искусства. На выставке представлено свыше 400 работ разнообразных жанров. Здесь экспонируются работы как самых старших его представителей, таких как Людовит Фулла, Милош Базовский и другие, так и самых молодых мастеров.

Основная тенденция развития словацкого изобразительного искусства состоит в том, отмечает рецензент газеты «Руде право», что камерное искусство начинает уступать первенство искусству монументальному. Печать подчеркивает выразительность и глубоконациональный характер произведений словацкого изобразительного искусства.

ШВЕЦИЯ

«КИНО — МОЯ ЛЮБОВЬ»

В Стокгольме в издательстве Бонньер вышла книга Йорна Доннера об известном шведском кинорежиссере Ингмаре Бергмане. Автор характеризует Бергмана как человека, страстно влюбленного в искусство. Он приводит слова кинорежиссера: «Кино — моя любовь, театр — мой верный друг».

Доннер рассказывает о творческом пути Бергмана, о его содержательных, поэтичных фильмах. Ключом

Ингмар Бергман.
(Газета «Фрихетен»)

к пониманию творчества кинорежиссера, по мнению автора книги, являются его слова: «Многие создатели фильмов забывают, что исходным пунктом в нашей работе является человек». Сам Бергман никогда этого не забывает, пишет Доннер и называет его наиболее популярным кинорежиссером во всей Скандинавии.

ЮГОСЛАВИЯ

КНИГА О Л. Н. ТОЛСТОМ

Белградское издательство «Космос» выпустило книгу Нады Маринкович «Ясная Поляна». Книга состоит из двух частей: в первой автор говорит о величии Толстого, во второй приводит высказывания о русском писателе различных европейских знаменитостей. Значительное место в книге отведено личным впечатлениям Нады Маринкович от тех мест, где жил и работал Л. Н. Толстой. Писательница знакома советскому читателю по книге «Смысл и любовь», выпущенной в 1958 году Издательством иностранной литературы.

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

КРИСТА ВОЛЬФ — CHRISTA WOLF (род. в 1929 г.) — немецкая писательница (ГДР), автор книги «Московская повесть» («Moskauer Novelle», 1961), а также ряда критических статей по проблемам современной немецкой литературы.

Роман «Расколотое небо» («Der geteilte Himmel») вышел в 1963 году.

ФАИЗ АХМАД ФАИЗ (род. в 1911 г.) — пакистанский поэт, журналист, общественный деятель, автор поэтических сборников «Тоскливый узор», 1943, «Рука ветра», 1952, «Тюремные стихи», 1956 и др.

АЛЬБЕРТО МОРАВИА — ALBERTO MORAVIA (род. в 1907 г.) — итальянский писатель, автор романов «Равнодушные» («Gli indifferenti», 1929), «Римлянка» («La Romana», 1947), «Приспособленец» («Il conformista», 1951), «Презрение («Il disprezzo», 1954, см. «Иностранную литературу» №№ 9—10, 1963 г.), «Чочара» («Ciociara», 1957, см. «Иностранную литературу» №№ 1—3, 1958 г.).

Его перу принадлежат также несколько сборников рассказов. Рассказы, напечатанные в этом номере, вошли в сборник «Автомат» («L'automa», 1963).

ФРАНЦ КАФКА — FRANZ KAFKA (1883—1924) — австрийский писатель, автор опубликованных посмертно романов «Процесс» («Der Prozeß», 1925), «Замок» («Das Schloß», 1926), «Америка» («America», 1927).

При жизни писателя вышло несколько рассказов, в том числе опубликованные в этом номере: «Превращение» («Die Verwandlung», 1916) и «В исправительной колонии» («In der Strafkolonie», 1919).

ВЛАДИМИР ДОСТАЛ — WLADIMIR DOSTAL — чехословацкий критик, автор ряда работ по современной чехословацкой литературе.

Публикуемая статья прислана автором в рукописи.

ЛУИС ЭНРИКЕ ДЭЛАНО — LUIS ENRIQUE DELANO (род. в 1907 г.) — чилийский писатель — прозаик, поэт и литературовед. Автор книг «Дитя тюрьмы» («La niña de la prisión», 1926), «Огни на острове» («Luces en la isla»,1930), «Побег» («La evasión», 1933), «Огненный порт» («Puerto de fuego», 1956).

Статья «Споры в кафе имени Лопеса Веларде» получена редакцией в рукописи.

АЛАН СИЛЛИТОУ — ALAN SILLITOE (род. в 1928 г.) — английский писатель — прозаик и поэт. Автор романа «В субботу вечером — в воскресенье утром» («Saturday Night and Sunday Morning», 1959), поэтического сборника «Крысы и другие стихотворения» («The Rats and Other Poems», 1960), романа «Ключ от двери» («Key to the Door», 1961, см. «Иностранную литературу» №№ 5—7, 1963 г.) и сборника рассказов «Волшебный ящик» («The Magic Box», 1963 г.)

Статья «Что говорит писатель» получена редакцией в рукописи.

АЛЬБЕРТ РИС ВИЛЬЯМС — ALBERT RHYS WILLIAMS (1883—1962) — американский писатель и публицист, в 1917—1918 гг. вместе с Джоном Ридом был в Советской России, автор книг «Ленин — человек и его дело» («Lenin, the Man and his Work», 1919), «Сквозь русскую революцию» («Through the Russian Revolution», 1921), «Русские: страна, народ и за что он сражается» («The Russians; the Land, the People and why they Fight», 1943) и др.

В 1962 г. в СССР вышла его книга «О Ленине и Октябрьской революции». Материал, помещенный в номере, публикуется впервые.

ФИЛЛИП БОНОСКИ — PHILLIP BONOSKY (род. в 1916 г.) — американский писатель, публицист, автор романов «Горящая долина» («Burning Valley». 1954), «Волшебный папоротник» («The Magic Fern», 1959) и многих рассказов и статей.

Публикуемый материал получен редакцией в рукописи.

ЭРНЕСТО ГОНСАЛЕС БЕРМЕХО — ERNESTO GONZALEZ BERMEJO — кубинский журналист, сотрудник редакции журнала «Куба». Репортаж «Колючая проволока между двумя мирами» был опубликован в журнале «Куба» № 12 за 1963 г.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР **Б. С. РЮРИКОВ**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

И. И. АНИСИМОВ, Б. Г. ГАФУРОВ, С. А. ГЕРАСИМОВ, С. А. ДАНГУЛОВ (зам. главного редактора), **Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА** (отв. секретарь), **Т. Л. МОТЫЛЕВА, Л. В. НИКУЛИН, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, Б. И. РОЗЕНЦВЕЙГ, М. И. РУДОМИНО, В. П. ТЕРЕШКИН, П. М. ТОПЕР, С. П. ЧЕРНИКОВА, М. А. ШОЛОХОВ, К. ЯШЕН.**

Художеств. редактор **М. М. Милославский.** Технический редактор **Ю. Н. Горохов.**

Адрес редакции: Москва, Пятницкая ул., д. 41. Телефон: В 3-51-47.

А 04107. Сдано в производство 14/XI 1963 г. Подписано к печати 9/I 1964 г.
Бумага 70×108 1/16 = 9,0 бум. л. + 1 вкл.; печ. л. 24,66 + 1 вкл. Зак. 2120.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.